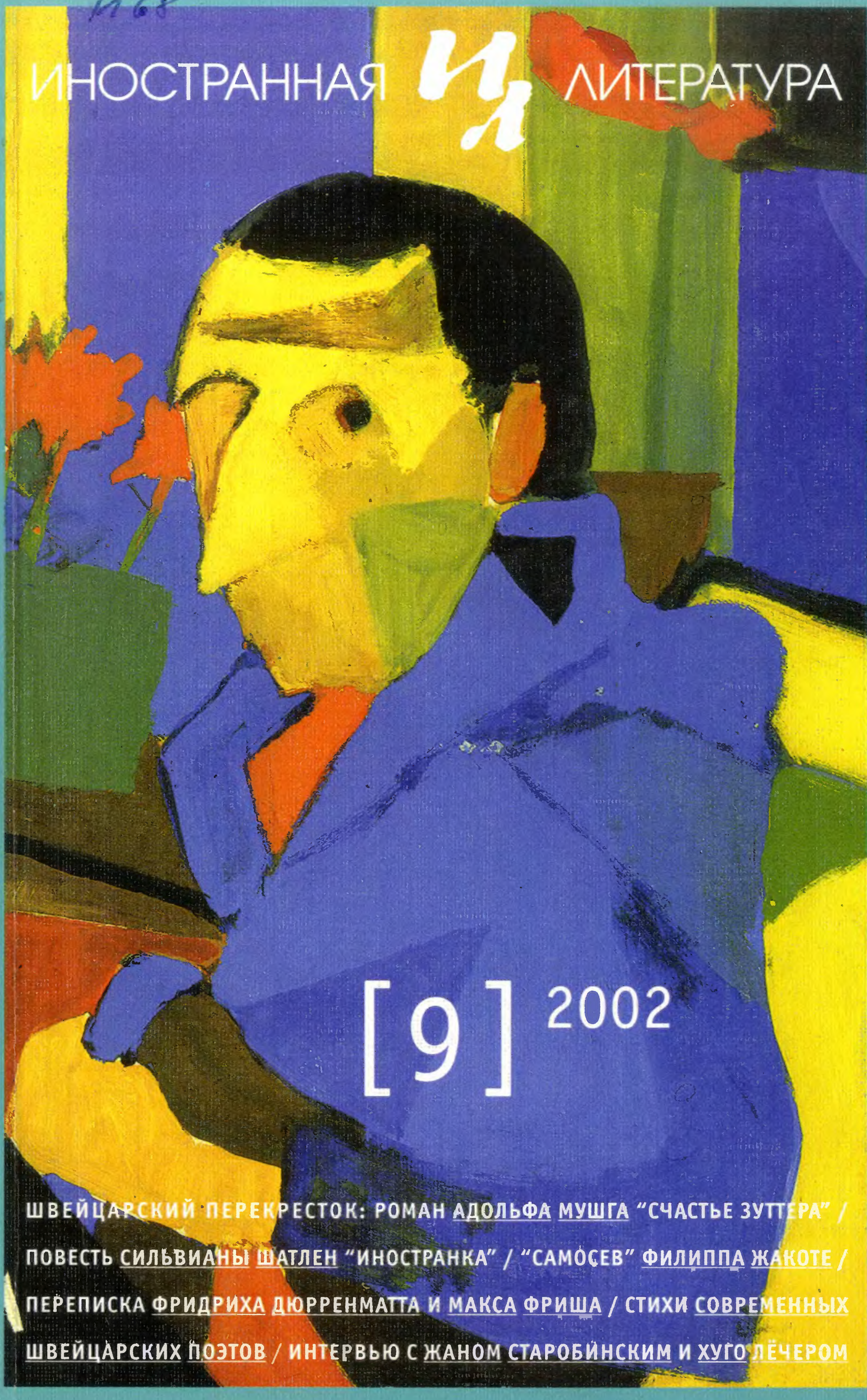
95+83
И68

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[9] 2002

ШВЕЙЦАРСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК: РОМАН АДОЛЬФА МУШГА “СЧАСТЬЕ ЗУТТЕРА” / ПОВЕСТЬ СИЛЬВИАНЫ ШАТЛЕН “ИНОСТРАНКА” / “САМОСЕВ” ФИЛИППА ЖАКОТЕ / ПЕРЕПИСКА ФРИДРИХА ДЮРРЕНМАТТА И МАКСА ФРИША / СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ ШВЕЙЦАРСКИХ ПОЭТОВ / ИНТЕРВЬЮ С ЖАНОМ СТАРОБИНСКИМ И ХУГО ЛЁЧЕРОМ

Основан в 1891 году

Это второй за довольно короткий срок номер журнала, посвященный современной швейцарской литературе (см. "ИЛ" 1998, № 9). Взглянув на помещенный в конце номера указатель публикаций швейцарских авторов в "Иностранной литературе" почти за полвека, читатель убедится, что журнал неизменно уделял этой литературе большое внимание, в свое время познакомив нашу аудиторию с творчеством практически всех ее крупнейших мастеров, чьи имена теперь очень хорошо известны в России. Традиция не прерывается: мы представляем новую генерацию швейцарских писателей, тех, которые в полный голос заявили о себе уже после корифеев, добившихся мирового признания, после Макса Фриша и Фридриха Дюрренматта. Среди авторов этого номера есть такие, кто считаются современными классиками, есть и писатели, о которых заговорили только в самые последние годы. Мы не предваряем читательских оценок, однако надеемся, что предложенная здесь панорама швейцарской литературы и объективна, и в должной мере широка.

Есть несколько причин, побуждающих наш журнал с особой заинтересованностью следить за литературой этой страны. Главная из них, конечно, заключается в том богатстве дарований, которое всегда ее отличало. Но наш интерес предопределен еще и тем, что государство в самом центре Европы оказалось – не только в общественном, но и в литературном отношении – тем перекрестком, на котором отчетливо видны разнообразные веяния, окрашивающие собой интеллектуальную и художественную жизнь нашего времени. Читая швейцарских авторов, пишущих по-немецки, по-французски, по-итальянски, можно с особой отчетливостью представить себе, чем живет современный западный мир. Вот отчего наш номер и озаглавлен "Швейцарский перекресток".

Задумывая его, мы, конечно, помнили о том, что с Швейцарией тесно переплелись судьбы многих выдающихся представителей русской культуры от Карамзина до Стравинского и Набокова. Этот диалог наших культур завязался давно, больше двух столетий тому назад. Может быть, книжка "ИЛ", которую читатель держит в руках, послужит новым подтверждением, что диалог интенсивно продолжается и по сей день.

[9]

2002

Ежемесячный литературно-художественный журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Номер издан при поддержке швейцарского фонда культуры PRO HELVETIA и Посольства Швейцарии в России

ШВЕЙЦАРСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК

3 Сильвиана Шатлен. *Иностранка.* Повесть. Перевод с французского Ирины Волевич

32 Анн Перрье. *Стихи.* Перевод с французского Юлии Покровской

34 Ильма Ракуза. *Стихи из книги "Love after Love".* Перевод с немецкого и вступление Елизаветы Соколовой

43 Адольф Мушг. *Счастье Зуттера.* Роман. Перевод с немецкого и послесловие Владимира Седельника

163 Альберто Несси. *"В поисках неба".* Из стихов последних лет. Перевод с итальянского Евгения Солоновича

167 Фабио Пустерла. *"Мы были здесь".* Из стихов последних лет. Перевод с итальянского Евгения Солоновича

Статьи, эссе

171 Петер Биксель. *Швейцария глазами швейцарца. Заметки об ущербности демократии.* Перевод с немецкого Анатолия Егоршева

181 Филипп Жакоте. *Самосев. Книга вторая.* Записные книжки 1980—1994 гг. Перевод с французского и вступление Бориса Дубина

195 Асар Эппель. *Целый месяц в деревне*

201 Алексей Зверев. *Тени в раю*

Эпистолярий

208 *Переписка: Макс Фриш – Фридрих Дюрренматт.* Перевод с немецкого, вступление и комментарии Евгении Кацевой

Наши интервью

247 *Жан Старобинский: Женева, литература, память* Беседует Сергей Зенкин

Наши гости

258 *Хуго Лёчер.* Запись беседы и вступление Елизаветы Соколовой. Хуго Лёчер. *Осень в городе Большого Апельсина.* Отрывок из повести. Перевод с немецкого Софьи Фридлянд

Среди книг

270 Татьяна Баскакова. *Встреча с книгой как эротическое событие.* Элина Драйтова. *Легко ли быть херувимом, или игры, в которые играют люди.* Ирина Каспэ. *Записки из пенала*

Курьер "ИЛ" 279

Швейцарская литература на страницах "ИЛ" 282

Авторы номера 284

© "Иностранная литература", 2002

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

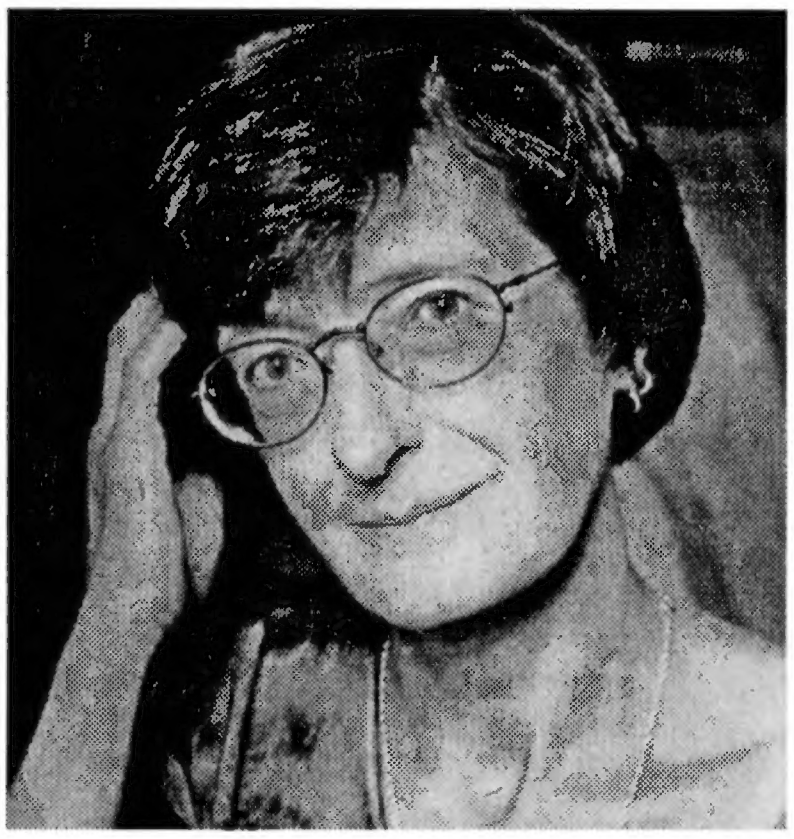
Редакция :

О. Г. Басинская
А. Н. Власова
С. М. Гандлевский
Т. А. Ильинская
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует МДМ Банк (Московский деловой мир).

Сильвиана Шатлен



Иностранка

Повесть

Перевод с французского Ирины Волевич

КОТ нерешительно приостановился у края тротуара. Солнце, окутанное легкой облачной дымкой, разливало вокруг слепящий белый свет.

Он сладко потянулся, опустив голову на вытянутые передние лапы и подняв хвост трубой.

И пошел через улицу — наискось, чуть вправо.

Он удалялся, держась поближе к каменной стене сада.

Снова остановился, замер в белом мареве дня.

Вблизи раздавались шаги — мерный, какой-то механический перестук шагов.

Внезапно кот бросился назад. В несколько прыжков он опять бесшумно пересек улицу и юркнул в окно.

Теперь вместо него по тротуару шагал человек.

Он шел быстро, слегка наклонясь вперед, такой же четкий и одноцветный, как его сутулая тень на каменной стене; яркий свет скрадывал детали одежды и черты лица.

Но вот исчез и прохожий. А он стоял и вслушивался в затухающий звук его шагов.

Улица была теперь пуста; она тянулась между двумя тесными рядами фасадов, одинаково светлых с тех пор, как их отчистили или покрасили заново, а ветхие дома либо снесли, либо перестроили.

Он выждал еще с минуту, но кот так и не вернулся.

Он надел пальто. И вышел.

В свой черед он зашагал вдоль стены. Металлический солнечный блеск неприятно слепил его.

© Bernard Campiche Éditeur, 1999
© И. Волевич. Перевод, 2002

У кота была легкая, гибкая поступь. Кот скользил по тротуару бесшумно, и его взгляд мягкой лаской встречал утомленные глаза человека.

Вернулся он уже в сумерках. Остановился против стены. Ему смутно почудилось темное пятно на ступеньках крыльца и два мерцающих огонька.

Он подождал, но пятно было абсолютно неподвижно.

Тогда он медленно пересек улицу, держа руки в карманах пальто, и вошел к себе в дом.

Спустя некоторое время он выглянул в окно.

В свете фонарей зиял проем между зданиями и чуть поблескивала стена, охраняющая подступы к сумрачному аквариуму сада с его черными, мятущимися волнами листвы.

Кошки бродили около помоек, среди пластиковых мешков с отбросами, сваленных внизу у лестницы. По правую сторону от крыльца, он это точно помнил.

Часто эти мешки бывали разорваны и источали сладковатую, а иногда и едкую, тошнотворную вонь.

Одна из кошек дремала на ступеньке. Он садился рядом, запускал пальцы в ее шерстку, гладил между ушами, по спине.

Кошка дремала, едва заметно выгибая спину под его рукой. Он явственно видел улыбку на кошачьей мордочке с прижмуренными глазами.

Он сидел не поднимая головы. Вокруг кошки, вокруг мусорных мешков простиралась улица, кипели шумные детские игры, в которых он не участвовал.

Ему вспоминались гомон и смех детворы, возгласы — часто на непонятном языке, крики — радостные или, наоборот, злобные, пугающие, когда вдруг завязывалась драка.

В таких случаях он убегал наверх, домой. Да, он ясно помнил тогдашний ералаш в доме: скандалы на лестнице, распахнутые двери квартир и захламленные площадки, густые кухонные запахи и причитания матери, искаженное гневом отцовское лицо поверх газеты.

Сейчас улица была спокойной. Стояло лето, но небосвод, которому полагалось быть голубым, неизменно затягивала тонкая облачная пелена, и оттого солнце изливало на землю холодный металлический свет, режущий глаза.

Мимо вели строем школьников; мальчики-подростки шагали парами. Свет казался еще более резким вокруг детских фигурок в темной форме, с их четкими, ритмичными движениями.

Он глядел вслед удалявшемуся отряду. Чудилось, будто строй колеблется, распадается на ходу, и каждый из детей с трудом прокладывает себе дорогу вперед, изранившись в кровь об острые клинки света.

А он все ждал. Может быть, он уповал на дождь, на потоки воды, сбегающие по оконным стеклам, — уж они-то размоют эти невыносимые контрасты черного и белого, превратят их в серые разводы, в туманные пятна, в зеркальца луж на мостовой.

Его жена уже занялась хозяйством. Он слышал ее шаги, скрежет ведра по плиточному кухонному полу, хлопанье простыни, которую она вытряхивала в окно.

Он помедлил еще с минуту. Однако нужно было уходить. В тот день он так и не увидел кота.

Как всегда по утрам, он сел в свою машину. Болезненно щурясь на яркий свет, доехал до фабрики. Охранники козырнули ему, подняли шлагбаум. Он торопливо направился к цехам.

Надзирательница удивленно взглянула на него. Раньше он никогда не опаздывал.

В просторном цеху сидели рядами, склонясь над швейными машинками, женщины. Он обвел их рассеянным взглядом. Серый цвет рабочих халатов успокаивал глаз. Однако их затылки и руки отбрасывали резкие блики, дрожали в беспощадном свете ламп, точно рябь на неспокойной поверхности воды.

Он прошел в кабинет, закрыл дверь. Опустив оконную штору, сел к столу в мягком полумраке.

И все-таки боль, терзавшая мозг и глаза, не утихала, только теперь ему чудилось, будто ее вызывает непрерывное жужжание швейных машинок, их негромкое монотонное звяканье.

На следующее утро, едва выглянув в окно, он увидал кота.

Кот лежал на каменной стене сада. Он спал, поджав под себя лапы и слегка запрокинув голову.

Тут он услышал скрежет ведра по плиточному кухонному полу, хлопанье простыни, вытряхиваемой в окно.

Он надел пальто. Но, выйдя на крыльцо, с удивлением обнаружил, что кот, еще миг назад крепко спавший, бесследно исчез.

Он прохаживался по цеху; из высоких окон, идущих рядами вдоль длинных стен помещения, лился внутрь все тот же беспощадно-яркий дневной свет.

А дождь все не шел. Небо по-прежнему было затянуто легкой дымкой, и эта слепящая белизна раздражала, как слишком громкий визгливый голос.

Он проходил мимо столов, ряд за рядом, глядя сверху вниз на безмолвных женщин, на их бледные шеи между серыми воротниками халатов и коротко остриженными волосами, на их руки, придерживающие материю.

Вдруг он остановился: ему захотелось пощупать мягкую ткань теплых тонов. Швея прервала работу. Он встретил ее измученный взгляд. Выпустив из рук ткань, он еще с минуту постоял, наблюдая за быстро снующей иглой машины.

Затем медленно вернулся к себе в кабинет. Кошачья шубка напоминала беспорядочную мозаику из белых, рыжих и черных пятен.

Как ему хотелось сейчас ощутить под пальцами эту мягкую шерсть, тепло кошачьего тела!

Ограда, увенчанная решеткой, замыкала двор, исчезала из виду, возникала чуть дальше, между крышами. Письменный стол был завален бумагами. Его ждала работа.

Он сел. Женщины, как доложила ему надзирательница, шили платья и прочую гражданскую одежду.

Спрос на такие изделия постоянно возрастал. Однако многие швеи старели, у них портилось зрение, не слушались руки. Где же взять молодую смену?

Из окна второго этажа он разглядывал сад за стеной напротив.

Было видно, что сад сильно запущен: трава чуть ли не по пояс, деревья безобразно разрослись, и за их перепутанными ветвями с густой листвой едва просматривался фасад дома — единственного на этой улице, что стоял в глубине, нарушая общий строй.

Он плохо знал владелицу, молчаливую вдову, которую встречал лишь изредка.

Прежде она работала учительницей в школе их квартала. Может, он и сам был в числе ее учеников? Он не помнил.

Когда старуха умрет, нужно будет сразу же снести дом и выстроить другой на месте сада, чтобы закрыть эту уродливую брешь между зданиями.

Он кончил ежедневный обход цеха.

Но вместо того чтобы уйти к себе в кабинет, ненадолго задержался у возвышения, где сидела надзирательница.

Женщины работали, склонясь над машинками.

Ему были незнакомы их лица. Он всегда видел под слепящими лампами лишь их затылки и напряженно вытянутые шеи, их коротко остриженные волосы — часто с проседью, как у него самого, — их руки, придерживающие материю.

Теперь он вглядывался в них. Некоторые могли быть его ровесницами. Не исключено даже, что он и знал их когда-то; он попытался вспомнить девчонок из своего класса, со своей улицы.

Но от довоенной жизни память мало что оставила: она выдавала ему какую-то неразличимую путаницу следов, которые то скрещивались, то расходились, никуда не приводя; невнятную мешанину звуков, красок, запахов, а главное — тягостное ощущение беспорядка.

Еще с минуту он рассматривал женщин, щурясь от резкого света ламп и другого — того, что лился из высоких окон, и внезапно ему померещилось, будто их лица ускользают от него, расплываются белыми пятнами, расползаются прорехами на привычной картине швейного цеха, словно кто-то забавы ради вырезал из фотографии головы персонажей, оставив на их месте круглые дыры.

Из окна кабинета он следил за суетой во дворе. Группа женщин разгружала машину.

Они приподнимали вдвоем тяжелый рулон материи, торопливо несли на склад и возвращались к грузовику. Навстречу уже спешила другая пара, так они и ходили взад-вперед, молча, под взглядами надзирателей.

Солнце по-прежнему бледно просвечивало сквозь облака, и вся эта сцена выглядела слегка нереальной, как будто ему показывали через мутное оконное стекло лишь тени живых людей, отдаленные подобия их движений.

Он сел за письменный стол.

Эти женщины боролись с ними. Даже принесли смерть некоторым из них. И вот теперь порядок восстановлен: он сидит здесь, в своем кабинете, а они — там, в цехах, шьют за столами, не отрывая глаз от снующих иголок.

Тут, на фабрике, их исправили, исцелили от безумия, от нелепых грез, от вредоносных иллюзий.

У него было много работы. Заказы сыпались градом. Он опустил штору. В полумраке предметы вновь обретали свойственную им четкость.

Все было хорошо. Женщины выполняли нужную работу, которая лишала их возможности вредить.

И они смирились с этим. Теперь они были спокойны, послушны и усердно трудились на благо общества.

Ему очень хотелось поговорить с женой о старой даме, жившей напротив.

Случалось ли ей встречать эту соседку, когда она выходила за покупками? И отчего старуха так запустила сад? Если у нее нет сил ухаживать за ним, она имеет право обратиться за помощью в Комитет молодежи. А кот — кому принадлежит кот?

Но он и сегодня, как каждое утро, слышал скрежет ведра по плиточному полу, хлопанье вытряхиваемых простыней, которые вечером будут тщательно натянуты на матрас — тугое, леденящее кожу полотно.

Она неутомимо хлопотала, прибирала, мыла и чистила. А ведь квартира была не так уж велика, и их осталось всего двое, только двое — после отъезда сына.

Кот не мог попасть на стену со стороны улицы: каменная ограда была слишком высокой, слишком гладкой. Наверное, он забирался туда из сада — карабкался по древесному стволу, затем по ветке, а уж с нее прыгал на стену.

Его походка выглядела то грациозно-гибкой, то величественной, то робкой; появления были непредсказуемы, для бегства хватало легкого порыва ветра, малейшего шороха.

Откуда он приходил? Куда скрывался так молниеносно? Стена была слишком высока, железная калитка, ведущая в сад, плотно прикрыта.

Он явственно, как сейчас, видел улицу своего детства. Кошек тогда водилось гораздо больше, и они так не дичились, их привлекали мешки с отбросами, сваленные внизу под лестницами. Одна из них вечно бродила вокруг мешков, а после задремывала на ступеньке крыльца. И он поглаживал ее мягкую шерстку, следя за играми сверстников.

Ему вспоминались машины, стоявшие прямо на тротуаре, шумное тарахтение мотоцикла, фасады зданий — они были темнее нынешних, но выглядели веселей, быть может, из-за белья, развешенного в окнах и на балконах, из-за мелькания женских рук над корытом со стиркой.

С тех пор многое переменилось. Теперь ярко освещенные дома стоят двумя строгими шеренгами. А улица выглядит холодной и слегка враждебной, как туго натянутые простыни его постели, когда он ложится на них вечером, как склоненные головы швей под цеховыми лампами, как светлые глаза его жены.

Она только что вошла в комнату. И напомнила ему, что уже время ехать на фабрику, иначе он снова опоздает.

Он надел пальто. И быстро вышел, забыв попрощаться с нею.

В лагерях работали их бывшие противники, те, что отвергали необходимость перемен и не смирились после своего поражения.

Мужчины и женщины содержались раздельно; это была покорная и дешевая рабочая сила, обреченная тем не менее на скорое исчезновение. В мужских руках нехватки не будет. У него самого и у его соратников подрастали сыновья, которых прекрасно обучали. Многие из этих юношей станут квалифицированными рабочими. Но им не навяжешь тот темп, тот режим, в котором трудятся заключенные. Вдобавок молодым было необходимо пройти военную подготовку, отслужить в армии.

А где взять женщин? Ведь все хотят, чтобы их жены и дочери сидели дома, занимались семьей.

Впрочем, дети мятежников, приговоренные вместе с родителями к содержанию в трудовых лагерях, кроме которых они ничего не знали, уже достигли того возраста, когда можно производить на свет потомство. Именно сейчас — иначе будет слишком поздно.

Мигрени все сильнее мучили его. Он сидел, откинув голову на спинку кресла и закрыв глаза.

Как всегда по утрам, он слышал, хотя и пытался не слушать, все те же звуки: скрежет ведра, скрип оконной створки, хлопанье простыней.

Он резко встал, раздраженный суетой жены, ее шлепающими шагами.

Толчком открыл входную дверь. Кот сидел на обычном месте, на стене. Повернув голову, он наблюдал за человеком то ли рассеянно, то ли со скукой. Но едва он начал спускаться с крыльца, кот привстал, поднял лапу, на мгновение замер и тут же юркнул в садовые кущи.

Он пересек улицу.

Невозможно было терпеть дальше это постоянное жжение под веками, эту коварную немочь, которая, стоило свету разбередить ее, тотчас взрывалась острой — словно бритвой по глазам — болью.

Железная дверь в конце стены была закрыта. Звонок отсутствовал. Дверь вся заржавела. Он ткнул в нее рукой, и она тут же подалась, приотворилась. Он протиснулся внутрь и тогда только заметил металлический засов, висевший на одной петле, — вторая, тоже совсем ржавая, отвалилась от его толчка.

Он быстро пересек заросший сад.

Подходя к дому, он увидел, что фасад совсем обветшал. Интересно, почему его не перекрасили во время благоустройства улицы?

Старуха сидела на веранде. Он стукнул в стекло. Она встала, и он вошел.

Нет, он не помнил ее лица; скорее всего, он у нее не учился. Хотя... это было так давно.

Он разъяснил ей, что женщина в ее возрасте, к тому же вдова, имеет право обратиться за помощью в Комитет молодежи; оттуда пришлют добровольцев для расчистки сада.

Она слушала его, отвернувшись и как будто не понимая.

И когда он кончил говорить, она по-прежнему молчала, не вымолвила ни слова.

Он проследил за ее взглядом. Снаружи к стеклам веранды льнула ветка, похожая на руку с растопыренными пальцами.

Тогда он сказал ей, что дом тоже в ужасном состоянии, что следует немедленно им заняться; потом, так и не дождавшись ответа (может, она была глухая или выжила из ума), вошел внутрь.

Узкий коридорчик вел в переднюю, где царила тьма и где ему пришлось пробираться вперед на ощупь, замедленными движениями пловца, как вдруг слева мелькнула полоска света, выбивавшаяся из щелки приоткрытой двери; он направился туда и распахнул ее.

Там она и сидела — в кресле, с котом на коленях.

Он вспоминает, как ее рука, медленно гладившая кошачью спину, внезапно замерла; пальцы другой руки испуганно впились в подлокотник.

Кот приподнялся и, стоя на полусогнутых лапах, искоса глядел на него.

Сделав шаг вперед, он запнулся на пороге, и тут кот одним прыжком скрылся из виду.

А он стоял перед юной девушкой, чье обращенное к нему лицо, вначале смутно видное из-за пышных черных кудрей, постепенно обретало четкость.

Старуха сгорбленной тенью маячила позади, в дверях.

Это была сцена мучительной неподвижности. Рука девушки, ее лицо. Старуха на пороге, ее поникшая фигура. Черные глаза девушки, ее смуглая кожа. Седые волосы старухи, ее сутулая спина, руки, повисшие как плети.

Их лица и лица других, им подобных, выражавшие сначала ненависть, затем страх, изумленный беспредельный страх. Надорванные бессильные крики, а потом молчание — вечное молчание в их глазах, во взглядах арестантов и мертвецов, молчание в его памяти, так терпеливо и долго копившееся, а сейчас вдруг оказавшееся под угрозой.

Он услышал заполнивший комнату собственный властный голос, от этого звука страшный образ разбился и исчез, а с ним и предыдущий — легкая девичья рука на кошачьей спине — как иной, некогда отринутый путь, едва заметный след давних, очень давних сожалений.

Он приказал вдове и девушке следовать за ним.

Втроем они пересекли сад, улицу.

Он ввел их в свой дом.

Некоторое время спустя у дома остановилась машина и женщин увезли.

Количество заказов непрерывно возрастало. Он распорядился продлить рабочий день.

Надзирательница предупредила его, что, если швеи будут работать допоздна, качество изделий снизится. И без того они часто выпускают брак. Приходится распарывать и перешивать вещи, в результате пропадает много ткани. У женщин устают глаза, а шитье при свете ламп еще больше портит зрение.

Он просил начальство направить к нему в цех старуху и девушку, арестованных его стараниями. Эту просьбу удовлетворили — непонятно отчего. Девушка оказалась иностранкой, таким здесь было не место.

Не удержавшись, он все рассказал жене, и та разгневанно упрекнула его: долгие годы он жил бок о бок с этими женщинами и ничего не заметил! Да ведь его могут обвинить в недосмотре или пособничестве. А тут еще эта идиотская, совершенно незаконная просьба...

Она кричала, стоя перед ним, и он вдруг с удивлением обнаружил, что не узнает ни ее лица, ни голоса, а главное, что ему противно и то и другое.

Не отвечая, он подошел к окну, отдернул занавеску.

Жена за его спиной ядовито намекнула на красоту девушки, но он уже не слушал. По улице шел кот. Его худое тело касалось стены, скользило вдоль ее поверхности, как тень, как неясная, пока еще отдаленная угроза.

Когда обеих женщин доставили на фабрику, он велел привести их к себе в кабинет.

Свою соседку он видел всего пару минут на веранде, затененной пышными кронами деревьев, скрытой в путанице их раскидистых ветвей.

Сегодня у нее был такой же отсутствующий взгляд, такое же замкнутое лицо, но теперь она отвечала на его вопросы.

Девушку коротко остригли и облачили в серый рабочий халат.

Старуха прятала ее у себя в доме долгие годы. Знала ли она, кто ее родители?

Он вспоминал легкую девичью руку на спине кота, черные кудри, скрывавшие юное личико.

Мать девушки работала вместе со старухой; она оставила ей свою дочь на несколько дней (так она сказала), а сама исчезла навсегда. Нет, она ее почти не знала; нет, больше ей ничего не известно. Сообщение об аресте этой женщины ее удивило. Впрочем, об аресте она услышала много позже. Затем начался период политической смуты, и о них забыли, никто их не трогал.

В общем, она решила спрятать девочку у себя.

И они стали жить вдвоем, укрывшись за каменной оградой и деревьями, за их растущими тенями, что маячили в окнах, склонялись над застекленной верандой.

Неужели никто не приметил девочку, не слышал ее плача?

Она отвечала вежливо и подробно, хотя в голосе ее сквозила усталость. Сколько раз ей задавали эти вопросы во время пребывания в тюрьме!

Она обустроила каморку в подвале и, едва ребенок начинал плакать, уводила его туда. Когда девочка подросла, она приучила ее жить бесшумно.

Потом стали арестовывать иностранцев. И все обязаны были доносить на них. Она это знала, но было слишком поздно — очень уж долго она растила девочку и привязалась к ней.

Старуха была вконец обессилена. Сейчас, сидя лицом к окну, в ярком дневном свете, она выглядела совсем дряхлой и беззащитной.

Ну а если бы она вдруг умерла?

Она пожала плечами. Да, она часто об этом думала, но тут уж делать нечего, оставалось только ждать.

Ждать — чего? Их поражения, когда им, в свою очередь, придется бежать, скрываться? Неужели она уповала на это?

Она впервые посмотрела ему прямо в глаза жестким, ненавидящим взглядом. Ему были знакомы такие взгляды. Он их не боялся. Сколько раз он видел, как в них угасают с течением дней последние искры гнева.

Девушка сидела бочком на краешке стула, наклонясь вперед. Она глядела то в угол кабинета, то на свои руки, сложенные на коленях.

Он видел только ее щеку, опущенные ресницы (старуха тоже посматривала на нее, но казалось, девушка не замечает ни тишины во время пауз в допросе, ни обращенных к ней взглядов) и шею между коротко остриженными волосами и серым воротом халата, обнаженную шею.

Умеет ли она шить? Нет, ответила вместо нее старуха.

Тогда ей придется освоить это ремесло, да поскорее. У них много работы.

Он встал. Вызвал надзирательницу, приказал ей увести женщин.

В дверях девушка чуть замешкалась, оглянулась на него. Словно хотела что-то ему сказать. Глаза у нее были такие же черные, как волосы. Но тут надзирательница велела ей поторапливаться. Он услышал ее голос в коридоре: она напоминала девушке, что здесь нужно молчать, говорить разрешено, только когда спрашивают.

Он знал, что присутствие иностранки в цехе злит надзирательницу; уж она устроит девушке веселую жизнь.

Он вновь опустился в кресло, ему было не по себе. Жена права, он виноват в недосмотре. И эта просьба направить к нему в цех обеих женщин — конечно, тоже серьезная ошибка.

Но почему все же она так сильно вспылила? На минуту ему вдруг почудилось, что она его ненавидит, и, может быть, уже давно.

Если ему наплевать на нее, сказала она со злобным упреком, то он мог хотя бы вспомнить о карьере их сына.

Напрасно он тогда не возразил ей. В конце концов, они были не единственными соседями вдовы. Сама-то она небось ничего не заподозрила!

Все городские дома обновлялись, квартал за кварталом, как раз в те времена, когда он часто отсутствовал.

Почему же обошли дом их соседки?

Если он потом ничего не замечал, так именно оттого, что видел его каждый день и свыкся с этим зрелищем, перестал ему удивляться.

Впрочем, можно ли было предположить, глядя из окна, что дом, упрятанный в гущу деревьев, настолько обветшал? Но стоило ему обнаружить беспорядок в саду, как он сразу же и выполнил свой долг, разве нет?

Жена еще что-то такое съязвила о красоте девушки. Намекнула на каких-то сообщников, покровителей. Может, и впрямь следовало оставить все как есть, притвориться, будто ничего не видишь?

Ему стало ясно, что жена думает только о сыне. Теперь уже слишком поздно исправлять сделанное, все так же злобно добавила она, но просьба о приписке женщин к его цеху — страшная ошибка, в которой, она уверена, он еще горько раскается.

Теперь он часто задерживался на минутку у окна, тайком от жены, в надежде увидеть кота.

В саду напротив орудовали рабочие.

Он слышал пронзительный вой бензопилы, то нараставший, то затихающий, а следом глухой треск дерева, которое медленно клонилось и наконец падало наземь под хруст сломанных ветвей.

Скоро дом снесут. В нем обнаружили множество книг. К счастью, среди них не было ни одной запрещенной. В этом отношении его соседка соблюдала закон. Ее смогли обвинить только в укрывательстве иностранки.

Тем не менее этот проступок полностью оправдывал ее арест, приговор и конфискацию дома со всем находившимся в нем имуществом.

Он видел из окна, как у тротуара напротив останавливались машины; из них выходили супружеские пары, пересекали сад, входили в дом старухи. Они забирали то, что им нравилось. Остальное будет выставлено на продажу.

Сам он отказался идти туда. Жена не понимала причины его упорства, настаивала. Тогда он ответил, что не желает мародерствовать в доме тех, на кого донес.

Это была странная фраза. Он осознал свой промах по тяжелому молчанию, которое за ней последовало.

— Мародерствовать? — тихо переспросила наконец жена. — Но ты всего лишь выполнил свой долг, эти женщины заслужили наказание. Уж не хочешь ли ты, чтобы их имущество попросту сожгли?

Она была права. Он слишком устал. Заметила ли она слепящий белый небосвод нынешнего лета без дождей, без гроз? Неужели она не страдает от этого?

Что она ответила? Что прекрасно обойдется без дождя?

Он слышал звяканье посуды в кухне. Жена все больше и больше времени тратила на стряпню. Садясь обедать, он подозрительно оглядывал многочисленные яства, загромождавшие стол.

С некоторого времени он, вероятно из-за постоянных мигреней и мучительного жжения в глазах, утратил аппетит. Ему хватило бы кусоч-

ка хлеба с сыром, яблока. А он вынужден был отведывать все эти сложные сытные блюда.

Зато жена ела много, подкладывая себе еще и еще. Раньше он не обращал на это внимания, но сегодня вечером вдруг заметил, как она растолстела. До конца ужина он старался не глядеть на ее пальцы-сардельки, на неприятно бледные, слишком пухлые и слегка обрюзгшие щеки.

Он опять подходил к окну. Стена тоже скоро исчезнет, уступив место новенькому фасаду. Хорошо бы сказать девушке, что он нашел ее кота, что он заботится о нем.

Какая дикая мысль! Скорее всего, ему никогда больше не доведется говорить с нею. Она превратилась в безликое существо, подобное другим заключенным, — с коротко остриженными волосами, оголенной шеей и руками, непрерывно занятыми шитьем.

Да и жена никогда в жизни не согласится держать в доме кота.

Теперь между фасадами зияла пустота; на месте сада осталась развороченная яма, рядом поблескивал небольшой экскаватор, двигавшийся судорожными рывками, точно насекомое, испуганное неведомым препятствием.

Жена сетовала на шум, на пыль, что непрестанно покрывала мебель и полы, заволакивала оконные стекла.

А кот вернулся. Однажды утром, еще до прихода рабочих, он увидел его как тогда, впервые, нерешительно медлившего у края тротуара. Затем кот пересек улицу наискось и пошел вдоль разрытого сада.

Он шел не торопясь: казалось, он ищет в ярком свете дня тень исчезнувшей стены.

Внезапно пролился дождичек — слишком короткий, и солнце тут же снова обрушило сквозь облака на землю свой мертвенный мучительный свет.

Он с нетерпением ждал ночной темноты. Прикрыв пальцами глаза, он мерно массировал веки, но ему никак не удавалось изгнать эту цепкую боль, это упорное жжение в глубине глазниц.

Вечером он почти ничего не ел. Сидя за столом, он глядел на жену, на ее руки, снующие между блюдами и тарелкой, между тарелкой и ртом, на гладкие лоснящиеся пальцы.

Он все-таки сказал ей, что она растолстела. Но она лишь пожала плечами и долго еще сидела и жевала в тишине, не удостаивая его взглядом.

На следующий день, перед уходом на работу, он зашел в кухню. Налил мóлока в чашку, сложил в мисочку остатки вчерашней трапезы.

И оставил еду в погребе на краешке окна, которое специально распахнул: оно было забрано решеткой, и пробраться внутрь мог только кот.

Надзирательница пожаловалась ему, что работа обеих женщин никуда не годится. Старуха не слушает ни советов, ни выговоров. А что касается молодой, то большей неумехи она в жизни своей не видела.

Он вызвал к себе вдову. Он сидел за столом, а она стояла перед ним — старая седая женщина, изможденная, вроде бы учтиво слушавшая, а на самом деле абсолютно безразличная, с тенью усмешки на лице, вызванной, вероятно, его речами, его угрозами.

Разве ей не известно, что девушка — иностранка, что он может отослать ее в лагерь, где с нею будут обращаться совсем иначе?

Старуха не шевельнулась, но он почувствовал, как она внутренне дрогнула. Она еще не успела очерстветь, отрешиться от своих привязанностей настолько, чтобы ее нельзя было поймать на крючок, нащупать больное место, стереть с лица эту дерзкую усмешку.

Он отослал ее в цех, посоветовав напоследок вразумить девушку. И приказал разрешить им короткое свидание.

Кот сохранил все свои привычки.

Он все так же неспешно потягивался, переходил улицу, шел вдоль щитов, установленных вместо каменной стены, чтобы отгородить стройку от тротуара.

Медленно удалялся и на перекрестке исчезал из виду.

Каждое утро он находил обе плошки пустыми. Окно погреба он всегда держал открытым. Когда наконец польют дожди, кот сможет найти здесь приют.

На несколько дней приехал домой сын. Но и он тоже не находил себе места, бродил как неприкаянный. Может, и его донимал летний зной? Окна были распахнуты круглые сутки, ставни притворяли только днем.

Подойдя к окну, он с минуту глядел на улицу, потом исчезал в кухне, откуда возвращался с бутылкой пива в руке. Опять стоял у окна, спиной к родителям, пил прямо из бутылки и вдруг, резко поставив ее на стол, объявлял, что уходит.

Чмокнув мать в щеку, одарив ее улыбкой и махнув на прощание, он с явным облегчением захлопывал за собой дверь и сбегал вниз.

Отец смотрел, как он торопливо шагает по улице.

В дневное время, сообщила ему жена, сын тоже почти не бывал дома. Он встречался с друзьями, со школьными товарищами.

Жена была расстроена. Он видел ее грустные глаза, такие же усталые, как у работниц его цеха. Странно: ведь она-то свободна и жизнь у нее вполне благополучная.

А сын сильно изменился. Все его движения стали резкими, какими-то автоматическими. Он хотел поговорить с ним по душам. Но тот без конца ходил по квартире из угла в угол. Дождавшись, когда сын на минутку присядет, он собирался приступить к беседе. Слишком поздно — уже хлопала дверь и на лестнице звучали торопливые шаги.

Каким он был до службы в армии? Раньше отец хранил множество ясных воспоминаний о детстве сына. Но чем дальше, тем бледнее становились эти воспоминания. В конце концов они свелись к нескольким смутным образам, все более расплывчатым, все более скудным, словно он листал альбом с фотографиями, которые, от страницы к странице, теряли свои краски и четкость, на которых маячили одни лишь тени, медленно таявшие на белом картоне, как истаивали они сами под белым нещадным летним солнцем; чудилось, будто своими резкими жестами сын пытается оборонить себя от этого неумолимого жара, но, подобно всем остальным, только еще безнадежнее растворяется, увязает в нем.

Их жизнь всегда была лишь чередою жестов, каждый из которых порождал следующий. А время ускоряло свой бег, и они поневоле спешили за ним.

Они никогда не разлучались. Ложились в постель усталые, тотчас засыпали, вместе открывали утром глаза. Да, они были вынуждены разру-

шать, коли уж решили идти до конца. Нельзя останавливаться на полпути, нельзя пропускать ни одного действия из цепочки необходимых. Иначе они сделались бы обыкновенными убийцами. Те же, кто колебался, кто вдруг отказывался идти вперед, были безумцами, и их пришлось уничтожить.

А сами они пошли дальше. Они облекли свои мечты в форму исполнения долга, возвышенного и вдохновенного долга, способного объяснить и оправдать убийства.

Затем они стали хранителями своего творения и воспитали сыновей так, чтобы те могли защищать и продолжать их дело.

Позже они вновь познали одиночество, а время замедлило бег, застыло в недвижном свете этого бесконечного лета.

Сын собирался уезжать, торопился избавиться от смутного беспокойства, вернуться к привычной тесноте казармы, к тяготам военной жизни.

А им оставалась прежняя круговерть: жене в кухне, ему на фабрике, и это существование — возможно, бессмысленное — было необходимо, чтобы побеждать сопротивление, избавляться от гнета времени, каждый миг преодолевать трудности, которые, стоит лишь расслабиться, грозили погубить их. Вот только бы дождаться зимы!

Он стоял у окна.

Кот шел по границе, отделявшей их мир от того, другого. Жестокий, бесстрастный, точно оскал мертвеца.

Теперь старуха работала безупречно. Вероятно, надеялась искупить своим усердием промахи девушки, ее нежелание или неумение шить.

По вечерам, когда заключенные покидали цех, девушка оставалась на своем месте под присмотром надзирательницы.

Перед уходом он с минуту глядел на них: надзирательница стояла раздраженная, каждую минуту готовая вмешаться; девушка сидела, согнувшись над машинкой, с виду покорная, но абсолютно неспособная добиться успеха. Вечер за вечером он видел этих двух женщин в ярком свете цеховых ламп. Ничего, рано или поздно девушка все-таки смирится, уступит и будет проделывать те операции, которые сегодня не желает осваивать, всю свою оставшуюся жизнь.

Ему очень хотелось поговорить с нею.

Он ждал ее в кабинете, сидя за столом, прикрыв ладонью глаза. С каждым днем головные боли все сильнее мучили его.

Она не шла, и он, встав, выглянул в окно. Поверх стены, между крышами, торчали ржавые прутья решетки, словно тонкая штриховка на сером небосводе.

Последнее время все говорили о загрязнении атмосферы, усугубленном невиданной летней засухой. На предприятиях в окрестностях города по этому поводу велось расследование.

Обернувшись, он с изумлением увидел, что она стоит почти рядом, отделенная от него только письменным столом.

Странно, он не слышал ни скрипа двери, ни ее шагов.

Одной рукой она оперлась на спинку стула. Он велел ей убрать руку и встать прямо. Она повиновалась.

Теперь она была ярко освещена холодным, падавшим из окна светом, и он мог спокойно рассмотреть ее.

Вблизи он видел ее всего два раза. В доме старухи, где ее лицо и руки были еле различимы в полутьме. И в своем кабинете, когда их привез-

ли на фабрику и она сидела боком на краешке стула, точно скучающая гостья, которая вежливо ждет момента ухода.

Сегодня она стояла перед ним в блеклом рабочем халате.

Он сел. Ему следовало бы разбушеваться, припугнуть ее как следует, пока не поздно. Неужели старуха не вразумила ее? Известно ли ей, что ее ждет, если она и дальше будет проявлять строптивость? Но он безумно устал, а ее вид действовал на него умиротворяюще. Наверное, оттого, что ее матовая кожа не отражала света, а, напротив, поглощала, смягчала его; а может, дело было в ее терпеливой неподвижности, в молчании, в гордой осанке.

Он поднялся, сделал несколько шагов, остановился у нее за спиной. Окно ярко светилось на темной стене холодным четырехугольником с острыми как бритва краями.

Он посмотрел на нее сверху вниз, так как был гораздо выше ростом. Ее волосы, наверное, отличались той же шелковистой мягкостью, что и кошачья шерстка, тепло которой ему так давно хотелось ощутить под пальцами.

Он часто заставал кота в погребе, на одеяльце, которое постелил для него. Но стоило шагнуть в его сторону, как он медленно вставал, прижав уши и шипя, свирепо глядел на человека и одним прыжком исчезал за решеткой.

Он положил руку ей на голову, на волосы.

Она рванулась было вперед, но там стояла преграда — письменный стол.

Он расстегнул верхние пуговицы ее халата. У нее оказались маленькие, еще совсем неразвитые груди. Он дернул за пояс, халат распахнулся. Тонкая талия переходила в округлые бедра, неожиданно широкие для ее худенького тела. Его руки сомкнулись на ее животе, медленно поползли вверх и сжали плечи, вынуждая девушку обернуться.

Теперь она стояла лицом к нему. Он не смотрел ей в глаза. Касаясь губами ее волос, он шепотом приказал ей молчать. И наконец взял ее, испытав давно забытое наслаждение. Миг спустя он оторвался от нее. Она стояла, нагнувшись вперед, опустив голову. Он видел только ее волосы, сжавшиеся плечи, застывшие контуры надломленного тела.

Он велел ей одеться. Пока она застегивала халат, он сообщил, что с котом все в порядке, кот теперь живет у него. И велел ей идти работать.

Потом он опустил оконную штору и сел за стол. Случившееся было всего лишь мелким инцидентом. Он совершил то, что делали другие, что и сам он часто делал в иных обстоятельствах. Ни одна из заключенных не посмела подать жалобу.

Но он невольно вспомнил жену, ее гневную реакцию на сообщение, что девушка будет работать под его началом. Это серьезная ошибка, в которой он еще горько раскается, твердила она ему.

По крайней мере, в одном отношении она несомненно права: он был у девушки не первым, значит, у нее раньше водился любовник или несколько любовников, то ли сообщников, то ли покровителей, вот почему их не трогали, девушку и вдову, вот почему она не стала прятаться, услышав его голос на веранде, — она вполне успела бы скрыться, — а сидела и ждала, держа кота на коленях, ибо приняла его за другого.

Он через силу вернулся к работе.

Чепуха все это, ему совершенно нечего бояться. Кто посмеет теперь, когда она осуждена, встать на ее защиту?!

Он сел в машину. Зной усилился. Ему очень хотелось снять пиджак, но разве можно допустить, чтобы его увидели в рубашке!

Дома жена, как всегда, хлопотала в кухне.

С тех пор как приехал сын, она не отходила от плиты, стараясь приготовить что-нибудь повкуснее. Сын — тот ценил ее старания, он ел все подряд с волчьим аппетитом, и она была счастлива.

Наконец он смог вздохнуть свободно, расстегнуть ворот рубашки, засучить рукава.

Он с облегчением рухнул в кресло.

Комната была тщательно прибрана, стол празднично накрыт. Ему подумалось, что, сидя вот так, беспомощно обмякнув, в измятой одежде, он выглядит здесь неуместно — единственный диссонанс, нарушающий семейную гармонию.

Он откинул голову, зажмурился. Как спастись от этой жгучей боли, угнездившейся в мозгу, над глазами?! Он принялся легонько массировать набрякшие веки.

Открыл он глаза много позже, услышав голос жены. Наверное, он незаметно вздремнул. Сначала он увидел лишь ее темный силуэт, вокруг которого плясали огненные точки.

Ужин давно готов, повторила она, а сына все нет и нет.

Он с трудом встал с кресла. И предложил садиться за стол — сын наверняка скоро придет.

Они сидели друг против друга. Он совсем не чувствовал голода, но все-таки положил себе еды на тарелку, чтобы не огорчать жену еще больше. Впрочем, он заметил, что она не обращает на него никакого внимания, и перестал есть.

Огненные точки наконец рассеялись. Теперь он явственно видел жену, ее маленькие серые глазки, неприятно белое лицо, желеобразные дрожащие щеки.

Но ему не удавалось поймать ее взгляд, который блуждал от стола к двери или был устремлен в пустоту.

И он тоже забыл о ее присутствии; нынешний образ сменился другим, прежним, куда более отчетливым. Она подходила, держа тарелки в обеих руках, ставила их на стол и, выпрямившись, с улыбкой смотрела на него. Это было очень давно, в ресторане, где она работала официанткой, а он регулярно обедал. Потом она удалялась, а он глядел ей вслед. Ему вспомнился пояс ее белого фартучка, завязанный бантом, таким нарядным на черной ткани юбки, а еще тогдашний ее взгляд, тогдашняя улыбка.

Она возвращалась и чуточку медлила у его стола перед тем, как отойти.

У нее было много работы. Она бегала как заведенная по кругу, где он был всего лишь точкой отправления и прибытия, но даже в ту пору он чувствовал себя не таким одиноким, как нынче, когда она сидела напротив, глядя сквозь него.

Он оттолкнул тарелку. Опершись локтями на стол, спрятав лицо в ладони, он ощущал, как утихшая ненадолго боль просыпается с новой силой.

В первые годы их брака они почти не виделись. В городе было неспокойно, и она жила в деревне, у родни.

Да и сам он за это время тоже изменился.

Он слегка надавил пальцами на веки, и перед ним снова заплясали огненные искры; он видел, как они растут, вспыхивают, порождают целый рой других, ширятся, подобно зрачкам, увеличенным в страхе, подобно отголоскам криков, что сталкиваются в кровавом водовороте смерти.

Он открыл глаза. Все это было и быльем поросло. Он давно уже получил солидную, надежную должность, и у жены отпала надобность работать.

Стул сына так и остался незанятым.

Он встал. Ему хотелось подышать свежим воздухом.

В погребе кот лежал на своем одеяльце.

Он подошел к нему как будто совсем бесшумно, и все же кот тотчас встрепенулся, взъерошился и зашипел, глядя исподлобья.

Вот кошка его детства — та всегда подпускала его к себе. Он вспоминал о теплом кошачьем тельце, уютно лежавшем на его коленях, об их счастливом уединении среди окружающего гомона.

И все же он протянул руку, хотя отлично знал, что еще шаг — и кот, взметнувшись с места, одним прыжком исчезнет за оконной решеткой.

Отступив, он сел на ящик.

И долго сидел так, сунув руки между коленями.

Кот снова улегся на подстилку. Свернувшись калачиком и прищурившись, он бдительно следил за человеком сквозь узкие щелки враждебных глаз.

И снова, лежа возле спящей жены, он долго маялся бессонницей.

Сын вернулся поздно ночью. По его неверным шагам на лестнице было ясно, что он пьян.

К счастью, жена не проснулась.

Он велел надзирательнице прислать к нему девушку.

И теперь ждал, опершись локтями на стол, прикрыв ладонью глаза.

Как и тогда, в первый раз, он не услышал ее шагов.

Отняв руки от лица, он увидел, что она стоит перед ним.

Он опустил шторы. И все-таки боль над глазами не утихала.

Она ждала — напрягшись, как ему казалось, точно ее кот, и точно так же готовая отпрыгнуть, убежать.

Он поднялся, обогнул письменный стол.

Она не шелохнулась.

Уж она-то знала, что ей нет от него спасения.

Сын наконец уехал, и он был втайне доволен этим.

А кот все еще не давался в руки. Теперь он подпускал человека ближе, но потом все же отпрыгивал к окну, презрительно оглядывался и тотчас, скользнув между прутьями решетки, бесшумно исчезал.

После него только и оставалось, что вмятина на одеяльце.

Он садился на ящик и ждал. Даже в те минуты, когда головная боль отпускала его, он чувствовал цепкую усталость, словно его держали в плену невидимые крепкие путы. Это было какое-то хроническое недомогание, которому он не мог найти имени и которое чуточку облегчали прохлада и полумрак погреба.

Он думал о девушке. О ее теле — в тот миг, когда оно показывалось из серого халата.

Надзирательница больше не требовала отослать ее из цеха. Теперь она поручала ей самые простые работы и, кроме того, уборку помещения и шкафов.

Нередко она присылала девушку навести порядок в его кабинете, когда он там находился. В общем, сделалась его сообщницей – чтобы угодить, а еще из презрения к молодой иностранке. Или с целью завлечь его в ловушку, сказала бы жена.

Он следил, как она ходит по кабинету с тряпкой или щеткой в руках. Затем подзывал ее.

Она оставляла уборку, но не шла к нему, выжидала.

А старуха уже сломалась. Ее глаза меркли день ото дня, как он и предвидел.

Глаза девушки пока еще светились. Вернее всего, страхом, а может, и злобой, точно взгляд кота, если он оказывался слишком близко.

Он вторично приказывал ей подойти. Она медленно выпускала из рук тряпку или щетку.

Интересно, как вел бы себя кот, если бы он закрыл окно? Наверно, расцарапал бы ему лицо, вцепился когтями в глаза.

Он вставал. Тогда она подчинялась. Он сжимал ее плечи. Говорил, что кот привязался к нему – ждет у двери его возвращения, трется об ноги. И каждый вечер лежит у него на коленях.

Его руки скользили по двум плавным изгибам ее бедер, спускались к ногам, нащупывали теплую щель между ними, пока он, касаясь губами ее затылка, рассказывал о коте.

Принудительные работы позволили занять и усмирить мятежников. Труд стал для них наказанием и обязанностью участвовать в возрождении страны, которую они ослабили, в восстановлении порядка, который подорвали своим упрямством и бессмысленным сопротивлением.

Но жизнь входила в прежнее спокойное русло. Арестовывать было уже почти некого, заключенные старели.

Он все чаще и чаще заходил в клуб, где велись разговоры на эти темы, но, сам не зная почему, больше не мог принимать в них участия.

Их жены, их дочери должны были сидеть дома и заниматься хозяйством, а сыновьям предстояло отслужить положенное время в армии. Многочисленные иностранцы, работавшие прежде на заводах и стройках, давно исчезли.

Он рассеянно слушал беседы, сидя со стаканом в руке. Спиртное чуть приглушало головную боль, но притом одурманивало, и он терял нить рассуждений, схватывая лишь обрывки фраз, отдельные слова, которые бессмысленно твердил про себя, допивая последние капли.

Экономика древнего мира, сказал кто-то из них, зиждилась на рабстве. Верно, ответил другой, однако для того чтобы иметь новых рабов, нужны новые войны.

Ну, за войнами дело не станет! Это зависит только от них самих. И они хохотали. Отпивая из стакана, он услышал еще одну фразу: “а впрочем, дети рождаются и у рабов”, – но не придал ей значения, поглощенный мыслью о войне, о новой войне, которую суждено вести уже не ему, а его сыну; эти слова неотвязно преследовали его, как далекое бессмысленное эхо.

Она стучала в дверь и ждала его ответа, прежде чем войти.

Он сидел за столом, пока она мела пол или вытирала пыль. Время от времени он поднимал глаза. Она двигалась бесшумно, все ее жесты были осторожны, боязливы. Может, она надеялась, что он забудет о ней? Ничуть не бывало: ее неслышное присутствие, ее легкая поступь мало-помалу приручали, успокаивали, убаюкивали его. И он бросал работу, чтобы полнее насладиться забытым ощущением тихой радости, мягких касаний, бесплотных, как тень кота на стене.

Ему хотелось покинуть город, это тесное скопище каменных, изъеденных светом зданий. Покинуть хоть на миг, это было необходимо ему, точно глоток воздуха пловцу, вынырнувшему из морских глубин.

Он мысленно видел дорогу с деревьями по обочинам. Вот он сидит за рулем, а рядом девушка — уж не задремала ли она? Стекло опущено, и ветер треплет ее волосы, набрасывая их ей на губы, скрывая лицо.

А вот комната, постель с белыми простынями, и она лежит на них, все так же погруженная в сон.

Он сидит рядом, у кровати.

И ждет, когда она проснется.

Вокруг них царит покой, недвижная тишина, едва нарушаемая легким, мерным ее дыханием.

Но там, за оконными стеклами, мечутся тени взлохмаченных веток, бегут прочь в зловещем безмолвии серые тени облаков.

Им тоже нужно было бежать, ведь о них забыли всего на миг, — бежать от этих теней, от этого ветра, через поля и равнины, к далеким холмам; и пусть их тогда ищут, преследователи найдут лишь опустевшую комнату.

Она спала, а он глядел на нее, спящую. Он знал, что им все равно не успеть. Поля слишком голы, холмы слишком далеки, а их бегство слишком медленно.

Он вставал из-за стола. Едва он приближался к ней, ее глаза мрачнели — совсем как у кота. И он невольно оглядывался — проверить, надежно ли заперто окно, перед тем как коснуться ее.

Рабочие закончили фасад, и улица словно замкнулась в молчаливом ожидании. Теперь они возводили крышу.

Жена постоянно жаловалась на невыносимый шум стройки, на грязь и пыль.

Она скверно выглядела. Ей бы нужно больше отдыхать, щадить себя, не так рьяно заниматься уборкой, готовить еду попроще. Но она упрямо качала головой, отвечая, что ей скучно бездельничать одной дома. Ну, тогда пусть выходит, гуляет, встречается с людьми. На это она и вовсе не откликалась. Ее взгляд блуждал где-то далеко, не задерживаясь на нем. Он нетерпеливо ждал, когда же она встанет наконец из-за стола и примется убирать посуду.

Надев пальто, он шел в клуб, пил там, слушал все те же споры, в которых звучали, зрели, вздымались, подобно грозному, но еще далекому приливу, соблазн и темная жажда войны.

Однажды он вернулся уже ночью, выпив больше обычного. Вместо того, чтобы войти в дом, он направился к погребу.

Кот лежал там на своем одеяльце. Странное дело: в этот раз он как будто не услышал приближения человека. Он крепко спал.

Подкравшись, он внезапно схватил кота за шею. Но тот бешеным рывком опрокинулся на спину и вонзил когти в его руку. Он испуганно разжал пальцы, и кот, вскочив, мгновенно исчез.

Он тяжело опустился на ящик. Кошачьи когти оказались весьма острыми. Изодранная рука сочилась кровью, багровые струйки растекались между пальцами.

Иногда ему чудилось, будто пелена, застилавшая память, словно облачная дымка на небосводе, медленно расходится, и воспоминания, давно ставшие бледными размытыми тенями, оживают, обретают прежние краски. Он видел, как тела, внезапно утратив тяжесть, опрокидывались в потоках света, падали на другие тела, сваленные в кучи, сплетенные меж собой, с окоченевшими конечностями, с пустыми глазами на изувеченных лицах.

Из бесчисленных ран текла кровь. Только она одна еще и двигалась тут, расползаясь медленными липкими струйками по оголенным телам, словно тянула к нему хищные уверенные щупальца.

Головная боль, ненадолго приглушенная спиртным, внезапно обострилась, раскаленной иглой прожгла мозг так свирепо, что он испугался: вот сейчас у него там, внутри черепа, лопнет что-то и он умрет; впервые он испытал этот леденящий ужас — ощущение приговоренного на краю могилы за миг до того, как он тоже рухнет вниз, на голые недвижные тела, и почувствует касание холодных рук на своем лице, на животе, на горле.

Шатаясь, он выбрался из погреба. Дома принял несколько болеутоляющих порошков, продезинфицировал и перевязал руку.

Наутро он рассказал жене, что оступился на лестнице и слегка поранился. Ей вполне хватило этого объяснения. Она ничуть не обеспокоилась.

Девушка бесшумно прибирала в кабинете.

Головные боли стали невыносимы; вдобавок у него огнем горела воспалившаяся рука.

Он поднялся. Он безумно устал, и ему хотелось всего лишь приникнуть лбом к ее волосам, ощутить губами их шелковистое тепло.

Но, подходя к ней, он увидел, как она замерла, напряглась, и ему почудилось, будто она готовится к прыжку; он узнал этот огонек, эти яростные молнии в ее глазах: такой же яростью сверкал взгляд кота, когда он вонзил когти ему в руку и разодрал до крови, перед тем как исчезнуть.

И он тоже ощутил внезапное бешенство, забытую ненависть, которая прежде всегда жила в нем, возбуждая, точно непроходящее опьянение.

Он сорвал с нее халат. Снова ему хотелось бить, бить до тех пор, пока не брызнет кровь, пока гневные искры в ее глазах не сменит ужас, ибо он знал, что все они, почти все, в конечном счете смиряются, боятся смерти, молят о пощаде.

Она дрожала. То ли от страха, то ли от холода. Он грубо приказал ей продолжать уборку. Она протянула руку к халату, но он не отдал его. Она взялась за тряпку.

Сидя у стола, он наблюдал за ней. Все ее жесты были неловки, скованны.

Красивая девушка, только слишком худая. Вполне могла бы быть его дочерью. Но то, что унизило бы его дочь, для нее не имело никакого значения.

Он окликнул ее, и на сей раз она сразу подчинилась.

Позже он вернул ей халат и, не дав времени застегнуть его до конца, вытолкал из кабинета, прогнал.

Жара все усиливалась. Но небо постепенно темнело, облака наливались тяжелой грозовой мглой.

Он с нетерпением ждал дождя, как вдруг им объявили решение властей: женщины-заключенные должны рожать детей.

С фабрики увезли всех молодых, в том числе иностранку. Теперь цех работал вполсилы.

Наконец пришли дожди, а с ними осень, ее прохлада, ее туманы, окутавшие улицы и прохожих.

Рука уже зажила. Он давно снял повязку. На коже остались тоненькие шрамы, но жена не обратила на них внимания.

Дом напротив был построен, и туда въехали новые жильцы.

А головные боли продолжали терзать его, правда меньше, чем прежде, а может, он просто свыкся с ними. Впрочем, и беспощадный летний свет тоже слегка померк. Дни тянулись монотонной чередой – дождливые, мрачные или, наоборот, белесые от влажной дымки тумана.

Цеха закрывались, молодых женщин не хватало.

На свободные места доставили других работниц – пожилых.

Когда он прохаживался вдоль огромного зала, где снова дружно стрекотали швейные машинки, ему казалось, что никаких перемен и не было, что все идет по-прежнему; от лета остались лишь смутные воспоминания, как от длинного неприятного сна.

Старуха, его бывшая соседка, умерла. Девушка исчезла; исчез и кот – с тех пор, как он перестал его кормить.

Он работал у себя в кабинете, временами вскидывая голову, когда вдруг накатывало желание увидеть ее перед собой, занятую уборкой. Но комната была пуста. И он вновь принимался за дела. Он знал: это скоро пройдет и он перестанет о ней думать.

Снова приехал сын, в темном мундире, такой же нетерпеливый, резкий, как прежде; и он с некоторым стыдом вынужден был признаться себе, что не рад ему.

К счастью, сын уделял им очень мало времени, вечно пропадал где-то, возвращался поздно, неверной пьяной походкой взбирался по лестнице.

Он был из тех, кто жаждал новой войны. И не понимал колебаний отца, который раньше уверенно провозглашал войну необходимой и закономерной; отчего же теперь он не радуется, что сыновья продолжают и доводят до логического конца начатое старшими дело?!

Да, странно... с чего вдруг его охватили сомнения?

Ну, возраст, конечно, и скверное здоровье; а кроме того, долгие годы спокойной жизни после ожесточенной борьбы и всех трудностей, которые сын даже представить себе не может.

Но сын нетерпеливо пожимал плечами и уходил, бросив на него короткий взгляд, выражавший холодное любопытство, а может, и враждебность, презрение.

Как-то раз, после очередного тяжелого разговора, закончившегося уходом сына, он выглянул в окно.

Через улицу шел кот. Вернее, бежал торопливой трусцой; шерсть слиплась на его тощих боках.

Не раздумывая он поспешил в кухню.

Выйдя во двор, он пристроил на оконце погреба чашку с молоком и остатки ужина.

Так он и продолжал подкармливать кота, однако больше не пытался его трогать.

Кот дремал на своем одеяльце, а он сидел и смотрел на него.

И вновь он поднимал глаза, ища в комнате тень девушки, отзвуки, пусть и приглушенные, ее шагов, сладостные, хоть и смутные, воспоминания о ней.

Но в кабинете никого не было.

С минуту он вслушивался в стрекотание швейных машинок. Зима выдалась суровая. Женщины, особенно пожилые, часто болели. Некоторые потом не в силах были продолжать работу. И опять в цеху зияли пустые места.

Однако страна готовилась к войне, и ничто не могло остановить ее. Значит, вскоре у них появятся новые эшелоны с пленными.

Несколько дней шел снег. Он укрыл мостовые, кровли домов. И город тотчас принял совсем новый облик — сияющий и хрупкий, как светлое детское воспоминание, как давно забытая радость.

Но почти сразу же дождь смыл этот празднично-белый наряд, и дни вновь потянулись унылой, серой, монотонной чередой.

Головные боли после короткой передышки стали мучить его с новой силой.

Он побывал у врача, но тот не обнаружил ничего серьезного. И он вышел от него успокоенный, с лекарствами, к которым очень быстро привык, так что уже больше не мог без них обходиться.

И вновь наступило лето, а война все продолжалась. Сначала их войска, застав неприятеля врасплох, быстро продвинулись в глубь вражеской территории, но вскоре они столкнулись с неожиданно упорным сопротивлением.

Его сын уехал на фронт, туда же отбыли и мужчины постарше. А сами они были слишком пожилыми, чтобы воевать. Их ждала работа на производстве.

Грузовики непрерывно доставляли новые партии заключенных. Цеха были полны рабочих, однако часть руководителей пришлось отправить на фронт. И нужно было заменять их.

Он возвращался домой к ночи, когда жена уже спала.

Ему нравился этот избыток работы и приятная трудовая усталость.

Да и чувствовал он себя намного лучше. Лекарства избавляли его от мигреней, — правда, с каждым разом их действие ослабевало, но стоило чуточку увеличить дозу, и дело шло на лад.

Когда во двор въезжал очередной грузовик, ему случалось вставать и подходить к окну. Он наблюдал, как пленные выстраиваются в колонну и идут под охраной надзирателей к зданиям, где им отныне предстояло жить; наконец они исчезали в недрах фабрики.

Прохаживаясь по цеху, он находил повод — вопрос или замечание, — чтобы вынудить новоприбывших женщин поднять голову. И, сам не

зная зачем, искал в их глазах те огоньки, те вспышки ненависти или страха, гнева или презрения, что светились во взгляде кота, во взгляде молодой девушки. Странно, эти искры пробуждали в нем почти угасшее сожаление о ней, о ее теле, а следом и другие чувства, более давние, совсем забытые и теперь медленно оживавшие в его душе, отчего он испытывал неясную боль, ощущение какой-то утраты и вовсе уж смутное плотское желание.

Но с течением дней, довольно скоро, он улавливал происходившую с ними знакомую метаморфозу. Женщины поднимали усталые глаза, измученные напряженным вниманием, которого требовало шитье, разлукой с семьей, с родиной, с прошлым, а главное — необходимостью молчать.

Наверное, сильнее всего они были угнетены не переутомлением, не скученностью, не строгостью надзирателей, а именно этим приказом молчать — за работой, за едой, в спальных блоках, — обрекавшим их на одиночество среди людей, убивавшим волю к сопротивлению.

И всякий раз, как он встречал эти опустошенные глаза, эти взгляды потерпевших крушение, его охватывало одно и то же головокружительное чувство панического смятения, которое человек испытывает за минуту до гибели мира, перед тем, как все рухнет в бездну.

Но то было лишь мимолетное ощущение, и он куда легче справлялся с ним теперь, когда работал с утра до ночи, без передышки, а дома, улегшись в постель, тотчас проваливался в сон.

Война застопорилась. Иссякал и поток заключенных. Он ходил по цеху между швеями, глядя на их склоненные головы в резком свете ламп и белесом мареве лета.

Иногда он останавливался, привлеченный на миг цветом ткани в их руках, быстрым снованием иглы, ровной линией стежков, терявшейся где-то вдали — в тех далях, что сулили всего лишь череду одинаково серых дней, вплоть до дня их смерти. Их смерти — и его тоже.

Теперь кот, сидя в погребе, спокойно переносил его присутствие и уже не спасался бегством, если человек делал резкое движение или подходил слишком близко.

Он садился на ящик. Кот открывал глаза и, уткнув голову в лапы, следил за ним расширенными в темноте зрачками.

Он разглядывал его так, словно это существо было для него постоянным источником удивления или беспокойства, смотрел в упор, слегка враждебно, и ему вспоминались руки молодой девушки, гладившие кошачью спину, и доверчивая расслабленная поза кота, и тепло кошки его детства — там, на крыльце родительского дома.

Пристально, не мигая, кот смотрел на него. Чего он ждал? Что хотел узнать: почему этот человек кормит его, зачем сидит тут, подолгу, напротив?

Свернувшись комочком, опустив голову на лапы, кот следил за ним и, может быть, задавал себе только один вопрос, всегда один и тот же: что он сделал с его домом, с его садом, с девушкой, так ласково гладившей его?

А может, он и вовсе не видел человека, а просто лежал, погруженный в свои кошачьи грезы.

Глаза кота напоминали глаза женщин, только что доставленных на фабрику, или взгляд иностранки — одинокий и непримиримый, с холод-

ным блеском, каким отливает вода в колодце, с затаенной угрозой, с темным проклятием.

Стоя перед зеркалом в ванной, он снял темные очки, которые носил с начала лета. Никогда еще он не видел так близко свои глаза. Они оказались воспаленными, с красными прожилками на белках, с блеклыми ободками вокруг зрачков, такими же мутновато-голубыми, как летний небосвод.

Еще с минуту он выдерживал собственный взгляд, сам не понимая, что отыскивает в нем, что хочет — или боится — в нем обнаружить. Затем отправился спать.

Вернувшись с фабрики, он увидел кровавую лужицу на шоссе, против погреба.

За столом жена рассказала, что машина сбила перед домом кошку; ее убрали дорожные рабочие.

После ужина он спустился в погреб. Обе мисочки были пусты.

Он сел на ящик рядом с подстилкой. Уставившись на свои руки, зажатые между коленями, он мысленно твердил, что он тут ни при чем, он не убивал кота, нет, он его не убивал!..

Он так и не утратил привычки по возвращении из клуба спускаться в погреб и сидеть минутку возле одеяльца, на котором еще виднелись черные и рыжие шерстинки.

В доме и на улице царила мертвая тишь.

Он сидел на ящике, упершись локтями в колени. Он слишком много пил. Ему явственно представлялось тело девушки; он мог мысленно повторить — так, словно сам очертил его контуры одним движением руки, — все нежные изгибы этого тела.

Она стояла здесь, в безмолвии погреба, устремив на него пристальный, как у ее кота, взгляд, выражавший все тот же холодный вызов, то же упрямое ожидание — он и сам не знал чего, — может быть, его сожалений, раскаяния, страха, наконец?

Он проскальзывал к ней за спину. Так он хотя бы не видел ее глаз. С ее телом он мог делать все что угодно. Он распахивал на ней халат. Его губы ощущали тепло ее волос, а руки — округлость плеч и грудей. Ее тело дрожало под его пальцами, — значит, она боялась, значит, ей было ведомо, кто ее мать и как она умерла; если бы не он, ее постигла бы та же участь, вот почему она опускала глаза и покорялась ему, в благодарность за спасение.

Он медленно всходил по лестнице, тихонько укладывался в кровать рядом со спящей женой. Но не успевал сомкнуть глаза, как нужно было вставать. Его бессонные ночи опять стали чересчур светлыми, их населяли неуловимые призраки, которые маячили перед ним, дразнили, отнимали покой, лишали темноты и забытья глубокого сна. И оттого ему мерещилось, что дни идут один за другим сплошной чередой, не перемежаясь ночами.

Он еще долго видел кровавое пятно на шоссе перед домом. Оно медленно темнело и постепенно исчезало под дождем.

Ему снился кот. Его тень скользила по стене. Он торопливо сбегал вниз, чтобы догнать кота. Но вместо этого блуждал в каком-то путаном лабиринте переходов и лестниц, ломился в запертые двери, и когда в конце концов отыскивал ту, что вела на улицу, кот уже исчезал.

Или же кот лежал у его ног, а он разглядывал изуродованное тельце, грязную шерсть, слипшуюся от крови вокруг ран. Одни только глаза остались целы, но и они застыли, отливая мертвенным светом, точно диск луны в холодном небе.

И все время повторялась одна и та же сцена: его рука на шее кота, мгновенная, бешеная ярость зверька, его зрачки, вспыхнувшие злобным ликованием, зубы, оскаленные в жестокой усмешке, и холод стальных когтей, которые вонзаются ему в глаза прежде, чем он успевает защититься, прикрыть их руками, и медленно раздирают их.

Это жуткое видение, мелькнув перед ним с быстротою молнии, тотчас растворялось в душной ночной тьме, и он уже не мог понять, спит он или бодрствует, ослеп или заблудился в мрачных неведомых далях.

Широко открыв глаза и силясь не кричать, не звать на помощь, он лежал и ждал, когда растает черная пелена и к нему вернется память или зрение. Но вот он чувствовал рядом тело жены и узнавал знакомые очертания мебели.

С минуту он сидел на краю постели. Затем шел на кухню выпить стакан воды.

Он больше не мог сносить эту лютую боль, терзавшую мозг и глаза.

И он вынимал из шкафа бутылку водки. Пил медленно, не торопясь возвращаться в спальню, ожидая первых признаков облегчения, успокоения, уверенности, что сейчас начнется отлив, который унесет его в мутную пучину беспамятного сна.

Он уходил на работу очень рано. Цеха были полностью укомплектованы, однако новости с фронта звучали странно. Война продолжалась, и жена беспокоилась за сына.

Часто он ужинал прямо на фабрике, а по пути домой заглядывал в клуб, после чего еще некоторое время сидел в погребе, лишь бы вернуться к себе как можно позже.

Жена уже спала. Недавно она сказала ему, что они теперь не видятся по нескольку дней. Отчего он не идет с работы прямо домой, отчего каждый вечер проводит в клубе?

Он ответил, что в данный момент у них много проблем и в клубе он может обсуждать, даже решать их. Она смолчала.

Ему все труднее и труднее было засыпать.

Глаза привыкали к темноте, откуда медленно выплывало лицо жены, почти такое же бледное, как подушка, и руки, вцепившиеся в простыни, словно она боялась, что их с нее сорвут.

Она лежала рядом, но ему казалось, что, протянув руку, он встретит одну пустоту и что лицо жены, ее пальцы, сжимавшие простыню, всего лишь отблески луны в ночном мраке.

Однако он слышал ее дыхание, удивительно ровное, мирное дыхание, которое ничто не могло пресечь, чей размеренный ритм так угнетал его, что в конце концов он потихоньку вылезал из постели и ощупью пробирался в гостиную.

Там он садился в кресло, брал стакан, пил. И снова алкоголь избавлял его от тягостных мыслей или, вернее, отодвигал их куда-то вдаль, где они казались легкими безобидными пузырьками, которые, выбиваясь один за другим на поверхность, тут же лопались и исчезали без следа.

Так, например, перед ним возникали одно за другим лица жены — ибо у нее было много лиц, и все они чередой проплывали мимо него.

Вот ее лицо на перроне, поднятое к окну вагона, и прощальный взмах ее руки; один миг — и лицо вместе с рукой медленно тают. А вот ее свадебное лицо, взволнованное, под белой фатой; и следом еще одно — ресторанное, в тот миг, когда она ставила перед ним тарелку и выпрямлялась с озорной улыбкой; лицо, с материнской заботой склоненное к сыну; и еще другие, с совсем иным выражением — лица их ночей.

Он пил и спрашивал себя, с каких же пор она утратила лицо.

Она была тут, совсем близко, когда он уходил на работу, когда возвращался не слишком поздно. Он слышал ее голос, звук ее шагов, ощущал ее тело рядом с собой на кровати, смотрел, как она ест. Но стоило ему отойти, как ее черты расплывались, ускользали от него. У нее больше не было лица; от нее оставалась, что ночью, что днем, только зыбкая тень.

Он даже не мог определить, когда и как это началось — вдруг или постепенно, незаметно?

Он отпивал из стакана, опускал его на колено, крепко сжав в руке.

Жена стала тенью, и все другие — сын, надзирательница, которую он видел почти ежедневно, — тоже превратились в тени.

Белый летний свет притупил его зрение. Окружающий мир утратил четкость, объем, вес и краски.

Белый летний свет сжег ему глаза и память; может быть, он ослепил и других?

Все движения жены казались усталыми, равнодушными, бестолковыми. Укрывшись в четырех стенах, она неугомонно сновала по квартире, будто отыскивала, нашаривала что-то давно забытое, потерянное и не могла найти.

Вот и сын, с его резкими жестами, лихорадочно искал какой-нибудь выход, лазейку для бегства.

И люди в клубе по-прежнему беседовали, окутанные дымом своих сигарет, рассуждали о войне, талдычили одно и то же, одно и то же — так путники бродят в ночной тьме, обманутые неверными блуждающими огнями.

Он был окружен тенями; они слепо сталкивались друг с другом, все более хрупкие, все более призрачные — уже и не тени, а безмолвная рябь на стене, неуловимый трепет крыльев, дуновение, коснувшееся его век.

Мир бледнел и медленно таял в ярком свете.

И только его сны еще были живыми.

Слишком светлые часы бессонницы, слишком яркие дневные часы; все эти дни и ночи были заполнены невнятными шорохами, неслышными голосами.

А тем временем в его снах ослепительные молнии раздирали мрак. Его сны оглашались пронзительными криками, которые сменяла глухая тишина — безмолвие деревни, где спят одни лишь мертвецы.

И он жил теперь в своих снах, но они не нравились ему; вот почему вместо того, чтобы идти назад в спальню, он вновь и вновь наполнял свой стакан.

Грузовики больше не привозили новых заключенных. Война близилась к концу, и пленные работали прямо в лагерях.

Он обходил цеха. Все было спокойно. Долгие рабочие часы, проводимые в молчании, быстро пресекали любые мятежные порывы. А тех строптивцев, что отказывались смириться, тотчас убирали, и другие, видя это, становились шелковыми.

Заложив руки за спину, он прохаживался вдоль столов.

Теперь он ждал конца работы, конца трудового дня с нетерпением, удивлявшим его самого. Что могли дать ему одинокие вечера, долгие бессонные ночи?

Только одно, думал он: сидеть в кресле, пить и, закрыв глаза, ждать, когда утихнет боль в голове, над глазами, только это ему и нужно — хотя бы короткая передышка, больше ничего.

Он уселся на кровать и тут только заметил, что жены нет в спальне. Обойдя всю квартиру, он нашел записку, прислоненную к бутылке на столе гостиной.

Теперь, когда сын больше в них не нуждается, она считает себя вправе уйти. Она уехала в деревню, где до сих пор живут ее родители. И всё. Ни упреков, ни извинений, ни сожалений.

Он сел, налил водки в стакан.

И долго ждал перед тем, как отправиться спать.

Вот и теперь сон никак не шел к нему. А ведь сегодня ему уже не мешало ровное дыхание жены, упрямо размеренное, точно волны на взморье.

Теперь он был один, далеко от побережья, ничто не могло нарушить окружающее безмолвие. Ничто и никто.

Он и раньше ночевал иногда в своем кабинете, чтобы избежать утомительной езды домой и обратно на работу.

После ухода жены он прочно обосновался здесь.

Больше он не покидал фабрику. Выглядывая в окно, он удовлетворенно созерцал стену и заржавленные прутья решетки: слава богу, перед ним не торчали дома его улицы, а главное — враждебно-чужой новый фасад..

Сыну дали наконец отпуск, но он провел его в деревне у матери.

Работы становилось меньше. Люди постепенно возвращались с фронта, жизнь входила в прежнюю мирную колею.

Он почти не бывал в городе. Да и в клуб наведывался куда реже.

Его кабинет убирала теперь другая женщина. Он сидел и вслушивался в ее шаги, в стук передвигаемой мебели, в шарканье щетки по полу, стараясь хоть на миг представить себе, что перед ним та, прежняя. И он невольно поднимал глаза, но нет, ничего похожего. Эта была гораздо выше и белокожая, а не смуглая.

Он наблюдал за ней, не в силах сразу вернуться к работе.

Надзирательница предупредила его, что среди новоприбывших эта — одна из самых строптивых. Им понадобились крутые меры, чтобы обуздать ее, зато теперь она ведет себя очень хорошо.

Он разглядывал ее. Она и в самом деле работала старательно, но как-то неуклюже, словно двигалась с закрытыми глазами или впотьмах. Может, у нее плохо со зрением? Или же она не вникает в то, что делает, а просто автоматически выполняет действие за действием, стараясь только не задеть, не сломать что-нибудь, ибо даже если она не видела или не понимала смысла своей работы, то уж конечно прекрасно знала, что за ней следят, что ни один ее жест не ускользнет от бдительных взглядов тех, кто надзирал за нею, и наверняка испытывала страх, постоянный страх, который душил и сковывал ее, превращая в робота с боязливыми, тщательно рассчитанными движениями, заставляя постоянно контролировать себя.

Он поворачивался к ней спиной и шел к окну. Стоял и глядел на небо, исполосованное прутьями решетки.

Он был у себя в кабинете, женщины — в цеху; он носил темный мундир, они — серые рабочие халаты.

Тени... одни далекие, полурастаявшие, другие здесь, на переднем плане, четкие, огромные, угрожающие.

Багровый пожар войны сменился балетом этих немых теней, бешеным хороводом призраков, пляской смерти. То было запретное зрелище, которое мог видеть он один. Ибо он остался в одиночестве и тоже испытывал страх, острый и неотвязный, как боль над глазами.

Небо поверх ограды было распорото остриями железных прутьев. Лишаи ржавчины напоминали брызги крови — свернувшейся и потемневшей крови давних ран.

В числе других руководителей его пригласили посетить лагерь, где содержались женщины-арестантки с грудными детьми. Проект был осуществлен, и его авторы, вероятно, хотели получить "добро" на продолжение эксперимента, невзирая на приток новых пленных.

Лагерь находился в нескольких часах езды от города.

Машины вереницей проследовали на территорию лагеря, и ворота тут же сомкнулись.

Теперь они сидели полукругом в просторном зале. После приветствий местного начальства слово взял врач в белом халате. Он расхаживал взад-вперед по невысокой сцене. Зал был освещен неприятно ярко; врач безостановочно ходил между трибуной, стоявшей у края сцены, и темной картиной в глубине ее.

Белая ткань халата мельтешила на черной поверхности картины слепящим пятном, от которого он не мог отвести глаз, так же как не мог, хоть и желал, заткнуть уши, чтобы не слушать врача.

И он поневоле слушал, уставившись в пол, но не смея совсем зажмуриться.

Итак, говорил врач, женщин распределяют по разным цехам согласно специальностям, которым их обучили, и они трудятся там вплоть до самого конца беременности.

После родов им предоставляют несколько дней отдыха.

Сестры и санитарки ухаживают за младенцами в детском отделении, которое им сейчас продемонстрируют. Матерей допускают к новорожденным только на время кормления, во избежание совершенно излишней привязанности.

В трехмесячном возрасте детей увозят из лагеря. Их будут воспитывать в других местах, стараясь как можно раньше привить трудовые навыки. И, разумеется, вполне можно заставить женщину, родившую здоровое дитя и крепкую физически, выносить следующего ребенка.

На этом он завершил свою речь, пригласив осмотреть их заведение.

Теперь все стояли, окружив директора и врача, которые должны были сопровождать их, и он потащился вслед за остальными, борясь с тошнотой — непременной спутницей своих мигреней.

Кроватки младенцев тянулись вдоль палаты безупречно ровными рядами. Многие дети кричали, махая крошечными кулачками; их сморщенные личики побагровели от натуги. Дети были голодны. Кормление отложили из-за приезда важных посетителей. В комнате стоял оглушительный гвалт.

Они вышли в коридор. Их провели по всем цехам подряд. Наконец они очутились в швейном цехе. Он сразу узнал ее, но она не подняла головы, не увидела его. Она сидела, склонившись над своей машинкой, придерживая руками ткань, и ее волосы были освещены яркой лампой.

А их группа уже выходила.

Он не мог задержаться, это не ускользнуло бы от бдительного взгляда надзирательницы. Пришлось догонять коллег.

Сколько еще времени длился осмотр, он не знал.

И снова они собрались в актовом зале. Директор поблагодарил их за визит. Теперь он готов ответить на все вопросы. Он слушал, как они спрашивают и отвечают, не вникая в смысл слов. Когда все умолкли, он поднялся с места. И объявил, что хотел бы побеседовать с одной из заключенных. Сказав это, он сел, и в зале на миг воцарилась тишина. Вероятно, они ждали, что он объяснит свою просьбу.

Но он молчал. Директор радушно улыбался. Ему не хотелось испортить впечатление посетителей какой-нибудь оплошностью. И он предложил всем желающим сделать то же самое. Но никто не откликнулся. Он вышел из зала один. Направился прямо в швейный цех, к ее месту. И приказал ей идти за ним.

Однако он не знал, куда ее вести. Они остановились в конце коридора, у окна. Она смотрела то во двор, то на небо. Он стоял у нее за спиной. В последний раз он видел эту изящную головку с коротко остриженными волосами, обнаженную шею, худые плечики, остро торчавшие под серой тканью халата.

Но он не мог прикоснуться к ней. Уже не мог, несмотря на влечение, несмотря на усталость, прижаться щекой к ее волосам, своим телом к ее телу.

Он тоже глядел на крыши лагеря, на небо.

И задавал сбивчивые вопросы. Впервые он услышал ее голос. Глуховатый, нерешительный, словно сдавленный вечным молчанием.

А он шагал по длинной дороге, что давным-давно вела его неизвестно куда. Впереди зеленел квадратик луга, трава манила его к себе. Но этот изумрудный покров как-то странно колебался, словно его вздымали подводные течения, ленивые водовороты.

Он слушал ее, и видение рассеивалось, заслоненное лагерными крышами.

Оно таяло, но тотчас возникало опять, и шелковистая трава лужайки, пригнувшись на миг к земле, медленно распрямлялась, вставала во весь свой рост.

У нее родилась девочка. Здешняя решетка тоже обезображивала небо, как глубокий шрам, как след давно забытой раны.

Он сворачивал с дороги, окунался в живое тепло луговых трав.

У него оставалось очень мало времени. Нельзя было задерживаться здесь надолго.

И все же он медленно шел вперед. И трава обвивала его ноги своими гибкими блестящими пальцами, льнула к животу.

Это наверняка была очень хорошенькая девочка, с темными глазками и волосами. Ей хотелось, чтобы девочка сосала подольше, но та быстро засыпала или просто тихо лежала с широко открытыми глазами. И тогда ребенка уносили.

Он лежал на лугу, вдали от дороги. Там, где он прошел, осталась притоптанная борозда, медленно исчезавшая, когда трава наконец распрямлялась, укрывая и его следы и его распростертое тело.

Однажды она пришла кормить вместе с другими женщинами. Но ей не дали ребенка. Девочке исполнилось три месяца, и ее увезли.

Он прижался щекой к ее волосам, положил руки ей на плечи. Она даже не отстранилась. Стояла прямая, застывшая, словно не чувствуя его прикосновений. Он уже не помнил, что она говорила, верно ли он расслышал сказанное. Ее голос был таким же безразличным, как ее тело, и мог произносить любые слова — все равно они теперь не имели смысла.

В коридоре раздались чьи-то шаги. Сжав ее плечи, как прежде у себя в кабинете, он заставил ее повернуться к нему лицом. Впервые он смотрел ей в глаза. Они не утратили своей красоты, но свет, когда-то сиявший в них, конечно угас. Ее взгляд не выражал ни гнева, ни ненависти — разве что смутное отвращение.

Подошедший директор любезно предложил проводить его. Машины уже ждут, все готово к отъезду.

Еще мгновение она шла по коридору впереди них, потом скрылась за дверью цеха.

Перемены не заставили себя ждать, он почувствовал их довольно скоро. Теперь надзирательница швейного цеха, как и остальные сотрудники, разговаривала с ним вежливо, но холодно.

Он давно уже не ходил в клуб. Поужинав, он запирался в рабочем кабинете.

Он даже не удивился, когда сын попросил его о встрече. Мать хочет развестись с ним, сказал сын. Лучше им больше не видеться. Лучше и для нее и для него самого, настойчиво повторял он, опасаясь, без сомнения, за свою карьеру.

Да, так оно и впрямь было лучше. Сын сидел напротив него. Он сильно постарел. Но его жесты были по-прежнему резки, а взгляд блуждал, ни на чем не задерживаясь. Он находился в отпуске. А что же он намерен делать дальше — вероятно, сражаться на следующей войне?

Сын впервые взглянул прямо ему в глаза. Он как будто не уразумел смысла этих слов. Скажи, ты когда-нибудь думаешь об убитых или все уже забыл, забыл их глаза, их лица?

Взгляд сына вспыхнул ненавистью, кулаки сжались. Неужели сейчас ударит?

Он успокаивающе поднял руку. Сын прав. Тем, кто развязывает войны, и тем, кто воюет, не о чем говорить друг с другом. Каждый должен жить в одиночку и молчать, а главное — избегать этого невыносимого подведения итогов.

Они хотели построить идеальный мир. Для этого им пришлось искоренить недостатки старого. Но, сделав это, они разрушили нечто иное. Он уже забыл о присутствии сына. Да, вместе с недостатками они разрушили нечто иное. Что же именно? Тесноту и скученность, кухонную вонь на лестнице, кошачьи сборища вокруг помоек, его одиночество на крыльце, пока дети иностранцев играли и носились по улице, крича что-то непонятное. Словом, одни только досадные помехи. И однако, без этих помех окружающий мир стал враждебно-холодным, а в беспощадном леденящем свете блуждали, сталкивались, не видя друг друга, тени с мертвыми глазами слепцов. И эти пустые незрячие бельма были делом их рук.

Ну а ты, спросил сын уже стоя, готовый уйти, сам-то ты раскаиваешься, что донес на нее, или просто жалеешь, что ее у тебя отняли?

Он тоже встал — тяжело, с трудом, — прикрыв ладонью глаза. Но сын уже вышел, хлопнув дверью.

Он ждал.

Делал свою работу, подолгу простаивал у окна. Рабочие красили решетку. Ржавые пятна исчезали под черной краской.

Он с облегчением принял вызов в суд. Развод состоялся. Он счел необходимым оповестить начальство о своей связи с заключенной. Теперь он лишился права занимать прежнюю должность. Ему дали несколько дней на сборы и велели ждать приказа.

Он давно уже не бывал у себя дома.

Все было покрыто слоем пыли, и ему чудилось, будто между его воспоминаниями и тем, что находилось у него перед глазами, зияет глубокая пропасть.

Он снял мундир, надел старые брюки и свитер.

Несколько раз сходил из дома в погреб, перенес туда все запасы спиртного.

Нагнувшись к кошачьему одеяльцу, он собрал с него оставшиеся волоски, разложил их на ладони и впервые заметил, что каждый из них окрашен в три цвета — белый, рыжий и черный с сероватым отливом.

Сидя на ящике, он медленно пил до самой ночи. Ему чудилось, что он избежал ужасной опасности. Потом он закутался в одеяло и лег, подложив под голову какое-то тряпье. Он лежал и тихонько посмеивался. Что же все-таки случилось? А вот что: он сам превратился в помеху, в недостаток, который им придется искоренить. И тем не менее он был почему-то уверен, что избежал ужасной опасности.

Он пил, и уплывал куда-то, и проваливался в сон, как проваливаются сквозь гнилой настил.

Потом просыпался, не открывая глаз, нашаривал бутылку, отхлебывал из нее.

И слушал. Он узнавал эти звуки, этот тихий гул — шелестящее дыхание ветра в древесной листве. Он толкал железную садовую калитку, прикрывал ее за собой. И шел по аллее на цыпочках, стараясь ступать как можно тише.

Она была там, сидела под деревом. О чем она думала, склонив голову, с ясным, невозмутимым лицом в черной пене буйных кудрей, разметанных ветром?

Он лежал в траве. У него не было сил шелохнуться.

И глядел на нее.

Ее рука, ласково гладившая круглую кошачью спину, каждым своим движением повторяла, утверждала все тот же пассивный, немой, упрямый отказ. И каждый из этих жестов бесповоротно отталкивал, отстранял его.

Высоко в голубом небе плыли, догоняя друг друга, круглые облачка, легкие, как девичий смех.

Анн Перрье

Стихи

Перевод с французского Юлии Покровской

***

Если бы я была глубокой лощиной
Я укрыла бы вас своей тенью
Если бы я была морем
Я утащила бы вас в свои бездны
Если бы я была горной рекой
Я бы прыгнула вам навстречу
Если бы я была лентой дороги
Я бы кинулась вам под но́ги
Если бы я была виноградом и граппой
Я пьянила б вас целую ночь
Если бы я была зерном налитым
Я бы золотом вас завалила
Если бы я была июньской пчелой
Я собрала бы для вас мед сердца
Если бы я была ящерицей
Вы нашли бы меня в своем доме
Но кто я такая Нечто·Ничто
И это заплаканное лицо
Вечно прячется в ваши ладони

***

Иду по самой границе
Дня и ночи среди теней
Кто предсказать решится
Тьма или свет сильней
Видела: солнце в могилу ложится

© Anne Perrier, 1988
© Ю. Покровская. Перевод, 2002

Грустный обряд
Но говорят
На кладбище пел петух и у этой птицы
Был ослепительный взгляд

***

От тебя теперь известий нету
Частоколы изгороди неба
Тайны хорошо свои хранят
Звезды тоже не дают ответа
И глаза поспешно закрывают
Где же те тенистые сады
Чистые которые искали
В детстве мы в исчезнувшей стране

На столе у меня
Роза цветет
В тишине

Гимн весне

Фрагмент

Этим утром согрета
Роза взрывается как петушиный крик
В тишине рассвета
Старые слова трещат зайдя в тупик
Холмы расцветают торжественно
Вода в ловушку попав
Бежит спасаясь божественная
Между девственных трав

Ах что́ за солнце ветер какой
В закатный пустились танец
Тенями тревожа сон и покой
К воде приложили свой
Все обагривший палец
Убегая от смерти прыгает свет
С камня на камень путая след
И как безумия чары
В артериях гул пожара
Огненный жгучий бред

Небо словно большая птица
Пари́т себе голышом
Сердцу узника тесно в нем
И рушатся все границы
Пчелкой в улье жужжит душа
Ум на подъеме но ввысь спеша
Видит тысячи мыслей мертвых
Пусть время смоет за бо́рт их
Утром в долине там где обрыв
Виноградный случился взрыв

Ильма Ракуза

Стихи из книги “Love after Love”[1]

Перевод с немецкого и вступление Елизаветы Соколовой

За любовью — стихи

Ильма Ракуза — известный швейцарский славист, критик, драматург, поэт... Одним словом, писатель. И очаровательная женщина.

Писатель, как известно, тот, кто не может не писать. А настоящая женщина не может жить без любви. И поэтому Ильма Ракуза приговорена любить и писать — в первую очередь, стихи о любви.

Стихи у нее, на первый взгляд, разные: короткие и длинные, рифмованные и свободные, стихи-мгновения и стихи-летописи. Но в главном друг на друга похожие. В том смысле, что все ее стихотворения — строфы какой-то одной очень длинной и печальной поэмы. Без конца и начала. Поэмы о прекрасной Ильме и ее Герое.

Героем может быть Бродский или Маяковский, Чехов или Достоевский, Малевич или Пушкин. Откликаясь на Ильмин зов, русские классики покидают “перечеркнутый мир”[2], входят в ее гостиную, садятся в уютное кресло напротив и вступают в беседу.

Бывают и другие Герои. “А. хочет Б., Б. хочет А. Ничего не попишешь. Только что-то не хочет, чтобы А. с Б. и Б. с А.”. Так начинается ее рассказ “Середина игры”.

Когда “что-то не хочет”, вместо мелодичных девятистрочников слова укладываются в бесконечные монологи отчаянья и боли раненого сердца, не понятого до конца. Уж не из-за того ли, что Он и Она говорили на разных языках?

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2001
© Е. Соколова. Перевод, вступление, 2002

1. Любовь после любви (*англ.*).

2. “Перечеркнутый мир” — название одного из изданных в Германии сборников стихотворений И. Ракузы, а также книги ее избранных стихотворений и рассказов, многие из которых посвящены русским классикам (рус. перев. М., 2000).

Многоязычие — чарующая особенность творческого мировосприятия Ильмы Ракузы. Родилась она в нынешней Словакии, неподалеку от итальянской границы. Первым ее языком, доставшимся от матери, стал венгерский (до сих пор к детям и животным Ильма обращается по-венгерски), вторым (от отца) — словенский. Потом состоялось первое знакомство с итальянским, и только уже в шестилетнем возрасте — с немецким, который впоследствии и занял место родного для нее языка. Но в Швейцарии, куда забросила ее судьба, государственных языков четыре. И как человек очень вежливый и тонкий, она сочла своим долгом выучить их все (кроме ретороманского). К тому же она, разумеется, свободно владеет английским. И наконец, свое взяла навсегда сохранившаяся в ней любовь к славянским языкам. Отсюда ее специальность — славистика; языки — русский, словенский, польский, сербскохорватский; плюс глубокое и искреннее преклонение перед русской литературой.

Так неужто разноязычие могло стать препятствием именно для ее любви? Могло, если это разноязычие сердца. Как раз об этом последняя книга стихов Ильмы "Love after Love", пронизанная отчаяньем одиночества, драматизмом расставания и каким-то новым трагическим ощущением человеческого многоязычия.

L*imbo* (I)

1. region on the border of Hell
2. Hell, Hades
3. prison, durans
4. border, edge
5. zombie-like condition[1]

Срубил
и из-под ног уходит почва прочь
прочь
из-под ног: где
птицы пели сердцу
в тон
late fall[2]
желтая листва крушенья
надежды поздней
на простую радость
так много хочет

дети играют
тоже уже не актуально

1. *1. область в преддверье ада*
2. ад, Аид
3. тюрьма, заточение
4. край, граница
5. близкое к зомби состояние (англ.).
2. Здесь: поздняя осень (*англ.*).

только четвероногий друг
собака носится по кругу
и запах
каштанов
детеныш новорожденный косули
(какой-то праздник дичи) пир
кухарки с длинными ушами
на ножках тоненьких
в дождь
по домам
а кто зовет?
Сирены облик
всплыл в моем мозгу
пустыни реки
голые холмы
свалились сверху
целая страна
свалилась: голубой эфир
не знает поясов
а там где я
все как всегда
(в мечтах) за самолетом
без посадки

призыв парящий:
развернуть ступни
walk through the mud[1]
сквозь бездну ноября
стрекочет
вслушайтесь же
(совести сверчок)
пока лицо отбрасывает
складки
и

насколько глаз хватает моря нет
видна лишь вертикаль
в глазах темнеет
кругом голова
медово-желтый Бог
(reluctant gravities[2])
я выхожу
вхожу
не нахожу
где это было

звезда как гумно
голубятня гобелен
в садах листва лишь

1. Идти сквозь туман (*англ.*).
2. Неустойчивое земное притяжение (*англ.*).

свалена
приткнулся стул на ночь
было так в тот раз
две полосы по небу
сразу спуск
so indifferent, so unpleasurably[1]
плоть

egress to ingress[2]

сама себе любовь сияет
in limbo, Mr. Edge[3]?

L*imbo* (II)

Красный — пощечина грубой перчаткой
красный — рябина забытого рта
красный — пламя в камине
малиновка влет, карминный
красный ковров бухарских
взрыв — вызывающе-красный
рана — где, я спрашиваю, пожар?
догораем мы между
страхом объятий и
небытием

Потроши
беззащитную комнату
только сверху свет из канюли[4]

можно мне или нет
прикоснуться к себе?
ожидание длится
ветер как в Рождество
пусть очистит мой голод
соблазном могущества
слов обрывки кружатся
лежу я без сна
shaken, I try to take shelter[5]

1. Так равнодушно, так неприятно (*англ.*).
2. Выйти, чтобы войти (*англ.*).
3. В limbo (см. прим. 1 на с. 35), мистер Эдж? (*англ.*). Edge по-английски — "край", "острие", "критическое положение".
4. Канюля — (*мед.*) полая трубка с тупым концом, предназначенная для введения в организм лекарственных веществ, а также для анатомических, паталогоанатомических и лабораторных исследований.
5. Дрожащая, хочу я обрести приют (*англ.*).

но
где рука, что меня защитит
no foothold, no sheets[1]
просто
я
и в мозгу распевает малиновка
зимние песни

снежный ком
шум и боль
кедра древние стоны
к концу сна наготове слеза
кисти цокот пустые звонки
боль

в ржаво-красном доме ребенок
с морем один на один
это я?
the sky lost in the currents[2]
одинокая как никогда
лба крутой берег chambers in the heart[3]
одна для тебя другие для ребят
обломки

красный — страсть — не для брака
ты мучительно мертв
море там
бьется в гневе теперь

море-разлучник

с тех пор я не знаю
зачем начинается день
сплошь паденья
падет мак морали
и Месяц
летящий в Аид
детка, это же было не-
обходимо
how meager our claims
consumed in the gap of promise[4]

ликуя когда-то
гипнотически high[5]
по шатким ступеням

1. Нет точки опоры, нет простынь (*англ.*).
2. Небо, потерявшееся в потоках (*англ.*).
3. Камеры в сердце (*англ.*).
4. Как убоги наши требования, канувшие в пропасти обещаний (*англ.*).
5. Высоко (*англ.*).

up in the sky[1]
но так ведь нельзя
wet shock[2]
падать вниз
в глубинное царство мифов
в подземный шатер химер

мозг пустой
опустевшая спальня
but memories scream on my cheeks[3]

Все когда-то впервые: досада, Париж
пляска и царапины на паркете
сталь
свидание не удалось
надоели complaints[4]
перчатки (мои, рыбий мех, из детства)
ты: спина предо мной на бегу
шаг и шепот и крик
прощание без поцелуя
ожидание — жажда в любую секунду
down on all fours[5]
по-собачьи

перевалило за полдень прочь
вечер ночь
снова день
(а я где)
a prisoner of memory[6]
спасаюсь
грызу твои кости

worried boundery of bones[7]

высоко, где малиновка
высидит нас

слишком поздно

оперенья не будет, в гнездах

из яиц только бой

1. Вверх, в небо (*англ.*).
2. Здесь: потрясение, шок (*англ.*).
3. Но воспоминания вопиют у меня на щеках (*англ.*).
4. Жалобы (*англ.*).
5. На всех четырех (*англ.*).
6. Узник памяти (*англ.*).
7. Потревоженный костяной остов (*англ.*).

растрачена
разграблена
раскромсана
раздраена
разорвана
разрушена
раздроблена
раскатана
разрезана
растерзана
размазана
раздавлена
растоптана
развеяна
разбита
разлохмачена
раскроена
разгрызена
размыта
разбазарена
разделана
раскопана
разлюблена

That's it, I say.
My sky fell on the street[1].
Молчание.
Где гнездятся слова
если порознь сердце и ум
у меня
а по улицам Лондона
рука об руку с тобой другая.

Стоп!
Крик хватает тебя за ворот
опадает
роняешь: прочь
не обернувшись
ведь жизнь моя
the gap between knowing and pain[2]
аллея иллюзий
громкий треск
трещина

только не
одной

1. Я говорю, это так.
Мое небо рухнуло на улицу (*англ.*).
2. Пропасть между знанием и болью (*англ.*).

в холщовой палатке
утром в подушках
мертвых ночей
мы танцуем с тобой навылет

a film gone white
dreams bleached[1]

где осталась мечта

стройный хор наших легких
губ и душ
полтонны удушья
ты вверху
я без кожи

бьешь
уходишь
ушел

I am caught
in one body
cramp splinter raw dark[2]
язык отказал

swords[3]

обрубок теперь обернется
в свою малую малость
назло Небесам
палец близок к инцесту
за зубами язык
мой моими
мои
carrying blood[4]
взаперти
оттого что на волю
тобой
bewitched by[5]
возьми же домой
нет
верни же покой
нет

1. Кадр стал блеклым
отбеленные сны (*англ.*).
2. Я закована
в теле, только в теле
спазма осколок сырой темный (*англ.*).
3. Мечи (*англ.*).
4. Несущие кровь (*англ.*).
5. Заколдованная (*англ*).

печень почки в раздоре
гипоталамус и мозг
desire comes legs apart[1]
красный цвет сохраняет
обновляется хочет
тебя

доболтаешься до смерти

горек хлеб
хлев уродливых
чувств я

плоть кружится сама по себе
эха нет
defeated by darkness[2]
счет мгновениям пытки ведет
жвачка времени

дальше что

bed
breath
death[3]

нет

1. Приходит желание ноги врозь (*англ.*).
2. Побежденная темнотой (*англ.*).
3. Постель
дыхание
смерть (*англ.*).

Адольф Мушг

Счастье Зуттера

Роман

Перевод с немецкого и послесловие Владимира Седельника

Посвящается Зигфриду Унзельду

Не бойся. Я только о том спрашиваю
тебя, о чем ты не можешь рассказать.

Гуго фон Гофмансталь

I
Предостережение

ПЕРВЫЙ раз телефон зазвонил 2 ноября, спустя пять недель после смерти Руфи, день в день. Между двумя этими событиями Зуттер не усмотрел никакой связи. Но время — 23 часа 17 минут — осталось в памяти, потому что на следующий вечер звонок повторился с точностью до минуты, и с тех пор Зуттер мог бы сверять по нему часы.

В этом, однако, не было необходимости, так как настенные часы в комнате, на которые он поглядывал сперва удивленно, а потом с раздражением, секунда в секунду сверяли свой ход с импульсом, который они, если верить инструкции по эксплуатации, получали откуда-то из-под Франкфурта, то есть с расстояния в 500 километров. Вопреки своим привычкам Руфь заказала эту игрушку в одной рассылочной фирме, быть может потому, что невероятная точность отсчета времени забавляла ее и отвлекала от мыслей о краткости отпущенного ей срока.

© Suhrkamp Verlag, Franrkfurt am Main, 2001
© В. Седельник. Перевод, послесловие, 2002
Журнальный вариант. Полный текст романа будет опубликован издательством "Прогресс-Традиция".

Когда раздался звонок, Зуттер сидел в "кресле сказок". Кресло, доставшееся Руфи в наследство от тети, получило это название потому, что больная устраивалась в нем, когда он читал ей вслух сказки; он делал это каждый вечер, чтобы избавить ее от страха перед надвигавшейся ночью. Нередко случалось, что она, пока он читал, неожиданно впадала в полудрему, чего обычно трудно было добиться, несмотря на всевозможные лекарства. От сильного снотворного, которое прописал ей врач, она отказалась: "Я, пока еще жива, не хочу засыпать мертвым сном".

Теперь в "кресло сказок" усаживался с книгой он сам и ловил себя на том, что пытается устроиться в нем в той же позе, в какой сидела Руфь, но его длинные ноги никак не умещались в кресле с высокими подлокотниками.

Он читал детективные романы, целую стопку которых обнаружил в подвале. Там они пылились со времен его студенчества. Он покупал их перед экзаменом по правоведению, проглатывал за два дня и шел покупать новый, хотя каждый раз, прежде чем отправиться в английский книжный магазин, давал себе клятву, что эта покупка будет последней. Прочтет и начнет работать, только работать — и не заниматься ничем другим. Вместо этого он забирался в свою каморку и прочитывал один томик в полосатой зеленой обложке за другим — так курильщики, докурив одну сигарету, прикуривают от нее следующую. Курить он бросил десять лет тому назад. В одно прекрасное утро он вдруг не захотел лишать себя всего того, от чего, как ему представлялось, его избавляла сигарета. Он почувствовал себя виноватым, когда понял, от какого удовольствия отказался, но чувство вины, вызываемое курением, было еще сильнее. Однако от наслаждения французской сигаретой не осталось ничего, когда через неделю ему удалось избавиться от этой привычки.

Но, похоронив Руфь, он снова оказался во власти неодолимой жажды чтения. Вместо того чтобы, как он собирался, навести порядок в доме, прибраться в комнатах, Зуттер застрял в подвале, наткнувшись на стопку детективов издательства "Пенгвин". Их сюжеты он забыл, хотя от этого они не стали свежее. При повторном чтении он с особым интересом следил только за тем, как было обставлено убийство, и именно поэтому все читал и читал, не переставая. Он внушил себе, что неодолимо влекут к себе не сами эти истории, а те отложившиеся в них жизненные обстоятельства, в которых находился он сам, когда в молодости проглатывал томик за томиком. Таким образом он как бы охотился за временем своей собственной юности. Но ведь он потерял его четыре десятилетия назад, за чтением этих книжонок. Тогда он читал так же бессознательно, как и теперь, — и с той же целью: чтобы отодвинуть мысль об испытании, которое вызывало в нем отвращение, и в конце концов совсем о нем забыть. Но забыть о себе самом в 66 лет не так-то легко. Поэтому он держал перед глазами книжку.

Когда в кресле сидела Руфь, оно обычно стояло в полумраке. Он устраивался напротив на табуретке, лампа, стоявшая между ним и Руфью, бросала свет только на раскрытую книгу. Свет достаточно сильный, иначе строчки расплывались бы при его близорукости. По этой причине кресло погружалось в глубокий мрак, и иногда создавалось впечатление, что в нем никого нет. На Руфи был халат из цветастой ткани, узором напоминавшей обивку кресла в стиле модерн. При дневном свете ткань выглядела бы оливковой и цвета охры, а обивка — лиловой и фиолетовой. Но Руфь и днем умела избегать света. Когда он читал, она прятала

исхудавшее лицо в складках халата, и можно было подумать, что голова ее с густыми черными волосами, выдержавшими сеансы химиотерапии, погружена в чашечки вытканных тепличных цветов.

Это шафран, объясняла она, хотя он предпочел бы говорить о крокусе; цветы на обивке тетушкиного кресла она упорно называла осенними безвременниками. Кто читает больной сказки, не должен спорить с ней о ботанике. И кресло она называла так, как когда-то ее тетя называла весь дом: резиденция. Моя резиденция — руина, Зуттер.

Руина, Руфь? Обычно это слово употребляют во множественном числе — руины. А не назвать ли тебе кресло обломком, раз оно у нас некомплектное?

В своей некомплектной "резиденции" она становилась "все меньше", это было одним из ее устойчивых выражений, которое с приближением смерти она употребляла все настойчивее. Я становлюсь все меньше, Зуттер, не смотри на меня. Смотри в свою книгу, читай дальше Гевару.

Этот оборот речи долго приводил его в замешательство.

И вот теперь он сам сидел в кресле и читал не отрываясь книжонки о кровавых преступлениях. Для этого ему пришлось передвинуть торшер туда, где сидела Руфь, — единственная перестановка в доме, которую он предпринял за эти полтора месяца. Он не мог заставить себя взяться за уборку, поэтому так и не приступил к ней. Достижением было уже то, что он, кое-как поев, относил посуду на кухню, чтобы глаза, отрываясь от страницы, не наталкивались на уже явно угрожающее запустение. Читаешь, а кажется, будто не читаешь; не читаешь, а кажется, будто продолжаешь читать: собственно говоря, он лишь тупо смотрел на строчки, бегущие по страницам книги, точно легкое волнение по воде.

Случалось, когда он вроде бы читал при свете лампы, его ни с того ни с сего вдруг охватывал страх. Тогда он с усилием поднимался из кресла и начинал ходить по опустевшим и онемевшим комнатам; ему казалось, что жизнь вокруг остановится, если он еще хоть мгновение бездумно будет смотреть в книгу. Как бы нечаянно он забредал на кухню, радуясь, что его ждет там грязная посуда. Он так старательно мыл ее под краном горячей водой, словно доказывал этим свое присутствие в мире. Если чрезмерно горячая вода обжигала ему руки, он отдергивал их с наслаждением. Вода была еще живой и не забывала причинять ему боль.

Но 2 ноября он беспричинно и сильно вздрогнул, когда телефонный звонок вырвал его из состояния отрешенности. Было уже поздно, он заметил это по своей возмущенной реакции. 23 часа 17 минут — кому пришло в голову звонить ему в такое время? Он не снимал трубку, круг его близких знакомых знал это. Люди, считавшие себя его друзьями — чаще всего это были друзья Руфи, — научились уважать его необщительность, хотя по выражению их лиц было заметно, что давалось им это нелегко. Они боялись, что он впадет в депрессию, именно эту участь они заботливо ему предрекали. Столь же естественным образом они были обязаны считаться с его уединением. Он не очень вежливо избавил их от обязанности "заглядывать к нему на минутку", когда они шли куда-нибудь, только потому, что он оказывался на их пути. Не беспокойся, Фриц, я справлюсь. Ну разумеется, дорогая Моника, будь так добра, не забивай себе, а заодно и мне голову моими проблемами.

Поселок "Шмели" был когда-то спроектирован архитектором Шлагинхауфом, человеком левых взглядов, с мыслью о растущей общности отвечающих за свои поступки людей, и его действительно построили с

расчетом, что он простоит 99 лет, зато цена была вполне сносная. Уже через десять лет Зуттер и Руфь, менее всего подходившие для утопии о жизни в коммуне, были единственными, кто все еще оставался в этом поселке. Товарищи по коммуне расстались, развелись, преуспели, во всяком случае выехали, переселились в другие места. Но многие сохранили прежний дух товарищества, хотя бы в виде чувства вины, и вот теперь они, словно добрые духи, стучались в дверь к жившему в одиночестве Зуттеру.

— Ты изображаешь из себя покойника, Эмиль, а ведь и сам не веришь, что это понравилось бы Руфи. Ты прекрасно знаешь; как она любила жизнь. Чту твое уединение, Эмиль, но не кажется ли тебе, что ты избегаешь конфликтов? Может, это глупо, что я иду на такой конфликт: мне нужна помощь, Эмиль, твоя помощь. Говоря откровенно, Эмиль, это уже не похоже на зимнюю спячку, это набравшая силу депрессия, и ты, вполне естественно, должен от нее избавиться.

— Если хочешь знать, Фриц: я от *себя* должен избавиться, а не от депрессии.

— Если тебе не по душе разговоры, мы могли бы и помолчать вместе.

— Спасибо, Фриц, но в данный момент даже молчание с тобой мне в тягость. Я знаю, Моника, вы недавно соорудили у себя камин, представляю, как это чудесно — помолчать, уютно устроившись у камина. Каждый вправе помолчать, глядя на пылающие поленья, но почему именно я?

— О Эмиль, депрессия — это болезнь, а болезнь — это ведь не приговор судьбы, Эмиль, тем более эта депрессия излечима, ее можно остановить, хотя бы с помощью химии, требуется лишь время и терпение.

— У меня нет времени на депрессию, Фриц, и еще меньше терпения, чтобы говорить с тобой о депрессии.

— Позволь по-дружески спросить, что ты делаешь целый день, ты же совсем не выходишь из дома. Я понимаю, у тебя траур, но нельзя же так.

— Спасибо, Фриц.

— Но ты, надеюсь, знаешь, что не должен чувствовать себя одиноким. Одно твое слово — и...

— Да, Фриц, душевно я здоров. Ты это слово хотел услышать?

— Можно нам снова заглянуть к тебе?

— Заглядывайте, я впущу, если вы ненадолго и не ждете угощения, главное, чтобы визит не затянулся. Но сделайте одолжение — избавьте меня от телефонных звонков. Звонки и впрямь вгоняют меня в депрессию. Уж лучше вломиться без разрешения, чем это.

И они вламывались, а когда он не открывал, оставляли у дверей бутылку вина, букет роз или дрожжевой пирог, собственноручно испеченный Моникой. Но по телефону больше не звонили, и ему не нужно было вставать, когда звонки доносились из кухни и одновременно сверху, из спальни. Звонить мог кто угодно, только не друг.

— Почему бы тебе его не отключить?

— Ты не разучился задавать хорошие вопросы, Фриц. Я *хочу* его игнорировать. То, что я не подхожу к телефону, — одно из моих достижений. Пусть себе трезвонит. Я оставляю ему эту *возможность*.

Но не в 23 часа 17 минут.

Даже нарушать правила нужно вовремя. Зуттер приподнялся, чтобы ответить на этот звонок — именно на этот! — и высказать звонившему все, что он о нем думает. На мгновение ему показалось, что кто-то нуж-

дается в его помощи. Но кто в этот поздний час станет обращаться к нему за помощью?

И он остался на месте. Ему хотелось узнать, как далеко зайдет это бесстыдство. Звонок повторился уже в десятый раз. Ну хватит! Он импульсивно поднялся, горячее бешенство залило его, ударило в онемевшие ноги. Они понесли его на кухню. Но едва он протянул руку к трубке, как аппарат замолчал.

И то дело.

В ярости он поплелся назад, ежесекундно ожидая, что звонок раздастся снова. Но нет, не раздался.

Дыша тяжелее обычного, он хотел снова приняться за чтение, но не мог вспомнить, на чем остановился. То, что он начал читать, показалось ему уже читанным. Но точно такое же чувство было у него и тогда, когда он читал свежий текст.

Групповой домашний портрет был бы неполным без кошки, спавшей, свернувшись калачиком, на том самом месте, где сидела Руфь, когда он читал ей сказки. В этой позе кошка была черной, вплоть до белой полоски, тянувшейся вдоль бедра задней лапы. Не будь этой белой полосы, кошка на черной коже дивана совсем бы исчезла. Белую половину своей похожей на маску мордочки она прикрывала черной передней лапкой, три остальные лапы были в белых сапожках.

После испуга, вызванного телефонным звонком, присутствие кошки было ему утешением, даже комната не выглядела такой уж пустынной. Внешний мир отодвинулся куда-то на задний план. Снаружи холодало. По радио — он слушал только последние известия, словно они имели к нему хоть какое-то отношение, — объявили, что ночью будет мороз, так что кошка могла и не просыпаться. Неуютную кожу она предпочитала любым мягким подушкам. Она любит спать там, где люди чувствуют себя не очень уютно, говорила Руфь, когда кошка устраивалась на ее опухшем животе. На колени к Зуттеру она садилась только на минутку, а сам Зуттер предпочитал кресло Руфи, сиденье которого было обито цветастой материей: здесь ему было хорошо. Здесь он чувствовал себя в безопасности, когда дом опустел.

Успокоившись после телефонной атаки, он оглядел квартиру, которая как бы подобралась под его взглядом. Даже кошка ожила. Она встала на все четыре лапы и потянулась: сначала передними сделала котау, поклон на китайский манер, потом, вытянув задние, изобразила раненого льва. Узкая белая полоса на черном фоне при этом распушилась и стала походить на какой-то символический рисунок. Умей я прочитать то, что на нем изображено, говорила Руфь, я бы не боялась больше никакой боли.

Кошка заглянула ему в лицо своими окаймленными желтизной зрачками и зевнула. В разинутой пасти недоставало правого клыка. Должно быть, его кто-то выбил, когда она пропадала целую неделю. Кошка пережила свою хозяйку. Зуттера она сторонилась, даже когда была голодна.

— Давай, кошка, я тебя покормлю, — сказал он. — Извини за этот звонок. Думаю, он больше не повторится.

Звонок повторился на следующий день, и когда Зуттер взглянул на часы, на них было 23.17. На сей раз он не стал терять время на раздражение и в два прыжка был у аппарата. Но едва он прикоснулся к трубке, как телефон умолк.

На следующий день, прослушав в одиннадцать вечера последние известия, он стоял на кухне у телефона и посматривал на циферблат наручных часов, которые он сверил с абсолютно точным ходом настенных в комнате. 23.17. Тишина. Он подождал еще три минуты, готовый мгновенно поднять трубку. Никто не ответил.

— Ну и ладно, — громко сказал он, — парень отказался от своей затеи. Дважды в одно и то же время: вероятно, просто игра случая.

На следующий вечер — он как раз начал читать новый детектив — телефон зазвонил снова. В 23.17. Какой уж тут случай, подумал он. И решил про себя: пусть звонит, пока не надоест.

В 23.19 телефон все еще звонил.

Он сосчитал звонки. После тридцать седьмого телефон замолчал — на десять секунд. Потом зазвонил снова. Зуттер встал. Чтобы звонки прекратились, надо было дойти до кухни. И они прекратились, едва он дошел до порога.

С этого вечера в доме появилось нечто живое. И вскоре он понял, что с этим можно экспериментировать. Если в девять минут двенадцатого он выходил из квартиры в сад, чтобы послушать шум ветра и шорох быстро опадающей листвы, телефон не звонил ни в семнадцать минут двенадцатого, ни позже, когда он, продрогший и промокший, снова входил в дом.

Видимо, звонивший наблюдал за Зуттером, и наблюдал с очень близкого расстояния. Где-то был человек, который всегда в одно и то же время, ночью, следил за Зуттером. Может, какой-нибудь взломщик хотел точно знать, когда его не бывает дома? Но он — кем бы он ни был — похоже, интересовался скорее присутствием Зуттера, более того, заигрывал с этим присутствием. Если это форма террора, то с какой целью?

Без сомнения, звонивший добился своего: Зуттера стало возмущать нарушение привычного порядка, и теперь он думал только об этом. Может, ключ к загадке следует искать именно здесь? Может, у него был странный благожелатель, навязавший ему трудотерапию, в которой он отказал своим знакомым? Зуттер принялся перебирать в мыслях всех знакомых. "А не устроить ли и им пробу на присутствие?" — подумал он. Спрашивать напрямик ему не хотелось. Еще подумают, что он совсем свихнулся или, хуже того, что ему надоело одиночество и он ищет помощи. И все это из-за какой-то дурацкой, в общем, помехи. Он представлял себе, что они посоветуют: почему бы тебе не установить определитель номера! И ловил себя на том, что этот совет для него неприемлем. Он и сам знал, что выследить телефонного террориста — проблема вполне разрешимая.

А может — почему бы и нет, — сам Зуттер уже настолько тронулся умом, что просто придумал все эти звонки. Возможно, они были порождением его патологического желания, не поддающегося контролю со стороны сознания: он хоть и остался один, но быть одиноким не хотел. Не хватало еще позвать к себе в дом свидетелей!

Да, их-то как раз и не хватало. Под предлогом просьбы, перед которой — он знал это — Фриц и Моника не могли устоять, он заманил их в "Шмели", избавив от "сеанса психодрамы". Их не надо было удерживать: они и так были слишком рады остаться, чтобы поведать ему о кризисе в своих отношениях. И они неверно поняли его, когда после одиннадцати он несколько раз посмотрел на часы: "Нет, вас это не касается, не спе-

шите уходить". "Ты снова стал таким, каким был прежде, Эмиль!" — сказал Фриц, ближе к полуночи обнимая его на прощанье. Моника, все еще ничего не понимая, выдавила из себя дружескую улыбку. Телефон, однако, так и не зазвонил — ему не нужны были свидетели. Зуттер был рад, что не заговорил о звонках. Уж лучше поговорить о том, что случилось с другими, кто с кем расстался, кто с кем встретился.

Возмутителем спокойствия мог быть и кто-нибудь из участников доброй сотни судебных процессов, на которых Зуттер зарабатывал свой хлеб в качестве репортера и при этом, случалось, язвил, не жалея соли. Перед судом люди чувствуют себя беззащитными, бывает, что отчет в газете, воздающий должное их праву на справедливость, воспринимается ими как бестактность, как нескончаемое оскорбление. Зуттер вполне мог, сам того не желая, наступить кому-то из них на больную мозоль. И даже когда они благодарили его, Зуттер знал, что ничто не возбуждает так жажду мести, как вынужденная благодарность. Но даже если отвлечься от того, что кандидатов на месть было слишком много, кто сказал, что эти звонки были актом мести? Может, кто-то хотел навести его на другие мысли — но на какие?

Зуттера, равнодушно воспринимавшего собственное существование, теперь стал занимать телефон, этот ночной звонок в семнадцать минут двенадцатого. Потому что уже на следующий день, когда он был один, телефон зазвонил снова. Зуттер напряженно ждал звонка, но на сей раз дело приняло несколько иной оборот. Телефон прозвенел раз, другой — и замолк. Где бы ни замирал в ожидании Зуттер, он должен был находиться вне досягаемости аппарата: только тогда тот выдавал пару своих звонков. Если же Зуттер оказывался совсем близко от телефона и мог дотянуться до трубки рукой, из нее — после короткого молчания — доносились лишь гудки. Аппарат нельзя было перехитрить, ни на первом этаже, ни на втором.

"Я получаю анонимные звонки", — признался он знакомым и вызвал этим шквал любопытных рассказов из их собственного опыта. Не нашлось никого, будь то мужчина или женщина, кто не вспомнил бы какую-нибудь историю на эту тему. Одному кто-то сопел в трубку, а потом начинал кряхтеть и стонать. Другому чей-то голос на соответствующем жаргоне грозился скоро прийти, ожидал, что объект приставаний обрадуется этому, и обещал неслыханные удовольствия, если встреча состоится. В третьем случае хулиган в омерзительных, всегда одних и тех же выражениях требовал от своих жертв разделить с ним его похотливую страсть.

Во всяком случае, эти свидетели слышали своих мучителей, более того, давали им выговориться. У Зуттера никто в трубку не сопел и не кряхтел, ни разу не подал голоса, даже не давал возможности спросить, кто звонит. Насколько регулярны и точны по времени были эти звонки, настолько же неуловимой оставалась звонившая. Ибо Зуттер с некоторых пор стал думать, что голос, который он ни разу не слышал и не мог поймать ни на какие уловки, принадлежит женщине.

Спиритизмом он не увлекался и не верил, будто Руфь может воспользоваться телефоном, чтобы "явиться" ему, как называли предки Зуттера, крестьяне, передачу вестей из другого мира. Тем не менее, когда приближалось время звонка, он стал внимательно наблюдать за кошкой. Но кошка в лучшем случае шевелила краешком уха, а если спала, то и вовсе никак не реагировала на звонок.

Несколько раз Зуттер, стараясь не шуметь, в одиннадцать вечера исследовал ближайшие окрестности дома; держа в руке карманный фона-

рик Руфи, он готов был в любой момент направить яркий пучок света на любой подозрительный предмет, на малейшее движение. Его в первую очередь интересовали места, откуда можно было вести наблюдение за людьми в доме — правда, только теоретически, так как, оставаясь поздним вечером в освещенной комнате, он плотно задергивал занавески; в отличие от голландцев или аквариумных рыбок он не любил выставляться за стеклом. Он начал вести дневник о своей ставшей вдруг богатой событиями пещерной жизни. Расчертив страницу, он записывал, в какой момент, на каком расстоянии от телефона его застал звонок и сколько раз он прозвучал. В этой последней рубрике оставалось ставить только кавычки и черточки, так как после вторника, 23 ноября, звонок сохранял привычку тренькать лишь дважды. Зуттера удивляла только одна техническая деталь. Тот, кто набирает номер, не знает, сколько раз звонит телефон у абонента; сигнал, который он слышит, не всегда соответствует звонкам на другой стороне. Но незнакомка звонила Зуттеру не только точно в одно и то же время, но и ровно по два звонка, ни больше ни меньше.

Если не веришь в привидения, поневоле начнешь думать о фантастически разработанной системе слежки, с подслушивающими устройствами, чувствительными к теплу датчиками и сигнализаторами движения, настроенными к тому же именно на него, Зуттера. Если и нашелся где-то дурак, который из-за Зуттера шел на такие расходы, то почему он ограничивался только примитивным двойным звонком? Боялся выдать себя? В таком случае кого или чего он остерегался?

В начале декабря Зуттер, преодолев свою крайнюю нелюдимость, уже не отказывался от приглашений посидеть у камина с Фрицем и Моникой. Он участливо наблюдал за тем, как они все еще продолжают свою игру. Но каждый раз он возвращался в "Шмели", чтобы быть готовым к звонку в семнадцать минут двенадцатого. Он называл его *знаком* и уже не пытался узнать, что от него хотят. Но он почувствовал бы себя виноватым, если бы разочаровал звонившего. Пропустить звонок было невозможно, он раздавался только тогда, когда Зуттер был в комнате, то есть знак вел себя совсем не так, как смерть в трактовке Сократа: пока человек в помещении, знак не может быть смертью; но если она появляется, то человека там наверняка уже нет. Поэтому Зуттер мог не просто без опаски идти на встречу со знаком — звонок стал частью его жизни.

Со своей стороны знак говорил о том же. Он был настроен на распорядок дня, сложившийся еще при жизни Руфи, и с такой строгостью придерживался его, что это поднимало Зуттеру настроение и трогало его, как непременное, хотя и лишнее, напоминание матери своему уже взрослому сыну. Звонившая приходила в дом, чтобы заставить его с точностью до минуты вспомнить о прежних привычках. Она напоминала ему, когда заканчивать день. Она упорядочивала его время отдыха и помогала обуздать обычную во время депрессии сонливость и болезненную страсть к чтению. Знак напоминал о том времени, когда сказки оказывали свое действие; когда он в определенный момент начинал надеяться, что Руфь незаметно для себя избавилась от боли и обрела покой, которого она тщетно искала днем. Тогда голос его становился тише, потом затихал совсем, и он, следуя взаимной договоренности, неслышно прокрадывался в спальню, не забыв накрыть задремавшую в кресле жену одеялом из верблюжьей шерсти.

После этих горестных, требовавших душевного напряжения дней и недель раздававшийся в двенадцатом часу ночи двойной звонок был уже

не раздражающей помехой, а мягким напоминанием. Случалось, уже в полудреме, выключив свет и открыв шторы на окнах, он смотрел на мерцающий небосвод и занимался странными вычислениями. Время звонка состояло из двух простых чисел: 23 и 17. Если сложить цифры, получалось еще одно простое число – 13. Если же смотреть по циферблату, то выходило два простых числа – 11 и 17, а сумма цифр составляла 10, то есть основу десятичной системы. Добавив к ней два позывных сигнала, он получал 12, количество месяцев в году, знаков зодиака и апостолов. Так как получаемый им знак, по всей видимости, не имел никакого значения, Зуттер мог толковать его так, как хотел. В 2317 году произойти что-либо просто не может; к тому времени мир, который мы, как нам кажется, знаем, уже, наверное, погибнет, если мы радикальным образом не изменим знаний о самих себе. Но что могло случиться в 2317 году *до* нашей эры? В Китае, в Месопотамии, в Египте? Или там исчисление велось по другой системе?

С тех пор как он снова целый день занимал себя утомительной работой, ему уже некогда было подолгу валяться в постели. Детективные романы он бросил в один из мешков для мусора. Их набралась уже целая дюжина, что говорило о его желании навести порядок в доме. Подвалу, куда он во время болезни Руфи относил ту или иную вещь, чтобы она не мозолила глаза, пришлось, наконец, "уменьшиться в размерах". Зуттер заставил себя рассматривать изобилие вещей в доме не как память, которую нужно хранить, а как хлам. Поэтому целые часы он проводил в подвале. Около одиннадцати вечера он поглядывал на часы, и они говорили ему, что пора кончать. Тогда он мыл руки, чтобы встретить знак в подобающем виде. А когда телефон отзванивал два своих сигнала, наступало время кормить кошку и приготовить что-нибудь себе самому. Зуттер включал плиту и накрывал на кухне стол, словно собирался не просто утолить голод, а встретить гостей.

В канун рождественских праздников "Реформатский центр" устраивал "языческое" Рождество, на которое Фриц пригласил и Зуттера. Все дело в том, объяснил он, чтобы христианский праздник снова вернуть – по времени – туда, где его отмечали до Иисуса Христа, в самую глубокую точку солнечного года, когда ночная тьма никак не хочет рассеиваться, а утро, кажется, так никогда и не наступит, но все же каждый заново рождающийся день начинается с него. Да и темноту хочется *пережить* как можно глубже, без нее зажженные свечи – всего лишь декорация в витрине магазина. Для этого надо разбудить духов зимнего солнцестояния и заодно отпраздновать Двенадцать Холодных Ночей, когда обретают язык звери; это касается и тех зверей, что обитают в нас: в Зуттере, Монике и Фрице.

Зуттер вежливо отказался: слушать, о чем говорят эти звери, ему ни к чему; к тому же именно сейчас такого рода празднество для него не совсем кстати. Он собирается отпраздновать Рождество и встретить Новый год с хорошо знакомым ему животным – своей кошкой, кроме того, надо написать кучу писем, поблагодарить за соболезнования, пришедшие после смерти Руфи. *ОФриц* – Руфь звала его так из-за того, что в обращениях Фрица к людям звучала легкая жалоба на несовершенство мира, – *ОФриц* и на сей раз остался верен своей привычке: *"ОЭмиль*, я ужасно рад, что ты снова нашел в себе силы для ясного 'да', хотя в нем, к сожалению, сокрыто и многострадальное 'нет'". По изрезанному мелкими морщинами лицу богослова можно было догадаться, что он хотел сказать: "Как, лентяй несчастный, ты все еще не поблагодарил дядю и тетю за их письма?"

Куча нераспечатанных писем с соболезнованиями три месяца лежала на большой, как велосипедное колесо, оловянной тарелке, что стояла в

вестибюле на шкафчике для обуви. В рождественский сочельник Зуттер собрался с силами, чтобы просмотреть, от кого пришли письма, и решить, какое из них открыть, а какое сразу отправить в мусорную корзину. Но он застрял на первом же письме. Ибо адрес был написан неровным, но четким почерком Серайны Баццелль, хозяйки гостиницы в Сильсе.

Восьмидесятилетняя дама благодарила за приглашение на поминки. Она еще раз заверяла господина Эмиля Г. в том, как много значила для нее его дорогая и незабвенная усопшая супруга. Далее она ставила его в известность, что камни, которыми его дорогая супруга нагрузила свои карманы, по ее, фройляйн Баццелль, желанию полиция возвратила. И так как они заполнили целый мешок, она вручила его своему внучатому племяннику, который в ближайшую субботу едет по делам в Цюрих, и попросила отдать эти памятные вещи вдовцу в его собственные руки. В заключение она сообщала, что его всегдашняя комната в гостинице зарезервирована и на следующий год. Она полагает, что первую годовщину смерти своей дорогой жены он пожелает отметить именно в Сильсе, куда они приезжали не раз и где были счастливы.

Зуттер был озадачен: посылку, о которой говорилось в письме, он так и не получил. Правда, в первые дни после смерти Руфи он не отвечал на звонки и стук в дверь и уж тем более не поднимал телефонную трубку. Внучатый племянник или вернул мешок тете, или оставил его перед входной дверью, и городская служба по уборке мусора давно его забрала. Тем не менее Зуттер выскочил за дверь, в ранние сумерки, и увидел перед домами уже не только контуры рождественских елок из электрических лампочек, а настоящие елки за стеклами окон. Под большим рододендроном со сморщившимися на морозе листьями, что стоял у главного входа, лежал наполовину присыпанный листьями мешок, похожий на тот, в котором святой Никлаус приносит рождественские подарки. Мешок был перевязан бархатной лентой — точно такой фройляйн Баццелль усмиряла свои все еще густые непокорные волосы. Зуттер попробовал его поднять и должен был изрядно напрячься, чтобы оторвать мешок от смерзшейся торфяной почвы. Открылся он довольно легко, но вывалившееся из него содержимое напоминало ледниковый валун, смерзлось в бесформенную болванку, от которой отлетело лишь несколько осколков.

Руки Зуттера совсем окоченели. Он быстро поднялся на второй этаж, в зимний сад перед входом в спальню, схватил стоявшие там две садовые лейки, вылил их содержимое в ванну и наполнил горячей водой. Затем, держа в руках обе лейки, по десять литров каждая, он спустился по лестнице обратно к своему смерзшемуся валуну. После первого полива из валуна повалил такой пар, словно вода попала на раскаленные камни, раздался треск и хруст, а после второго валун рассыпался, как куча строительного мусора. Булыжники блестели в неоновом свете, словно умытые дождем. Электрический свет придал им необычную окраску, но Зуттер все же узнал некоторые из камней по форме; они довольно долго лежали на полке возле супружеской кровати. Он так и не заметил, что Руфь перед последней совместной поездкой в Энгадин собрала их и положила в багажник машины.

Когда он представил себе, как она, перед тем как покинуть дом навсегда, тащила на себе эти камни, его бросило в пот. Складывая камни обратно в мешок, он уже почти не чувствовал замерзших рук. Он втащил мешок в дом и запер за собой дверь. Разостлав на полу одеяло из верблюжьей шерсти, он вторично опорожнил мешок из-под картофеля.

Зеленовато-серой галькой Руфь нагрузила себя только перед тем, как войти в воду. Но между этими окатанными обломками породы лежали камни, которые Руфь привозила с собой со всех концов света. Зуттер узнал глинистого цвета песчаник из китайской провинции, пористый желтый булыжник с берега Генисаретского озера, угловатый обломок, белое с черным, взятый с железнодорожной насыпи в Биркенау, маленькие каменные пирамиды с "Башни молчания", воздвигнутой персидскими огнепоклонниками в честь своих покойников, узнал осколки с острыми краями с зубчатого выступа Массады, расписанные пестрыми полосами камешки пустынь Аризоны, кусочек спекшегося метеорита, упавший с неба на пляж в Намибии. Был там и похожий на лодку темно-зеленый булыжник, который Руфь привезла из Индии и, когда боль становилась невыносимой, клала себе на живот.

Когда он брал в руки камешки, обмороженные кончики пальцев щемило так, что хотелось выть от боли, но что значила эта боль в сравнении с испытаниями, выпавшими на долю Руфи... Рождественский подарок заставил Зуттера забыть о той, что подавала ему знаки-звонки; когда зазвонил телефон, он все еще задумчиво разглядывал свои камешки.

– Да, да, – почти беззвучно произнес он. – Спасибо.

Тихонько подошла кошка и села рядом с Зуттером, не касаясь лапками верблюжьего одеяла.

– Да, – повторил он громче, – что же нам с этим делать?

Кошка, выгнув шею, начала облизывать себе грудку, на которой, словно съехавший набок галстук подгулявшего на празднике парня, слились два ручейка белой шерсти, сбегавшие с обеих сторон шеи.

Один из камешков он – "на счастье" – получил в подарок от Руфи в день так называемого обручения, хотя в действительности они обошлись без этой церемонии. Камешек был голубоватый, с изящными, как у кристалла, гранями. Нельзя сказать, что он "свел" его с Руфью. Но он был привезен из индийской провинции, где Руфь провела несколько месяцев в одной религиозной общине, много для нее значившей. Это было время ее учения, оттуда она привезла много фотографий. Зуттер припомнил обнаженных или опоясанных узкими полосками материи мужчин, похожих на призраков, с до ужаса одухотворенными лицами и всклокоченными копнами волос на голове. К фотографиям она сделала подписи, единственные известные ему попытки такого рода у получившей естественнонаучное образование Руфи; подписи были выполнены строгим, до неуклюжести простым языком, далеким от каких бы то ни было претензий на поэтичность.

Зуттер, планы которого получить юридическое образование кончились ничем, подрабатывал в газете "Тагблатт", в субботне-воскресном приложении к которой печатались фоторепортажи. В редакции Зуттеру поручили тактично сообщить одной даме, приславшей фотографии и подписи к ним, что ее снимки обнаженных мужчин, к сожалению, не могут быть напечатаны. Он согласился без всякой охоты, так как снимки и подписи тронули его, но Руфь сама облегчила ему задачу. Малейшего намека на подозрение, что ей придется убеждать газету в ценности опыта, касавшегося ее одной, было достаточно, чтобы она забрала свой материал обратно. Она попросила Зуттера не тратить лишних слов, но согласилась при случае встретиться снова. И из этих случайных встреч, которых Зуттер старался не пропускать, родилась связь, завершившаяся, к изумлению обоих, браком. "Мне кажется, я смогу тебя выносить" – так она выразила свое согла-

сие или так выразилась сразу после того, как согласилась на его предложение: от этих ее слов у него все еще перехватывало дыхание.

Прежде чем пойти в бюро записей гражданского состояния – между собой они называли это учреждение "бюро регистрации чрезвычайного положения", – Руфь подарила ему этот индийский камешек, на сохранение или в знак испытания, так как она снова отправилась в путешествие, на этот раз к Native Americans, индейскому племени, обитавшему в пустынях Америки. Наследница состоятельной тетушки, она могла вести "беззаботную жизнь", как выражались в "Шмелях". Кто здесь селился, как, например, Руфь и Эмиль, точнее, Руфь Ронер и Эмиль Гигакс, тот не только получал право жить в кооперативном доме, но и брал на себя обязательство заботиться о людях, живущих в менее благоприятных условиях, а именно в "третьем мире". Заботы, которые делили между собой Руфь и Зуттер, с самого начала не очень соответствовали – как, впрочем, и выпадавшие на их долю радости – настроению "великого прорыва"[1]. Зато спустя десять лет Руфь и Зуттер были не только единственными, кто выдержал жизнь в "Шмелях", но и почти единственными, чей брак продержался дольше, чем они могли бы пообещать священнику: "Пока нас не разлучит смерть".

Тот фоторепортаж Руфи куда-то исчез, и у Зуттера теперь появилось время поискать его: Руфь ничего не выбрасывала, вопреки всем своим намерениям "стать меньше".

– Что скажешь, кошка? – спросил он, но и кошка не знала, как ему поступить с грудой камней.

Тогда он снова сложил их в мешок и потащил его по лестнице на второй этаж. За "женской пальмой", побег которой Руфь тайком провезла через границу, спрятав в белье, был уголок, куда никогда не заглядывало солнце. Там стоял ящик из светлого необтесанного дерева, грубый куб чуть больше шляпной коробки, перевязанный белой шелковой лентой. В нем хранилось то, что осталось от Руфи.

Кошка не стала ловить конец черной бархатной ленты, когда он связывал ее с белой. Из камней еще не улетучился ледяной холод. Зуттер соорудил из них пирамиду. Камешек за камешком укладывал он вокруг ящика, пока они не закрыли его целиком. Часы на башне пробили час пополуночи, один раз звонко, второй глухо. Зуттер уже не помнил, звонил телефон или нет.

В январе выпал снег, и Зуттер снова начал выходить из дома – не только для того, чтобы торопливо обойти ряды полок в универмаге и сделать необходимые покупки. Свою засыпанную снегом машину он оставил в покое и шагал, соблюдая необходимую осторожность на скользкой дороге и любуясь благотворно действующими на него мягкими зимними окрестностями, к биомагазину. Он открылся сразу после заселения "Шмелей", только теперь от общины перешел в частные руки, зато ассортимент товаров стал значительно более разнообразным, способным удовлетворить провансальские, китайские, ливанские или малайские вкусы новых жителей. Стоит ли в собственной стране отказываться от вкусных вещей из дальних краев только потому, что люди там все еще голодают?

С Зуттером – за пределами своей квартиры он был господином Гигаксом – все еще здоровались. "Ты еще помнишь его? Когда-то он был изве-

1. Имеется в виду подъем леваческих настроений в 60–70-е гг. прошлого века. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

стным судебным репортером. Выглядит лет на десять старше. Видишь ли, он потерял жену, и знаешь как? У нее был рак кишечника, но она отказалась от лечения и предпочла утопиться, недалеко от Санкт-Морица. Во всяком случае, сама нагрузила себя камнями. Иначе бы не утонула. Она хорошо плавала. Видно, их брак не был счастливым. Но он не пропадет. У нее были деньги. Он живет во 'дворце', словно персидский шах".

Прошла масленица, наступил март, в начале апреля вместо печки дом обогревал фён, и однажды ночью пришла весна. Разразилась, как война, сказала бы Руфь. Каждый вечер Зуттер получал свой знак, ровно в семнадцать минут двенадцатого. Он почти не обращал на него внимания. Часто в это время он уже был в постели и даже не открывал глаза, когда раздавался звонок. Он снова стал читать серьезные вещи и потому основательно уставал.

Вот и 12 апреля он воспринял звонок как напоминание, что пора выключать свет. Но телефон зазвонил в третий раз. Он, возможно, и не приподнялся бы в испуге, но кошка мгновенно спрыгнула с кровати Руфи и спряталась под ней. Ее действия столь несомненно говорили о появлении кого-то чужого, что Зуттер встал и прислушался.

— Есть здесь кто-нибудь? — спросил он вполголоса.

Ответа не последовало. Но на следующий день в него стреляли.

— Ты разве не слышал выстрела, Франц? — спросила я мужа. — Здесь все время стреляют, Ирена, — ответил он, — мы только что прошли мимо тира. — Но это был совсем *другой* выстрел, — возразила я. — Тебе просто послышалось, — ответил мне муж, он всегда так говорит, когда хочет сказать, что я сочиняю. — Но ведь это ты стал хуже слышать, а не я́, а о твоих глазах я и говорить не хочу. Этот наш разговор прервал мужчина, появившийся вон из-за тех деревьев. Он шел нам навстречу, но шел как-то уж очень странно. Весь согнувшись, шатаясь из стороны в сторону. Его водило то вправо, то влево, он едва не задел нас, похоже, он нас даже не заметил. Еще нет и полтретьего, а он уже успел нализаться, это же просто позор для человека в таком возрасте, подумала я, а ведь мужчина выглядел вполне прилично, костюм на нем был из камвольной ткани, такие носят важные господа. Мне только бросилось в глаза, что он теребил пальцами жилет, словно хотел вынуть бумажник, и при этом бормотал что-то про себя.

Мы остановились, посмотрели вслед незнакомцу и сразу же заметили, что с ним что-то не так, что случилось что-то неладное. На спине у него виднелось темное пятно, которое с каждым шагом становилось все больше.

— Франц, — крикнула я, — это же кровь!

Тут мужчина оглянулся, и теперь мы увидели кровь и спереди. Он взмахнул обеими руками, словно хотел уцепиться за что-то, и начал валиться на бок. А потом рухнул на землю, лицом вниз, не отойдя от нас и на десять шагов. Вот тогда-то я, Ирена Кинаст, совершенно отчетливо увидела в его спине дырку. Но спереди кровь шла еще сильнее, из носа и даже изо рта.

— От ужаса я застыла на месте, — рассказывала она. — А потом сказала мужу: Франц, там все-таки стреляли! Стреляли в этого мужчину! — Но кто же мог стрелять? — спросил муж. — Мы ведь не видели, чтобы кто-нибудь

стрелял! – Франц, – сказала я, – теперь это не важно. Он ранен, зови на помощь, немедленно! – Но кого? – спросил он, вконец растерявшись. – Беги к тиру, Франц, – сказала я, – там должны быть люди и телефон, скорее, Франц! – А ты? – спросил муж. – Давай пойдем вместе, Ирена! – Иди один, а я останусь с раненым, – ответила я, – нельзя же оставлять его одного. – После этого он пролежал так еще добрых полчаса. Мог бы умереть от потери крови!

Молодой человек, который, беспрерывно кивая головой, протягивал диктофон к ее все еще бледным от страха губам, закивал еще быстрее:

– Фрау Киназт, герр Киназт, – обратился он к супружеской чете, – вы же видели преступника. Вы единственные, кто его видел. Как он выглядел?

– Нет, – сказал Киназт.

– Вы не хотите его описать?

– Нет, – сказал старик, – мы его не видели.

– Но вы его слышали, фрау Киназт, – сказал репортер, размахивая диктофоном перед ее лицом. – И на поясе у него была кобура.

– Я слышала выстрел, – сказала она, – только выстрел.

– Вы видели, как шевелились кусты, – строго сказал репортер, – а потом услышали шаги, они быстро удалялись.

Он с вызывающим видом протягивал диктофон то к лицу старика, то к лицу пожилой дамы.

– Я слышала только голоса стрелков в тире, – сказала она, – они еще долго продолжали стрелять. Я думала, они так и не подойдут к нам!

– Вы видели, как убегал преступник, – заключил репортер, – видели только мельком. Он был старый или молодой? Примерно моего возраста? На нем были джинсы?

– Послушайте, – сказал Киназт, – все, что мы знаем, мы рассказали в полиции, а больше нам ничего не известно.

В каком мире мы живем?

Таким был первый вопрос пожилой женщины, когда, наконец, подоспела помощь. Не "скорая помощь". И не полиция. Это были члены стрелкового союза, проводившие в близлежащем тире свою ежемесячную тренировку. Чтобы при случае защитить себя! Ибо это были журналисты.

Они тоже искали ответ на вопрос пожилой дамы. Они тоже живут в мире, в котором ни с того ни с сего, средь бела дня раздаются выстрелы. В мире, где тебя поджидают любые неожиданности. Среди них был и репортер газеты "Субито".

Сначала он совершенно не мог понять старого человека, который вчера в половине третьего дня вбежал, дрожа всем телом, в тир. Франц К. (73 года) сказал, что на дороге истекает кровью мужчина. Подоспевшие на помощь стрелки увидели сидящую на обочине пешеходной дорожки Ирену К. (71 год). Дорожка вела от конечной остановки трамвая № 17 через лесок к Виденбаху. Ирена К. поддерживала голову лежавшего без сознания Эмиля Г. (66 лет). Она повернула его на бок. Изо рта у него струилась кровь, стекая на цветастое летнее платье Ирены К. "Я думала, он умирает, значит, кто-то должен быть рядом с ним", – доверительно сказала она репортеру "Субито". Он тут же поставил в известность о происшествии полицию и службу спасения. Они не очень торопились: полиция прибыла через 28 минут, а "скорая помощь" – через 32! Вот тогда-то женщина и произнесла: "В каком мире мы живем?"

Она и ее муж и думать не думали, что нечто подобное может приключиться с ними в этот послеобеденный час. Они собирались воспользоваться солнечной погодой, чтобы осмотреть клочок земли под могилу, который они приобрели на случай своей смерти. В Виденбахе Ирена выросла, здесь же она хотела обрести вечный покой рядом со своим мужем. До выхода на пенсию он работал поверенным в одном частном банке.

Но не успела супружеская чета войти в лесок, как раздался выстрел. Должно быть, подумали они, стреляют в тире, мимо которого они только что прошли. В этом тире журналисты тренируются, чтобы в случае необходимости защитить себя. Но тут навстречу им попался тяжело раненный Эмиль Г. Он прижимал руки к груди. Между его пальцами сочилась кровь. Он не сказал ни слова, так как и рот его был полон крови. Потом он рухнул у их ног на землю.

Пикантная подробность: жертва – тоже журналист. До недавнего времени он освещал судебные процессы в газете "Тагблатт". Там он прославился своими критическими замечаниями в адрес нашего правосудия. И нажил себе не одних только друзей. После того как добровольно ушла из жизни его жена, он замкнулся в себе. Полиция не исключает, что это был акт мести. Сейчас жизнь Эмиля Г. вне опасности.

В каком мире мы живем? Случившееся ставит перед нами и другие вопросы. Супруги К. дали понять репортеру "Субито", что видели преступника, хотя и мельком. Однако в полиции говорят о "преступлении, совершенном неизвестным лицом". Может, кому-то выгодно что-то скрывать? Существует ли связь между судебным репортером Г. и супружеской четой К.? Обычно по пешеходной дорожке днем ходит много народу. Почему в этот день она была пустынной? Или же есть свидетели, которые так и не объявились? И у них есть на это причины? "Субито" ждет ответа на свои вопросы.

Зуттер лежит с закрытыми глазами. Он слышит ритмичные, глухие звуки, нагнетание и всасывание, он связывает их с работой "искусственного сердца и легких". За занавесками со всех сторон что-то тикает, потрескивает и попискивает, вольер, в котором поддерживается жизнь, электронная весна, а внизу, прямо под Зуттером, толчками всхлипывает маленький родничок. Он замолкает, когда Зуттер задерживает дыхание, и снова начинает свою монотонную работу, когда дыхание возобновляется. Зуттер понимает: это воздух, который он сам же и выдыхает, откликается ему откуда-то снизу. А когда он вбирает его в себя, втягивает мимо вставленной в нос трубки в болезненно сжимающуюся грудную клетку, то заставляет джинна в бутылке умолкнуть, пока его снова не разбудит очередной выдох. Он вспоминает, как в детстве, утолив жажду, вдувал через соломинку воздушные пузыри в малиновый сироп. Куда исчезла эта великолепная жажда в последние десятилетия?

"Я еще дышу, господин Бюлау, а вы лишь всхлипываете? – беззвучно спрашивает Зуттер. – Не дело для спасителя жизни! Последнее, что я слышал, прежде чем потерять сознание, была ваша фамилия, врач "скорой" нахваливал вас, изобретателя дренажного устройства, очищающего мою грудь от жидкости. А вы хрипите, словно вас самих заперли в этом дренаже и не дают дышать. Лучше бы вас звали Зуттером или и того лучше – Гигаксом! Почему именно я должен учить вас дышать? Вы еще здесь, господин Бюлау? Давайте-ка начнем дышать чуть гармоничнее! Я задаю такт, а вы продолжаете, только, пожалуйста, не теряйте

чувства ритма. Не всхлипывайте, господин Бюлау, бурлите и пеньтесь! Dum spiro spero, надеюсь еще подышать – то, что доступно последнему глупцу, не обязательно должно быть крайней глупостью".

В монолог Зуттера со своим дыханием неожиданно вмешался его валет. Он зашевелился между ног и напрягся, словно услышал зов – первый с уже незапамятных времен. Не притворяйся, Зуттер, ты отлично помнишь то время, с точностью до года и дня.

В дренаже все замерло. У него, у дренажа, словно перехватило дыхание, потом он начал хрипеть, безудержно, без намека на такт и ритм. Думай о чем-нибудь другом, Зуттер, или уже не можешь? Неужели нельзя восстановить дыхание без приступа удушья? Не успеешь вернуться к жизни, как тут же чувствуешь боль. Воспоминание отдается болью в груди, будто оно годами только того и ждало, чтобы пронзить его, точно выпущенная из винтовки пуля.

Зуттер долго пытается ни о чем не думать. В сгущающемся мраке он слышит, как пузырьки воздуха один за другим поднимаются к поверхности воды, но не могут вырваться наружу. Лицо с последними признаками жизни всплывает к нему из глубины, но никак не может до него добраться. Он все ниже наклоняется к нему, чтобы прочитать, что на нем написано, он знает, что это за вопросы, и старается подобраться к ним как можно ближе, пока его глаза не погружаются в воду. Вода касается его щек, должно быть, он прорвал поверхность воды: пузырьки воздуха ударили ему в глаза и рассыпались веером сверкающих искр. Вода не может их погасить, соленые слезы лишь заставляют их гореть ярче, и больной знает, что жжение не прекратится до тех пор, пока искры не выжгут, не вымоют, не высушат его лицо, пока глаза его не вольются вслед за слезами в Тихий океан невыплаканных слез, окружающий остров Зуттера. Густые сумерки превратились в непроглядную ночь, и в этот момент ему стало ясно: да, я ослеп.

И когда Зуттер почти выговорил это "да", произносить слова стало легче, а вместе с тем полегчало и Зуттеру. Он уже не боится уверенности в своей слепоте, он прогнал страх перед ней, страх и впрямь отступил; каждый выдох был все менее мучительным, а каждый вдох все более спокойным.

Фамилия у Зуттера была другая, но Руфь окрестила его так после посещения одного музея в Лозанне. Там были выставлены рисунки людей, которые считали себя не художниками, а медиумами Бога или орудиями дьявола; им даже не надо было понимать самих себя. Одного из них звали Луи Суттер. Он рисовал свои картинки в богадельне, чаще всего на вырванных из школьной тетради листах в клеточку, рисовал пальцем, обмакивая его в чернила или в сажу. Размашистыми линиями наносил он на бумагу фигурки кобольдов, гномов, домовых – существ, которые никогда не появляются во плоти. И только здесь, на стенах музея, сразу было видно, что рисовавший сжился с ними с детства.

Руфь и Зуттер остановились на некотором расстоянии от картинок этого Суттера, чтобы можно было незаметно разглядывать не только рисунки, но и тех, кто подходил к ним поближе. Так они узнавали то, что говорят о Суттере другие, даже по-французски. Молодой человек, пришедший с девушкой, назвал рисунки "африканскими", une danse noire, танцем чернокожих, и тут же изобразил, как они танцуют. Трудно было поверить, что этот щуплый паренек в очках окажется способен на столь

элегантные движения, скупо намекавшие на животные страсти. Но его спутница, казалось, этому ничуть не удивилась. Ее лакированное личико с профилем Нефертити оставалось невозмутимым. Зуттер услышал, как молодой человек произнес *Суттээр иледёлодёлл*, и пока он пытался разгадать смысл непонятного слова, подошла группа гимназистов, у их учительницы волосы были пепельного цвета. Мальчики держались степенно и очень серьезно слушали объяснения учительницы. "Эти рисунки, сказала она, вполне можно рассматривать как иллюстрацию к Платоновой притче о пещере, о чем мы с вами недавно подробно говорили". Зуттер внимательно вслушивался, так как никогда не понимал смысла притчи, этой столь же остроумной, сколь и запутанной истории о тенях, которые огонь так отбрасывал на стену, что захваченные зрелищем люди всю жизнь принимали их за реально существующие тела. Он с облегчением почувствовал, что французский учительницы ему вполне доступен и что смысл притчи и после этого объяснения остался непонятным. Во всяком случае, обладавшие даром мышления люди, похоже, воспринимали притчу о пещере одинаково — что в Лозанне, что в Цюрихе. И рисунки Суттера снова предстали перед Зуттером во всей их безмолвной загадочности.

Подошедшая вскоре пожилая супружеская пара говорила по-немецки. Мужчина объяснил своей спутнице, что в рисунках Суттера речь идет о явлении, близком к каллиграфии и в то же время в чем-то ей противостоящем. В них надо видеть не законченные работы, а черновые наброски. Раньше темой искусства было истинное, доброе, прекрасное. Теперь — могущественное, грубое, жестокое. В ответ на его вопрос, поняла ли она то, что он сказал, дама печально кивнула головой. Когда он, воодушевленный собственным объяснением, пошел дальше, она, казалось, обрадовалась, что может какое-то время постоять перед рисунками Суттера одна.

Зуттер и Руфь тогда только-только поженились, но он уже успел заметить, о чем с ней не следует говорить. Среди прочего — и о любви. Оба были единственными детьми у своих родителей и научились скрывать и беречь от комментариев взрослых то, что их волновало.

Когда они подошли к выходу, он обнаружил, что копия рисунка Суттера помещена на постере, который можно было купить. Год назад, когда он жил один, он бы купил его. Теперь же об этом не могло быть и речи. Руфь не любила брать на память и приносить домой какие-либо вещи. Исключение она делала только для камней. "То, что останется в памяти, — говорила она, — обнаружится само по себе".

Когда они решили обручиться — то время они называли между собой помолвкой, хотя от церемонии отказались, — Руфь не стала просить, чтобы он подарил ей свою фотографию, и не предложила ему собственную. "Чтобы жить с тобой, мне не нужен твой снимок, — сказала она. — Мне кажется, я смогу тебя выносить". Таким образом она давала ему понять, что он вполне может разделять с ней ее привычки, в том числе и пока что ему неизвестные.

После посещения выставки они сидели на террасе над Женевским озером.

— Ты Суттер, — ни с того ни с сего сказала она.

— Я? — спросил он. — Но по-немецки вместо "С" должно быть "З".

— Значит, будешь Зуттером, — ответила она. — Я буду называть тебя только так. Так буду называть тебя только я.

Она называла его так все последующие годы их супружества, и наедине, и в присутствии других людей, для которых он все еще оставался

Гигаксом. Фамилия, в пользу которой говорило немногое, разве что при игре в "скрэббл" благодаря ей можно было добыть целых 23 очка. Руфь, однако, не любила пользоваться именами собственными. Она сохранила свою девичью фамилию – Ронер. Его самого звали Эмиль, но в гимназии, благодаря учителю латыни, из этого имени сделали прозвище – Омуль. Потом, уже в "Шмелях", один из жильцов, художник с бернскими корнями, переделал прозвище в "Эзе". Родители дали ему двойное имя – Готлиб[1] Эмиль, его рано овдовевшая мать, умиленная этим своим решением, как-то объяснила ему почему. Подразумевалась некая связь с западноевропейской христианской цивилизацией, в которой ее единственному сыну отводилась главенствующая роль. Когда он представил матери Руфь, она – доверительно, с глазу на глаз, – назвала его выбор "ложным", а саму Руфь – неискренней. После этого Зуттер прекратил с матерью всякие отношения. Она всегда наскоро и безапелляционно выносила приговор людям, но высказывание о Руфи переполнило чашу его терпения. Не в характере Руфи было сразу судить о том, что истинно, а что ложно. Но назвать ее "неискренней" – это было уже слишком.

Зуттер без колебаний обменял навязанную родством близость одной женщины на близость другой, выбранной им самим, хотя она, по мнению непосвященных, производила впечатление женщины холодноватой и слишком сдержанной. Именно такую он и искал, такую сдержанность любил. Руфи не совсем нравилось отчуждение, сложившееся в отношениях со свекровью, но она ничего не предпринимала в связи с этим. Мать Эмиля сблизилась с какой-то религиозной сектой и во время общей молитвы о воскрешении скончалась от разрыва сердца. "Ей бы ничего не стоило назвать меня не Готлиб, то есть угодный Богу, а Готлоб – восхваляющий Бога. Она ведь хотела сделать из меня проповедника".

Теперь, стало быть, его звали Зуттером, и кроме какого-то футболиста, какого-то молодежного кинорежиссера да еще калифорнийского генерала-золотоискателя ему с такой фамилией не встречался больше никто. Она и в устах Руфи всегда звучала для него столь же странно, как и в первый раз. "Ни один человек не знает своего истинного имени, – говорила Руфь, – не знал даже гномик по прозвищу Румпельштильц. Или ты думаешь, что он разорвал себя на куски из-за имени?" Зуттер вспомнил прочитанную в детстве в книге о Хайди историю о том, как Петер-козопас, когда его спросили, как называются ближайшие горы, ответил: "Никак не называются".

Или вот еще одно из тех воспоминаний, которые невольно приходили ему в голову и надолго застревали в памяти. В годы болезни Руфи с ней стало трудно "говорить о чем-либо другом". Но она хотела этого и была в своем желании непреклонна. Оно, это желание, не имело ничего общего с "боязнью конфликтных ситуаций" или стремлением "избегать проблем", хотя в "Шмелях" подобные высказывания имели место. Оно было связано с *выдержкой*.

Это было любимое слово Руфи, но она вкладывала в него свой, ей одной понятный смысл. Еще ребенком она увидела в учебнике по зоологии рисунок, изображавший собаку с поднятой передней лапой; подпись гласила: "Легавая выдерживает стойку". Эта подпись была для нее загадкой. После гибели родителей в автокатастрофе Руфь воспитывалась у двоюродной бабушки; с умением сохранять выдержку, которое ба-

1. Любимец Бога (*нем.*).

бушка пыталась привить ребенку, стойка легавой не имела ничего общего. Она никому не хотела давать лапу.

Получив медицинское образование, Руфь переводила с английского на немецкий специальную научно-популярную литературу для журнала, который писал о проблемах бионики, о возможностях технологического воспроизведения удивительных творений органической природы, иллюстрируя свои переводы великолепными фотографиями. Кроме того, она все основательнее погружалась в занятия одним из индейских языков. Сдав экзамены, Руфь много путешествовала, а незадолго до замужества провела лето среди индейцев навахо. Позже она многие годы возвращалась к полученному опыту, хотя больше туда не ездила. Благодаря наследству она могла больше не думать о заработке, но из-за своей нелюбви к предметам роскоши она интересовалась только теми вещами, которые не продавались и за которые нельзя было ничего купить...

Сама Руфь вряд ли могла бы заняться чем-нибудь менее полезным, нежели изучение языка навахо. Она изучала его только для себя. И была уверена, что этот язык создан не для того, чтобы помогать белым солдатам выигрывать войны. Скорее он давал возможность конструировать действительность, в которой войны становились ненужным излишеством. Он давал кое-что понять о гениальной работе природы, создавшей крылья мотылька и сделавшей ночное небо черным.

Когда Зуттер познакомился с Руфью, она писала на компьютере что-то, что называла "своей книгой" и чем ни с кем, даже с ним, не делилась. "Хватит и того, что я ее пишу", – говорила она. Ничего из написанного она не распечатывала и не переносила на дискету. После ее смерти на жестком диске оказалась бесконечная цепь слогов, вроде АЛЬ – НА – АС – ДЗО – ТЦА – АС – ЦИХ – БЕШ – ДО – ТЛИЦ. У Зуттера не хватило мужества – и даже бумаги, – чтобы распечатать этот зашифрованный текст и показать его специалисту.

"Я пишу это только для того, чтобы добраться до смысла букв".

Это был единственный ключ, который она оставила Зуттеру. В то время много говорилось о расшифровке генома человека. Руфь иронически и в то же время уважительно разглядывала колонки букв первого расшифрованного хромосома. "Они обалдеют от изумления, – засмеялась она, – когда вычислительное устройство продемонстрирует им парочку миллиардов раз, как оно функционирует. Вот тогда они забудут даже о том, что сами его запрограммировали. Их модели ссылаются лишь на самих себя".

Разобравшись чуть-чуть в зашифрованном языке навахо, он уже не надеялся встретить в нем слово, похожее на ЗУТТЕР. "Это шутливое прозвище она дала мне просто под настроение, – подумал он, – и я уже никогда не узнаю, почему она это сделала. Ее занимали многие бесполезные вещи. Наш брак не знал особых конфликтов, жизнь каждого в отдельности проходила бы куда сложнее". Руфь не хотела расшифровывать Зуттера или докапываться до смысла букв, составляющих это слово. Она хотела с ним жить – только и всего. В этом и заключалась *выдержка* – так "легавая держит стойку". Между *приличиями* и *выдержкой* было столь же мало общего, как между фамилиями Гигакс и Зуттер. "Составляющие созвездия звёзды тоже никак между собой не связаны, – говорила она. – Их отделяют друг от друга целые световые годы. Вопреки этому они выглядят так, словно составляют некое целое, и моряки сверяют по ним свой курс".

Таким созвездием был и их брак, хотя они не признавались в этом друг другу. Выразить это словами означало бы сказать неправду.

Когда Руфи сказали о результатах медицинского обследования — он настоял на том, чтобы самому отвести ее на прием к врачу, — ему сразу стало ясно: если она не захочет использовать хоть какой-то шанс в борьбе с раком, ее ничем не убедишь. Сам он верил в этот шанс, верил за себя и за нее. Но Руфь выслушала диагноз молча, поскольку у нее уже не осталось возможности поговорить с врачом "о чем-нибудь другом". Он не был сведущ в звездах, поэтому она не прерывала его речь, в которой были и сочувствие, и надежда на лучшее. Подтвердившийся диагноз не означал отказа от лечения. Он говорил довольно напористо, по-военному, так как в голове у него уже сложилась "стратегия", и он искренне просил Руфь о содействии. Словно окаменев, она только кивала головой. Зуттер знал: худшее, что можно было сейчас сделать для нее, — это сочувственно говорить о ее болезни.

То, что происходило потом, вынести было нелегко. Однажды среди ночи он проснулся оттого, что постель рядом с ним была пуста. Он нашел Руфь в комнате, она сидела с кошкой на коленях. "Вот теперь я легавая, которой надо держать стойку", — сказала она. И заплакала.

"У каждого живого существа свои правила поведения, своя выдержка, — говорила она, — у кошки она одна, у легавой собаки — другая. Кошка не поднимает лапу, выслеживая добычу, она вся сжимается. Надеется, что ее не увидят, зато она все видит". Зуттеру не всегда удавалось выполнять иные настойчивые желания Руфи. Он искренне пытался ничего не упускать из виду и при этом не задевать ее чувство выдержки. Но не всегда знал, как это сделать.

Все еще была возможность говорить о чем-то другом. Он читал ей сказки, в конце только сказки братьев Гримм. Женщины в этих сказках были не легавые, а принцессы, русалки, мачехи, служанки, одна даже была бабушкой дьявола.

Слово "выдержка" не встречалось ни в одной сказке, этого можно было не опасаться, и все же речь в них шла о выдержке и ни о чем другом. Зуттер понял, что слово "выдержка" было исполнено высокого благородства, но только в том случае, если оно не произносилось вслух. Годилось оно только для поступков. Тогда лягушки превращались в принцев, а солома в золото. И намекало это слово на нечто такое, о чем не принято говорить. Сказкам в такой выдержке никак не откажешь. Сказочное благородство сотворено из того же материала, что и наша жизнь, но и когда она превращается в му́ку, благородство сияет по-прежнему.

У Руфи от боли и смертного страха было единственное средство, которое приличествовало ее благородной натуре: скрытность и выдержка. Сказки ни от чего не избавляли, не открывали никаких дверей. Они лишь указывали на то, что уже было распахнуто настежь, на дверь по ту сторону добра и зла, жизни и смерти. Иногда эта дверь была глубоким колодцем, иногда мрачной пещерой или непролазной лесной чащей, кишащей чудовищами. Сказки были для Руфи местом совершенной выдержки. Если смех и плач в них поднимал ее настроение, она становилась такой, какой бывала прежде, и — он хотел верить этому — сближалась с ним. Но не до конца, что-то их все же разделяло.

— Ты думаешь, — спрашивала она, — Хензель и Гретель остались вместе, когда сожгли ведьму? Думаешь, они вернулись домой? Нужен ли им был после этого дом?

— Они были братом и сестрой, — сказал Зуттер.

— А мы даже не брат и сестра.

Так они прощались – с надеждой и друг с другом. Сказки говорили им, что по ту сторону жизни, в мире небытия, есть еще много неоткрытых земель. Там можно снова стать совсем маленькими и держаться за руки. Нельзя стать больше жизни и смерти, но зато силой волшебства можно стать совсем маленьким. И тогда, чтобы не потеряться, нужно взять друг друга за руку.

Зуттер вел себя с Руфью, как легавая в стойке. А иначе откуда бы взяться его выдержке? Выдержка тоже мирилась с легавой, пока та протягивала ему лапу, которую он так ловко умел подхватывать.

Выдержка в шутку наделила легавого пса прозвищем, которое он и носил, словно надетую набекрень шляпу: тем самым он тоже превращался в шутку. Его звали Зуттер, он сохранил себе жизнь и в благодарность за это обязался оставить смерти Руфи то имя, которое она уже имела, а именно: смерть Руфи.

Шутки в сказках не отличались щепетильностью. Все, что созрело для перемен, нуждается в грубоватых шутках. Легавая собака могла превратиться в принца, но могла и в жениха-зверя, и в лежебоку или в серну. Без щетины Такой-Сякой-Шершавый не оказался бы среди высшей сказочной знати. Внизу живота у Руфи струился ключ смерти, но ей было приятно, когда валет Зуттера и знать не хотел об этом. Он пробирался к источнику ее боли так близко, что боль и желание были уже неразличимы. Валет был глуп и лез напролом, потому что был полон естества, а естество его лучилось шуткой. Валету нельзя было поговорить о боли, но ему позволялось к ней прикоснуться. Там он был мальчик-с-пальчик, а когда забывал, что он лишь часть целого, то и настоящим мужчиной. Тому, что оставалось от Зуттера, уже не надо было быть ни настоящим, ни мужчиной. В этом остатке он был лишь гномиком, нарисованным измазанным сажей пальцем на школьном листке в клетку. Существом не от мира сего. Soutter, il est de l'au-delà.

Как часто он не имел этой выдержки и до тех пор срывал попытки Руфи сделать из мещанина Гигакса благородного человека, пока она не отказалась от своей затеи. А иначе почему бы ей всю последнюю ночь обращаться к Леоноре? Она знала, что ночь эта последняя, и не разбудила его, когда он спал как сурок. Когда он вспоминал об этом в реанимации, его душили слезы бешенства.

А других слез и не бывает, эту науку он усвоил тридцать лет назад. Плачут не от печали, как хочется и принято думать. Плачут всегда от ярости, от уязвленного тщеславия, от безудержной жалости к самому себе.

Руфь должна была научиться понимать природу своих слез, когда – под давлением Фрица и Моники – изменила самой себе. Она поехала в землю Зальцбург, чтобы "встретиться лицом к лицу" со своей болезнью. Метод "самопознания", который ее там ожидал, требовал отказа от выдержки в любой ее форме. Ее считали едва ли не причиной болезни, а то и самой болезнью. К счастью, в земле Зальцбург знали, как справиться и с *раком*, и с *выдержкой*. Нужно лишь набраться мужества и вбить *этим вещам* в голову, чем они должны стать. Если у тебя недостает смелости для этого, тебе помогут другие. Тогда твое печальное настроение быстро пройдет. Тогда ты выплачешь ее всю – от ярости на себя самое, на кого ж еще. Однако затем в тебе появится здоровая реакция на обман саморазрушения. А теперь посмотри на себя: ты живешь. Как ты себя чувствуешь, Руфь?

Она почти целую неделю пыталась выдержать эту процедуру. Зуттер в это время был по уши в деле, к которому имел самое непосредственное

отношение бывший обитатель "Шмелей", художник Йорг фон Бальмоос, тот самый, который назвал Эмиля "Эзе". Он был любовником одной азиатки, которая из-за него топором убила своего мужа.

Судебное разбирательство происходило в начале девяностых годов. Несколькими годами позже он снова с головой погрузился в процесс, в котором ему пришлось играть роль судебного репортера, и его отчет придал делу новый оборот. Зуттер вернулся к этому делу, когда и сам почувствовал себя несостоявшимся супругом, ему, похоже, захотелось задним числом разобраться в том процессе, как Руфи – расшифровать знаки языка навахо.

Тот репортаж Зуттера был отмечен, газета не скупилась на похвалы в адрес своего автора, а потом стала его зажимать – так он это расценил впоследствии. В реанимации Зуттер понял, что это воспоминание крепко пристало к нему и держало в напряжении...

Все это нисколько не занимало Руфь. Поэтому она оставила его сидеть над материалами давнего дела, снова вытащенного им на свет Божий, и позволила увлечь себя в окрестности Зальцбурга, чтобы там забыть о своей выдержке – ради благочестивой ле́генды, утверждавшей, что на одном крестьянском дворе занимаются не крестьянским трудом, а чудесным исцелением от болезней и мужчин, и женщин. Стало быть, могут исцелить и Руфь.

Так называемое "самопознание" оскорбило Руфь сильнее, чем медицинское заключение. Ей было легче жить со своей болезнью, нежели с самоуверенным суждением о ней. Неверное слово убивает еще при жизни, а ей тогда казалось, что в их группе жаждущих исцеления она слышит только лживые слова, к тому же исполненные самой искренней веры в свою силу.

Когда она, возвратившись, отдыхала от этой терапии, Зуттер читал ей сказку о "горе Зиммели", которая не открывалась, когда так называл ее чужой человек. Настоящее ее название было "Земзи", и только чистый сердцем знал это. В сказках возможны любые превращения. Но стоит произнести одно-единственное неверное слово – и все застывает, превращается в лед.

В скольких неверных словах подозревал я тебя, Руфь, и ты не простила бы мне этого, если бы не мой валет, которого, казалось, не заботило ничто, даже твое прощение.

Ты бы обманулась, Руфь, если бы была способна обманываться. Но валет по своей глупости не умел лгать. На целые месяцы он замирал в испуге и не шевелился. Он слишком боялся причинить тебе боль. Боялся твоей пещерки, Руфь. Это было время моего прострела, люмбаго, я отнюдь не притворялся. Валет уклонялся от встреч с тобой. Тогда я нашел другую и умолчал об этом. Зато валет снова мог входить в гору Земзи.

Я не смог бы сказать тебе, как это случилось. У моей искренности просто не было нужных слов. Вероятно, самым точным было бы слово "супружеская неверность".

Мое люмбаго нуждалось в лечении у одной ведьмы, ты сама меня к ней послала. Супружеская неверность поселилась в семье, хотя мы так и не могли "обосновать" ее появление. Для этого у нас, должно быть, не было по-крестьянски веских оснований. Ты по-семейному позаботилась о моем межпозвоночном хряще. Эта-то забота и привела к обоюдному обману, если таковой имел место.

Только после твоей смерти я узнал, как близки вы были, Леонора и ты. В свою последнюю ночь в "Шмелях" ты послала ей известие, по телефону, почти без слов. Оно дошло и до меня, с опозданием, словно бутылочная почта, только понять его я не в силах.

Извини, что оно не сразу вызвало у меня смех сквозь слезы. Я был слишком оскорблен. Но ты хотела еще раз получить удовольствие, из глубины колодца, в который ты погрузилась. Оттуда тебе уже не вынырнуть, но твоя шутка еще раз нашла меня. С этим музыкальным отрывком, который я ни разу не слышал, ты перешла все границы. Должно быть, этого ты и хотела. Ты еще раз послала мне отпечаток своей поднятой лапы: легавая выдерживает стойку.

Вместе с тобой умер и твой валет. Но Зуттер продолжает жить, хоть и с простреленным легким, и намерен еще раз во всем разобраться, например с этой твоей выдержкой. Ибо жизнь его потеряла всякий смысл, пошла кошке под хвост. Твоей кошке, Руфь, и я даже не знаю, где она сейчас.

Обращение к свидетелям

В четверг, 20 апреля, после двух часов дня на пешеходной дорожке, ведущей от трамвайной остановки Лаубхольц к Виденбаху, вблизи тира в 66-летнего мужчину был произведен выстрел, предположительно из карабина устаревшего военного образца. Пуля попала мужчине в грудь. Сейчас его жизнь вне опасности. Полиция просит возможных свидетелей происшествия сообщить подробности, необходимые для расследования преступления.

Эту газетную вырезку Зуттер нашел на ночном столике под тремя розами и карточкой – "от Франца и Ирены Кинаст с сердечными пожеланиями выздоровления", когда его из реанимации перевели в так называемую спальную башню, в отдельную палату на 23-м этаже. Эту привилегию, не соответствовавшую его статусу в больничной кассе, он при желании мог расценить и как предварительное заключение. Вероятно, городская полиция, разыскивавшая свидетелей, со своей стороны не желала, чтобы таковые оказались при допросе жертвы. Допрашивали его лишь однажды, между "неотложкой" и реанимацией.

Его состояние благодаря постоянному уходу постепенно улучшалось. Поврежденное легкое хотя и побаливало, когда он снова стал дышать носом, но, как показал рентген, расширялось при вдохе до нужного размера. Соответственно уменьшился и отток лишней жидкости из грудной клетки. И хотя Зуттер снова мог говорить, негромко, не боясь, что первое же слово закончится приступом кашля, следственные органы не торопились услышать его голос. Да и он не торопился сообщить им о загадочных телефонных звонках.

Зуттер лежал, изолированный от мира, доступный лишь для медицинского персонала, лежал на непривычной высоте, откуда, прямо из кровати, мог любоваться постоянно менявшим свой облик небом в облаках и безмолвной горой Хаусберг в отдалении. Он отказывался от любых услуг, которые предлагала городская больница, от телевизора, радио, газет и журналов, даже от книг из передвижной библиотечки. Телефон, установленный в палате, так ни разу и не зазвонил, не зазвонил, разумеется, и в семнадцать минут двенадцатого, а сам Зуттер и не

думал им воспользоваться. Постепенно ему стало казаться, что в сдержанности, с которой к нему относились, есть доля жалости.

Он имел дело только с женским персоналом. Когда его положили в эту палату, к нему наведалась дама из администрации, очень молодая и, судя по всему, невысокого ранга, так как на ней не было даже специальной одежды. Впрочем, таким образом персонал мог выражать и недовольство своим положением. Он требовал сокращения рабочего дня и/или повышения заработной платы.

Будучи в шоке, он еще в машине "скорой помощи" назвал себя "Зуттером".

– Итак, ваша фамилия не Зуттер, а Гигакс? – спросила она. – Ваша жена не выносила эту фамилию? – Дамочка с трудом подавила замечание, что и "Зуттер" тоже не бог весть что. – Если вы еще поддерживаете связь со своей женой, – сказала она, – было бы неплохо узнать ее адрес. Так, на всякий случай. Есть ли у вас еще близкие?

Зуттера поразила уверенность, с какой служащая больницы решила, будто он и Руфь в разводе, только потому, что жена не сидит на краешке его кровати.

– Вы спрашиваете, сохранилась ли у меня связь с женой? Думаю, сохранилась, хотя и затруднена по причине ее смерти. Кроме того, я все еще несу ответственность за ее кошку.

Дамочка, казалось, не знала, какие его слова принимать всерьез, а какие нет.

– Скажите, вы не член какой-нибудь секты?

Утвердительный ответ, подумал он, принес бы ей такое же облегчение, как и его матери. Хотя, возможно, и по другой причине.

Зуттер ограничился признанием, что он не только не сектант, но и вообще неверующий, хотя при крещении записан в реформатскую веру.

– В реформатско-евангелическую, – поправила дамочка, дополняя что-то в его истории болезни. – Готлиб Эмиль, – осведомилась она, – слово "Эмиль" подчеркнуто. Это верно?

– Во всяком случае, так оно и есть, – ответил Зуттер.

Потом ей потребовалось заполнить графу "профессия".

– Напишите "бывший журналист", – сказал Зуттер.

Она перестала писать, но не поднимала глаз, давая ему возможность исправить очевидную глупость.

– Если вы бывали на кладбище, – сказал Зуттер, – то могли прочитать на надгробных плитах: бывший федеральный егерь, бывший учитель или даже: бывшая госпожа полковница.

– Не кокетничайте своим возрастом, вам шестьдесят шесть, – решительно сказала дамочка. – Итак: журналист, на пенсии.

– О пенсии вряд ли может идти речь, – сказал он.

– Вы состоите в больничной кассе.

– Это для меня новость, – удивился Зуттер.

– Членство в больничной кассе обязательно, вы же лечитесь здесь не частным образом, – возразила она.

– Всем этим занималась моя жена, – сказал Зуттер. – И обязательными, и частными делами. Я мог бы предъявить свое страховое свидетельство.

– Нам известен его номер, – сказала она. – Кто вас сюда направил?

Зуттер снова удивился.

– Неизвестный стрелок. Меня привезли в "неотложке".

– У вас должен быть домашний врач.

– У жены был, гинеколог по фамилии Цвайфель, но они не нашли общего языка.

– Я поговорю об этом с профессором Ниггом.

– Кто это?

– Главный врач, – ответила она так, словно ее уже ничего не могло удивить.

– Вы больше ничему не удивляетесь, – заметил он.

– Я очень многому удивляюсь, – тут же возразила она. Чувствовалось, что ей надоело продолжать разговор в таком духе. – Но вы должны знать: я в подобных проделках не участвую.

Он не решился спросить, а в каких она готова участвовать.

– Не могли бы вы вызвать медсестру, – попросил он. – Меня знобит.

– Звонок у вас над головой.

– Благодарю вас.

– Не стоит благодарности, – сказала она и зашагала на своих высоченных платформах к выходу, словно на ходулях. Ее спина как бы говорила: "Ну и язва же ты. Неудивительно, что в тебя стреляли".

Последний отрезок пути, который вел от перевала Юлиер в горную долину, Руфь сидела рядом с Зуттером, широко открыв глаза. Говорил он один – о совершенно ином в этих местах освещении, о том, что в Энгадине отдыхаешь душой, каждый год заново. В пансионате, когда они поздоровались с персоналом и заняли комнату, Руфь выразила желание прилечь, но решительно, почти резко настояла на том, чтобы Зуттер и фройляйн Баццелль выпили по рюмочке за встречу. Пусть он поест и не ждет ее.

До половины одиннадцатого в гостиной было полно народу, потом он остался почти в одиночестве, пил свое "вельтлинское" и изучал надписи на балках перекрытия. Фредерикус или Бартоломеус думали даже о своем отъезде: IBIMUS – IBITIS. Мы уедем, вы уедете. IBITI IBUNT – тут его знания латыни оказалось недостаточно. FESTINA LENTE – поспешай не торопясь. Следующую надпись он не расшифровал: TEMPORA TEMPORE TEMPERA – умеряй время досугом?

Досуга у него хватало, в голове прокручивалась долгая поездка, по желанию Руфи они ехали без остановок. Из-за перепада высот потрескивало в ушах, пульс все убыстрялся – Зуттер раз за разом прикладывался к "вельтлинскому". Когда хозяйка пансионата не была занята, она подсаживалась к Зуттеру, такая же тощая, как и раньше, но ее сердечность казалась более наигранной, чем в прошлые годы. Не вышел ли он на пенсию, спросила она, давненько не читала она его отчетов. Да ей теперь и не до чтения, после операции глаза у нее уже не те, что прежде.

Но видели они еще неплохо, недаром же фройляйн Баццелль не спросила о самочувствии Руфи. Прежде чем пожелать ему спокойной ночи, она принесла журнал регистрации гостей и сказала, что он может еще посидеть в гостиной.

Он листал журнал, отмечал для себя фамилии и профессии гостей, время от времени припоминал физиономии: график, издатель, специалистка по эвритмии, школьный психолог, архитектор, младший воспитатель, логопед, пастор; типичная клиентура пансионата фройляйн Бац-

целль. Журналистом не записывался никто, даже редактор одного литературного ежемесячника, несколько лет тому назад покончивший с собой. "28.7.60 – 5.9.60 – обе даты говорят сами за себя", – прокомментировал он свое пребывание в пансионате. Тогда он, хотя и с трудом, еще терпел самого себя. Ронер Руфь и Гигакс Эмиль – их имена регулярно появлялись в конце сентября, без указания профессии и без комментариев.

Потом, задним числом, Зуттеру показалось странным, что в этот раз он не зарегистрировался в журнале.

Когда около полуночи он вошел в комнату, ему показалось, что Руфь лежит в своей кровати, и он не стал включать свет. Небо за окном затянулось облаками, Руфь задернула занавески, хотя обычно этого не делала. Комнату он знал как свои пять пальцев и мог передвигаться вслепую, так как в ней никогда ничего не менялось. Он разделся и ощупью, по не очень устойчивому деревянному полу – или на нетвердых ногах – пробрался к своей кровати у задней стены, ошибиться он не мог, она была застлана высоко взбитым пуховым одеялом. Вторая кровать вроде бы тоже была занята. Казалось, одеяло вздымается и опускается в такт дыханию.

Неужели он пропустил бы мимо ушей абсолютную тишину, стоявшую в комнате?

Когда Руфь обнаружили, врач не мог с точностью до часа установить время смерти. Руфь могла уже лежать в воде, когда Зуттер вошел в их вроде бы еще общую комнату. Но как она могла быть так уверена, что он не обнимет ее перед сном, не поправит одеяло, не проведет рукой по лбу?

Скорее всего, она дождалась, когда он уснет. Вероятно, она сначала сняла свою тяжелую шинель с крюка, на который он повесил ее, отпустив попутно какую-то шуточку. Карманный фонарик она включила, лишь когда отошла от пансионата на достаточное расстояние. Пошел дождь. Освещая фонариком мокрые кусты и траву, название которой ей было неизвестно, она искала тропинку к озеру, которую, должно быть, про себя наметила уже заранее. Выбранное ею место было на ближней стороне полуострова, круто поднимавшегося из бухты. По спускавшейся вниз тропке она дошла до скамейки у самой кромки воды; там узкой полосой лежала прибитая к берегу галька.

Здесь они стояли в прошлом году и смотрели на горы за бухтой, солнце уже скрылось за скалами, но еще покрывало тончайшим слоем охры и сирени горную цепь на другой стороне долины. В Энгадине "кривые равнины", как любила называть горы Руфь, действовали на них менее устрашающе, чем Альпы в других местах. Руфь была уверена, что на этом месте она найдет гальку, чтобы нагрузить карманы своей шинели.

Старую армейскую шинель она носила в семидесятые годы. Шинель уже тогда насиловала ее хрупкое тело, но в то время было модным из чувства протеста носить военное обмундирование. Когда она положила шинель в чемодан, он счел это капризом и почти добрым знаком.

Она надела ее на себя, как воин доспехи, когда выходила ночью из пансионата. Под дождем шинель, должно быть, стала еще тяжелее. Прежде чем войти в воду, Руфь наполнила карманы, которых в шинели было немало, галькой, чтобы не выплыть, если ей почти бессознательно захочется оттянуть конец. Собирая в темноте камешки и заполняя ими карманы, она потратила слишком много сил. Она просто не сумела бы поднять набитую камнями тяжеленную шинель и напялить ее на себя. И как только она дошла до воды, не рухнув под ее весом? Сколько уси-

лий пришлось ей приложить только для того, чтобы в конце концов погрузиться в глубину, отгоняя мысли об отступлении.

Карманный фонарик она выключила и оставила на берегу. Ключ от входной двери пансионата она, по всей видимости, взяла с собой. Но его так и не нашли.

Утром Зуттер проснулся около половины восьмого и увидел ее пустую кровать. Под одеялом не было и намека на тепло человеческого тела. Он мгновенно понял, что произошло. Оделся, сохраняя спокойствие, которое ему самому казалось призрачным. Спустился к телефонной кабине в вестибюле и позвонил в полицию. Дожидаясь полицейского, с которым он был знаком, Зуттер сидел на гранитных ступенях у входа в пансионат. Потом, не говоря ни слова, пошел впереди. Он знал, где искать Руфь. Едва поспевавший за ним полицейский, человек одного с Зуттером возраста, не без подозрения посматривал на то, как Зуттер безошибочно выводил его к нужному месту.

День был свеж, как новое утро мира. Чуть дальше, на озере, солнечные лучи уже лукаво заигрывали с иссиня-черными волнами. Но и здесь, у берега, куда солнце еще не добралось, в темном тюке, что лежал на дне, угадывались очертания человеческого тела.

Двое мужчин неподвижно стояли рядом и беспомощно смотрели в прозрачную, но недосягаемую глубину. Под рукой у них не было средства, чтобы вытащить из воды тело. Может ли Зуттер сходить за помощью, спросил полицейский. А сам он тем временем останется "охранять" место. Обязанности можно бы разделить и по-другому, но полицейскому положено оставаться на месте происшествия. Приходилось мириться с тем, что Зуттер не сразу найдет нужных людей. Но и смотреть дальше в эту текучую, широко раскрытую могилу ему вряд ли следовало.

Зуттер получил указания. Выслушал, кому позвонить, кого позвать. В Сильсе был врач для срочных вызовов и рыбак по фамилии Каханнес, отвечавший за спасение на водах. Зуттер запоминал фамилии, бормоча их про себя. Дойдя до пансионата, он еще мог повторить их фройляйн Баццелль. Но звонить был уже не в состоянии.

Хозяйка пансионата застыла на месте. Потом проводила гостя в свою квартиру, предложила ему стул, а сама, перейдя в соседнюю комнату, стала звонить в нужные места. Говорила она по-ретороманси, но Зуттер понимал каждое слово. Лишь однажды она открыла дверь и спросила, в каком точно месте обнаружено тело. Зуттер объяснил, как заправский гид.

Именно теперь, подумал он, почему именно теперь?

— Я доктор Рукштуль, — представилась она.

Рыжеватые волосы, прическа под Жанну д'Арк, взгляд Зуттера выдержала с профессиональным недоверием. Она была непоколебимо молода, от ее хрупкой фигурки веяло, словно запахом ядрового мыла, презрением ко всему некорректному. Она выслушала его, пугливой рукой исследовала его внушавшие опасения, но вполне доступные части тела, объяснила ему его состояние, но из всего, что он рассказал ей о своем самочувствии, записала только важное с медицинской точки зрения. Когда он спросил ее о дате возможной выписки, она призналась:

— Я боюсь вас.

— Вы боитесь за меня?

— Я боюсь *вас*, — уточнила она, не моргнув глазом. — Вы задаете мне неправильные вопросы.

— В таком случае отвечайте лишь на те, которые считаете правильными, — сказал он.

Она даже не улыбнулась.

— Я и пытаюсь это делать.

Он обратил внимание, что в речи доктора Рукштуль слишком часто встречается слово "сделаться". У него сделался пневмоторакс. Осложнения, слава богу, пока не сделались, медицинские показатели стабильны. За последние сутки он выделил четыреста миллилитров жидкости, в которой было очень мало бактерий, но вполне приличное количество гемоцитов. Пока ткани еще ослаблены и рана не затянулась, не исключено, что у него сделается второй пневмоторакс, в худшем случае гематопневмоторакс. И если вдобавок к этому сделается еще и инфекция, то есть опасность, что с ней уже нельзя будет справиться с помощью антибиотиков.

Фрау доктор Рукштуль рассматривала простреленное легкое как некое меню, как выбор вариантов, из которых ему не рекомендовалось выбирать вредное для здоровья.

Он понимал, почему Руфь, "медик с незаконченным образованием" (сам он был юрист-международник с незаконченным высшим образованием), отказалась от услуг казенной медицины. Не из пренебрежения к научным достижениям. А потому что у нее была потребность оставаться собой и в болезни, терпеть боль, но по крайней мере не считаться с условиями, при которых она могла бы рассчитывать на помощь. Она не позволила бы себе обижать врачей, допуская, чтобы они относились к страху казенной медицины перед смертью как к пустой трате времени.

"Я хочу дать этой болезни собственное имя, Зуттер. Рак — не лабораторная мышь, а мое домашнее животное. И я не верю, что это я сотворила его — ты можешь себе представить, чтобы я позволила внушить себе, будто я сама наделила себя раком? — Это в ней говорила незаживающая рана зальцбургского "самопознания". — Рак — дело случая, Зуттер, он достался мне, как сказочному Хансу его счастье. Стоило ему избавиться от золотого самородка и точильного камня, как ему сразу стало легче. Мой рак — дело случая, как и ты, Зуттер".

Подобных объяснений в любви он не слышал больше ни от кого. Доктор Рукштуль вряд ли способна на такое. Она пообещала прислать служащую, которая отвечает за социальное положение пациентов. Быть может, хоть та подскажет, что делать с кошкой, домашним животным Руфи. Руфь кормила ее, как и свой рак. <...>

Фройляйн Баццелль сопровождала его, когда он снова увидел Руфь. Она лежала в бомбоубежище для гражданских лиц на возвышении, застланном зеленым брезентом из синтетического материала, закутанная в армейское шерстяное одеяло, из которого выглядывало только ее лицо с застывшими глазами, которые так и не удалось закрыть. Подбородок ей подвязали шелковым, в красных узорах платком, затянув узлом на голове.

Чтобы рассмотреть лицо, ему пришлось надеть очки, которые висели на цепочке у него на шее. Врач обратил внимание на спокойное выражение ее лица. Значит, умерла без мучений. Но и врачу не пришло бы в голову назвать улыбкой то, как сложились ее губы. Какая-то успокоен-

ность витала над ее слегка приоткрытым ртом, какое-то лукавство после удавшейся проделки.

Его не оставляли наедине с покойницей. Среди находившихся в подвале была и пожилая женщина, ассистентка врача. Это она раздевала Руфь, когда врач установил смерть. На ее теле он нашел убедившую его причину, из-за которой она добровольно ушла из жизни. Он извинился перед Зуттером за то, что вынужден порядка ради отправить покойницу в больницу. Судебная медицина должна сказать свое слово, от вскрытия они скорее всего откажутся. Зуттер то ли кивнул, то ли покачал головой. Он стоял и не говорил ни слова. Если присутствующие и удивлялись этому, то не показывали вида. Бородатый рыбак, вытащивший Руфь из озера, поклонился ей, сложив на груди руки. Фройляйн Баццелль положила на шерстяное одеяло маленький цветок подсолнечника. Она срезала его в саду пансионата перед тем, как сесть в машину Зуттера, не забыв спросить, в состоянии ли он ею управлять.

Спустя четыре дня он возвращался из пансионата домой. Рядом на сиденье лежал простой ящичек, в который служащий крематория упаковал урну. Все эти дни Зуттер не выходил из своей комнаты. Фройляйн Баццелль приносила ему еду и уносила обратно. Он почти не притрагивался к пище. Отрешенность была полной. Встретиться с психиатром он тоже не изъявил желания. Том за томом прочитывал он собрание сказок братьев Гримм, шевеля при этом губами. И много спал.

Один раз он уже пытался уехать домой и добрался до Юлиевых столбов, но вдруг вспомнил, что оставил в пансионáте вещи и никому не сказал о своем отъезде. Пришлось возвращаться. Укладывать вещи Руфи не надо было, ее чемодан стоял в комнате, можно сказать, нераспакованный. Фройляйн Баццелль только кивнула, когда он стал заверять ее, что в следующем году приедет снова. Уже готовый к отъезду, он стоял у автомобиля. Она посмотрела на него строго и пожала ему руку. В Куре он заехал в крематорий и захватил ящичек с урной. Краешком глаза он посматривал на него, дорога бесконечной лентой ложилась под колеса, иногда ему казалось, что он парит в воздухе. Благополучно добравшись до дома, он внес багаж в комнату и прилег на кровать. Трезвонил телефон, напрасно призывая его к себе. Но игнорировать стук в садовую калитку Зуттер не стал. Когда, так и не переодевшись с дороги, он выглянул наружу, то увидел изборожденное морщинами лицо Фрица.

— ОЭмиль, — проговорил он, — нам очень жаль.

Фриц и Моника позаботились о самом, как они выразились, необходимом. Сочинили извещение о смерти. Пригласили всех, кто знал Руфь, на поминки в реформатский зал бдений.

И вот туманным октябрьским днем в "доме раздумий", построенном в стиле старого датского модерна, собралось человек тридцать, среди них много бывших обитателей "Шмелей". Некоторые из пришедших были Зуттеру незнакомы, он предположил, что это друзья Руфи из ее прежней, добрачной жизни, о которых она предпочла ему не рассказывать. И еще там была Леонора, о ней в свое время он тоже не все рассказал Руфи.

Как раз тогда у Руфи начались бессонные ночи, а его мучил всего лишь межпозвоночный хрящ. Чтобы избавиться от боли, он решил посещать сеансы дыхательной гимнастики у Леоноры. По совету Руфи. Она часто перезванивалась с бывшей обитательницей "Шмелей", та помогала ей по ночам "дышать с болью" или "дышать в боль". Но Зуттер не предполагал, что между ними существовала особая близость. Это выяс-

нилось только на поминках. По словам Фрица, в свою последнюю ночь, перед отъездом в Сильс, Руфь позвонила Леоноре и попросила ее ни о чем не спрашивать, а только слушать. Она поставила для нее пластинку "Weary Blues", "Усталый блюз", где Джонни Ходжес играет на саксофоне, а Дюк Эллингтон аккомпанирует ему на фортепьяно. "Может, именно эту музыку надо послушать и на поминках", – сказал Фриц. С отчужденным видом Зуттер принялся искать этот блюз в коллекции пластинок Руфи. Она и впрямь там была, но, как он и думал, относилась к давно прошедшему периоду увлечения Руфи подобной музыкой. В последние недели он видел ее только погруженной в "Реквием" Моцарта. "Я купаюсь в музыке, – говорила она, – готовлюсь в дорогу".

"Weary Blues" он слушал на поминках в первый и последний раз и потом передал пластинку Леоноре, но разговаривать с ней не стал. Она привела с собой своего бывшего мужа, художника Йорга Бальмооса. Он явился без своей второй жены, калмычки, которая ради него рубила своего первого мужа и была приговорена к двум годам тюрьмы. Зуттер писал об этом, но многое из дальнейшей жизни этих людей оставалось ему неизвестным. Предупредительность Йорга он оставил без ответа. Слава этого человека поблекла, но он все еще был розовощек и носил маску бонвивана. Его близко посаженные глаза и напоминающий клюв нос с горбинкой производили неприятное впечатление и никак не вязались с представительной внешностью преуспевающего художника и прической под римлянина. Зуттер признался себе, что продолжающаяся близость этого человека с Леонорой ему не по нраву. Сближение Леоноры с Руфью, а также эта таинственная история с "Weary Blues" еще больше охладили его. По рукопожатиям дюжины людей, просивших его принять "их соболезнование", он чувствовал, что и они не верят в искренность его скорби. Мужчина, жена которого покончила жизнь самоубийством, не вызывает у людей особого доверия.

На поминках он все время посматривал в сторону фройляйн Баццелль. В длинном черном платье, с плетеной сумочкой на коленях, она сидела, выпрямившись, на маленьком стуле и со сдержанным уважением слушала речь Фрица. Он изрекал свои истины из-за букета белых калов, который он же сам и принес. Вид у него был самодовольный. Добрая воля вкупе с сильным чувством буквально изливалась из каждой поры его испещренного тысячами морщинок лица. Он не отрицал права Руфи умереть так, как она считает нужным. В то же время он возмущался ее смертью и отказывался хладнокровно смириться с ней. Именно как христианин он не принимал веры в правоту смерти. И приводил в пример того, кто не только разделял неверие его, Фрица, в смерть, но и отдал жизнь во имя этого неверия. Своего Иисуса Фриц заставлял отвечать за все наши человеческие несчастья. Он не апеллировал к чувству жалости. Речь шла о более высоких материях. Но Фриц не воздавал хвалу и тому, что ожесточает сердца. Он недвусмысленно призывал присутствующих предаваться безграничной и в то же время гневной печали. Не стесняйтесь спорить с Богом, говорил он.

Зуттер не знал, чему верить, слушая эту страстную проповедь. Но он верил в искренность слез, что текли по спокойному лицу фройляйн Баццелль. Сколько будущих знаменитостей приютила она в своем пансионате, когда те еще только скромно начинали свой путь наверх и зависели от доверия своей неутомимой, реалистически смотревшей на вещи почитательницы. Она заботилась о телесном благополучии великих умов,

но почти не уделяла внимания собственному телу, которое все тощало и утрачивало признаки возраста. Руфь уважительно называла ее "горной козочкой". Когда добившиеся европейской известности умы меняли ее пансионат на фешенебельный "Вальдхаус", так как предлагаемый ею комфорт постепенно переставал соответствовать их растущим потребностям, она не сердилась на них за это. Чтобы поднять себе настроение, она уходила в горы, рвала дикие нарциссы, целый букет, и распределяла цветы по комнатам оставшихся ей верными гостей.

К ним относились и Зуттер с Руфью. Они знали, сколь обманчивы внешне грубоватые манеры, за которыми скрывалась тонкая, ранимая душа. И вот она приехала отдать должное памяти Руфи, осталась довольна тем, как все было организовано, спокойно прослушала "Weary Blues" и исчезла перед приглашением к столу так же незаметно, как и появилась. Ее не волновало, поймут ли ее другие, и Зуттер, у которого навернулись на глаза слезы, почувствовал: уж она-то его понимает.

Он решил, что в этом году поедет в Сильс один; ему хотелось выведать у нее все, что она знает о Руфи.

— Что бы мы могли сделать для тебя? — спросил Фриц на прощанье.

— В приюте для домашних животных осталась кошка, Руфь отнесла ее туда. Я никак не решусь забрать ее.

Фриц сразу все понял. Уже на следующий день кошка была дома. Вернувшись на свое старое место, она обнаружила между нераспакованными чемоданами перевязанный белой лентой ящичек из светлого дерева и принялась обнюхивать его со всех сторон.

Это было самое трудное из всех испытаний пациента Зуттера, и все же именно в общении с этой дамой на его долю выпала маленькая удача.

— Да, господин Гигакс, — спросила она без вопросительной интонации в голосе.

"С кем имею честь, — хотел он ответить вопросом на вопрос, — дайте же и мне насладиться волшебным звучанием вашего имени", — но прикусил язык. Стоило один лишь раз взглянуть в глаза этой особы, чтобы понять: вызывать ее на словесное единоборство столь же бессмысленно, как и пытаться ей понравиться.

— Я живу один, — сказал он, — и у меня есть кошка. Несчастье в четверг случилось так внезапно, что я не успел позаботиться о животном.

— У вас есть друзья, — отрезала она.

Дама из отдела социального обеспечения — ее имени Зуттер так и не узнал — была неопределенного возраста, где-то между тридцатью и пятьюдесятью. Она была красива той красотой, которая умеет десятилетиями скрывать истинный возраст. Он дает о себе знать только в усилиях, затраченных на достижение безупречного косметического успеха. На лице дамы застыла маска строгой неприступности. У нее была крупная, склонная к полноте фигура, но женщина умела держать себя в рамках. Зуттер видел в ней законченное воплощение принципиальности. Помогала она только тем, кто был не в состоянии помочь себе сам.

— У меня нет друзей, которые умеют обращаться с кошкой, — признался Зуттер. — Наверняка уже четвертый день она ходит некормленая. Вполне могла убежать из дома.

— Кот, — спросила дама утвердительным тоном.

— Кастрированный, — ответил Зуттер.

— У нас четыре кошки, — изрекла дама, сложив на груди руки, — и они всегда умели позаботиться о себе. Без проблем. Если и есть проблемы, то только у вас. Вы ее избаловали.

— Это кошка моей покойной жены. Я не могу заменить ей хозяйку.

— Как ее зовут?

— Руфь.

— Кота зовут Руфь?

— Мою жену звали Руфью, — сказал он, — а кошке она давала много всяких кличек. К примеру, Белый олень. Стоило ей так позвать ее, и кошка стремглав неслась к ней.

— Белый северный олень не имеет ничего общего с гонками, я совершенно случайно знаю об этом.

— А кот и не был белым, — возразил Зуттер. — Многие считали, что он черный, но когда Руфь подзывала его: "Ко мне, Белый олень!" — он мчался к ней галопом.

— Потому что был голоден и знал голос вашей жены.

— Наверно. Так оно и было, — согласился Зуттер. Его грудная клетка просила покоя. — Но сейчас все обстоит иначе. Кошка знает мой голос, но услышать-то его не может. Я лежу тут, а кошка бродит неведомо где.

Дама окинула его чуть менее строгим взглядом. Она уже несколько раз поставила его на место. Возможно, поэтому он стал ей немного симпатичнее.

— Я здесь для того, чтобы помогать людям, а не кошкам. Итак, как обстоит дело с вами? Кто будет ухаживать за вами, когда вас выпишут? Готовить, убирать квартиру?

— Я сам.

Ее взгляд снова стал жестким:

— Вы же видите, что из этого получается.

— Всего лишь огнестрельная рана, — пошутил он.

— Поберегите себя какое-то время, — сказала она. — Ваш домашний врач должен связаться со Спитеком.

— Спитеком?

— Каждый день к вам будет приходит кто-нибудь и приносить горячую еду. Делать необходимую уборку.

— Читать мне вслух, — добавил Зуттер.

— Читать вы умеете сами, — властно сказала она.

— Но у меня нет домашнего врача.

— Такого не бывает.

В ее взгляде мелькнула неуверенность, потом он стал еще тверже.

— Тогда это будет первое, что мы организуем. Врачей широкого профиля хоть пруд пруди.

— Хоть по реке их сплавляй или хоть гору из них насыпай?

— Будете шутить, схлопочете еще один приступ кашля. Я принесу вам список осевших в вашем квартале врачей.

— И опустившихся врачих.

Она засмеялась против воли.

— Должно быть, вы полагаете, что шуточки — признак здоровья. Лучше посмотрите-ка на себя. — Она показала на прикрепленный к грудной клетке Зуттера шланг, который под больничным халатом тянулся к уравнительному резервуару Бюлау. Видимая часть дренажной трубки на протяже-

нии нескольких сантиметров была закупорена черноватой массой. Дама помяла пальцами заблокированный проход, пробка начала растворяться и рассасываться, пока не отошла темной слизью. Следом показалась красноватая жидкость, и стало слышно, как она капает в бутылку.

— Вот так выглядит инфаркт, — сказала она. — Теперь вы понимаете, почему мы вас держим здесь. Не волнуйтесь, я наведу справки о вашей кошке.

— Вы спасли мне жизнь, — сказал Зуттер.

— Не преувеличивайте и не дергайтесь. Вам еще рано прыгать.

— А вы не бастуете? — спросил Зуттер.

— До чего мы дойдем, если еще и я начну бастовать. Это все для глупых детей. Для тех, кто думает только о себе. О том, чтобы иметь, иметь и иметь. Как можно больше.

— Вы сторонница чистого бытия, я это чувствую.

В этот момент прислуга-албанка ввезла на тележке ужин. Дама из отдела социальной помощи взглянула на наручные часы.

— Вам бы поменьше чувствовать да побольше кушать. Так будет полезнее для вас. Приятного аппетита.

— Спокойной ночи, фрау?..

Было четверть пятого, время, когда в больнице начинается ужин.

Перед последней поездкой в Сильс, за день до смерти, Руфь, погрузившись в "Реквием" Моцарта, уже ничего не ела. Днем у Зуттера была намечена встреча. Спроси Руфь, с кем, он не делал бы из этого тайны. "Речь идет о судебном процессе, Руфь, я опять вернулся к нему, мне нужно получить еще одно свидетельское показание". Это была почти правда. То, о чем он умолчал бы, относилось к принятой ими культуре взаимоотношений. То, что ты делаешь для себя лично, касается только тебя. Зуттер не знал, что это последний день в жизни Руфи. Он шел на встречу с женщиной, Руфь знала ее, хотя, как ему тогда казалось, не столь хорошо, как он сам.

Не о неверности помышлял тогда Зуттер, а скорее о спасении жизни, и как мог он обидеть Руфь признанием, что она не та женщина, которая способна его спасти. Да и ей самой честолюбивые притязания такого рода были отвратительны. Если ему не изменяет память, она сама послала его к Леоноре, они дружили, когда еще жили в "Шмелях". После развода она продолжала под прежним именем давать сеансы психотерапии. Тогда-то и наведался к ней Зуттер по поводу своего межпозвоночного хряща — последствия прострела.

Чем была для Зуттера Леонора? *Руками.* Эти руки должны были поддержать его, чтобы он мог упасть и при этом не взвыть от боли. Даже чтобы улечься на массажный стол, ему нужны были ее руки. Ходить, сидеть, стоять, лежать он еще мог, если предусмотрительно не делал резких движений. Но менять одно положение на другое было выше его сил. Одна мысль об этом вызывала у него крик боли. Подавить его хотя бы раз в день, когда нужно было пошевельнуться, было для Зуттера подвигом. Особенно в присутствии Руфи, которой он ничем не мог помочь, скорее наоборот: *от нее* вынужден был ждать помощи. Когда одевался, умывался, принимал ванну. Она не смеялась над ним до слез, но ее участливость вряд ли была искренней. Зуттер с его прострелом был фигурой неестественной, каким-то кричащим недоразумением. Даже стыд не мог заставить его удержаться от

крика. Его позвоночник был орудием пытки, которое к тому же требовало бережного к себе отношения. Чтобы еще сильнее терзать его.

Под руками Леоноры волку пришлось выпустить его из своих лап. Он только глухо и все еще жалобно ворчал в успокоившейся наконец поясничной области Зуттера... Готовый пожертвовать достоинством высшего, уже выпрямившегося позвоночного животного.

Сначала ее руки только прикасались к нему, оставляя там и тут след своего тепла, в том числе и на проклятом межпозвоночном хряще. Он чувствовал, нет: *видел*, как багряно-красное воспаленное место — таким он представлял его себе — остывает и приобретает менее ядовитый пурпурный цвет. Раз за разом руки прикасались к нему, и в местах их прикосновения кожа успокаивалась и теплела. Руки приносили это тепло и в то же время выманивали его из тела. Пока еще эти руки только дотрагивались до него, не принимаясь за дело. Но вот они взялись за него — ощупывая, ища, задерживаясь на том или ином месте. Они не давили на его узлы, а вычесывали, выглаживали их из него. Прикосновения Леоноры были необыкновенно легки: так кошка облизывает своего новорожденного котенка; нет: так она вылизывает мертворожденного, возвращая его к жизни.

Зуттер, груда костей и мяса, под этими прикосновениями начал превращаться в живой организм. Его собирали заново. Руки Леоноры соорудили ему новый каркас, поместили куда положено сердце, легкие, почки и печень. Не сдвинувшись с места, древо жизни Зуттера снова зашелестело под легкими, как дуновение ветерка, прикосновениями этих рук. Они не мяли его тело, а разглаживали, и оно принялось заново пускать корни и распрямляться.

Он открыл глаза. Прямо перед его лицом метались полы короткого халатика, под ними раскачивались коленки в такт энергичным движениям, которыми Лео обрабатывала его спину. И как-то само собой вышло, что его болтавшиеся без дела руки обхватили эти коленки, и волны тепла, пробегавшие по телу Зуттера, стали перетекать в них.

Совокупление происходило постепенно и плавно. Сигнал к нему первым подал один-единственный орган Зуттерова тела. Затем к нему присоединились все остальные, один за другим, все так же плавно втягиваясь в игру, поочередно срывая то, что могло помешать и что на самом деле мешало Зуттеру — болезненно и нелепо. И так получилось, что возвращенная ему жизнь стала переходить обратно к своему источнику, от тела к телу, не встречая сопротивления, лишь соприкасаясь с движущейся живой плотью. Дуга слияния поднималась все выше, приближаясь к завершению круга. Когда круг сомкнулся, из груди Зуттера вырвался громкий крик, вобравший в себя все подавленные стоны и выбросивший их из тела и души — в другой, новый мир. Кричал не Зуттер, крик втянул в себя его самого, чтобы разбить цепи, которыми он был скован, и вернуть в свою стихию.

Когда он почувствовал, как руки Лео сомкнулись у него на спине, то был уже настолько раскрепощен, что мог взглянуть в лицо, которому принадлежали эти руки. И хотя оно было слишком близко — руками не дотронешься, но он заметил, что в уголках ее губ застыла глубокая печаль.

— Леонора, — выдохнул он.

Внезапно она так крепко схватила его за плечи, что он испугался, потом ее руки переместились на его горло.

— Давай, если можешь.

Руки ощупали его гортань, потом так сдавили горло, словно пальцы были из стали.

"Сейчас она меня задушит", — пронеслось в его голове, воздух с трудом вырывался из горла, к голове прилила кровь. Но его член напрягся и закостенел, как перекладина виселицы.

— Давай, — сказала она. — Пошел.

"Она или я. Она, — подумал он. — Она". — И начал вонзаться в нее, долбить, словно свайный молот. Чем сильнее она сдавливала ему горло, чем громче были его хрипы, тем крепче вколачивал он в нее сваю. "Я ведь никогда не занимался этим на стороне. Зато теперь. Сейчас. Кто там пускает пузыри? Только не я. Не я. И не кончать. Не кончать". Она отпустила его горло и закинула руки за голову, а он все трудился на ней как лев. Когда она засмеялась и покачала головой, он все еще сжимал ее в объятиях и загонял свою сваю. Ковал железо, пока оно не начало съеживаться, принимать человеческую форму и ощутимо остывать.

Они лежали в углу комнаты, посреди покачивающихся набивных мячей, на голом паркетном полу, почти под самой раковиной. Зуттер все еще тяжело дышал. Лео отодвинулась от него, оперлась локтем о пол и прижалась затылком к стене.

— Поднимайся, — сказала она. — Вставай на четвереньки. И побереги голову.

Он улыбнулся, точнее, смущенно ухмыльнулся и вскочил на ноги. Стоял и смотрел на нее так, точно его все еще не накормили досыта. Не дали того, чем он мог насытиться.

Она скользнула вниз по стене и застегнула на животе полы халатика.

— Что поделывает твой прострел? — спросила она.

Не говоря ни слова, он начал одеваться.

— Ну как, то, что надо? — снова спросила она. — А если бы я любила тебя по-настоящему?

Когда он три года спустя позвонил Леоноре, чтобы договориться о встрече, она сказала: только ненадолго. И добавила, что уезжает на следующий день в Грецию, на неопределенное время, с одной своей подругой.

Завтра он тоже уезжает в Сильс, сказал Зуттер, как обычно, на две недели. Что ему надо от Лео? Нет, не свидания, не возобновления теплых отношений, он хочет просто встретиться. Между ними не должно быть ничего, что "попахивало бы неразрешенными вопросами", как выражаются Фриц и Моника. Руфь и Зуттер несколько раз видели Лео в Сильсе, где она проводила отпуск со своей прежней семьей, точнее, в новой семье своего бывшего мужа. Зуттера это не удивляло. Он знал о сближении Лео с Ялукой, новой женой фон Бальмооса, и о ее доверительных отношениях с дочерью Ялуки; Леонора опекала ее, когда мать девочки сидела в тюрьме. Это было вполне в ее характере. Зуттер полагал, что близость Лео с Руфью основывалась преимущественно на сеансах психотерапии, — пока не узнал — уже после смерти Руфи — об интимном прощальном звонке.

Благодаря этому Зуттеру стало понятнее, почему новая встреча с Леонорой не принесла удовлетворения и многое оставила без ответа. Она ни словом не обмолвилась о Руфи и только бегло, не вдаваясь в подробности, рассказала кое-что о своей жизни.

Так, она намекнула, что отношения с ее "бывшим" — художником Йоргом фон Бальмоосом — еще больше запутались. Причиной тому, заметила она, ничуть не жалуясь на это обстоятельство, ее приемная дочь Зиглинда, или просто Зигги, падчерица "бывшего". В ней соединились темперамент матери и упрямство отца. Должно быть, не девица, а гре-

мучая смесь, заметил Зуттер, представив себе Зигги, уже достигшую шестнадцатилетнего возраста. Да, чуть заметно улыбнулась Леонора, настоящая Электра. Известную роль сыграла тут и судьба ее отца. Она, правда, никого не убивает, но вместо этого играет на скрипке, ее местью стала музыка. Или, надо думать, станет. Пока что она воюет сама с собой.

Зуттер узнал, что Зигги в четырехлетнем возрасте по настоянию матери брала уроки у знаменитого Андраша и к одиннадцати годам почти созрела для концертной деятельности. Но вдруг ни с того ни с сего бросила свою музыку и занялась плаванием, верховой ездой и скалолазанием, рискуя сломать себе шею. Потом открыла для себя относительно безопасный виндсёрфинг и за два летних сезона овладела этим видом спорта. По мере полового созревания ее строптивость стала столь всеобъемлющей, что мать и отчим могли помочь себе только тем, что отдалили дочь от дома. Они, сказала Лео, поместили ее в один энгадинский интернат, пользовавшийся славой наиболее подходящего заведения для трудных, но одаренных подростков. Благодаря близости трех озер — настоящего Эльдорадо для виндсёрфинга — новое место пришлось ей по вкусу. Зимой ее потребность в опасных развлечениях удовлетворял сноуборд. Ее привлекали не столько тренировки, сколько заснеженные склоны в стороне от основной трассы. При этом она пренебрегала какими бы то ни было правилами безопасности, уже дважды налетала на другие сноуборды и лишь чудом ничего себе не повредила.

У Зуттера сложилось впечатление, что Леонора так много говорит о Зигги, чтобы ничего не рассказывать о себе. Да и о тех, с которыми Зуттер познакомился во время судебного процесса, она упоминала лишь мельком. Йорг фон Бальмоос, имевший "твердую репутацию" как художник, давно миновал свою высшую точку и появлялся на людях один или в сопровождении женщин, которые часто менялись. Об этом, как ни старался Зуттер, она предпочла умолчать. И почти ничего не сказала о намечаемой поездке в Грецию: Зуттеру лишь позднее стало ясно, что спутницей Леоноры могла быть только Ялука.

Зуттер расстался с Леонорой внешне приветливо, но внутренне опустошенным и разочарованным. О нем она столь же мало хотела знать, как и о Руфи. Он чувствовал, что не в состоянии сразу вернуться домой. Поездка в Сильс была подготовлена: Руфь еще накануне отвезла кошку в приют для животных и нашла в себе достаточно сил, чтобы самой упаковать свои вещи, да к тому же еще и собрать чемодан Зуттера. Это его растрогало; по тому, что и как она укладывала для него в чемодан, он мог судить, какие у нее были представления о его потребностях. Поэтому по прибытии на место он смотрел в открытый чемодан, как смотрят в зеркало, и если он не совсем в нем себя узнавал, то предпочитал промолчать и покупал забытое без ведома Руфи.

Он вывел машину из гаража, поехал в горный ресторан с красивым видом на окрестности — полюбоваться закатом солнца над залитым ослепительным светом городом. А заодно согрел пустой желудок поллитровой бутылкой красного вина. Когда около десяти вечера он вернулся домой, Руфь спала при невыключенном проигрывателе на диване, перед которым стояли упакованные чемоданы. Лицо ее было мокрым и покрасневшим. Он отнес ее наверх, уложил в постель, укрыл, выключил проигрыватель и поставил будильник на восемь утра. Вставать завтра слишком рано не было нужды.

Прошло полгода после ее смерти, но он все еще чувствовал слабое, как бы ощупывающее прикосновение ее руки, которой она держалась за его рубашку, когда он переносил ее ставшее таким легким тело из одной комнаты в другую. Он тогда подумал: пока все в норме, межпозвоночный хрящ держит. Сегодня он знал: это было последнее в их жизни прикосновение друг к другу.

Никогда не скажешь с уверенностью, как выглядит главный, но его легко узнать по первому появлению. Главный никогда не появляется в одиночку. Если с ним приходят четыре или пять особ, ему даже не требуется играть самого себя; хорошего главного это приводит в смущение. Главного обязаны играть другие.

Визит главного врача давно назрел, но прошло уже почти пять дней, а у кровати Зуттера он так и не появился. Иногда Зуттер смотрит на отвечающую за его здоровье, добросовестно заглядывающую к нему фрау Рукштуль как на жертву и чувствует себя не очень удобно. В том, что для лечения его пневмоторакса оказалось достаточно всего одной женщины, не было неуважения — ни к самому пневмотораксу, ни к этой женщине: в ее квалификации сомневаться не приходилось. И все же сомнение напрашивалось: она не шеф отделения, и уже поэтому он хотел, чтобы к его пневмотораксу проявил интерес главный. Разве не ходят разговоры, что падение престижа профессии врача напрямую зависит от растущего участия в ней женщин?

Когда в палату вошел мужчина средних лет, чуть ниже среднего роста, глаза как у совы, в модном костюме, какие носят многие, он вполне мог сойти за профессора Нигга, заведующего хирургическим отделением, — его обход больных давно ожидался. Таковым он мог оказаться, даже если бы и вошел без свиты, еще и потому, что на нем не было белого халата. Почему бы ему не походить на представителя какой-нибудь фирмы? Тип служащего теперь уже далеко не тот, что раньше. Сегодня можно встретить даже безработного с плешью и залысинами.

— Цолликофер, рад встрече с вами, — представился мужчина, и хотя вид у него был отнюдь не радостный, Зуттеру было все же приятно услышать эту старомодную формулу вежливости. — Доброе утро, господин Гигакс. Надеюсь, вам уже лучше? Я из органов правосудия и хотел бы немного поговорить с вами. Могу я присесть сюда? Спасибо.

Он не сказал "из полиции" и не представился следователем, а пожелал лишь немного поговорить. И пока он собирался с мыслями, его совиные глаза быстро оглядели палату.

— Пустовато у вас, — заметил он. — Даже книг нет. Я думал, вы тут читаете. Приятно почитать на досуге, пока тебя ремонтируют. И телевизора нет. Чем же вы заняты весь божий день?

— Ничем.

Взглянув на него с сожалением и одновременно с удивлением, Цолликофер сказал:

— Будь вам лет этак двадцать, я бы подумал: вот несчастный. А так говорю: снимаю шляпу! И воздал бы должное вашей жизненной мудрости, если бы не знал, что вы все время думаете о своей кошке. Поэтому лучше скажу сразу: ей теперь хорошо.

"Умеет строить законченные фразы, употребляет даже условные придаточные", — какое наслаждение, подумал Зуттер. И тут же испугался: "Ей теперь хорошо". Эту фразочку он не раз слышал на похоронах.

— Она мертва? — спросил он.

— Нет, совсем напротив, если ваша почитательница говорит правду. — Он вынул из портфеля конверт, на котором маленькими буковками было написано: "Господину Эмилю Гигаксу, срочно".

— Письмо вскрыто, — сказал Зуттер.

— Оно было оставлено в субботу в приемной, к сожалению, мы не знаем кем, — пояснил Цолликофер, — и его прочитали уже несколько человек. Наши служащие обязаны проверять почту, это их долг перед налогоплательщиком. Тем более если это было единственное письмо, пришедшее для вас после несчастного случая.

Зуттер прочитал письмо, в котором было всего несколько строк.

Дорогой Зуттер, я узнала, что к тебе никого не допускают. Поэтому сообщаю письменно: не переживай по поводу кошки. Она у меня, чувствует себя хорошо и страстно ждет твоего возвращения. Твой чертенок.

— От кого это? — спросил Зуттер.

— Вот об этом, с вашего позволения, я и хотел спросить, — сказал Цолликофер. — К сожалению, в моей профессии приходится иногда быть бестактным.

— Этот почерк мне совершенно незнаком, — сказал Зуттер.

— И о чертенке вы никогда не слышали?

— Нет.

— Разумеется, вы имеете полное право молчать о том, о чем не хотите говорить, — сказал Цолликофер. — Мы ведь тоже учитываем это ваше право, господин Гигакс, и не называем вас, к примеру, "Зуттером". Но тот, кто это делает, тем самым заявляет об известной близости к вам. Поэтому он — или она — вызывает у нас профессиональный интерес. Мы расследуем преступление, по которому возбуждено уголовное дело, господин Гигакс, даже если ваша жизнь уже вне опасности.

— Кошку кто-то украл, — глухо произнес Зуттер, — и если бы я знал кто, клянусь богом, сказал бы.

— Вы все беспокоитесь о кошке, — сказал Цолликофер. — А кошка — это не метафора?

— Я ни в кого не влюблен и не знаю никого, кто был бы влюблен в меня. Когда я говорю "кошка", то и имею в виду кошку. Это была кошка моей жены.

Цолликофер кивнул.

— Мы были бестактны, проявлять неуважение нам никто не позволял. Я вам верю. Но у видных личностей бывают поклонники, а поклонники имеют обыкновение впадать в фанатизм, особенно когда их отвергают.

— Видные личности? Вы что — смеетесь надо мной?

— Ваша работа известна многим, — сказал чиновник, — а ваша скромность делает вам честь, вот только моя должность не позволяет мне делать то же самое. Вы слушаете меня?

— Я думаю о кошке, — сказал Зуттер.

— Автор письма уверяет, что вам не о чем больше думать, по крайней мере беспокоиться.

— Теперь-то я как раз и беспокоюсь. Что с ней? Кто решился на такое?.. — Зуттер уставился на письмо.

— Вы не знаете никакого чертенка?

— Вообще не употребляю этого слова, — сказал Зуттер и в тот же миг сообразил, что врет. — Применительно к людям, — добавил он. — Быть может, я называл так кошку, когда она приносила придушенного воробья или полумертвую лягушку.

— Чертенок, — повторил Цолликофер, словно прислушиваясь к звучанию этого слова. — А если существует некто, кто идентифицирует себя с вашей кошкой?

— Я бы не советовал делать этого ни одному человеку.

— И ни одной женщине? — спросил Цолликофер. — Что если есть некая особа, которой неизвестны ваши тонкости или которой нет до них дела?

— Вы считаете, что я способен на интимные отношения с такой особой? — спросил Зуттер.

— Есть интимные отношения, основанные на одностороннем чувстве, — сказал Цолликофер. — Их даже можно назвать враждебными, так как от них до вражды всего один шаг. Поэтому я спрашиваю: есть ли у вас враги?

— Если и есть, то я о них ничего не знаю, — ответил Зуттер, — так же, как и о поклонницах, которых вы мне приписываете. Я ни с кем не поддерживаю интимных отношений. Ни таких, ни этаких. У меня нет ни закадычных друзей, ни смертельных врагов.

— Коли так, то вам не позавидуешь. — Брови над совиными глазами Цолликофера поползли вверх. — Вы не находите?

— Заботясь о моей душе, вы превышаете свои полномочия, — заметил Зуттер.

— Ладно, — в голосе Цолликофера не было обиды. — Если я правильно понял, вас интересует кошка, но не расследование преступления. Тоже ладно. В таком случае мы прекращаем расследование.

Зуттер недоверчиво взглянул на него.

— На каком основании?

— Несоразмерность и незначительность ущерба. Вы скоро встанете на ноги. Ущерб минимальный, а значение, которое вы придаете наказанию, по всей видимости равно нулю.

— Если бы дело зависело только от меня... — прошептал Зуттер.

— А от кого же еще? — улыбнулся Цолликофер. — Или вы хотите дождаться, когда возникнет интерес в обществе? Желаю удачи. Когда-то вы были профессионалом в области правосудия, — перешел он на серьезный тон. — Боюсь, вы перестали им быть. Возьмите, к примеру, слово "клиент" в значении "продувной малый". Вполне определенное слово на старом полицейском жаргоне и в ностальгических телевизионных детективах. Тогда было в ходу и выражение "трудный молодой человек". Тогда вообще умели решать трудные общественные проблемы. "Трудный молодой человек" был одновременно и старым "клиентом". А сейчас? Для современного правосудия "клиент" — это клиент, и только. Полиция превратилась в общественное бюро бытовых услуг, со всех сторон обложенное частной конкуренцией. Вот нам и приходится вести себя соответственно. Мы едва ли можем позволить себе собственное мнение о том, что такое трудный подросток или легкомысленная девушка. Это мнение мы заимствуем из средств массовой информации. Мы

ведь и сами пописывали раньше для одного такого средства. Но тогда газета еще была газетой, а суд — судом. С прессой мы больше не сотрудничаем, господин Гигакс. Информация превратилась в рыночный товар, правосудие тоже подстраивается под спрос. Или под предложение.

— Значит, заниматься моим делом вам нет смысла?

— Вы правильно меня поняли. Чтобы нам и дальше тратить на него силы и средства, должно обнаружиться нечто сенсационное. А так: следов преступник не оставил, свидетельские показания равны нулю. Что до орудия преступления, то армейских винтовок у населения этой страны насчитывается миллионов десять. Чем нам обосновать необходимость дальнейшего расследования? Наш спонсор, налогоплательщик, держит нас на голодном пайке. Государство бедное. Оно не может позволить себе вести уголовное расследование только потому, что этого требуют правовые гарантии. Да и гарантии безопасности все больше переходят к вооруженным бандам.

— А если бы меня убили? — поинтересовался Зуттер.

— Тогда у нас появился бы более подходящий товар для продажи. Хотя и не самый лучший. Насильственная смерть котируется все ниже. Как прикажете поступить с документиком, о котором даже сама жертва не может сказать ничего внятного? Бумажка эта ничего не стоит, господин Гигакс, в том числе и для бедного правосудия. Радуйтесь, что остались живы. Да вы уже и не выглядите как жертва, только немного кукситесь. Отнесите происшедшее с вами к издержкам жизни, забудьте о нем. Давненько что-то не читали мы ваших материалов в прессе. Почему вы ждете помощи только от правосудия? Время Страшного суда миновало, настало время бизнеса Fun and Games[1]. Возьмитесь за дело сами, станьте предметом собственного расследования. Своя рука владыка. Что с вами, господин Гигакс? — вдруг спросил он. — Может, позвать медсестру?

— Я вспомнил о кошке.

— С этого и начните, — посоветовал Цолликофер. — Забота о животных трогает. А кого-то и возмущает, как секс с малолетками. Ваша история исчерпана, займитесь сочинением других. В этом моя помощь вам не понадобится.

— А вот в этом? — и Зуттер изложил историю таинственных телефонных звонков.

Цолликофер задумался.

— Звонки можно запрограммировать заранее, — сказал он, — современная техника это позволяет, тут не надо быть Whizz Kid, вундеркиндом. Но точная настройка именно на вашу особу указывает на профессиональную работу и на знатока своего дела. Как и сам выстрел — если стрелявший не хотел вас убивать, в противном случае стрелял любитель. Мы могли бы еще раз обследовать ваш дом?

— Нет, если вы не обязаны это делать. Быть может, следующий выстрел окажется более точным. Больше не нашли у меня ничего интересного?

— Господин Гигакс, — с легким укором сказал Цолликофер, — мы говорим вам не обо всем, чем располагаем.

— Хотите сказать: против меня?

— Такой человек, как вы, не только жертва преступления, но и его соучастник. Разве не так? Не станете же вы мне портить удовольствие от знакомства с вашим делом.

1. Веселых развлечений, игр (*англ.*).

— Хотите еще немного понаблюдать? — спросил Зуттер.

— Надеюсь, вы еще придадите делу увлекательный оборот. Но мешать вам в этом я не стану. Иначе какой был бы из меня полицейский?

Раздался резкий стук, и в палату с утренним обходом вошла в сопровождении двух долговязых студентов-медиков доктор Рукштуль. Ну, сейчас она начнет командовать, подумал Зуттер. Но присутствие у кровати Зуттера представителя государственной власти привело медицину в смущение.

— Я украл у вашего пациента день, — с напускной приветливостью сказал Цолликофер, — зато, в рамках своих полномочий, предоставил ему свободу действий. Он вам еще нужен? Думаю, сейчас он нужнее своей кошке.

Доктор Рукштуль взяла себя в руки. Она внимательно осмотрела отсасывающую аппаратуру на стуле, в бутылочке уже почти не было жидкости. Потом попросила Зуттера сесть, надела наушники стетоскопа и, осторожно прикладывая к коже холодную резиновую чашечку, прослушала его. Затем попросила его слегка покашлять и велела своим спутникам тоже послушать шумы, издаваемые тораксом. Подтвердив, что слышат идущие из груди пациента вести, — а слышали они только то, что слышала или велела услышать их руководительница, — они протянули ей свой диктофон, и она продиктовала то, что нужно.

Чувствуя себя лишним, Цолликофер направился к двери. Наконец доктор Рукштуль сняла с головы наушники и сказала, обращаясь то ли к Цолликоферу, то ли к практикантам, измерявшим Зуттеру кровяное давление:

— Все показатели практически в норме. Осложнений удалось избежать, на боли он больше не жалуется. ("Когда это я жаловался?" — подумал Зуттер.) Сегодня еще раз отправим его на рентген, затем его обследует заведующий отделением. И после этого для выписки не будет никаких препятствий — с нашей стороны.

— С нашей тоже, — сказал Цолликофер уже с порога и поднял руку. — Письмо оставьте у себя, господин Гигакс, рассматривайте его как скромный вклад полиции в ваше новое дело. Решительно приватизируйте его, и если будете нуждаться в совете, обращайтесь к своей кошке.

— Займись чем-нибудь, Зуттер.

— Чем?

— Кто ты?

— Не знаю.

— Кем ты был?

— Ну, скажем, судебным репортером.

— Тогда стань снова тем, кем ты был. Займись процессом.

— Каким?

— Ты отлично знаешь каким, Зуттер.

Когда весной 1992 года шла последняя неделя процесса, Зуттер дни и ночи трудился над своим отчетом. Однажды в три часа ночи в его рабочий кабинет вошла Руфь с подносом в руках. Он стучал по клавишам своего компьютера и даже не обернулся.

— Успокоительный чай? — спросил он. — Это то, что мне сейчас нужно меньше всего. Наоборот, я должен себя взбадривать. Чтобы ковать железо, пока горячо...

— Но ты же работаешь как одержимый, — сказала она.

– It's now or never, сейчас или никогда.

Она села рядом и стала смотреть ему через плечо, чего раньше никогда не делала.

...и в следующем году супруги снова переезжают, в Швейцарию. Там Ялука, или просто Ялу, встречает художника Б., и между ними завязываются любовные отношения. Ее муж Х. отвечает на это попыткой самоубийства. Его спасают, но жизнь теряет для него всякий смысл. Он больше не направляет свой внедорожник в озеро, а топит себя в алкоголе. Девять месяцев спустя жена топором убивает его на кухне.

Эту жуткую историю можно рассказывать по-разному. Для обвинения это история способной на все авантюристки. Она шла на любые жертвы, чтобы подцепить многообещающего мужа и вырваться из варварских условий, в которых прошла ее юность. Она была озабочена тем, чтобы самой не оказаться жертвой. Она оборвала все его связи и отношения, которые были ему дороги и необходимы для жизни. Она потащила его через границы в страну, где жизнь была лучше – для нее. Ее не волновало, что она преступает все границы, установленные для ее мужа. А когда он стал ощутимо мешать ей наслаждаться жизнью, она убрала его со своего пути.

В этом месте версия обвинения расходилась со сказкой о рыбаке и его жене. Своими неумеренными потребностями она не только схлопотала себе несколько лет в тюремной камере — ее дело привело к изменениям в швейцарской практике исполнения наказания. Прокурор был достаточно мягок, когда обвинил ее в убийстве, но допустил, что оно было совершено в состоянии невменяемости – иного и не следовало ожидать от дочери степей. То, что эта особа сотворила с душой славного малого, обвинитель не побоялся назвать убийством – но при этом говорил не как юрист, а как человек.

Защита излагает ту же историю, сдвинув акценты. Молодая женщина, вначале совсем еще ребенок, зашла далеко, в конечном счете слишком далеко. Но почему? По причине неукротимой жажды свободы. Именно свободу выбрала она, советская гражданка, в образе своего первого мужа и с его помощью; учитывая серьезность ее характера, можно сказать, что при трагическом стечении обстоятельств она была вынуждена выбрать свободу и от этого человека.

Но и эта версия, когда видишь преступницу, звучит неубедительно. Услышать Ялуку Х. не пришлось: она отмалчивается. Во всяком случае: странный это аргумент, когда убийство мужа сулит прорыв к лучшей жизни – и даже свободу! Не слишком ли много признаний требует та и другая сторона, раз ключ к преступлению Ялуки Х. до сих пор не найден? И можно ли будет его найти, не имея смелости выйти за пределы правовой системы координат, которую мы считаем универсальной?

– Ты все еще занят своей любимой геометрией, – сказала Руфь и показала на листок, прикрепленный над письменным столом Зуттера. Речь шла о задаче: соединить девять точек, обозначающих квадрат и его центр, всего четырьмя линиями и не отрывая карандаша от бумаги. Задачу нельзя решить, если придерживаться контуров квадрата. Но она легко решается, если верхнюю линию квадрата продолжить в свободное пространство до необозначенной точки, от которой надо протянуть диагональ к расположенной симметрично точке слева внизу. Тогда остается лишь обвести левую сторону уже не обязательного квадрата и провести последнюю диагональ вправо и вниз. Этот предполагаемый узел пространственной решетки оказывался вне возникшего треугольника — и последняя диагональ ложилась на хорду, как стрела на тетиву лука.

— Не прерывай меня, — проворчал Зуттер, охотясь за ускользающим точным словом.

Мы осмеливаемся предположить, — стучал он по клавиатуре, — *что Ялука Х. убила своего мужа из любви. Она поступила так из чувства уважения к человеку, чтобы не дать ему умереть от горя, в бедности. Она знала, что своей страстью к Б. нанесла мужу смертельную травму, но не чувствовала жалости к нему – этого не позволяло ей ее жестокое правдолюбие. Муж ее столь крепкими нервами не отличался, он превращался в жалкого, презренного человека, что завело их отношения в тупик. Вот почему она нанесла ему еще один удар – в страшной тревоге за историю отношений.*

— В страшной тревоге, — произнесла Руфь.

В какой мере человек, подобный Хельмуту Х., подходит к этой истории? После краха ГДР и Советского Союза могло показаться гротескным, что эта женщина с берегов Каспийского моря избрала мужчиной своей мечты компьютерного программиста из Франкфурта-на-Одере. Если взглянуть на события глазами Ялуки, то западная часть Восточного блока могла показаться ей прекрасной утопией. И все же ГДР не была ее Германией. Ее Германия была родиной музыки, ***той*** *музыки, которая должна была заменить ей высокое происхождение: она была дочерью хана, убитого по приказу Сталина. Музыка должна была возместить ей не только отсутствие счастья и будущего.*

...Когда они наконец стали жить вместе, обман и самообман продолжался еще долго, ибо различия между ними и окружением были значительнее и давили на них сильнее, чем то, что отделяло их друг от друга; они даже не могли позволить себе признаться в этом. Они защищали постоянство своей любви от стесняющей, гнетущей современности. Так было в Магдебурге, так было еще и в Нюртингене, так осталось – нравится нам это или нет – и в Швейцарии. И так было бы всегда, продолжай они жить вместе: вот что печально. Чем дольше длилась такая жизнь, тем печальнее становились они сами. Так не могло больше продолжаться, когда Ялука познакомилась с художником Б., которому Х. заказал портрет жены. Этот портрет послужил ей окном, через которое она вырвалась из своего брака. Но достоинство и любовь, честь и страсть к культуре, сформировавшей характер Ялуки, были связаны теснее, чем у нас. Если отделить их друг от друга, что-то умирает. Тогда кто-то должен умереть.

— Видишь ли, Зуттер, нам тоже кое-чего недостает. Мы слишком редко выясняем отношения друг с другом.

— Неправда, — возразил Зуттер, — ты страшно мешаешь мне. Мне положена надбавка за работу в особо трудных условиях.

— Так это будет статья? А я думала, ты пишешь дневник. Или новеллу.

— Ты простудишься, — сказал Зуттер.

— Твоя статья согревает меня. И беспокоит. В ней есть нечто лихорадочное.

— Эдак мы еще научимся с тобой ссориться. Тебе хочется, чтобы я забыл сохранить написанное, — проворчал он и набрал следующую фразу:

Хельмут и Ялука слишком долго жили, словно нарисованные на картинке. Один в сиянии небесного света другого.

— Прекрасно, — похвалила Руфь.

– Ты мешаешь мне работать, – сказал Зуттер и, только когда она хихикнула, заметил, что напечатал эту фразу.

Надо знать, – продолжал он стучать по клавишам, – *что Хельмут Х. в последние дни жизни постоянно слушал "Песни мертвых детей" Малера, а когда на него обрушился топор жены, звучала, без конца повторяясь, "Песнь о земле". Накачавшись алкоголем, он спал и видел себя снова в неразделенной семье, и только милость Ялуки не дала ему вернуться к жестокой реальности.*

– Так еще прекраснее, – сказала Руфь.

Итак, он до конца сыграл роль, которая выпала ему по сценарию Ялуки. Ради нее он покинул страну, которая, правда, не могла предложить своим гражданам мировую революцию, но во всяком случае давала надежные рабочие места, право на пенсию, возможность отводить детей в детский сад и отпуск по уходу за новорожденным. Со своей маленькой, уже тогда внутренне разобщенной семьей он сорвался с места и ринулся в свободный мир, в джунгли свобод, которые были ему неведомы и которых он не хотел знать. Он изводил свою жену заботой и вниманием, в которых она давно уже не нуждалась, и с таким упрямством мешал ей жить, с каким сейчас моя славная женушка Руфь мешает мне работать.

– Где у тебя топор? – спросила Руфь. – Уверена, ты его куда-то засунул. Не мог же ты подумать, что я стану искать его, чтобы...

В последний год своей жизни Хельмут Х., отслужив свой срок в роли принца, пытался быть для нее тем, кем еще мог: защитником, преданным слугой, радетелем, опекуном, приемным отцом...

– И ребенком, – добавила Руфь.

И ребенком, – отстучал Зуттер. – *Когда она потеряла своего первенца. "Песни мертвых детей".*

– Но есть и другой ребенок, – сказала Руфь, – живой.

Хельмуту пришлось узнать, что он, высококвалифицированный специалист в своем деле, напрочь лишен способности устроить свое личное счастье – добиться любви живой женщины. Ялу была жестокой женщиной, но вульгарной не была никогда. И в Западной Германии, и в Швейцарии она была далека от мысли о том, чтобы воспринимать уязвимость мужа как его слабость, как недостаток мужественности. Она не обманывала его с любовником, ибо не скрывала своей любви ни от одного, ни от другого. И она никогда не презирала своего мужа. Вполне возможно, что она страдала, живя с ним, – но это никак не мешало ее страсти к художнику Б.

Пусть эту ее невозмутимость здешний суд – в лице прокурора – назовет "бессовестной". Но, с точки зрения Ялу, она обманула бы своего мужа, если бы что-то скрыла от него. Уходя "на сторону", она не его престиж должна была сохранять, а свой собственный. Ей нужно было думать о том, как устроиться на чужбине; о том, чтобы не впасть там в нищету. Она была слишком горда для нищеты. Как и для обмана. Но ее супруг доказал ей, что он мужчина. Он ничего не мог требовать от нее, когда речь шла о любви и страсти. И не изображал из себя мужа, который не заслужил такой обиды. Не твердил, что так они не договаривались. Поступи он так – и его ставка в игре была бы потеряна. Толь-

ко теперь он показал, кто он на самом деле. Убей он свою жену или ее любовника, перед ним можно было бы только снять шляпу! Плакать он тоже мог, слезы мужчину не позорят. Пропадет он только тогда, когда начнет жаловаться. Сводить счеты, качать права, хитрить.

До этого Хельмут Х. еще не дошел – или не дошел окончательно. Он начал пить, бродяжничать, вредить самому себе. По-настоящему он еще себя не жалел, это было бы концом его гордости – и концом любви Ялуки, ибо ее любовь к мужу всегда была связана с его гордостью. Взяв в руки топор, Ялука опередила его, не дала окончательно скатиться к жалкому прозябанию. Он подставил голову под этот топор – я думаю, в последнее мгновение он знал, что ему предстоит, поэтому убийство было актом взаимного согласия между мужем и женой.

Но прежде чем Хельмут Х. должен был пасть жертвой, ему пришлось самому принести величайшую для себя жертву. Он должен был, если воспользоваться образом Эйхендорфа, оставить в одиночестве пастись лань, которую любил больше других. И Ялу оказала ему благодеяние, избавив себя от необходимости наблюдать за угасанием его жизни и страдать вместе с ним.

– Она одним махом избавила его от страданий, – заметила Руфь, – и этим заслужила ласкательное имя. Ялу – в этом есть что-то от сердечной близости. Но если воспользоваться образом не Эйхендорфа, а твоим, Зуттер: даме могло бы прийти в голову прервать отношения с человеком, который не мог писать ее портрет иначе как сожительствуя с ней.

Если воспользоваться чистым разумом Руфи, – застучал по клавиатуре Зуттер, – *то можно сразу же сделать и следующий шаг: окончательно Ялука могла порвать с художником, только убив своего мужа.*

– Нажми "сохранить", Зуттер, – напомнила Руфь, – иначе этот замечательный текст сотрется и исчезнет для любопытствующего потомства.

– Ты, во всяком случае, его прочитала, – сказал Зуттер, – и твой комментарий не пропадет.

Этот избавительный удар топором был неуместен. Что он мог ей дать? Десять лет заключения в швейцарской тюрьме. Разве что она еще раз найдет способ вырваться на свободу, первый раз это у нее получилось.

– Терпеть не могу рекомендаций покончить жизнь самоубийством, – сказала Руфь.

Как будто она давно уже не покончила с собой! – печатал Зуттер. – *В тот самый момент, когда убила своего мужа. Он умер, сознавая, что тем самым она снова восстановила в своих глазах его прежний образ. И, значит, теперь он принадлежал ей, а она ему. Эта жертва...*

– Жертва – не то слово, которое я бы оставила в тексте, – предложила Руфь.

– А его и не обязательно оставлять, – возразил Зуттер. – Оно и так останется. Даже ненаписанное.

Это убийство было торжественным обетом. Что бы ни случилось впоследствии, оно сделало их связь неразрывной.

— Что бы ни случилось? Но что может случиться?

Я не знаю, — печатал Зуттер, — *одного только я не могу себе представить: что Ялука, пережив судебный процесс, сидит в женской тюрьме и считает дни, когда она снова может броситься в объятия возлюбленного.* Это вряд ли понравится твоему художнику. Да он и мало не годится для этого.

— Он не мой художник, — сказала Руфь. — Он женат и объяснил суду, что не давал калмычке никаких обещаний.

— Никаких обещаний, — повторил Зуттер. Он перестал печатать. — Да, это похоже на Йорга. Он должен был так говорить. И в соответствии с этим действовать — что значит: ничего не предпринимать. Он давно бросил свою натурщицу. Ялу повисла в воздухе.

Руфь так близко придвинулась к нему, что могла дотянуться до клавиатуры.

Но существует еще дочь, Зигги. Она потеряла обоих родителей, — написала Руфь.

Он нажал на "Сохранить".

Закон сегодня разрешает отбывающим наказание матерям держать при себе маленьких детей. Но разве пожелаешь пятилетнему ребенку провести детство за решеткой? Ребенку нужна мать, но разве такая?

Руфь убрала руки от клавиатуры и сказала:

— Ты можешь написать так, если готов взять ребенка к себе.

— А ты готова?

— Да.

Зуттер испугался.

— Вот чего ты добилась, — сказал он. — Этой статьи больше нет. Знать бы мне, где взять другую?

— А разве тебе обязательно писать? — спросила Руфь. — Ты ведь совсем ничего не знаешь об этих людях.

— Во всяком случае, — возразил он, издав злой смешок, — я впервые сижу вместе с тобой за своим компьютером. И мы ведем с тобой непринужденный разговор. Голова к голове. Голова против головы. И твоя оказывается не только умнее, но и прочнее.

— Теперь я по крайней мере знаю, почему у меня болит голова, — заметила Руфь. — Четыре часа утра. Мы заслужили свой сон.

— Я — нет, — сказал он. — Мне еще надо придумать что-нибудь. Ялука не должна умереть.

И Зуттер кое-что придумал. С гудящей от бессонницы головой он к семи часам утра достучал-таки до конца статью, которая должна была придать судебному процессу другой оборот.

Через два года после процесса, в марте девяносто шестого, окончательно подтвердился проверенный двумя специалистами диагноз болезни Руфи; в апреле она решила "выслушать" свой недуг и только потом взяться за него "по всем правилам искусства". Это мое тело, сказала она Зуттеру, и я уверена, что оно само должно найти правила, способные ему помочь.

"Так тому и быть", — часто повторяла она. Зуттеру было хорошо знакомо это выражение, постоянно встречавшееся в сказках. "Так тому и быть, — сказал бедный рыбак рыбке, пообещавшей ему превратить его хижину в роскошный дворец, — но какая мне от него польза, раз там будет нечего есть?" И в придачу к дворцу попросил еще и шкаф, полный самых лучших явств. "Так тому и быть, приму от тебя и этот подарок", — сказал, позволю себе заметить, рыбак рыбке, словно это он оказывал милость своей благодетельнице, а не она ему.

Но и в сказке "Шестеро слуг" королевич сказал толстяку, которого он принял сначала за копну сена: "Зачем мне такой увалень?" — "О, — ответил толстяк, — это еще что, а вот если я раздуюсь как следует, то стану в три тысячи раз толще". — "Так тому и быть, ты можешь мне понадобиться, — согласился королевский сын, — пойдем со мной".

"Так тому и быть" — ответ Руфи на болезнь, которую официальная медицина принимает без всяких оговорок. Она умеет лишь точно подыскивать слова, вроде "и тогда...", "словесное меню", как выразился главный врач. "Так тому и быть, значит, я должна с толком использовать время, которое мне осталось". Зуттер, сопровождавший Руфь к главному, догадался, что́ тот подумал, но не решался высказать сразу: у вас осталось мало времени. Предостережение врача основывалось на статистике, но выводы из его слов Руфь собиралась в спокойной обстановке сделать для себя сама. "До сих пор я толком не знала, что такое время, — сказала она врачу, — теперь узнаю, что оно мне принесет".

"Есть способы лечения, которые принесут вам больше пользы, поверьте мне", — убеждал врач, не замечая, что говорит с пациенткой на разных языках, на что Руфь сдержанно возразила: "Нет, я этому не верю".

В сказке о шести слугах толстяк и впрямь позаботился о том, чтобы триста жирных быков, которых королевич должен был съесть у родственников невесты вместе со шкурой, шерстью, костями и рогами (не говоря уже о трехстах бочках вина в подвале), бесследно исчезли в его брюхе. В конце толстяк даже помог спасти жениха и невесту, когда злая волшебница послала вдогонку за ними свое воинство: "Он выплюнул позади кареты выпитую им морскую воду, и образовалось большое озеро, в котором застряло и утонуло воинство волшебницы".

"Никогда не знаешь, в какой момент может понадобиться такое толстое брюхо, — заметила Руфь, — надо лишь вскрыть его — и из него выльется Красное море".

Он с трудом терпел эти ее отчасти романтические, отчасти фривольные изречения. Они не только подавляли его волю — о них, не компрометируя Руфи, нельзя было рассказать никому из тех, кто ожидал от семьи Гигакса и Ронер неизбежного крестового похода против рака. Об этом не могло быть и речи, иначе пришлось бы предать Руфь и дискредитировать себя, ее спутника, которому сам Бог велел найти разумные способы борьбы с безрассудством больной и при необходимости заставить ее лечиться. Зуттер не чувствовал себя вправе навязывать ей подобный рецепт, да и сомневался, что у него хватит на это сил. Если бы у сказочного выражения "Так тому и быть" имелась вторая часть, то в интерпретации Руфи она звучала бы так: "И кто знает, чем все это кончится". Ей хотелось знать чем.

Как раз в то время, когда Руфь заглядывала в глаза Медузы, Зуттеру вроде бы улыбнулась удача. К его шестидесятилетию газета, для которой он вот уже тридцать лет писал свои судебные отчеты, отобрала дюжину из них и опубликовала в собственном книжном издательстве с предисло-

вием главного редактора, более чем справедливо оценившего работу автора. Он назвал отчеты историей морального падения 70-х, 80-х и 90-х годов — "вы поймете это из процессов, состоявшихся в этот период" — и скромным, но весьма заметным вкладом в историю культуры, именно потому что автор не судит и не настаивает на своей правоте, а предоставляет право читателям вынести свой приговор, даже если он и не совпадет с решением суда; при этом он имеет смелость апеллировать к их естественному чувству справедливости, не прибегая к дешевому популизму. Судебные репортажи Гигакса, писал редактор, — это поучительные истории, рассказанные человеком с чистой совестью.

— Замечательно, Зуттер, — сказала Руфь. И добавила: — Так тому и быть.

Эта маленькая похвала была приятна Зуттеру, пережившему из-за своих репортажей немало неприятностей. После каждого опубликованного отчета приходили читательские письма, в которых ставилась под сомнение его порядочность, не говоря уж об анонимных посланиях, грозивших ему высылкой из страны, садистскими, в мельчайших подробностях описанными пытками или просто-напросто ликвидацией. В этом смысле выстрел в рощице не был так уж случаен. Пришлось Зуттеру распечатать и пакет, в котором, правда, была не бомба, а человеческое дерьмо; это случилось после процесса над обвинявшейся в убийстве мужа калмычкой: отчет Зуттера способствовал смягчению приговора.

Эта статья завершала юбилейную книгу и была ее кульминацией. Газета поддержала своего сотрудника, нарушавшего общепринятые правила, сей акт гражданского мужества помогло ей совершить еще и то обстоятельство, что Зуттер именно за эту свою работу был удостоен премии города.

Но газета — не вольер для райских птичек; вскоре она дала Зуттеру понять, правда довольно тактично, что выполнила перед сотрудником Гигаксом все свои обязательства и надеется, что впредь он не будет испытывать то терпение, которое она неоднократно к нему проявляла. Правда, она не отвергла его следующий отчет — гротескно-комическое описание автомобильной аварии, сопровождавшейся бегством водителя с места происшествия; но публикация откладывалась так долго, что необходимость в ней отпала сама собой. В иронии Зуттера увидели набор плоских острот или даже подражание, печатать такое не было смысла. Хотя главный редактор и заявлял, что очарование и непредсказуемость прозы Зуттера не знают срока давности, но теперь, похоже, он и знать не хотел о том своем изящном высказывании.

Неудачу с публикацией надо было повторить, чтобы продемонстрировать тенденцию. Однажды статья Зуттера куда-то "запропастилась" и не попала на тот стол, где ей могли дать соответствующую оценку и ход... Когда Зуттер принес копию, материал уже устарел, или, как теперь выражались в редакции, был "пережеван".

Прошло некоторое время, прежде чем Зуттер осознал, что книга, выпущенная ко дню рождения, была его прощальным выходом на публику, организованным газетой, поощрением накануне увольнения. Прекрасно, сказала газета (Руфь сказала то же самое), что было, то было, вы оказали нам немало добрых услуг, этим и удовольствуемся. Газете надо удержаться на рынке, где манипуляция общественным мнением требует иного стиля, не такого, на котором то и дело спотыкаешься. Шестьдесят — возраст почтенный, Зуттеру пора бы вспом-

нить об этом и элегантно освободить место, которое он и так уже не занимает.

Похоже, в вышестоящих инстанциях знали, что в материальном отношении Зуттер не зависел от продолжения своей работы в газете. У него, как известно, была хотя и больная, но состоятельная жена, и он вполне мог позволить себе продолжать свои стилистические упражнения для собственного удовольствия. Целиком посвятить себя уходу за женой — разве можно представить себе что-нибудь более человечное?

Пока Зуттер боролся с растерянностью, вызванной диагнозом Руфи, он готов был поддаться соблазну и смириться с тем, как поступила с ним газета. Но больная Руфь была уже не столь миролюбива, как прежде. "Вспомни молодость, Зуттер, — говорила она, — не занимай выжидательную позицию, нападай первым. Я не хочу бороться за свою жизнь в одиночку! Помоги мне, Зуттер, не будь размазней, иначе от тебя мокрое место останется".

Зуттер снова обрел свободу движения, не зависел больше от дренажа, и под ним уже не висела бутылочка. Утром доктор Рукштуль выдернула, или, как она выразилась, "выщипнула" торчавшую у него между ребер резиновую трубку. Из него ничего больше не текло, ни спереди, ни сзади, он с наслаждением ходил по палате, но его оставили в больнице еще на день или два, чтобы понаблюдать за ним. А за чем наблюдал, что видел он сам?

Полуденная тишина, обед закончен, посуду убрали, больница отдыхает. За окном весна, щебечут птицы.

Зуттер подошел к неплотно закрытому окну. Сквозь щель тянуло пронизывающим, но уже не ледяным воздухом. Глубоко внизу красивыми линиями вырисовывался город. Все, что могло цвести, пробивалось между строений белыми ватными тампонами и сиреневыми метелками, размывало очертания поселка, окрашивая его бесхитростной желтизной вездесущих "форсайтовских" роз, устилало сочной зеленью берега канала, вдоль которого группами устроился обслуживающий персонал больницы: люди предпочитали перекусить на солнышке, а не в столовой. На газонах между дорожками деревья, привычные для этой местности, уже выбросили светло-зеленые флажки, и только пришельцы издалека, гинкго, павлония и китайский ясень, еще выделялись темными скелетами на фоне сочной зелени. Аллею декоративных японских вишен, встречавшую выходивших на трамвайной остановке посетителей больницы, заливало неземное розовое сияние.

Зуттер поздоровался с отдельно стоящим деревцем, которое попало в поле его зрения. Оно, казалось, вот-вот взлетит вверх вместе с покрывшим его облаком великолепных белых соцветий. Скоро Пасха, скоро минет год с той поры, как Руфь спрятала в развилине вишни некрашеное пасхальное яичко.

Он стоял в смешном больничном халате, расстегнутом сзади, и ему казалось, что отныне ко всему, что еще предложат ему времена года, он будет приближаться задом наперед. Спиной к будущему: не самый лучший способ передвижения, в его-то годы. "От так увиденного прок какой?" Что ждало его, чем мила и дорога будет ему вновь подаренная жизнь? Скоро ему позволят "выпрыгнуть" отсюда, посоветовав "не принимать все близко к сердцу". Что, что?

Ах да, его ждала кошка. Ну и выраженьице: кошка ждет кормежки. Она потеряла своего кормильца, бродит вокруг, мяукает у дверей, возвращается, приходит к дому день, другой, третий. Потом голод становится сильнее привычки, гонит ее дальше то туда, то сюда; она начинает бродяжничать, вид у нее теперь несчастный, кто-то из жалости покормит ее, но к себе не возьмет, несмотря на то что она еще не раз будет напрашиваться. Кошка одичает, опустится, ее отправят в приют для бездомных животных, или она попадет под колеса, что было бы для нее почти счастьем.

Ты совсем забыл о записочке, Зуттер, от чертенка. На дворе весна, Зуттер, ты получаешь от незнакомки любовное письмецо, на твоем ночном столике стоят три розы, уже изрядно увядшие от долгого стояния. Все цветет и улыбается, Зуттер, и разве Руфь не обещала тебе: "Когда я умру, тебе еще улыбнется счастье. Смелее, Зуттер, еще не все потеряно — берись за дело!"

Окно, у которого он стоял, полностью не открывалось. Больница заботилась о пациентах, для которых двадцать четвертый этаж мог быть искушением. Со своей растерянностью и отчаянием они могли покончить одним прыжком — да и прыгать, собственно, не было нужды. С высоты пятидесяти метров достаточно было просто вывалиться. С точки зрения статистики Зуттер был классическим кандидатом на старческое самоубийство. По глазам дамы из социального отдела он видел: она считает его способным на нечто подобное. В больнице происшествия такого рода не допускались. Это истолковали бы как невыполнение своих обязанностей, от больницы могли бы потребовать возмещения убытков, ей грозили бы судебные тяжбы. С тех пор как больница стала заведением по оказанию услуг, а пациенты — его клиентами, они и вели себя как клиенты. Пользуясь хрупкостью мироздания, они научились устраивать врачам всякие пакости. Требовали безупречного обслуживания. В эпоху безграничных технических возможностей они за право пользоваться самыми приятными для них услугами вносили большие страховые суммы. Медицине теперь не оставалось ничего другого, как предоставлять им эти услуги. Раньше врачи спасались от этих требований злыми шутками. Так они боролись и с собственным страхом смерти. Здоровому самообману, будто неумолимая смерть грозит кому угодно, только не им, врачам, помогали, когда рядом не было пациентов, грубость и плоские армейские остроты.

Все изменилось, думал Зуттер, с тех пор как пациенты превратились в клиентов и стали требовать, чтоб им читали — словно проповеди или сказки — прилагаемые к лекарствам рекомендации, в составлении которых принимал участие и юрисконсульт. Чтобы не давать пищи для жалоб. Неудивительно, что и больничные шутки стали более корректными, грустными и жалкими: "Мы отпускаем вас, но и вы не отпускайте тормоза", "Только не делать из мухи слона". В этот мир шутовства попадаешь, как в сумасшедший дом, пусть даже и с насквозь простреленным легким. А когда тебя обслужили как следует, можешь убираться, но только не сразу, не прыжком с двадцать четвертого этажа больничной башни. Это было бы некорректно.

"Немало скажет тот, кто скажет 'вечер'".

Зуттер улыбнулся. Или, чтобы быть достойным своего халата, который сзади не застегивался, а спереди не задирался, ухмыльнулся. Чему?

"Немало скажет тот, кто скажет 'мопсик'".

Это была одна из тех милых шуточек, которыми он доставлял Руфи радость в пору их помолвки. Ее можно было варьировать как угодно. Не-

мало скажет тот, кто скажет "кофе". Их любимое присловье, когда они любили друг друга. Немало скажет тот, кто скажет "липа". Или "Эмиль". Или даже "жопа". Главное, чтобы последнее слово было двусложным. Тогда Зуттер еще не знал, что с этим стишком на языке забрел в район обитания своего предшественника, настоящего принца, с которым Руфь была обручена в детстве. Он столкнулся с этим, только когда стал читать ей сказки и как бы отправлялся в исследовательское путешествие по ее прошлому. В иной форме она ничего ему не рассказывала, даже о джайнах или об индейцах навахо. Она была не *руки*. Она вся состояла из *присловий*. Бувар и Пекюше. Подвенечное платье осталось под венцом. Мне надо почистить свой зуб. Еще раз испытала счастье. Molto interessante. Небритый и от родины вдали. Коленочка, и больше ничего.

Боже, как он любил губы, произносившие эти присловья.

Тебя уже нет в присловьях, Зуттер, и в сказках тоже, но ты все еще в одной с ней истории. "Прыжок с моста — и ты навек свободен". Все еще, даже если тогда, когда Руфь выражалась языком Шиллера, этот мостик был не выше маленького трамплина в плавательном бассейне. Стало быть, перестань носиться с мыслью о двадцать четвертом этаже. Взгляни-ка на нее, на эту местность, где прошла твоя история, и с юмором встречай бушующую весну. "Все это я дам тебе, так что ты упадешь на колени и будешь молиться мне". Молиться, Зуттер, можно и стоя на ногах.

Подумай только: кто-то звонит тебе каждую ночь, всегда в семнадцать минут двенадцатого. Значит, ты нужен ему или ей. И кто-то не постесняется выстрелить в тебя — или все же постесняется? Руфь об этом уже не спросишь, но выстрел прозвучал — неопровержимый, зарегистрированный в протоколе: иначе откуда бы взяться дыркам в твоем теле? Немаловажен и вопрос, можешь ли ты рассчитывать на повторение содеянного? Смотрим дальше: чертенок сообщает тебе в записке, что держит у себя твою кошку, но не насильно, а с благотворительной целью. Тобой интересуется следователь. Он и не намекает на это или об этом, но ты знаешь то, что знаешь, и он тоже хочет знать это. Потому что продолжает слежку: сначала велел обыскать твой дом, но не говорит тебе, что он там обнаружил, — но и в тебе самом он что-то ищет и надеется найти. Правосудие бедно, но ты стоишь того, чтобы тобой заниматься.

Это что-нибудь значит или не значит ничего? Видишь ли, Зуттер, тебе надо держаться с достоинством. Ты пользуешься уважением, есть люди, для которых ты что-то собой представляешь. Что бы это "что-то" ни значило. Тебе больше не надо напускать на себя важный вид, ты и так важная особа. Взгляни только на весну, что бушует внизу. Разве она не достойна того, чтобы на нее отозваться! Птички вокруг щебечут. Неужто ничего в тебе не шевельнется чуть левее огнестрельной раны — там, где должно быть сердце? Соберись с духом, Зуттер.

Зуттер прилег на кровать. Стук в дверь. Входит мужчина. На правом плече у него болтается раздувшаяся сумка, в левой он держит огромный полиэтиленовый пакет.

— Циммерман, — представляется он. — Пастырь при больнице, вероисповедание цвинглианское. Надеюсь, не помешал.

Циммерман выражает сожаление, что не смог прийти раньше. Он посещает больных по пятницам. В ту пятницу Зуттер лежал в реанима-

ции. И спал. Спал беспокойным сном. Но сегодня вид у него такой, что впору поздравлять. С выздоровленьицем! Бежать за цветами уже поздно, но Зуттер скоро увидит, как они расцветают в его саду.

— Прошу вас, садитесь.

— Благодарствуйте, с удовольствием присяду. Но сперва надо кое от чего избавиться.

Циммерман пристраивает на кровать, к ногам Зуттера, свою сумку, потом открывает полиэтиленовый пакет и выкладывает его содержимое. Темно-синий непромокаемый плащ. Электробритву немецкого производства. Песчаного цвета вельветовые брюки, такую же куртку, однотонную, с едва заметными полосками, рубашку из синей джинсовой материи, стопку нательного белья, пару черных носков. Все не новое, но чистое, купленное Руфью, когда она еще могла выходить из дома.

— Ботинки ваши не пострадали, их вполне можно носить.

Зуттер молчал.

— В пятницу, когда мне не удалось с вами поговорить, — сказал, присаживаясь на стул, посетитель, — я позволил себе зайти к вам домой, чтобы сообщить о случившемся вашим близким. Но на мои звонки никто не отозвался. Вы одиноки. Ничего не поделаешь. Я присел отдохнуть в вашем садике, так как немного устал. Замечательная архитектура. Я попытался представить себе, как вы тут живете, но вдруг взгляд мой упал на кадку с пальмой. Не рано ли выставлять ее на улицу в апреле? Хозяин понадеялся на Бога, подумал я, или рассчитывает на тепличный эффект.

— Она простояла там всю зиму, — сказал Зуттер.

— Значит, понадеялись на Божью помощь, — заметил посетитель. — Или впали в депрессию.

— Вы не видели кошку? — поинтересовался Зуттер.

— Рыжую тигрицу?

— Черную, с белым рисунком. Не очень большую.

— К сожалению, не видел.

— Рыжая — ее смертельный враг. Значит, моя кошка ушла из дому.

— Воробей с крыши не свалится, и кошка никуда не денется, — успокоил Циммерман.

— Вы, значит, забрались в мой сад, — сказал Зуттер. — А как у вас оказалась моя одежда?

— Я не взламывал дверь. Только сидел в саду и размышлял. Передо мной стояла пальма, и я заметил, что под кадкой что-то блестит. Ключ. Его мог увидеть кто угодно, не только я. Поэтому я взял его, чтобы отдать хозяину. Когда я входил в больницу, то столкнулся с двумя чиновниками. Один был в форме, другой в гражданском. Они пришли вас допрашивать. Но с уважением отнеслись к тому, что вы спите. И лишь захватили с собой ваши вещи. "А в чем, позвольте спросить, пациент вернется домой, когда его выпишут? Он же одинокий человек". — "Вы правы, — согласился чиновник, тот, что в гражданском. -- Вы с ним дружны?" — "Громко сказано, — заметил я. — Но я его знаю. Как и многие из тех, кто с пользой для себя читает его статьи". — "Когда будете навещать его, — сказал чиновник, — спросите, кто мог бы принести ему его вещи". — "У меня есть ключ от его дома", — сказал я. Чиновник посмотрел на меня озадаченно, точно так, как и вы. "В таком случае у меня к вам предложение, — сказал этот господин. — Вы даете нам ключ, это избавит нас от необходимости вламываться в дом с разрешения нашего ведомства. Когда ключ нам больше не

понадобится, я оставлю его для вас в регистратуре больницы". Он не только показал мне свое удостоверение, но и дал вот эту визитную карточку.

— Цолликофер, — сказал Зуттер.

— Точно. Надеюсь, вы согласитесь, что я все сделал правильно. К сожалению, ключ в своем ящике я нашел только вчера вечером. Квартира ваша выглядела прибранной. Я задержался в ней ровно столько, сколько понадобилось, чтобы найти платяной шкаф. Вот ваш ключ.

Посетитель был одутловат, на вид несколько старше Зуттера, своим голым черепом он напоминал деревенского судью Адама из первой пьесы, увиденной Зуттером на сцене; нос Циммерман имел мясистый и пористый, уголки рта выражали недовольство. Глаза у него словно остекленели, должно быть из-за близорукости. Он так же одинок, как и я, подумал Зуттер.

— Я благодарен вам, — сказал Зуттер, — но в то же время испытываю желание подать на вас жалобу.

— В таком случае подумайте, какой смысл будет в вашей жалобе. Проникнув в ваш дом, я вел себя тактично. Не так, как в реанимации. Там я подслушал, что вы говорили во сне. Зуттер, Зуттер, ласково повторяли вы голосом, не похожим на ваш. Вы называли себя своим настоящим именем. У каждого творения есть два имени — общепринятое и истинное. У индейцев только лекарь знает настоящее название растения. И когда называет его этим именем, оно может вылечить от недуга.

— А фамилия Гигакс вас не устраивает?

— Почему же, — ответил духовник. — По-немецки она слегка напоминает кудахтанье курицы, но ее можно воспринимать и как вполне классическое имя. Например, из комедии Плавта. У него имена героев кончаются на -факс или -фекс. К тому же вас зовут Эмиль. Филолог при этом подумает не об Эмиле и детективах и не о двойной Лотте[1], а о Via Aemilia[2].

— Но у меня есть и второе имя — Готлиб, — сказал Зуттер. Беседа начала его забавлять. — Оно наверняка вам ближе.

— Отнюдь нет, — возразил Циммерман. — Если бы ваши родители поинтересовались моим мнением, я предложил бы назвать вас Теофилом. Но если уж по-немецки, то без двусмысленностей. Например, Рослибом. Или вы не можете себе представить какого-нибудь Рослиба Меланхтона? Или Рослиба Эмануэля Баха? Или короля Рослиба Второго? Под сутаной я язычник. Я пользуюсь духовным прикрытием, так как мне далеко до масштабов классики. А в фамилии Зуттер что-то есть. Знаете, что я в ней слышу? Сотээр. Спаситель, точно как в моей книжонке.

Он нагнулся, порылся в своей кожаной сумке и вынул Новый Завет.

— На греческом, — сказал Циммерман.

— Не утруждайте себя, свой греческий я давно успел забыть. Но, по-моему, Новый Завет не следовало бы называть книжонкой.

— Но так ведь оно и есть, — возразил Циммерман, — в сравнении с "Илиадой" — это книжонка, в сравнении с Софоклом — трактатик. Новый Завет — не более чем червеобразный отросток на теле античности, словесный пузырь, раздутый до размеров Священной книги. До жуткой церковной истории. Текст, во всяком случае, издан филологом. Видите, кто это? Нестле.

— Я не умею читать, — признался Зуттер.

1. "Эмиль и детективы", "Двойная Лотта" — детские книги Эриха Кестнера.
2. Эмилиева дорога (*лат.*).

— Хорошо знакомая фамилия, — сказал Циммерман, — выдает чуткого к слову шваба. Ради него простим его братца, который, словно царь Ирод, истребляет младенцев сухим детским питанием.

— Это его брат? — спросил Зуттер.

— В духовном смысле — да. Мне братья напоминают Каина и Авеля. Не знаю более разных способов приносить жертвы Богу. Но я ничего не имел бы против, если бы на этот раз субтильный проломил череп здоровяку, филолог — капитану экономики.

— Хотите, чтобы всем воздавалось по заслугам их?

— Я пенсионер. И чтобы уж вовсе дискредитировать себя — и гомосексуалист к тому же. Поэтому больше не особенно утруждаю себя. Но многие, которым довелось побывать здесь и удалось *остаться* в сем бренном мире, были мне благодарны.

— Как вы с ними молитесь? — поинтересовался Зуттер.

— Как с самим собой. Господи, отпусти мне грехи мои.

— Грехи вам все еще нужны, — заметил Зуттер.

— Не они мне, — сказал пастор, — а я им, так было угодно дьяволу. Надеюсь, милости Господней известно, для чего.

В этот момент албанская прислуга со стуком вкатила тележку-поднос с чаем, и по палате словно ангел пролетел.

— Господину пастору тоже чашечку, — сказал Зуттер.

— Только не с ромашкой, — попросил Циммерман. — Лучше с вербеной. Нет? Ах ты дьявол. Вербена — то, что надо.

— Но это же невозможно пить, — удивился Зуттер.

— Я люблю все пряное, — сказал патер, вытащил из кармана плоскую бутылочку и плеснул из нее в чашку. Его рука дрожала. — Джин. Плеснуть и вам?

— Нет, спасибо.

— Не хотите причаститься у любителя джина. Вы совершенно правы. Так поступают только безнадежно больные.

— Вы были раньше католиком?

Циммерман так наклонил чашку, что чай пролился в блюдце.

— Вы любите, чтобы тело Господне было крепким, — пояснил Зуттер.

— А я думал, что не люблю делить с народом Его кровь, — сказал Циммерман. — Вы угадали. Я сменил вероисповедание в пятнадцать лет, по причине двойной морали святых матерей.

— Тогда вы попали из огня да в полымя, — заметил Зуттер. — Католики по крайней мере живут тем, что они же и запрещают. Реформированные же не знают ничего, кроме запретов. Это значит, они запрещают саму жизнь.

— Не в огонь и не в полымя хотел я попасть, а в самую что ни на есть грозу. Ее не могут предложить ни те, ни другие. Двойная мораль не помогла еще ни одному человеку. Нужна мораль стократная или тысячекратная. Вы думаете, я мог бы всерьез говорить с пациентами, если бы не имел in petto[1] особую мораль для каждого? Если к кому-нибудь из них я не нахожу подхода ни с одной из этих моралей, то вижу в этом непростительный для себя грех.

— Вам бы надо остаться филологом.

— Златоустом? Нет, уж лучше быть Рослибом. Мне бы родиться греком, но я опоздал на добрых две с половиной тысячи лет. И все же, гос-

1. В душе (*итал.*).

подин Зуттер, и все же. Вот вы говорите, что забыли греческий. Значит, когда-то вы его знали. Точнее, он знал вас. Вы спокойно можете забыть греческий, но он-то вас не забудет.

Пастор умолк. В уголках его рта застыла горечь, толстая нижняя губа отвисла, на ней блестела капелька чая.

— Чтобы нам с вами не молиться вместе, я тоже расскажу кое-что поучительное, — прервал молчание Зуттер. — Вы не понравились мне с первого взгляда, тут ничего не изменит даже моя благодарность вам. И все же вы второй человек, появившийся здесь, в котором я не чувствую функционера. О греческом вы говорите как о благодати. Я ее не знаю, но она меня знает. В меня стреляли, господин пастор, не знаю кто, полиция тоже не знает и не очень старается узнать. Мне мой убийца известен столь же мало, как и вам ваш Бог. Но он — или она — хотел тем не менее что-то обо мне узнать. Этого было достаточно, чтобы пустить в меня пулю. Кому-то очень хотелось от чего-то избавиться, по меньшей мере от пули. Как человек я не очень интересен себе. Но как объект криминального разбирательства? Тут есть что-то новенькое. Вы принесли мои вещи, так доведите дело до конца. Пожалуйста, уберите их в шкаф.

— Вряд ли стоит это делать, — сказал Циммерман. — Вас же отпускают домой. Все причиндалы с вашего тела сняты.

Циммерман так аккуратно сложил одежду Зуттера на кровати, словно был не пастором, а матерью готовящегося к конфирмации сына. Все вещи лежали, символизируя готовность шагнуть в новую жизнь, им недоставало только тела. В детстве у Зуттера были книжки с картинками, из них можно было вырезать макеты одежды и наклеивать на плоские картонные фигуры. И бумажный человечек превращался вдруг в римского сенатора или прусского гренадера. А то и в кокотку эпохи рококо, за десять тысяч лет до Барби. Зуттер, бродяга, вставай и дуй вперед. Только оденься потеплее.

— Если я правильно понял, — сказал Циммерман, — вам, чтобы вставать по утрам с постели, нужен основательный повод.

— Можно обойтись и без повода. Но не без бритья!

— Отрастите себе бороду, — посоветовал Циммерман.

— Тридцать лет назад так поступали многие. Наш поселок поначалу был целиком под влиянием Cuba Libre[1]. Через пару лет это стало стимулом для карьеры или поводом для пьянства или тем и другим вместе. Во всяком случае, увлечение прошло, но не прошла страсть зарабатывать больше денег и курить настоящие гаванские сигары. Сигары продаются лучше, чем революция.

— Я читал ваши репортажи. Для вас были важны случаи, произошедшие с другими. Вы играли на поступках и страданиях людей, как на ксилофоне, наслаждались звуками, которые, погибая, издает человек. А теперь хотите стать своим собственным случаем и узнать, что человек чувствует, когда на нем играют. Простреленное легкое — всего лишь хлесткое начало. Дальше, если хотите знать мое мнение, дело примет более тонкий оборот.

— Я не спрашиваю вашего мнения, — сказал Зуттер. — Нас вообще не спрашивают. Никого. Просто с нами что-то случается. Что-то с кем-то. Что, как, чем, откуда и куда, с каким финалом — так приходится членить теперь фразочки. Взгляните на эти шмотки: чистые объекты. Взгляните на меня: не столь чист, но как объект тоже достоверен, в достаточной, на мой вкус, мере. Недостает лишь мелочи: кого или чего? Субъект, подлежащее,

1. Свободной Кубы (*исп.*).

господин пастор, столь основательно исчезли из наших предложений, что мы уже почти не замечаем их отсутствия. Не думайте, будто я ищу исполнителя преступления, объектом которого я стал. Меня интересует субъект преступления. И не спешите называть это теологической проблемой.

— Кто угодно, только не я. Теология, господин Зуттер, это процедура с отсутствующим ответчиком. Тут даже не действует больше: in dubio pro Deo[1]. Все лазейки закрыты, в том числе и лазейки для хитрецов. Вера как игра по принципу fifty-fifty. Если Бог есть, то она оправдала себя. Если же его нет, то ты, утратив веру, потерял немного. Неправда, Зуттер, потерял все. Остатки честной веры в наше существование. Существование — это то, что человек должен вынести, хочет он того или нет. Все зависит от того, насколько мы высовываемся. Мы торчим в пустоте, как окровавленный указательный палец, и пока он торчит, ему достается все больше и больше. Убрать его тебе не дано. Для этого у тебя нет руки.

Патер говорил и аккуратно укладывал вещи Зуттера в шкаф. Он наклонялся и кряхтел. Зуттеру еще не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так заботливо обходился с одеждой, не сказать, чтобы очень умело, но весьма деликатно. И это при том, что на давно не глаженных брюках Зуттера не осталось даже следа от складки.

— Вовсе не требуется, — продолжал пастор, — писать существительные с большой буквы. Такого нет даже у Лютера, это барочное изобретение, инфляция божественной сигнатуры, ее распространение на любой фетиш. Есть языки, которые обходятся без подлежащего, но знают, о чем говорят, или настолько умны, что не хотят точно этого знать. Да и у нас процветает растительность, бедная подлежащими. Флора руин в парке авторского права и тщеславия. Смеркается, темнеет, рассветает. Имеется.

— Мне досталось, — ухмыльнулся Зуттер.

— Не говорите мне, — возразил после паузы Циммерман, — что не хотите узнать, кто в вас стрелял. Вряд ли стоит лишать себя этого удовольствия. В кого стреляют? Едва ли в одного из сотен.

— Предположим, — сказал Зуттер, — мне очень этого хочется; но не случится ли так, что я буду каждое утро знать, ради чего встаю с постели, но в один прекрасный день просто не смогу это сделать?

— Вполне возможно. Только благодаря исследованию я произвожу объект своего исследования. А потом он меня убивает или приводит к слепоте. Таким мне видится современное естествознание.

— Я и так уже плохо вижу, — сказал Зуттер, — и не нуждаюсь в преступнике, чтобы ослепнуть совсем. Судьба сама позаботится об этом.

Зуттеру показалось, что его слова потрясли Циммермана.

— Послушайте, — сказал он, — не запускайте это дело. С глазами шутки плохи. Хотите, я назначу вам встречу с профессором Фёгели. Поверьте, он творит чудеса...

— Вера и чудеса, — Зуттер снова обрел способность улыбаться. — В этой фирме я уже побывал, господин Циммерман, и впредь даже мизинца им не доверю. А тем более окровавленного указательного пальца. Надо терпеливо выносить то, что выпало на нашу долю. Не ваши ли это слова, господин пастор?

— Но вы живете один.

— Я живу один, причем без всякого "но". Да, я хочу узнать, кто в меня стрелял. Это так же верно, как и то, что меня зовут царь Эдип.

1. Сомневаюсь в существовании Бога (*лат.*).

— Пакет я вам оставляю, — сказал Циммерман, — вдруг да пригодится для чего-нибудь. — Он разгладил полиэтиленовую пленку. — О, чуть не забыл, в нем еще остался шар.

— Шар? — переспросил Зуттер.

— Я нашел его в брючном кармане, вы забыли вынуть все из карманов. Бывает, когда живешь без женщины.

— Господин пастор, я всегда сам выкладывал все из карманов, даже тогда, когда еще была жива Руфь. Никогда не знаешь, что там может заваляться. Кроме того, я много лет курил трубку, а в карманы курильщика лучше не залезать никому, кроме него самого. Табачная пыль да пепел, пепел да табачная пыль.

— Но шарик-то абсолютно чистый, — Циммерман поднес сверточек к свету: завернутый в белую папиросную бумагу и перевязанный черной ленточкой предмет, круглый на вид и не больше мяча для игры в гольф.

— Положите на ночной столик, — попросил Зуттер.

— Может, лучше сразу распакуете? На ощупь там нечто весьма деликатное.

— Шар не может быть деликатным. Иначе развалится.

Маленький натюрморт — три розы, загадочный подарок, ключ, лампа — смотрелся замечательно. Зуттер и не подумал притрагиваться к свертку.

Циммерман вздохнул и встал. Обе его руки повисли плетьми, хотя тяжелая сумка была только в одной из них.

— Не знаете, когда вас выписывают? Я мог бы подвезти вас домой.

— Эту ночь я еще проведу здесь. Вернусь домой днем, возьму такси. Но я благодарю вас за любезность.

— Вы играете в шахматы? — поинтересовался Циммерман.

— Редко. И плохо.

— Могли бы сыграть партийку, если представится случай.

— Если представится случай, — эхом отозвался Зуттер.

Циммерман понял.

— В таком случае позвольте пожелать вам...

— И вам того же.

Зуттер подождал, пока затихнут шаги, и развязал черную ленточку. На тонкой бумаге лежал свалянный из сухих иголок лиственницы клубок, так называемый "сильский шар". Ветер с перевала Малоя, поднимая волнение на озере, гонит иголки к противоположному берегу и сбивает в правильной формы шарики величиной с детский кулачок, а если не выловить их прежде времени, то и больше.

II
Призраки

— Извини, — сказал Фриц. Он стоял за дверью, которую Зуттер открыл после многократных звонков, — но твой телефон не отвечает.

— Никак не научится, — сказал Зуттер.

— Но есть же автоответчики.

— Телефонный автоответчик — это я сам, — сказал Зуттер.

Когда Фриц подшучивал над собой, то называл свое лицо "тысячекратной складкой"; его необычайно синие глаза не просто сияли, каза-

лось, это именно они изобрели сияние. Но сейчас они метали молнии, многочисленные складки вибрировали так, словно Фриц прикоснулся к высоковольтному проводу. Он сглотнул, и по его толчками прыгающему кадыку можно было догадаться, какие слова он проглотил: "Эмиль, ну сколько же можно?" Вместо этого он спросил вполне благовоспитанным тоном:

– Так и будем стоять перед дверью?

– Дверь останется закрытой, – ответил Зуттер, – иначе улизнет кошка. Похоже, она еще не признала этот дом своим. Поэтому останется пару дней взаперти. Давай обойдем вокруг дома и посидим в саду.

Дом Зуттера был последним в двойном ряду шестиугольных пятикомнатных домов, всего в ряду было одиннадцать таких сдвоенных строений; поселок построил в 1973 году архитектор Петер А. Шлагинхауф и хотел дать ему название "Полимер". Но городские власти дали разрешение на строительство с условием, что сохранится старое название этой местности. И поселок будущего – как тогда считалось – был назван "Шмелями".

Со временем выяснилось, что это название подходит поселку больше, чем "Полимер". Товарищеские связи, соединявшие клетки "Полимера", давно распались. Дом Зуттера, который изначально не был самым надежным звеном цепи, замыкал ее юго-западную оконечность. Это окраинное положение сохранилось и двадцать лет спустя, когда сменилось население поселка, хотя и не в том духе, в каком это виделось зачинателям. Гладкий, замешенный на мелкой крошке бетон, считавшийся тогда совершенным строительным материалом, был теперь замазан и заклеен всевозможными способами, так как оказался холодным и неуютным. Дома в стиле мастерских, извещавшие, что здесь жили если и не художники, то во всяком случае свободные устроители собственной жизни, благодаря тюлевым гардинам, волнистым жалюзи и герани на окнах превратились в маленькие домишки, утратившие приметы великого замысла, а вездесущие, заполнявшие любую брешь украшения говорили о боязни пространства.

Основатели общины теперь появлялись в поселке только для того, чтобы присмотреть за своими сданными внаем домами. Как, к примеру, Фриц и Моника, передавшие свой дом индийскому программисту с семьей, когда получили место руководителей чрезвычайно удобно расположенного Евангелического центра – в иных странах такой центр мог бы называться Академией. Художник фон Бальмоос с женой Леонорой покинул "Шмели" еще раньше. Конец семидесятых годов принес ему международное признание, и чтобы закрепить его за собой, ему понадобилась не только более пространная мастерская, но и соответствующее окружение; поселок со сдвоенным рядом домов ему уже не подходил. Даже архитектор Шлагинхауф уехал из поселка, послужившего ему ступенькой и трамплином для прыжка в другие сферы. Он что-то строил одновременно в Санкт-Петербурге, Базеле и Лос-Анджелесе и в своем доме больше не жил.

И только бездетные Зуттеры дольше других засиделись в своем жилище; правда, теперь Зуттер остался один. У крайнего дома, граничившего с зеленым лугом, на котором пасся скот расположенного неподалеку образцового крестьянского хозяйства, были свои преимущества, в данный момент то, что Зуттеру и Фрицу, чтобы попасть в сад, не пришлось делать крюк в полкилометра. Тропинка мимо кустов и водостока шла вдоль внешней стены дома. Стена, уже без окон, с трещинами в запущенном бетоне, продолжалась и за домом, огораживая шестигранник сада.

Мужчины молчали, Зуттер шел впереди, и было заметно, что ходьба все еще дается ему с трудом. Всего несколько шагов в сторону от "Шмелей" — и ты оказывался в настоящих зарослях, правда, в пору, когда барбарис, кизил, калина и терн покрывались зеленой листвой. Теперь же сквозь решетку ветвей с набухшими почками, кое-где уже выкинувшими белые соцветия различных оттенков, виднелся луг и за ним полоса коричневой, залитой солнцем пашни.

После этой прогулки друзья вошли на участок Зуттера с заднего хода; им оставалось пройти еще несколько шагов по внутреннему коридору без крыши (идея Шлагинхауфа) до покрытой черным шифером террасы. Она располагалась под застекленным верхним этажом, претензии которого походить на мастерскую художника вряд ли можно было принимать всерьез, так как его окна выходили на солнечную сторону. Зато этот этаж как нельзя лучше годился для зимнего сада, и именно с такой целью Зуттер его и использовал. Мебель тут была жесткая, рассчитанная на любую погоду, и Зуттер не стал приглашать своего гостя присесть, пока не принес прохлаждающие напитки. Через брешь, устроенную архитектором в безветренном садике, уже проникали горячие солнечные лучи.

Зуттер вошел в дом, соблюдая необходимую осторожность, так как кошка стояла за стеклянной дверью, ожидая, что она хотя бы чуть-чуть приоткроется. Зуттер прикрыл щель ногой, взял извивавшуюся кошку за загривок и отнес ее в ванную — единственное запиравшееся помещение. Ее протестующие вопли были слышны во всем доме.

Зуттер разлил светлое, как вода, шипящее вино, любимый напиток Руфи, который делали в близлежащей озерной местности, и поднял свой стакан.

— Твое здоровье, — сказал Фриц. — ОЭмиль, если б я знал...

— Я знаю, — произнес Зуттер, разглядывая наливавшуюся кровью царапину на тыльной стороне своей ладони.

На морщинистом лице Фрица снова появилось выражение едва сдерживаемого негодования.

— Скажи, пожалуйста, что ты знаешь? — спросил он.

— Вы бы навещали меня, спрашивали, не нужно ли мне чего, поговорили бы с врачами, а если надо, то и с полицией. Вы приносили бы мне цветы, книги, одежду и белье. И, конечно же, все это время присматривали бы за кошкой.

— *Я*, — со страдающей миной прервал его Фриц, — я делал бы все это, можешь не сомневаться. Но не *мы*. "Нас" больше нет. Моника ушла от меня.

— ОФриц, — сказал, не глядя на него, Зуттер, — в который уже раз.

— На этот раз окончательно, — загробным голосом произнес Фриц. — Мы расстались. Она влюбилась.

— Такое с вами уже случалось, — невозмутимо заметил Зуттер, избегая страдальческого взгляда друга.

— Такое, да не такое. Так еще не было. Теперь она хочет *жить*.

— С кем?

— Она познакомилась с ним в Санкт-Вельтене, — в голосе Фрица была горечь.

— Ага, в Санкт-Вельтене. Там, куда вы послали Руфь, чтобы она познала себя. Нехорошее это место.

— Врач из Пирмазенса, — подтвердил Фриц. — Даже не разведен. У него две дочери. Подростки.

— Подожди, они скоро выгонят Монику.

– Наоборот, – сердито бросил Фриц. – Именно они не отпускают ее. Наконец-то у них есть кто-то, с кем можно общаться. Их мать наркоманка и алкоголичка. Моника у них уже целую неделю. Она там *живет*. В Пирмазенсе!

– А что говорят ваши дети?

– Алекс, как всегда, отмалчивается, а Беттина в восторге от поступка матери.

Он беспрерывно сглатывал, и тысячи морщинок придавали его лицу горестное выражение. "ОФриц", – хотелось утешить его Зуттеру, но Фриц принял бы такое обращение к себе за насмешку. Он сам навязал себе это прозвище. Советчик по профессии и призванию, он каждый раз начинал свои утешительные тирады этим жалобным восклицанием: ОЭмиль! ОРуфь! И вот теперь: ОМоника! Но сейчас в утешении нуждался он сам, будучи абсолютно уверен в том, что ему его не найти. Он был безутешен, и никакое напоминание о том, что в мире много куда больших страданий и горестных вещей, не могло ему помочь. Один из первых обитателей "Шмелей", беспощадно-насмешливый художник, говорил за спиной Фрица, что он человек истинно ирландского происхождения, Сэмюэл Беккет в популярном издании.

– Я могу собирать вещички, Эмиль, – сказал он. – Церковные власти нанимали нас руководить Центром как супружескую *пару*. Раз Моника ушла, договор утрачивает силу.

– Она вернется, – заверил Зуттер. – От тебя она еще может отдохнуть, в этом деле у вас большой опыт. Но от договора не откажется.

– А разве брак – не договор? – спросил Фриц, и глаза его снова загорелись: в них была глубокая укоризна. – И что значит: она может отдохнуть от меня? Что ты хотел этим сказать?

– Что чувству не прикажешь. Нечто подобное я уже слышал. От вас, от Моники и от тебя.

– Только не от меня, – ворчливо заметил Фриц. – Да и от Моники вряд ли, разве что ей кто-то нашептал. Это все Лео.

– Лео – единственная зрелая женщина, которую мы знаем, говорили вы. Разве не так? Сидя у камелька после языческого Рождества. У вас был очередной кризис. Тогда речь шла об управляющем из Лангенталя. Его вы *обсуждали* с Леонорой. Твои слова, Фриц. И все в очередной раз чудесным образом уладилось. Благодаря Леоноре.

– Да, – печально согласился Фриц, – она ведьма. Самая настоящая. Дьявольское отродье.

– Вот те на! А тогда вы называли ее ангелом, воплощением зрелости и рассудка.

– Ты ее не знаешь, – вздохнул Фриц. – Да, она умеет говорить языками ангельскими, как сказано в Послании к Коринфянам, глава тринадцатая. К чему ни прикоснется, все под ее руками становится мягким, как воск. А потом расплывается и исчезает. Ты-то хоть понимаешь, что она разрушала вокруг себя все браки? И свой собственный прежде всего?

– Впервые слышу, – удивился Зуттер. – Это ведь ее бросил Йорг, торговец железным ломом.

– Да, – согласился Фриц, – так это выглядело. Так она все подстроила. Смирилась с тем, что произошло, не правда ли? Проявила великодушие! Преодолела себя! Хотела поразить всех своей уступчивостью! Все ложь и обман, Эмиль, ни от чего она не отступилась, ничем не поступилась. Она заманила его в западню, а когда он уже и пошевелиться не мог, ободрала

его как липку, подчистую. Сначала лишила его второй жены, калмычки, которую она же ему и подсунула, потом падчерицы Зигги, потом уверенности в себе, остатков порядочности, а в конечном счете отобрала у него и его искусство. Присвоила все, что у него было. Высосала его, как паук свою добычу. И вот теперь пришла очередь Моники, наша очередь.

— Вы искали у нее совета, — заметил Зуттер.

— Совета! — сорвался на крик Фриц, стараясь перекричать жалобные вопли запертой в ванной кошки. — Это ты называешь советом! Мы ходили к ней каждую неделю, сначала заниматься дыхательной гимнастикой, а потом терапией супружеских отношений. Ты можешь представить себе, что из этого вышло?

— Не могу, — признался Зуттер.

— Ничего, кроме полной свободы действий для Моники. Она выдала ей вольную. И я подписался под этой грамоткой, покорно и собственноручно. Можешь представить себе такое? Ты подтверждаешь свое собственное банкротство, да еще и гордишься этим. Подумать только!

— Тебе сейчас тяжело, Фриц, — сказал Зуттер. — В таких случаях ищут козла отпущения. А ты нашел козу.

— Коза отпущения! — зло прошипел Фриц. — Что верно, то верно! Она тертый калач. Окатит тебя кротостью, выкупает в благодеяниях, а потом под слоем пены хвать за твой конец. И так с каждым, без исключения.

— И с тобой тоже? — ледяным тоном спросил Зуттер.

Фриц бросил на него быстрый взгляд.

— Давай говорить серьезно.

— Что я и делаю. Ты спал с Леонорой?

Фриц покраснел.

— Если для тебя это так важно — да. Я давно и думать забыл об этом.

— Когда?

— Примерно год назад, если сие послужит обретению истины.

— Когда *точно?* — не отставал Зуттер.

— Да зачем тебе? — Чувствовалось, что Фрицу этот вопрос крайне неприятен, но он все же задумался. — Кажется, в феврале, где-то в двадцатых числах, во всяком случае после сеанса так называемой терапии.

— Меня это не касается, — Зуттер отпил глоток белого вина. — Но чему же ты удивляешься?

— Как чему?

— Лео лишь продемонстрировала тебе твою двойную мораль.

— Вот как? Ну ладно. Но ты не представляешь, как она скомпрометировала меня. В глазах Моники.

— Представляю. Ты пошел на риск, скомпрометировал себя, а она не стала этого скрывать.

— Не стала скрывать? — сорвался на крик Фриц. — Она оскорбила мое человеческое достоинство! Вот что она сделала! Выложила все моей жене. Разве таким можно доверять?

Зуттер грустно улыбнулся.

— И ни намека на стыд, — скрипнул зубами Фриц.

— А ты ждал иного?

— Я не считаю такт мещанской добродетелью, — Фриц откинулся на спинку стула. Кажется, разговор о самом неприятном был уже позади. — Эмиль, она успокоится когда-нибудь, твоя кошка?

— Я рад, что она вообще выжила. Признаться, я уже и не рассчитывал, что она вернется. Вчера выхожу из такси, а она сидит под дверью,

возле рододендрона. Сидит, точно с неба свалилась, и смотрит на меня отсутствующим взглядом. Слава богу, хоть не убегает, я хватаю ее и вношу в дом. Хочу покормить и не могу удержать, она опять рвется на улицу. Делает вид, что не знает меня. Инстинкт мне подсказывает: сейчас нельзя ее выпускать. Пусть посидит взаперти. Придется терпеть ее вопли, никуда не денешься. Она так ничего и не ела, даже не притронулась к своей любимой еде.

— Может, у нее болит что-нибудь?

— Может, и болит. Только она не говорит что. А вообще-то она в отличном состоянии. Откормленная, ухоженная, чистенькая — даже духами от нее попахивает. Должно быть, обреталась где-то на другой планете.

— А ты взял да и запер ее, — с тоскливой завистью сказал Фриц.

— Не хочу потом искать ее, я пока не гожусь для охоты за крупной дичью.

Зуттер не *все* сказал Фрицу. Ночь кошка провела совершенно спокойно. Просидела без движения в зимнем саду, у пирамидки из камней. Зуттер не спускал с нее глаз, когда, весь напрягшись, ждал ночного звонка. Пятнадцать минут двенадцатого, шестнадцать, семнадцать. Восемнадцать. Телефон так и не зазвонил.

— Я прочитал заметку в газете, — сказал Фриц. — Недалеко от трамвайной остановки кто-то стрелял в мужчину шестидесяти шести лет. Мне и в голову не могло прийти, что это был ты. Фамилию жертвы газета не назвала. Этот было как раз в день, когда ушла Моника.

Кошка замолчала. Зуттер и Фриц, потягивая вино, осматривали окрестности. Сад Зуттера хоть и был запущен, но еще сохранял следы *другого мира*, который когда-то был уготован ему в "Полимере". С террасы, как со сцены, открывался довольно скудный вид. В центре сдавленного бетонными стенами сада находился крохотный бассейн, в котором объединились, хотя и не очень выразительно, природа и искусство. Несколько стеблей ситника и листьев частухи смазывали каллиграфически задуманную форму китайского иероглифа, обозначающего Ничто. В углу вишня, вся в белом цвету. Через отверстие в стене виден кусочек сохранившегося ландшафта, весьма невзрачного, но благодаря обрамлению казавшегося каким-то особенным. Уже зазеленевшие буки в ближней рощице залиты солнечным светом и четко выделяются на фоне сочного луга, в котором символически теряются следы тропинки.

Зуттер и Фриц сидели на шатких стульях, перекочевавших сюда, как и стол, из какого-то ресторана в парке.

— Есть какие-то догадки относительно того, кто стрелял? — спросил Фриц.

— Я и так знаю кто, — ответил Зуттер. — Ты.

Фриц задал вопрос с отсутствующим видом, мыслями он был в Пирмазенсе, блуждал по тем полям, над которыми никогда не заходит тусклое солнце ревности. Когда до него дошел смысл ответа, он испугался.

— Я? Ты что, с ума сошел?

— Этот тест я провожу только с лучшими друзьями, — успокоил его Зуттер. — В нашем возрасте трудно поддерживать дружеские отношения. Вот и ждешь, когда в них появятся трещины. Полиция не обнаружила ни следов, ни мотивов, ни подозреваемых, ничего. Даже особого интереса не проявила.

– Должно быть, в тебя стреляли из мести. Хотели проучить.

– Не знаю, что и думать, – сказал Зуттер. – За этим может последовать еще что-нибудь.

– Брось. Не так страшен черт, как его малюют.

– Странное ощущение: чувствуешь, что за тобой наблюдают, но не знаешь кто, – признался Зуттер. – Я подумываю, не спровоцировать ли мне преступника. Тогда он, возможно, проявит себя. Если я не ошибаюсь, он тщеславен.

– А если ошибаешься? Ошибиться тебе никак нельзя.

– Ты слишком много от меня требуешь, – сказал Зуттер. – Преступник затаился в темноте, я стою на виду. Игра в одни ворота. Может, она выровняется, если и я напущу немного тумана.

Зуттер расследует дело Зуттера: только чтобы заняться чем-нибудь, так сказать, отвлекающая терапия или предосторожность, профилактика?

Если и профилактика, Зуттер, то касающаяся тебя одного. На общественный интерес рассчитывать нечего. Случившееся с тобой – твое личное дело, окажи услугу самому себе. Ты должен расследовать возникшее у тебя подозрение, от этого зависит твоя жизнь, ведь тот, кто стрелял, вполне может попробовать еще раз, если ты сделаешь неверный шаг. Но чтобы знать, какой шаг преступник сочтет неверным, нужен его образ, и тут кошка кусает себя за собственный хвост – занятие, свойственное котятам.

В деле самопознания, Зуттер, ты никогда не был силен, вопреки "сократовской иронии", которой наделил тебя главный редактор, когда своими похвалами напоминал, что тебе пора уходить. Твоя сила в наблюдении за другими, тут твоя фантазия разыгрывается как следует. Но почему так получается, Руфь, что в собственном деле я дурак дураком, зато дела других вижу очень живо, особенно дела тех, кто преступает закон и попирает право? Или, говоря о "фантазии", ты хотела сказать, что я выдаю лишь свои собственные тайные ипостаси? И они только потому даются мне так легко, что я нуждаюсь в алиби больше, чем те, кто меня преследует? И я знаю, что делаю, когда требую снисхождения к совершившим правонарушение? Или, напротив, я потому не стараюсь разобраться во всем как можно дотошнее, чтобы и далее заниматься своим делом – симуляцией, называемой гуманностью? Что невиновность, которую я отыскиваю у несчастных грешников, только туалетная вода, в которой я смываю грех с собственных рук?

Перечитай-ка еще раз самого себя, Зуттер, со строгостью, которой у тебя не находится для твоих друзей и подруг, неудачников. Рядом нет больше Руфи, чтобы поддержать твое бережное отношение к людям. Не прячься за спину покойной жены, ради нее тебе уже ничего не надо делать. Перечитай себя так, Зуттер, словно речь идет о твоей собственной жизни, ибо так оно и есть, речь – со стрельбой или без нее – именно о ней.

Апрель 1992 года.

Перед судом стоит молодая женщина, которая отказывается отвечать на вопросы. Она топором убила своего мужа, сильным ударом обуха по затылку. Смерть, по заключению судебных медиков, наступила почти мгновенно.

После этого она перетащила тело, на котором почти не было крови, к супружеской кровати, уложила мужа на постель, закрыла ему глаза и сложила на груди руки, положив под них огненно-красную лилию, которую он принес ей утром, в день свой смерти, после проведенной частью под открытым небом, частью в своем джипе ночи. Она сняла с покойника ботинки и аккуратно поставила их рядом с кроватью. Потом прикрыла его до пояса одеялом, зажгла свечу на ночном столике, туда же положила топор и позвонила в полицию, которую дождалась, сидя на стуле возле своей жертвы; рядом стоял чемоданчик, в который она уложила самое необходимое на время тюремного заключения.

Их восьмилетняя дочь была на своей первой школьной экскурсии, длившейся целый день. Ялука Х. попросила арестовавших ее полицейских передать своей знакомой Л. Б., чтобы та встретила на вокзале возвращающуюся с экскурсии девочку и на время приютила ее у себя. Соответствующее письмо было уже заготовлено. Поэтому прокурор сделал вывод, что убийство было преднамеренным. Письмо было адресовано жене человека, с которым Ялука Х. состояла в любовной связи. С момента ареста она, словно военнопленный на допросе, произнесла лишь несколько неизбежных в таких случаях слов. А по поводу убийства сказала всего одну фразу: "Я должна была это сделать".

Вот уже два года эта супружеская пара жила под Цюрихом, где муж работал компьютерным программистом. Швейцария была уже третьей страной, куда перебралась пара. Ялука Х. – калмычка, она родилась в 1959 году в "автономной" тогда советской республике. В 1958 году большая часть некогда кочующего народа вернулась в свои родные места южнее устья Волги из-за Урала, куда Сталин насильно депортировал калмыков во время Второй мировой войны. Род Ялуки издавна принадлежал к верхним слоям нецивилизованного, с западной точки зрения, народа, исповедующего ламаистский вариант буддизма. Отец Ялуки погиб в застенках ГПУ.

Хельмут Х., родившийся в 1950 году во Франкфурте-на-Одере, был из числа тех молодых инженеров, которых ГДР готовила для работы в области новой тогда компьютерной техники. Высокий рост позволил ему добиться многообещающих успехов и в гандболе. В 1975 году, как игрок национальной сборной, он принял участие в турнире, состоявшемся в столице Калмыкии Элисте, и на одном культурном мероприятии встретился с тогда шестнадцатилетней Ялукой, которая был исключительно одаренной скрипачкой и говорила по-немецки. Так началась их длившаяся многие годы переписка, переросшая в дружбу. Хельмут Х. сообщал молодой девушке о новостях культуры и снабжал ее музыкальными партитурами, к которым он благодаря своему привилегированному положению имел доступ, хотя интересовавшие Ялуку композиторы и слыли "декадентами". Главной темой переписки была музыка. Она аккуратным почерком писала ему короткие письма, в которых со сдержанным восторгом рассказывала о сыгранных ею и растрогавших ее пьесах. Она просила его исправлять ошибки в ее немецком языке. Он без каких-либо изменений набирал ее письма на компьютере и комментировал их орфографию замечаниями на полях. Оригиналы он хранил, не прикасаясь к ним красным карандашом.

Письма, имеющиеся в распоряжении суда, свидетельствуют о деликатной заинтересованности Хельмута Х. личностью своей партнерши по переписке, но в первую очередь о деловом интересе к культуре ее народа. Ялука никак не комментировала его попытки писать на ее родном языке. Ее самым сокровенным языком была музыка, а сама она по-девичьи тосковала по культуре, которую называла "европейской".

Еще была в разгаре холодная война, и молодые люди не могли не знать, что их письма внимательно читают и другие глаза. Необходимая осторожность больше чувствуется в письмах Хельмута Х., чем в письмах его партнерши. О по-

литике обл даже не упоминают. В 1978 году они встретились в Лейпциге: поводом послужил праздник братских социалистических народов, в котором они приняли участие: она – как скрипачка, он – как один из лучших спортсменов.

Свидетели, которых удалось опросить, рассказали суду, что именно тогда между молодыми людьми "пробежала искра". Во всяком случае, после этой встречи они считали себя обрученными и обратились в соответствующие инстанции с просьбой разрешить им вступить в брак. Хельмут вступил в партию и дважды принимал участие в научных конференциях, которые проходили в западных странах, одна из них – в Донауэшингене. Должно быть, руководство сочло его достаточно благонадежным, чтобы благословить на брак с иностранкой. Хельмут пообещал невесте место переводчицы с немецкого на русский и наоборот на одном из предприятий электронной промышленности; при этом она скрыла, что все русское просто терпеть не может. Куда важнее для нее была надежда на совершенствование в музыке. У них появилась возможность получить квартиру в Магдебурге, крупном городе; они согласны были жить там даже в панельном доме. И вот весной 1978 года была дважды отпразднована свадьба – сначала на родине невесты, потом на предприятии жениха.

На этом переписка прекращается; отныне жизнь молодой пары предстает в освещении других свидетелей. Ялука на вопросы о семейной жизни отвечать отказалась. От людей, знакомых с Ялукой и Хельмутом, удалось узнать, что оба они очень скоро оказались в изоляции. Близких знакомых, а тем более друзей следствию обнаружить не удалось. Ответственность за это возложили на Ялуку. То, чего она ожидала от Европы, в Магдебурге напрочь отсутствовало. Здесь к ней относились как к представительнице братского русского народа, но подобная идентификация была ей невыносима, и она отвечала на нее отвращением ко всему немецкому – во всяком случае, к реально существовавшей в ГДР разновидности немецкого характера. Ялука Х. не скрывала своих чувств и вела себя вызывающе. Музыка, которой она интересовалась и которая, вероятно, могла бы дать ей некоторое утешение, популярностью в ГДР не пользовалась. К тому же их новая квартира была совершенно не приспособлена для упражнений на скрипке, которым она любила посвящать ночные часы.

По мнению многих свидетелей, она настолько затруднила жизнь своему мужу, который все это время был ее "ангелом-хранителем", что он в 1983 году, когда у Ялуки случился выкидыш, подал заявление на выезд в ФРГ. Люди, выросшие в другом мире, не представляют себе тяжести этого шага. Хельмут Х. потерял работу, его исключили из партии и направили подсобным рабочим на бумажную фабрику. В глазах его жены ГДР окончательно обрела вид исправительной колонии. Скорее всего только благодаря вмешательству одного западногерманского предпринимателя, с которым Хельмут Х. познакомился в Донауэшингене, супружеская пара была внезапно выкуплена западногерманским правительством и смогла выехать из ГДР. После пребывания на сборном пункте новым местом жительства супругов стал швабский Нюртинген. Там Хельмут Х. нашел подходящую для себя работу. Он снова стал играть в гандбол, тренировал местную молодежь, а его жена снова забеременела и произвела на свет дочку.

Легче ли стало им жить в новом для них мире? Среди западных мещан Ялука, похоже, чувствовала себя столь же неуютно, как и среди мещан социалистических, а после рождения дочери ее состояние, которое адвокат назвал "социальным оцепенением", только усугубилось. Она не притрагивалась больше к своей скрипке и перестала выходить из дома, заметив, что в магазинах ее встречают пренебрежением и колкостями. Она все больше замыкалась в себе, смыслом ее жизни стало воспитание дочери. Забота о жизни в Западной Германии целиком легла на плечи ее мужа, который чувствовал себя там, в сущности, таким

же чужаком, как и она. На суде с похвалой отзывались о его "выдержке" и "безропотности". Прокурор довел также до сведения суда, что с этого времени Ялука полностью как женщина отвергала мужа.

Через три года Хельмут Х. уволился и переехал работать в Швейцарию. Это была отчаянная попытка спасти ситуацию. Хельмут Х. приезжал в Цюрих на курсы повышения квалификации, и город показался ему настоящим раем. Здесь он нашел Европу в образе хорошо одетых и, как ему казалось, счастливых людей. Здесь и только здесь его жена может снова вернуться к своей музыке. Да и новому работодателю, руководившему швейцарским филиалом немецкой транснациональной фирмы по производству электроники, он понравился своим отношением к делу и без труда получил разрешение на жительство.

В Цюрихе, говорил Хельмут Х., он бы с удовольствием провел свои детские годы; для его маленькой дочери сделать это было еще не поздно. Благодаря поручительству фирмы он получил кредит и купил небольшой, не совсем приспособленный для зимы домик на окраине города. Дом был окружен садом, к которому Ялука не проявила никакого интереса; зато теперь она могла бы снова без помех заняться любимой музыкой. Но музыка ее больше не привлекала. Она привязалась к своей дочери и, по свидетельству соседей, "день и ночь говорила с ней на никому не понятном языке".

Но и муж, так и не освоивший швейцарского диалекта, оказался в полной изоляции от общества, оно было закрыто для него везде, кроме рабочего места. Просто больно становится, когда пытаешься представить себе одиночество этой пары. В записной книжке Хельмута Х. были только самые необходимые адреса. Он любил свою жену больше всего на свете, сказал адвокат. Больше всего? Но ведь у него ничего больше и не было, ничего, с чем можно было бы сравнить его любовь. Как не с чем сравнить и удар топором, которым 14 октября 1991 года жена отправила его на тот свет.

Обвинение с подозрительной словоохотливостью выстроило свою цепь косвенных доказательств. Стал ли после этого мотив преступления яснее? В витрине банка, где Хельмут Х. получал свою зарплату и где покровительствовали искусству, он видит портрет женщины, который ему необыкновенно нравится. На нем изображена жена художника в молодости. Хельмут Х. хотел бы иметь точно такой же портрет своей жены. Не для себя – для нее. Кто умеет так изобразить женщину, тот и его жене способен вернуть ее прежнее лицо, а может, и свободу. Он собирается с духом, наводит справки о художнике и приходит к нему в мастерскую. Художник, известный далеко за пределами своей страны, уже прошел фазу предметной живописи. Теперь ценятся его коллажи из синтетических материалов, его "усеченные виды", его фрагменты или ошметки картин, называемые "какографией".

Хельмут Х. описывает этому человеку из другого мира свою ситуацию и высказывает желание заиметь портрет жены. Как сказал на суде художник Б., эта история его растрогала. К сожалению, мы не знаем, каким образом Хельмуту Х. удалось уговорить жену позировать художнику. Как бы там ни было, но она согласилась. От художника Б. мы узнали, что она стала его любовницей. В этом тронутый ее историей Б. не находил ничего особенного. Без страстного увлечения он не смог бы вернуться к предметной живописи. Поэтому он не преминул познать ее "изнутри", чтобы точнее воссоздать ее внешний облик.

Портрет существует, и хотя художник писал его – включая работу над эскизами – несколько месяцев, он, по его словам, "остался незаконченным". Во всяком случае, Хельмут Х. так его и не увидел. По достоинству оценить портрет ему помешал удар обухом по затылку. Художник в недоумении; можно не сомневаться: на такой исход он не рассчитывал. С помощью своего искусства он дол-

жен был вырвать из состояния депрессии "очень специфическую женщину", которая "открылась ему", а получилось вот что.

На лице стоящего перед судом художника прямо-таки написано возмущение несоразмерностью содеянного. Сблизился ли он с этой женщиной? Он лишь сделал то, чего не мог не сделать. Было бы против его правил отказать женщине в том, что ей нужно. Он и теперь, не стесняясь, называет это "самым необходимым" для нее. Неуместен был лишь кровавый исход... Тот, кто считает его увлечение безнравственным, не имеет ни малейшего представления о нравственности в мире художников. Она далека от мещанской морали, из-за которой эта "женщина из далекого мира" – выражение Б. – едва не задохнулась. У него она получила то, в чем нуждалась для жизни, – воздух.

Кто знаком с Б., тот знает, что его никак нельзя было заставить писать портреты; его согласие в данном случае было просто любезностью. Взял ли он деньги за этот заказ? Да, потому что не хотел задевать самолюбие клиента. Получил ли он причитавшуюся ему разницу в оплате натурой? На этот вопрос Б. отвечать отказался. Присутствовала ли в их связи страсть? Он на некоторое время задумывается. Как он привлек ее к себе – бессознательно, великодушно, чутко, тактично? Бессознательно, решает господин Б., – в смысле интеллектуальной честности. Он человек страстный, к сожалению.

По залу проносится шум: разве это дело, когда художник сожалеет о своей страстности.

Ты мог бы убить человека за такие слова? Да, решает Зуттер, без промедления. Но не семь лет спустя. Йорг не такой человек, чтобы хладнокровно наслаждаться местью. Или я не так уж и сильно задел его?

Зуттер с книгой на коленях сидел на террасе и неотрывно смотрел на вишню, облитую белым цветом, который уже начал приобретать коричневатый оттенок. Его раздосадовал собственный текст. От пассажа об Йорге так и несло злобой и ненавистью. Ему недоставало корректности. Зуттер не любил Йорга и имел глупость продемонстрировать это публично. Профессионализмом тут и не пахло. Будь я главным редактором, я бы после такого опуса тоже отказался от услуг Гигакса.

Если я начну подозревать каждого, кого не люблю или не любил, тогда весь мир откроет по мне стрельбу из своих стволов. Но ведь не всем, кого я не люблю, вот так сразу захочется меня убить.

Не лукавь, Зуттер. Ты дал Йоргу вполне реальный повод для мести. Но узнал ли он о моей истории с Лео? И если узнал, потрясла ли она его? Они ведь к тому времени были уже в разводе. Но, если я в нем не ошибаюсь, это не потрясло бы его и раньше.

А *ты* сделал бы то же самое раньше? Когда она была еще замужем?

Да, сказал он себе. Сложись все так, как в тот раз, я поступил бы точно так же.

Хорошенькая получается история. Он ищет преступника — и каждый раз натыкается на себя самого. Не нарциссизм ли это? Или эффект зеркальца разового пользования? Твои приступы искренности достойны уважения, Зуттер, но они не исключают того, что за тобой наблюдают другие. Преступнику, чтобы тебя убить, вовсе не обязательно иметь *твои* мотивы.

Иначе бы он стрелял прицельнее, подумал Зуттер.

Он представил себе Йорга фон Бальмооса, в происхождении которого поистине не было ничего аристократического: его предками были полубродячие субпролетарии, корзинщики из бернского Зееланда, и он гор-

дился этим. Но отнюдь не старался немедленно исправлять возникавшее повсюду недоразумение: в Германии, например, это "фон" перед фамилией очень даже ему помогало. Йорг был статный мужчина с "парящим носом" на совином лице – так высказалась о нем Руфь, кстати отнюдь не вкладывая в свои слова обидный смысл (Зуттер ни разу не слышал, чтобы она говорила о ком-нибудь пренебрежительно; кто ей не нравился, о том она молчала). Она ценила работы Йорга и следила за его развитием. "Парящий нос", острый, задранный кверху, придавал лицу выражение какой-то детской несерьезности, которого оно никак не заслуживало. Лицо было вполне достойное, особенно издали, когда не был заметен мужицкий нос, разве что глаза были посажены слишком близко друг к другу и к тому же слегка косили, что придавало взгляду Йорга пронзительную, иногда наигранную напряженность. Щедро очерченный рот, благородно припухшие, изрядно чувственные губы, подвижные, как и вся мимика, способная передать всю гамму чувств – от беспощадной насмешки до теплого участия. Он был не только художником, но и неплохим оратором, чем охотно пользовался. У него были бесспорно красивые и выразительные руки, которые он называл "руками корзинщика". Йорг легко всем нравился, но Зуттер его не любил. Он вполне подходил для роли преступника, и Зуттер с удовольствием пришил бы ему какое-нибудь дельце. Он того заслуживал. Вот только *что* ты мог бы пришить ему, Зуттер?

Он снова взял в руки книгу, прощальный подарок перед уходом из газеты. На очереди была вторая статья, та, что писалась в бессонную ночь. Он тогда успел ее закончить. Как будет читаться она сегодня, после ранения?

Когда защитник, как вчера д-р Шпитцер перед верховным судом кантона, использует весь арсенал средств и нажимает на все педали, то просто не успеваешь опомниться и сообразить, не упустил ли он чего-нибудь, а если задним числом все же начинаешь соображать, то оказывается, что упустил-то он нечто очень важное, что при бережливом подходе сыграло бы решающую роль, то есть сослужило бы добрую службу его подзащитной из другого мира. И могло бы помочь пониманию преступления и его подоплеки, а тем самым и рассмотрению дела в суде.

Вот только бережливость не относится к достоинствам господина Шпитцера. Вчера он весьма впечатляюще пропел гимн страсти и изобразил в согрешившей паре персонажей, достойных Паоло и Франчески из "Божественной комедии" Данте; наслаждаясь чистым искусством и дав себя увлечь внезапно обрушившейся на них силе божественной страсти, они перешли границу допустимого – "в тот день читать мы больше не могли". Господин Шпитцер видит в такого рода страсти действие так называемой "хитрости неразумия", в которой он почитает "другой закон" – тот, который во имя более сильной жизни требует не правила, а исключения. Выражаясь языком особенно популярной теперь дарвинистской диалектики, требует мутации, скачка от копии к качественно новому оригиналу. Благодаря такому скачку, по словам господина Шпитцера, мы всякий раз оказываемся на целине исторического развития, по ту сторону статистики. Ибо в 999 случаях из 1000 мутация не приводит к успеху, исключает своего носителя из процесса продолжения жизни. И только в одном случае сама жизнь вмешивается в ход операции по своему спасению и совершенствованию, и тогда мутант становится родоначальником нового мира. Господин Шпитцер не стесняется даже сексуальность, "это гениальное и безрассудно смелое изобретение жизни", рассматривать как одну из таких мутаций и бесстрашно призывать к

ее оправданию – "при любых, даже тяжелых, даже безнадежных обстоятельствах жизни моей оставленной всеми добрыми духами подзащитной".

В таком состоянии художник Б. мог показаться ей добрым духом, ибо в нем была сила жизни, которой ей так ужасно недоставало. Разве в этой дочери степей все – начиная с физиономии – не соответствовало шпитцеровскому объяснению ситуации? И не должны ли мы поневоле согласиться с ним, даже если нам вовсе не хочется вслед за господином Шпитцером петь ей дифирамбы и видеть в ней некое достижение культурного развития? Не является ли и сам господин доктор Шпитцер одним из 999 случаев, которому суд предоставил право обнаружить тот самый тысячный вариант, найти исключение из правила, необычную преступницу, в отношении которой следует сменить гнев на милость? Не получается ли так, что швейцарскому суду, именно швейцарскому, опять рекомендуют руководствоваться не сухим уголовным законодательством, а законом джунглей, где побеждает сильнейший, – в нашем случае сильнейшее чувство? Не обязывают ли нас и в собственной груди услышать священный голос этого чувства? Если уж наказывать – а без наказания тут не обойтись, то желательно проявить при этом такт и уважение. Приговорить ее, руководствуясь принятыми у нас нормами наказания, к году условно. Требовать оправдательного приговора мы не вправе – преступление должно быть наказано. Но при этом не следует забывать о чувстве собственного достоинства.

Иными словами: Ялука Х. уже достаточно наказана. Она сожгла за собой все мосты, и в первую очередь тот, который связывал ее с любимым человеком. Она одним махом лишила свою малолетнюю дочь обоих родителей. Ее поступок явно не вписывается в привычные рамки, как и страстное чувство, побудившее к нему. Здесь некого приобщать к общественно полезной деятельности – эта женщина знала, на что шла. Что в ней должно быть наказано? Наказанием здесь становится сама буква закона. Вызов брошен духу закона – поэтому господин Шпитцер просит суд не о смягчении приговора, а об одухотворении самой идеи наказания, которая в данном случае менее всего может считаться "возмездием".

За это и Шпитцер мог бы меня порешить, подумал Зуттер. Он ведь и впрямь не говорил ничего подобного. Я сделал из его выступления нечто великодушно-бессмысленное, а из самого Шпитцера карикатуру. Но Шпитцер — представитель. Он представляет в суде что угодно, охотнее всего человечество; но когда стреляют, обходятся без представительства, а сам он на это никогда бы не решился. На такое способен только подпольный адвокат! А Шпитцер — человек широкого кругозора, склонный к эффектным обобщениям, на фоне которых жалкий конкретный случай теряет всякое значение; Шпитцер — это верный проигрыш для клиентов. Почему Леонора наняла именно его, за что ему заплатила?

Но ведь была не только любовь преступницы к художнику. Еще раньше – и одновременно с этим – были ее отношения с женой этого художника. И многое указывает на то, что можно говорить о дружбе, быть может, самой прочной дружбе в жизни Ялуки Х. Мы не знаем, как поладили между собой женщины, когда Ялука стала любовницей Б. Об этой стороне дела как одна, так и другая предпочитали молчать. Но мы знаем, что их дружба не только не прекратилась, но даже окрепла; случай для нас совершенно непостижимый, но вполне объяснимый с точки зрения далекой от здешних условностей женщины, на пути которой встретилась зрелая, внутренне свободная подруга.

Может, Леонора Б., будучи женой художника, просто привыкла к такого рода "огорчениям" и выработала в себе – из отчаяния или благоразумия – посто-

янную готовность терпеть его амурные похождения? Бульварная пресса знает, что происходит в душе "обманутой" женщины; мы этого не знаем. Но мы знаем, какой вывод можно сделать из поведения Ялуки Х.: не такая это женщина, чтобы согласиться на "снисхождение" к своей любви, даже если бы Леонора Б. и пошла на это. В ходе судебного процесса Ялука Х. пыталась покончить с собой. Чтобы проникнуть в тайну этого поступка, защита предложила всего лишь отмычку; мы же считаем возможным найти точный ключ к разгадке.

Вполне могло быть, что Ялуке Х. только в ходе допросов – после того, как дал показания ее возлюбленный, – стала ясна ошибочность ее страстного увлечения; эта роковая ошибка задним числом лишила ее проступок всякого смысла. Но могло быть и так, что она, вступая в любовную связь, не просто рассчитывала получить "разрешение" жены Б., что соглашение с Леонорой Б. стало условием, без которого эта связь не состоялась бы; Ялука могла решить, что ее любовь никому не будет мешать. Ялука Х. – характер сильный и строгий. Что если многократно употреблявшееся художником обращение к ней "моя маленькая женушка" (это подтверждено документально) она восприняла не как галантную условность, а буквально?

Такого рода семейные отношения в мире, из которого пришла Ялука, не были чем-то необычным. Наше "единобрачие" для кочевого народа было неизбежным лишь в случае нужды. Обычай позволяет мужчине иметь вторую, третью и даже четвертую жену, если он в состоянии их содержать – или если к этому обязывает его положение и необходимость расширения социальных связей. В наших глазах такая полигамия может показаться использованием мужчинами своего положения, злоупотреблением им, но народ, среди которого выросла Ялука Х., относится к этому совсем по-другому. Когда женщины "делят" между собой мужа, у многих народов это укрепляет не его, а их положение; это затаившийся в недрах патриархата реликт той матриархальной культуры, о которой защита здесь много распространялась, не сказав, думается, самого существенного, важного для вынесения приговора. Основа подобной семейной структуры – взаимопонимание, кооперативное и солидарное соглашение женщин между собой. Правда, там существует и своя иерархия: вторая жена действительно считается младшей, "маленькой".

Так что характер связи с Б. определенно не был для Ялуки Х. таким уж "неестественным", как представляется по привычным нам сценариям. Но по ее сценарию роль "второй" жены не была чем-то само собой разумеющимся для дочери знатного рода, признававшего только "первые" роли. Тот факт, что она согласилась быть "младшей" женой, говорит не столько о ее отношении к будущему мужу, сколько бросает свет на ранг "старшей" жены, на Леонору Б. Несомненно, что Ялука Х. была уверена в любви Йорга Б.; но куда важнее для нее была уверенность в том, что его жена отнесется к этой новой связи благосклонно. Только это позволяло ей ответить на ухаживания художника. Но в Леоноре Б. она нашла больше чем понимание – нашла дружбу, и дружба не прервалась после кровавого деяния, с помощью которого Ялука хотела не избавиться от Хельмута Х., а обрести свободу для создания новой семьи.

Ты сам-то, Зуттер, хоть веришь в то, что написал тогда, с гудящей от бессонницы головой, между четырьмя и семью часами утра? Тут же все просто-напросто высосано из пальца, ты и часа не посвятил расследованию. Тебе ничего не было известно о структуре калмыцкой семьи, ты понадеялся на то, что суд и общественность знают об этом еще меньше, – и не ошибся. Только разыгравшаяся фантазия сделала тебя на несколько вдохновенных минут специалистом по Калмыкии. Убедительность твоих аргу-

ментов основывалась на том, что ты, когда они пришли тебе в голову, сам поверил в них — рядом не оказалось никого, кто раскрыл бы твой обман. Ялуке это наверняка было не с руки, Шпитцер предпочитал держаться за Дантовы образы страстных влюбленных, а Хельмут Х. был мертв.

Если разобраться, Ялука обязана мягким приговором не только твоей фантазии, но и тому, в какой костюм ты ее нарядил. Если бы Ялука была тем, что ты из нее сделал, она в тебя первого всадила бы пулю. Ибо ты вел себя по отношению к ней как колонизатор, хуже того — как владелец зверинца в цирке, демонстрируя пораженной публике настоящую дикарку. Неудивительно, что Руфь не поверила твоему отчету о судебном процессе — и ты знаешь, почему никогда не рассчитывал на ее понимание.

То, что довелось Ялуке Х. узнать во время допроса и в ходе судебного разбирательства – узнать из первых рук, услышать из уст любимого человека, полностью разрушило ее представление о собственном положении. После всего услышанного жертва, которую она принесла, была не просто бессмысленной, а нелепой и – что еще хуже – смешной.

После первого дня процесса она попыталась лишить себя жизни. Свое спасение она, должно быть, восприняла как ужасную катастрофу и с тех пор не произнесла больше ни слова, ибо были разрушены координаты, в которых ее жизнь имела хоть какой-то – пусть даже и временный – смысл. Если сегодня и есть нечто, что помогает ей держаться с достоинством – так, как она держится на скамье подсудимых, – то это чувство, что лишь один-единственный человек не оставил ее в беде.

Человек этот – не ее возлюбленный. Это женщина. Леонора Б. нашла для Ялуки Х. высокооплачиваемого адвоката – хотя, к сожалению, мы так и не поняли, чем он хотел ей помочь. Возможно, он и в самом деле верил, что оказывает ей услугу, когда делал из нее калмыцкую Медею. К слепой страсти у нас относятся с сочувствием; как и к тому, что художник ведет себя в соответствии со своими собственными законами. За ним, как человеком богемы, признается право на особое поведение. Он свободен в своем искусстве и в своих любовных похождениях: партнерша сама виновата, если строит на этот счет иллюзии.

Но Ялука Х. не заслуживает снисхождения по причине своей мнимой невменяемости. Она не рассчитывает на смягчающие обстоятельства. И не нуждается в наставлениях по поводу "упрямства" Хельмута Х.; она разделяла его с ним, в этом она была и остается близка ему – как в момент его убийства, так и после него. Да и он не воспринимал увлечение жены как любовную интрижку. Для него это была полная катастрофа. Лань, "что любил он больше всего", как поется в песне, бросила его, и это его убило. Оставалось только сделать это в действительности, и ей хватило мужества и милосердия совершить этот акт.

Да, Зуттер, эту лань тебе не удалось отогнать и от Руфи.

Обязаны ли наши судьи принимать во внимание подобные варварские, "скифские" любовные отношения и правовые нормы? Нет, конечно, но им следует задуматься, прежде чем они вынесут свой собственный и совершенно иной приговор. Быть может, им стоило бы вспомнить о выдающихся произведениях нашей собственной литературы и предположить, что "Пентесилея"[1] пригодна не только для преподавания в школе. Суду вовсе не обязательно соглашаться с обстоятельствами, вынудившими Ялуку Х. к убийству мужа, но воздать им должное

1. Драма немецкого писателя Генриха фон Клейста (1777–1811).

в полном смысле этого слова-он может, не в последнюю очередь из уважения к жертве. В глазах Ялуки Х. ее муж был жертвой и меньшего не заслуживал.

На слове "жертва" Зуттер тоже надолго задержался взглядом.

Ялука Х. видела выход для любого из участников сложившейся драматической ситуации – только не для своего мужа. Он с самого начала душой и телом встал на защиту своей жены, разумеется, по необходимости, ибо так складывались обстоятельства, но и в полном согласии со своим внутренним складом, со своим характером. Свидетели на суде говорили, что он человек добросовестный и любое дело привык доводить до конца. Если же появлялось нечто, не вмещавшееся в его представления о мире, он отказывался этот мир понимать и не знал, что делать. Его упорство и последовательность другие воспринимали как "тупое упрямство".

Упорство – достойная, но и неприятная черта характера. Хельмут Х. не был создан для жизни, в которой он оказался лишним; он жил только ради любви своей жены, ради ее несокрушимости. То, что случилось с Ялукой Х., в глазах Хельмута было смертельным ударом по его репутации, лишило его чувства собственного достоинства. Когда он потерял то и другое, жена решила нанести ему последний удар – топором.

Мы отнюдь не призываем видеть в этом знак уважения к нему, если не сказать – последнего доказательства любви к нему. Но все говорит о том, что этот поступок соответствовал складу ее характера. Даже самый справедливый судья не смог бы вынести ей более жестокое наказание, чем то, которое она вынесла себе сама. Она человек образованный и не могла не знать, что своим поступком надолго, если не навсегда, лишает себя всякой надежды на жизнь с любимым – нет, с новым мужем. И все же она это сделала. И при этом верила, что, кроме Хельмута Х., ее поймет по меньшей мере еще один человек – Леонора Б.

И, как нам кажется, у нее были для этого основания. Но выступление на суде мужа Леоноры выбило почву у нее из-под ног. Она поняла, что ее возлюбленный хотя и относился к ней серьезно, но считал их связь временной. Именно из этого он и исходил, и оборот, который придала их отношениям позировавшая ему женщина, был для него как гром средь ясного неба. В том, что она натворила, он-де совершенно не виноват.

После этих его слов Ялука Х. и попыталась повеситься в тюремной камере.

Для чего ее спасли? Мы надеемся: для процесса, который оценит ее поступок по справедливости и не позволит ей избежать заслуженного наказания – заслуженного по нашим законам. Столкновение разных культур не должно остаться на этом процессе пустой фразой. В лице преступницы мы имеем отнюдь не человека, склонного к противоправным деяниям. Мы можем не принимать правил ее поведения, но в них есть своя потрясающая правота.

Он никогда не воспринимал свою связь с Ялукой "в трагическом свете", заявил на суде художник Б. Напротив, она, эта связь, носила сугубо эстетический характер; в доказательство он ссылался на многих вполне уважаемых художников, приводя примеры внезапно вспыхивавшей любви между ними и их натурщицами. Случалось даже, утверждал он, что художники влюблялись в собственные творения. Тут он почему-то вспомнил о птицах, которые набрасывались на фрукты, очень правдоподобно нарисованные греческим художником Апеллесом. Правда, до присутствующих в зале суда не сразу дошел смысл сказанного, но господин Б. не поскупился на объяснения. Еще бы: они помогали ему снять груз с собственной души.

В этом процессе принимают участие две молчаливые женщины. И все еще остается надежда, что их молчание обретет вес свидетельского показания, даже

если приговор и мера наказания будут в конечном счете определяться законами нашего мира. Но суду не мешало бы напрячь фантазию и принять во внимание, что на свете существуют и другие миры.

А ты и в самом деле смухлевал, Зуттер. В пылу сражения ты даже не заметил, что твои аргументы сильно напоминают аргументы Шпитцера. Ялуке Х. достались два неважных адвоката, с той лишь разницей между ними, что одного из них за его несостоятельность сначала премировали, а потом уволили.

Ради кого ты это сделал, Зуттер?

Во сне ты называл ее Ялу.

В первый день суда ты видел ее только издали, потом в газете появился ее портрет. Редакционный художник, присутствовавший на процессе, вышел за рамки дозволенного и создал произведение, пронизанное благоговением и нежностью. После попытки Ялуки свести счеты с жизнью ее портрет не выходил у тебя из головы. Когда она снова появилась на заседаниях, ты оставил свое привычное место и сел у нее за спиной, чуть сбоку. На ней было платье с высоким воротником, длинные волосы ниспадали на плечи. Ты нетерпеливо ждал момента, когда отбросит волосы назад и обнажит след, оставленный на ее шее петлей; во сне ты сжимал ее в объятиях, пытаясь впиться зубами в место на шее, где виднелась покрасневшая бороздка. Когда она, вскрикнув, вся изогнулась и резким движением откинула назад волосы, они медленным черным дождем посыпались на твое лицо и накрыли его вместе с головой Ялу в одной и той же могиле.

По-видимому, в июле у Фрица появились свободные вечера, и у него снова возникла потребность в откровенном разговоре с Зуттером. При этом субъективная потребность в таком разговоре сокращалась пропорционально росту объективной необходимости. Говоря без обиняков: речь шла о разводе и, стало быть, о деньгах. Моника осталась в Пирмазенсе со своим Фолькером (уже одно имя звучит кощунственно[1]), осталась, чтобы удержать на плаву семейную лодку с матерью-наркоманкой и двумя растерявшимися дочерьми, предоставив перегруженному работой Фолькеру лишь взирать на ее усилия, взирать беспомощно и благодарно. Кстати, он был вовсе не врачом, а всего лишь стоматологом... У Моники и в мыслях не было выходить замуж за зубного врача в Пирмазенсе. "Глупость с супружеством больше не повторится. Я жду от тебя только великодушного согласия на развод", – сказала она Фрицу. И при этом потребовала вернуть свои деньги.

Зуттер сначала легкомысленно решил, что у Моники в Пирмазенсе точно такая же трудная задача, какая была поставлена перед перевозчиком: переправить через реку кочан капусты, козу и волка таким образом, чтобы все остались целы. Но Фриц заставил друга взглянуть на проблему серьезно.

– Ты плохо знаешь эту женщину, – сказал он, – она идет по трупам. Но, – добавил он трагически торжествующим голосом, – в свое время мы решили объединить наши состояния. Пусть ее зубодер сам финансирует свое развивающееся предприятие. Они у меня узнают, что бывает,

1. Вероятно, из-за созвучия с völkisch – "народный" с привкусом шовинизма.

когда от святости брачных уз остается какое-то нелепое "партнерство на конкретный отрезок жизни". Язык сломаешь. Это же глумление над здравым смыслом. Они у меня схлопочут большие неприятности!

– Они, они, – сказал Зуттер. – Одна из этих "они" все еще твоя жена. Но с тех пор как ты стал трахать свою бухгалтершу, твой жизненный тонус явно повысился.

– Ты вульгарен, – сказал Фриц.

– Зато ты сплошное благородство. Я лишь сделал выводы из нашего последнего разговора.

– Я так не выражался.

– Еще бы. Но протокол требует ограничиваться существом дела. Своей самоотверженной службой эта дама еще раньше заслужила твою благосклонность, к воздержанию тебя вынуждали только священные узы брака. Теперь Моника подобной чуткости с твоей стороны уже не заслуживает. А ты всего лишь человек. Ну и позволил себе быть человеком.

– Друзья познаются в беде, – сказал Фриц.

– Кроме того, она ... кстати, как ее зовут?

– Жанетт, – неохотно ответил Фриц.

– Кроме того, Жанетт ловко управляется не только с бухгалтерскими счетами. Она прирожденный менеджер, и теперь ничто не мешает ее таланту проявить себя в полной мере. Я выражусь неприлично, если скажу, что тебя можно поздравить с "хорошей советницей"?

– Нет, всего лишь съязвишь. Но тут ты абсолютно прав. Впервые за десять лет у нас дебет сошелся с кредитом. Теперь у нашего Центра бездефицитный бюджет.

– Ну, тогда тебе недолго ждать благословения швейцарской церкви. Кстати, как Жанетт предпочитает произносить – "бугалтер" или "бухгалтер"?

– Бухгалтер, разумеется, – ответил Фриц.

– Само собой. Я слышал, точно так же произносит это слово и господин Кинаст, бывший прокурист "приносящей доход сберкассы". Муж той женщины, что держала на коленях мою голову, когда я подыхал, истекая кровью. Бух-галтер. Почти как "бюстгальтер". Но ничего похожего на "адюльтер" – не на тот слог падает ударение. Жанетт – то, что надо для твоего благочестивого дома. Уж она постарается, чтобы Моника не добралась до ваших денег.

– В этом ты можешь быть уверен. Не доберется даже с помощью адвоката из Пфальца. Закадычного дружка Хельмута Коля! Можешь себе представить такое после всего, что мы *с ней* пережили?

– Очень даже могу.

Они сидели рядом на задней террасе и наблюдали за ливнем, который хлынул таким шумным водопадом, что дух захватывало, во всяком случае приходилось повышать голос, что в разговоре о столь деликатных вещах было не совсем уместно. Возмущенная глумлением над собой природа репетировала всемирный потоп.

– А как обстояли дела у вас? – спросил Фриц. – У Руфи ведь были деньги.

– И довольно много, я думаю.

– Ты *думаешь*? – удивился Фриц. – А самих денег ты не видел?

– Не видел, – подтвердил Зуттер. – Мы жили, не объединяя наших состояний. На этом настояла Руфь. Доставшееся ей от тети наследство не должно было играть в нашей жизни никакой роли.

— Однако же сыграло. Теперь наследник — ты.

— Нет, я ничего не унаследовал. После смерти Руфи ее состоянием распоряжается адвокат, исполнитель ее завещания. Он выплачивает мне ежемесячную ренту, ровно столько, сколько я получал, работая в газете.

У Фрица на какое-то время отвисла челюсть.

— Ты получаешь *ренту* из наследства своей жены, но само наследство тебе не принадлежит?

— Так мы с ней договорились, — пояснил Зуттер. — "Пока я жива, ты кормишь меня, — сказала Руфь. — Я буду кормить тебя, когда умру. Мне тетины деньги достались незаслуженно. А она их выстрадала. Ради них она терпела своего мужа". Из этих денег Руфь оплатила наш дом, вот и все. "Мой рак и так обходится мне слишком дорого, не хватало еще тратить на него деньги", — говорила она.

— А если заболеешь ты? — спросил Фриц.

— У меня обязательная страховка, а что сверх того, оплачивает адвокат. Например, за шутку с прострелом моего легкого ему пришлось выложить кругленькую сумму.

Устроившись на сухом краешке настила под шиферной крышей, кошка пристально вглядывалась в шевеление сочной зелени под ударами дождевых струй. Морщины на лице Фрица словно застыли.

— Ты хочешь сказать, когда у тебя появляются расходы, ты отсылаешь счет адвокату, и он оплачивает его из твоих же денег?

— Примерно так. Но это, как ты уже слышал, *не мои* деньги.

— Эмиль, — сказал Фриц, — но ведь ты же не под опекой?

— В финансовом отношении — под опекой, и это меня устраивает. Я не люблю иметь дело с деньгами.

— И кто же этот твой... этот ваш адвокат?

— Доктор Шпитцер.

— Почему именно Шпитцер? Этот реакционер! Этот головорез!

— Драматический тенор, — сказал Зуттер, — специалист по правам человека. Его бух-галтерские счета всегда на высоте. Не я его выбирал, а Руфь. Roma locuta, causa finita[1].

— Речь, должно быть, идет о *миллионах*, — прошептал Фриц.

— Вполне возможно, — согласился Зуттер. — Но меня это никогда особенно не интересовало. Ты знаешь, Фриц, я рос в трудных условиях, у нас дома говорили только о том, чего у нас не было: все о деньгах да о деньгах. Поэтому я поклялся, что никогда не стану ими заниматься. Независимо от того, будут они у меня или нет. Матушка Фортуна позаботилась, чтобы это мое желание исполнилось, и деньги у меня действительно были, благодаря Руфи. И для меня стало делом принципа жить так, словно у меня их нет. Этот принцип разделяла со мной и Руфь, в ее миллионах мы не нуждались.

— Господи, везет же людям. И на что тратятся эти деньги?

— Руфь поддерживала несколько фондов, как и ее тетя. "Врачи без границ", "Гринпис" и еще парочку других, о которых она не любила распространяться. Для одной религиозной общины в Индии она основала монастырь.

— И ты еще удивляешься, — совершенно серьезно заметил Фриц, — что кто-то хотел убрать тебя с дороги?

— Кому это могло понадобиться? — спросил Зуттер.

1. Рим сказал свое слово, дело окончено (*лат.*).

— Как кому? — рассеянно переспросил Фриц. — Я не сыщик, я всего лишь теолог, но дай мне десять минут, и я отыщу тебе сотню мотивов.

— Валяй, — весело согласился Зуттер.

— Для управляющего наследством Руфи ты обременительный нахлебник. Твоя ежемесячная рента — это же чистая трата денег. Эту графу расходов вполне можно убрать.

— Что ж, Шпитцер на роль преступника вполне сгодится. Валяй дальше.

— Ему и не надо было делать это своими руками. Ты говоришь, что не знаешь, на что тратятся деньги. За этим может стоять организация, которая возьмется быстро решить твой вопрос.

— Ну вот, в игру вступает мафия. Какая же — русская или чеченская? Или ограничимся классической из обеих Сицилий?

— Послушай, — сказал Фриц, — я не шучу. И прежде всего вижу *одного* бесспорного подозреваемого — тебя.

— Но я же не мог стрелять в себя с пятидесяти метров: у меня для этого руки коротки.

— Но свою жену ты мог убить, — сказал Фриц. — Тебе никогда не приходила в голову эта идея?

— Это другой вопрос, — задумчиво ответил Зуттер, — и мне кажется, ты путаешь ее с той, что близка твоему христолюбивому сердцу. Можешь и дальше не скрывать своих мыслей. Только, пожалуйста, не приписывай их *мне*. Это... некрасиво.

— Зато убедительно, — невозмутимо продолжал Фриц. — Убрав с дороги Руфь, ты мог быстрее подобраться к ее деньгам. Ты ведь даже не знаешь, во что обошелся ей ее рак.

— Да нет, я знаю, что ваша достославная "группа самопознания" стоила ей пятьдесят тысяч шиллингов. За это я мог бы подать на вас с Моникой в суд.

— В таком случае советую тебе нанять другого адвоката, не Шпитцера, этого плута, которого ты публично осрамил в газете. Управляющего твоим собственным наследством!

— Вот видишь, до чего доводят деньги, — сказал Зуттер. — До несвободы, идиотизма и тьмы нелепых подозрений. Теперь ты понимаешь, почему я знать о них не хочу.

— Однако же ты их брал и продолжаешь брать. У людей, которые, может быть, не разделяют твоих взглядов на деньги. Я тоже их не разделяю. Ты глупец, не желающий знать, как и чем наносишь себе ущерб. Ты все еще остаешься мишенью, Эмиль!

— Слушая тебя, я начинаю верить в то, о чем писала "Субито". Когда меня подстрелили в лесу, репортера этой газеты интересовал только один вопрос: "В каком мире мы живем?"

— Чертовски верно, — заметил теолог, — мы живем в реально существующем мире, который не только кругом околпачен. Он сам хочет, чтобы его обманывали.

— "В страхе живете вы в этом мире, — процитировал Зуттер, — но утешьтесь, я преодолел мир". Я не боюсь, и знаешь почему? Потому что немножко знаю по-гречески. Мир, о котором там идет речь, называется *kosmos*, что значит "украшение". Мир — это сплошное великолепие, и не его вина, что мы не умеем с ним ладить. С какой стати мне жаловаться на это великолепие только потому, что я не в состоянии его удержать? Разве от этого он становится несостоятельным? Мне не хочется быть за-

нудой, Фриц, поэтому я не христианин и не экономист. Я могу только пожалеть человека, который из-за частички этого великолепия, которое не принадлежит ни ему, ни мне, хочет меня прикончить. Я не принимаю его всерьез — даже в том случае, если ему удастся его замысел. Для меня мир, в котором я вынужден бояться за свою жизнь, кажется слишком глупым, а потому и мотивы, которые ты мне называешь, кажутся мне слишком глупыми — излишними, как и твое христианское миросозерцание, которое без всяких усилий смог поколебать зубной врач из Пирмазенса. Если я глупец, ОФриц, то и ты тоже.

— Сатана гордым стал, да с неба упал.

— Не вижу здесь ни гордыни, ни падения, — сказал Зуттер. — Та цена, которую ты платишь за свое видение мира, не подтолкнет меня к падению.

— Эмиль, я просто не понимаю. Тридцать лет ты был судебным репортером. Ты внимательно приглядывался к людям, к тому, что они делают, раскрывал подоплеку их дел. А теперь не можешь понять, что ты главный подозреваемый в смерти Руфи. Что полиция, *конечно же*, подозревает тебя и, *конечно же*, продолжает следить за тобой, за каждым твоим шагом.

— Я догадываюсь об этом, — сказал Зуттер, — и это меня забавляет. Даже успокаивает, так как недобрый взгляд полиции может пересечься с глазом целящегося в меня преступника. Но полной уверенности в этом у меня нет, хотя преступность полиции в нашей стране все еще низка в сравнении с Бразилией. Но все может измениться, если в этой сфере по-прежнему не будет порядка. Как оплачивает государство своих верных слуг из скудного бюджета? То-то и оно. Вот им и приходится искать спонсоров. А где их найдешь, как не на той стороне, с которой столь долго профессионально общаешься? Так они могут делать друг другу скидки, полную цену платит сегодня только глупец. В таком случае почему не я?

— Ты нигилист, — сказал Фриц.

— Я с удовольствием оставляю за другими право быть моими врагами. Поэтому меня не интересуют мотивы, которые ты мне предлагаешь. Забирай их обратно. Давай полюбуемся дождем — и кошкой, которая получает от него удовольствие.

— Эмиль, — озабоченно сказал Фриц, — тебе уже никто не поможет.

— Не поможет тот, кто сам беспомощен. Руфь мне помогала.

— Если ты в ней не обманывался, — сказал Фриц. — Посмотри на Монику. Когда женщины снимают с себя грим тщеславия, называемый ими любовью, они на все способны.

— А мы разве нет? Вполне может быть, что я обманывался в Руфи, но я хотел этого. Как христианин ты должен знать: воля человека — его царствие небесное.

— Для царствия небесного ты, по-моему, не годишься.

— Вот тут ты совершенно прав, — согласился Зуттер.

Зуттер поставил перед собой цель: до отъезда в сентябре в Сильс прибраться в доме. "В 'Шмелях' должна быть чистота". Он попытался сделать это прошлой зимой — и застрял уже в подвале. Там так и остался стоять ряд полных серых мусорных мешков — словно "скульптурная" группа Георга из эмментальского периода, названная им "Двенадцать апостолов" и вызвавшая в семидесятые годы немалый скандал. Сегодня

этим уже никого не удивишь, а тогда, тоскливо подумал Зуттер, даже мусорные мешки вызывали сенсацию.

Зуттер так и не вывез свои мешки, они стояли в подвале, полные дорогих его памяти вещей, которые он, оставаясь в здравом уме, никогда бы не выбросил. Чтобы составить себе представление о содержимом мешков, их надо было опорожнить, и тогда подвал снова погрузился бы в хаос. "Начну-ка я лучше сверху, — решил Зуттер, — летними вечерами там можно работать до половины десятого, не включая свет".

В фирме, занимавшейся перевозкой вещей, Зуттер заказал достаточное количество картонных ящиков двух размеров. Место для них он очистил в зимнем саду, перетащив растения во двор, а самые чувствительные пристроив в тени у террасы: пусть подышат горячим воздухом своей родины, тем более что жара в июне стояла тропическая. Дожди начались только в июле, резко похолодало, Центральная Европа оказалась в зоне холодного циклона, который застыл на месте. Но Зуттер не замечал непогоды и продолжал жить в обществе своих картонок, превративших дом в лабиринт; он лавировал в проходах между ними, словно канатоходец. Ящики тянулись к нему своими четырехугольными ртами с высунутыми надломленными языками, ожидая, что он наполнит их ненужными вещами; долго же им приходилось ждать.

Ибо Зуттер не торопился. За какую бы вещь он ни взялся, ему не хотелось с ней расставаться. Полки и шкафы он, как правило, очищал быстро, дело стопорилось, когда нужно было решить, что делать с ненужной вещью. Отправить в ящик? Нет, там она раньше времени исчезнет навсегда. Лучше на пол — чтобы оставить на виду и как следует поразмыслить. Поразмыслив, он не хотел выпускать из рук самые странные вещи, но даже и самые обыкновенные обретали странную притягательность. В доме почти не оставалось места, где можно было бы присесть, но он садился и замирал с бельем Руфи в руках или с уже отобранной на выброс книгой — в последний момент он обнаруживал в ней достоинство, на которое раньше не обращал внимания.

Пожалуй, одна только кошка замечала его присутствие. Когда он нечаянно ронял на пол фломастер или нафталиновый шарик, она воспринимала это как приглашение поиграть. Но если падали ножницы или пресс-папье, кошка отскакивала в сторону, опасаясь за свою жизнь, и уже не верила, что с ней играют. Зуттер не мог не видеть, что квартира сопротивляется его планам очистить ее, более того, она использовала его попытки для того, чтобы стать еще более захламленной: она дичала и пустела в одно и то же время. Горы собранных за долгие годы бесполезных вещей, сберегаемых в надежде, что они когда-нибудь пригодятся, напоминали руины. Благое намерение сохранить только те вещи, которые необходимы для повседневной жизни или связаны с действительно дорогими для него воспоминаниями, оказалось невыполнимым. Решительному взгляду ненужным представлялось почти все, меланхолическому — почти ничего. Зуттер находил все больше вещей, с которыми не мог расстаться. Выбросить одежду Руфи на первый взгляд казалось делом само собой разумеющимся, но уже на второй — абсолютно невозможным. Разве мог он обойтись с одеждой Руфи так, словно это какой-нибудь хлам?

Он поклялся, что оставит не больше сотни книг. Потом стал считать за одну каждое собрание сочинений, хотя в последние годы не заглядывал ни в одно из этих собраний. Но они были частью интерьера, они как

бы говорили тем, кто приходил, что жизнь продолжается. Совершенно пустые полки давали бы знать: дом заброшен окончательно.

Дом Зуттера, в отличие от почти всех остальных в "Шмелях", не был позднее оборудован камином. Шлагинхауф не признавал камин, считая его символом возвращения в сферу — или, как тогда принято было говорить, в "идиотизм" частной жизни. Зато в клубе он сделал огромную, как у жителей Сардинии, печь, похожую на кузнечный горн и призванную поддерживать высокую температуру общественной солидарности. Этот клуб потом был отдан в аренду предпринимателю, занимавшемуся оздоровительной физкультурой, и превращен в спортзал, из которого часами не вылезали новые обитатели "Шмелей"; Зуттер туда не ходил, хотя и у него были проблемы с давлением. В его доме так и осталась старинная датская печь, которую в случае необходимости можно было использовать и как камин; зимой, когда он читал Руфи сказки, она не только давала тепло, но и настраивала на соответствующий лад. Но нрава она была разборчивого, топить ее приходилось только сухими дровами. Скопившийся хлам вряд ли стал бы в ней гореть, да и фантазия Зуттера отказывалась работать, когда он представлял себе, как из трубы днем и ночью поднимается столб черного дыма. Лучше уж пусть сгорит весь дом — но тогда пожар не пощадит и соседние.

Вешая одежду Руфи обратно в платяной шкаф, Зуттер услышал подозрительный шум. Кошка каталась по обуви Руфи. Она совала нос во все отверстия и так страстно терлась головой о кожу и замшу, что даже перекатывалась через голову. Тут впору смеяться и плакать, Руфь, у тебя появился любовник, которому все равно, живая ты или мертвая. Ему достаточно сохранившегося запаха твоих ног. Да, Руфь, я вижу призраков.

В последний год жизни Руфи Зуттеру пришлось вызывать электрика. В доме по непонятной причине гас свет. Случалось, что по вечерам Зуттер с книгой сказок в руках вдруг оказывался в темноте. Он передвигал рычажок предохранителя, но это помогало ненадолго. "Зажги-ка лучше свечи, — говорила Руфь, — господину Корбесу[1] они тоже были бы кстати. Он, конечно же, и сам мракобес, хотя мы ничего о нем не знаем. И не понимаем, с чего бы это петушок, мельничный жернов и иголка задумали с ним расправиться. Должно быть, только за то, что "его не было дома". Во всяком случае, в тот момент, когда к нему нагрянули эти злючки. Может быть, мы увидим его при свечах". — "Я не увижу, — сказал Зуттер, — я вообще ничего не вижу". — "Тогда рассказывай, — невозмутимо потребовала Руфь, — рассказывать можно и не видя, Зуттер. Вспомни о Гомере".

После десятой попытки зафиксировать рычажок предохранителя можно было при свете раздеться, почистить зубы и добраться до кровати. Потом ток куда-то уходил, не появлялся он и утром, когда надо было включить кофемолку. Холодильник таких шуток и вовсе не понимал, и Зуттер призвал на помощь молодого электрика. Тот предположил, что замыкает в телевизоре, да вот беда: телевизора в доме не было. Таких бедных людей электрику еще не приходилось видеть. Даже беднейшие из бедных имели телевизор, а обилие макулатуры в виде книг не убедило парня в жизнеспособности хозяина дома. В поисках повреждения проводки он с измерительным прибором в руках облазил весь дом, но так ничего и не нашел. И очень смутился, когда хозяйка накрыла ему стол для второго завтрака. Сбитый с толку непривычным для него госте-

1. Имеется в виду герой сказки братьев Гримм "Господин Корбес".

приимством, он, наступив на горло собственной гордости, предложил позвать на помощь специалиста, которому подвластны не только электромагнитные волны. Подмастерьев теперь развелось больше, чем мастеров-электриков, и большинство из них шарлатаны. Правда, он знает одного, которого мог бы порекомендовать. Но, побывав в доме, этот специалист всю мебель перевернет вверх ногами, кровать-то уж точно. Зато потом не будет никаких отключений.

Руфь объяснила, почему кровать нельзя трогать с места. Она вырезана из ствола тысячелетнего дерева, корнями все еще уходящего в землю, дом с грехом пополам возвели вокруг этого ствола. После этого юный мастер, только что лазивший под эту кровать, в спешке откланялся, решив, что, судя по всему, имеет дело не просто с нищими, а с безумными.

Руфь только рассмеялась: раз уж и он не умеет повелевать электрическими токами, предоставим им свободу действий и не будем вмешиваться в их дела.

Загадочные отключения и впрямь прекратились. Должно быть, домовые услышали то, что хотели услышать.

Никогда Руфь не рассказывала мне о себе, подумал Зуттер.

Эта фраза была ложной, как и все, начинающиеся с "никогда" или "всегда". Руфь не употребляла подобных слов, она так предполагала и придерживалась своего предположения. Она не выносила людей, которые употребляли словечки "никогда" или "всегда". Она с ними даже не спорила. Но в споре не обойтись без грубых слов, вероятно, они часть тех здоровых эксцессов, которых так недоставало в жизни Руфи, подумал Зуттер; во всяком случае, на зальцбургских сеансах терапии ей пытались внушить эту мысль. "Уж лучше мне умереть", — заявила она. Да так и сделала.

Зуттер снова шел по дороге к трамвайной остановке; на этот раз обошлось без приключений. Он хотел перед поездкой в Сильс запастись лекарствами, купить туристские ботинки и бумагорезку. Быть может, удастся найти подходящую модель, портативную и в то же время производительную. Он уже видел такую во сне, видел, как она сечет на мелкие кусочки его журналистское прошлое, режет на узенькие, ни о чем не говорящие полоски целлюлозу двусмысленной любви к людям. Оставалось только отправить содержимое жесткого диска в компьютерную корзину и щелчком мыши очистить ее.

Он уже миновал тир, когда ему вдруг пришло в голову позвонить Кинастам, Францу и Ирене. Зайдя в одну из редких в этих местах телефонных кабин, он набрал номер. Кинасты оставили свой адрес, когда приходили к нему в больницу, и Зуттер занес его в свою записную книжку. Тогда старикам не разрешили навестить его, но ему передали от них три розы, а он так и не поблагодарил. Они жили неподалеку и были рады видеть его. Госпожа Кинаст как раз испекла абрикосовый пирог. Старики, похоже, никуда не спешили, предпочитая проводить время у телевизора.

Когда Зуттер с бутылкой "божоле" в руках поднялся в их скромную квартиру, шла какая-то Game Show[1], но телевизор тут же выключили; Зуттер задыхался: ему пришлось преодолеть шесть лестничных пролетов в многоквартирном доме постройки пятидесятых годов.

1. Телеигра (*англ.*).

Украдкой и в то же время с волнением разглядывал он женщину, которая, когда ему прострелили грудь, держала его голову на своих коленях. Выглядела она довольно дряхлой, но была еще энергичной, только руки у нее дрожали, когда она подавала кофе: чашки и приборы чуть слышно позвякивали на подносе. Старик сохранился лучше, но с кресла поднялся с трудом; здоровый лишь на первый взгляд цвет лица выдавал в нем гипертоника. Лекарства, которые после кофе ему точно отмерила жена, были Зуттеру знакомы. Взглянув на кресло, Зуттер оторопел: оно было меньше "кресла сказок" Руфи, но выполнено в том же стиле модерн, с почти такой же обивкой, только желтые и зеленые цветы напоминали тюльпаны.

Кинаст не без удовольствия принялся рассказывать о своих недугах. Они гарантировали ему уход жены, профессионально подготовленной медицинской сестры. Больше всего он нуждался в ее помощи из-за потери зрения. Чтобы он ничего не опрокинул, она подводила его руку к чашке и подносила ко рту кусочки пирога.

Случившееся с Зуттером несчастье стало событием в жизни пожилой пары. Они обрадовались возможности поговорить об этом с жертвой, поздравили его с выздоровлением и с нескрываемым ужасом выслушали рассказ о том, как близко от сердца прошла пуля. Нет, стрелявшего они не видели, они и сами ломали себе голову над тем, кто бы это мог быть. Когда они смотрят по телевизору детективы, Франц Кинаст первым угадывает преступника. "Или преступницу! – многозначительно добавил он. – Теперь даже женщины не стесняются прибегать к насилию".

Жизнь Киназта состояла не из одних только жалоб на недомогания. Он был обладателем коллекции марок, правда, интересовался он только марками, выпущенными до 1945 года. Послевоенный мир казался ему слишком сложным, а почтовые знаки чересчур яркими. У него была абсолютно полная коллекция марок серии "Швейцария", каждая марка в двух вариантах – бывшая в употреблении и еще не использованная, большинство в блоках по четыре штуки, но попадались и напечатанные прямо на конвертах с кратким, но в ту пору вполне достаточным адресом, написанным к тому же готическим шрифтом: Гуттерли Эрнсту, бывшему сельскому жандарму, Штекборн. Там жили дедушка и бабушка Киназта по материнской линии.

Жена раскладывала перед ним его альбомы, словно шкатулки с драгоценностями. Зуттер внимательно смотрел, как он, забыв о посетителе, приставив лупу к стеклам очков, к глазам с расширенными, как у призрака, зрачками, склонялся, почти касаясь носом стола, над своими аккуратнейшим образом рассортированными почтовыми марками. О каждой из них он мог бы рассказать целую историю. И еще одну о том, как она попала к нему в руки. Отдельного рассказа заслуживал рост коллекционной стоимости.

Собственно, Кинасты были теперь состоятельными людьми. Если сложить стоимость всех марок, получится шестизначное число. Но так считать не принято. Кинаст знал об этом: раньше он бывал частым гостем на филателистической бирже. Теперь он туда уже не ходил. У него и в мыслях не было превращать свои марки в деньги. Он не хотел с ними расставаться, да и нужды в этом не было. Каждая марка была для него бесценным сокровищем, никакие деньги не возместили бы их утрату.

Пока они сидели над альбомами, время летело незаметно, в шесть вечера фрау Кинаст спросила, не останется ли Зуттер с ними поужи-

нать. Взглянув на часы, Зуттер с наигранным испугом сказал, что ему давно пора кормить кошку.

Аккуратно положив альбомы на место, фрау Кинаст спросила, как теперь живется Зуттеру. Она уже много лет собирает траурные объявления, в ее коллекции есть и объявление о смерти его дорогой жены. Она даже запомнила последнюю фразу.

— "Мы простились с ней тихо и спокойно, как того и хотелось Руфи", — процитировала она дрожащим голосом. Зуттеру показалось, будто он слышит голос Фрица.

— Да, — продолжала она, дрожа уже всем телом. — Тишина и покой. Вот чего нам чаще всего недостает.

— Но остаются воспоминания! — строго поправил ее муж. — Их у нас никто не отнимет.

— У Руфи было странное отношение к воспоминаниям, — сказал Зуттер. — Она с удовольствием не оставила бы о себе никакой памяти.

— И думать не смейте! — запротестовала фрау Кинаст. — Это был *драгоценный* человек.

Слово из лексикона филателистов показалось Зуттеру неуместным.

— Я сейчас избавляюсь от балласта, — сказал он, — и хотел бы сохранить у себя очень немногое. Но что-то *удерживает* меня. Боюсь, если я избавлюсь от всего, у меня не останется опоры на этом свете.

— Вам ни от чего не надо избавляться! — возмущенно сказала фрау Кинаст. — Вспоминайте, как вы жили с вашей женой, тогда вам будет казаться, будто она все еще с вами.

— Это ей вряд ли понравилось бы.

— Мы христиане, — вмешался в разговор господин Кинаст, — и можем утверждать: ваша жена все еще любит вас, но теперь ее любовь полна чистоты и покоя.

— Спасибо за гостеприимство, — поблагодарил хозяев Зуттер.

— Заходите еще, в любое время! — фрау Кинаст была сама любезность. — Мы будем рады.

— Сначала мне нужно побывать в Энгадине, — сказал Зуттер. И добавил, обращаясь к фрау Кинаст: — Спасибо, что положили тогда мою голову к себе на колени.

— Пожалуйста! — покраснела старушка. — А как же иначе.

— Вино лучше заберите с собой, — сказал ее муж. — Мы не употребляем алкоголь.

— Тогда я вечером выпью его за ваше здоровье.

— Я провожу вас немножко, — сказала фрау Кинаст. — Да заодно зайду за фотографиями. Франц, я скоро вернусь.

Зуттер спускался вместе с пожилой дамой по ступенькам лестницы. На площадке третьего этажа стояло синтетическое дерево. Фрау Кинаст остановилась.

— Тут живет один человек, он туг на ухо, — понизив голос, сказала она. — Я должна кое в чем вам сознаться, господин Гигакс.

Он послушно последовал за ней в угол. Ее ресницы задрожали.

— Мне стыдно, — прошептала она. — Это я звонила вам по телефону.

— К сожалению, я не снимал трубку.

— Я это знала, иначе бы не осмелилась.

— Я не совсем вас понимаю.

— Видите ли, когда я представила себе, как вы живете после смерти вашей дорогой жены, я должна была подать вам знак.

— *Знак?*

— Я тоже потеряла человека, которого любила, — шепотом пояснила она. — Он сам лишил себя жизни. О нет, не из-за меня. Просто он не был создан для счастья. Черные силы оказались сильнее меня, и его тоже.

Она откашлялась:

— Я знала вашу жену.

— Вы знали Руфь? — удивился Зуттер.

— Я ухаживала за ее тетей. У той тоже был рак, я дежурила по ночам. Руфь была красивой молодой женщиной. Она изучала медицину и редко появлялась дома, но когда появлялась, то это был настоящий праздник. Она всегда садилась в кресло с цветной обивкой, в котором уютно устраивалась еще в детстве. Сохранилось ли оно? С узором из больших цветов крокуса?

— Из безвременников осенних. Сохранилось.

— В нем старая госпожа Ронер и уснула вечным сном. Однажды вечером, придя на дежурство, я нашла ее мертвой. Ей была дарована легкая смерть. Руфь тогда была в отъезде, кажется в Индии. Она не любила, когда ее беспокоили во время путешествий. Надо же, кресло все еще у вас! Оно досталось Руфи в наследство от матери, ее мать была бельгийка, из Брюгге. Мне тоже достался один стул.

— Вы, значит, знали Руфь, — проговорил Зуттер.

— Руфь была женщина большой души, хотя и не показывала этого. Если она выйдет когда-нибудь замуж, думала я, то непременно за человека знатного рода, с частицей "фон" перед фамилией. Но, по правде говоря, я не верила, что это случится. Ее окружали только подруги. Это был человек большой *выдержки.*

— Фрау Кинаст, вы говорите, что звонили мне. В какое время?

— По ночам, но не очень поздно. Я проходила мимо вашего дома, чтобы узнать, когда вы выключаете свет. Мне не хотелось вас беспокоить.

— Вы звонили в двадцать три часа семнадцать минут.

— Каждый раз, когда засыпал мой муж. Знаете, он ведет размеренный образ жизни. Но я звонила не каждую ночь. Я чувствовала, дома вы или нет. Иногда, — она снова понизила голос до шепота, — мой муж вдруг просыпался, тогда я не могла.

— Послушайте, фрау Кинаст, если это были вы, то звонили вы ровно в двадцать три часа семнадцать минут, секунда в секунду. И вы точно знали, где я нахожусь.

— Это у меня дар такой. Уже в детстве меня *вела* какая-то сила. Мой ангел, — прошептала она.

Зуттера бросило в дрожь. Странность разговора пробирала его до мозга костей. Он стоял со старой женщиной в углу лестничной площадки, пахнувшей свежей мастикой, и разговаривал вполголоса, наклонившись к ней, так как она была маленького роста; чтобы разобрать ее слова, ему приходилось напрягать слух. Он сделал шаг назад.

— Пожалуйста, не сердитесь на меня. Я делала это ради вашей жены. Желала спокойной ночи, чтобы напомнить о Руфи и немножко утешить вас. Руфь *жива*, — настойчиво сказала она.

Зуттера знобило все сильнее. Он хотел сказать, что все это чудовищно. Но только проговорил:

— Очень мило с вашей стороны.

— Вы, наверно, терялись в догадках? — На губах фрау Кинаст появилось хитроватое выражение.

— Да уж, пришлось поломать себе голову, — хрипло произнес Зуттер.

— А вы заметили, что я помнила о вашем дне рождения? — В голосе ее звучало лукавство. — И подала всего два сигнала.

— Ага, фрау Кинаст. Нет, я совсем забыл о своем дне рождения.

— А вот это плохо. Мы появляемся на свет только один раз.

— Это ваш ангел подсказал вам, что в меня будут стрелять?

Она удовлетворенно улыбнулась.

— То, что я оказалась там в нужное время, вряд ли было случайностью. Всех нас *ведет* таинственная сила.

— Кто же в меня стрелял? Что думает об этом ваш ангел?

— Недобрых людей он мне не показывает, — ответила она. — Он не из самых могущественных. Не из тех, что сидят на тронах и правят миром.

Зуттер не отводил взгляда от вечнозеленого синтетического дерева.

— Вы читали "Субито"? — лукаво спросила она. — Журналист хотел знать: "Существует ли связь между судебным репортером Г. и супружеской четой К.?"

— Фрау Кинаст, не затруднит ли вас позвонить мне сегодня, в обычное время?

— Такие вещи не повторяются. С этим не шутят. Потому-то я и не звонила вам больше, когда вы вернулись из больницы. В этом уже не было необходимости. А сейчас простите меня, а то мой Франц начнет беспокоиться.

— А как же фотографии?

Она приложила палец к губам.

— Их проявят только завтра. Ничего, он подождет. У него есть его марки.

Она протянула ему свою костлявую руку и быстро выдернула ее. Потом легко преодолела один пролет, остановилась на повороте и махнула рукой.

— Передавайте привет горам. Мы тоже там бывали. В Браунвальде. Тишина, господин Гигакс. Тишина! В ней все дело.

В ответ он нерешительно поднял руку. Она подпрыгнула и исчезла.

— Такими вещами не шутят, — сказал он про себя, — они *никогда* больше не повторятся.

III
В *горной долине*

Если бы она стояла на дороге, подняв вверх большой палец или держа в руках картон с надписью, например, МИЛАН, он не стал бы тормозить. Но она и виду не подала, что хочет его остановить. Она сидела на обломке скалы и обеими руками массировала правую ступню; снятая кроссовка валялась рядом. Опустив закатанную штанину джинсов, она ощупала щиколотку, прихрамывая, повернулась вокруг своей оси и снова присела на камень, собираясь продолжить исследование поврежденной ноги. Когда Зуттер заглушил мотор, она не подняла головы, но выругалась и оставила ногу в покое. Пряди белокурых, пшеничного цвета волос ниспадали ей на грудь... Движения ее казались резкими, по-детски неловки-

ми, но сложения она была крупного. Ей, наверно, лет семнадцать, прикинул Зуттер.

Он опустил стекло дверцы и спросил, что случилось.

Пропустив мимо ушей его слова, она снова принялась массировать ступню и щиколотку, потом наконец подняла голову и недовольно вздохнула.

Она встала, взяла свой маленький рюкзак и, волоча его за собой, заковыляла к машине, но, казалось, заметила ее, только когда чуть не уперлась в нее носом.

— Подвернули ногу? — спросил Зуттер.

Она промолчала; он взглянул в ее хмурое лицо, которое можно было бы назвать красивым. Ее усталые, чуть раскосые синие глаза смотрели куда-то вдаль: казалось, она впервые видит эту местность: чистенькие на вид хлева, разбросанные там и сям по белесоватым полям, обрамленные лиственными лесами гряды гор, на вершинах которых уже появился первый снег. Потом взгляд девушки остановился на его руке, лежавшей на теплой кромке дверцы с опущенным стеклом. "Она вроде как не в себе, — подумал Зуттер, — взгляд какой-то отсутствующий. Наркоманка?"

— Куда ты едешь? — спросила она сдавленным, чуть хрипловатым голосом.

— В Сильс, — ответил он.

Рывком открыв дверцу, она опустилась рядом с ним на сиденье. Он едва успел отдернуть руку. Она механически надела ремни безопасности, но дверцу не захлопнула.

— Дерьмо дела, — снова выругалась она. — Ты знаешь "Вальдхаус".

В ее тоне отсутствовала вопросительная интонация. Зуттер с удовольствием провел бы отпуск в "Вальдхаусе", но Руфь и слышать не хотела об измене пансионату старой Бацделль: "По мне, так нет ничего лучше Сильса и Серайны. Когда пансионата больше не будет, а ты снова получишь премию, можешь ехать в 'Вальдхаус'".

— Я могу отвезти вас к врачу.

— Ты знаешь, где здесь можно найти врача?

— Да, год назад он давал заключение о смерти моей жены.

Ему было неприятно говорить ей это, но надо же было как-то встряхнуть девушку. Или она и впрямь не от мира сего? Она никак не прореагировала на его слова, а только вытянула губы трубочкой и просвистела какую-то сложную мелодию, причем абсолютно чисто, если Зуттера не подводил слух.

— Занимаетесь музыкой? — поинтересовался он.

— Играю на скрипке. Когда играешь, не до болтовни.

— С кем?

— С тетками в "Вальдхаусе". — Она перешла на диалект и говорила на нем с акцентом той местности, где родилась. — Сними свои темные очки, они такие противные.

— Мы едем на юг. Солнце слепит.

— Тогда поезжай.

— Только когда вы закроете дверцу.

Она и бровью не повела. Ему не хотелось тянуться к дверце, касаясь ее колен, тем более выходить из машины, чтобы захлопнуть ее.

— Выйдите, пожалуйста. Прошу вас.

Она сидела, глядя прямо перед собой.

— Я спешу, и у меня нет никакого желания заигрывать с вами.

Она легонько прикрыла дверцу, словно боялась хлопнуть громче и разбить ее.

Со второй попытки дверца захлопнулась.

Открытый участок между Цуоцем и Мадулайном они проехали молча. Потом девушка сказала:

— У тебя опять появилась подружка. Брюнетка.

Зуттер оцепенел, ему показалось, будто кто-то потянул его за руку. Руль вывернулся вправо, и в этот момент мимо них пронесся спортивный автомобиль. Водитель покрутил пальцем у виска.

— Ты подрезал его, — сказала девушка, — он подумал, что ты никудышный старый хрыч. Поезжай медленнее, я тебе кое-что покажу.

Кончиками пальцев она сняла с брюк Зуттера волосок и поднесла к его носу:

— Твоя подружка.

— Шерсть кошки. У нас была черная кошка, она время от времени линяет.

— Ты говоришь, у вас была кошка. Но она же все еще у тебя.

— Нет, она в приюте для животных.

— Некому за ней присмотреть, когда ты уезжаешь?

— На время отпуска мы всегда отдавали ее в приют для животных.

— Она тебя не хотела отпускать, потому и оставила шерсть на брюках.

— Я забыл их почистить.

— За тебя это всегда делала жена.

— Извините, вы еще очень молоды, а я никудышный старый хрыч. Поэтому не расслышал, как вас зовут.

Эти слова она опять оставила без ответа.

— Недавно я была в Германии, ездила поездом, чтобы увидеть новые федеральные земли. Ехать пришлось четыре часа, в купе было еще четыре человека, которые молчали всю дорогу. Один из них все время поглядывал на меня, он думал, я этого не замечаю. Когда мы уже почти приехали, он протянул мне свою визитную карточку. "Министериальдиригент" такой-то. "Вы дирижируете министрами?" — спросила я. "Неплохо бы подирижировать ими", — ответил он и покраснел. Всю дорогу молчал, а тут вдруг сказал: "Позвоните мне, если почувствуете себя в Берлине одинокой".

— Одинокой вы себя наверняка не почувствовали, — сказал он.

Немного помолчав, она спросила:

— А вы чем занимаетесь?

Он отметил про себя, что она обратилась к нему на "вы".

— Раньше я работал судебным репортером.

— Поэтому вы такой строгий.

— Строгий? — удивился он. Они ехали вдоль энгадинской деревни, мимо чистеньких, недавно заново побеленных домиков.

— Вы же хотели вышвырнуть меня из машины.

Он откашлялся и рассказал историю о том, как девушку используют в качестве приманки, а потом нападают на водителя.

Слушала ли она? Похоже, эта история ее ничуть не заинтересовала.

— Я вам о чем-то рассказываю, а вы молчите.

Она посмотрела на него.

— Я с удовольствием вас слушаю. Вы умеете рассказывать. Я знала одного, который тоже умел. Почтальона. Я за ним бегала. Он рассказывал о своем детстве, когда он ездил еще в открытом трамвае, а локомотивы

были похожи на крокодилов. Его семья была единственной, не имевшей центрального отопления, каждый вечер по вторникам они сидели у радиоприемника и слушали детективную радиопьесу.

– А, помню, – сказал он. – Была тогда одна популярная радиопередача.

– Позже его арестовали, потому что он совращал маленьких девочек, – продолжала она. – А мне он рассказывал только разные истории, – она хихикнула. – Что, если бы мы при обгоне попали в аварию и оба погибли! Хотела бы я видеть заголовки газет.

– Тогда бы вы ничего больше не увидели. А что с вашей ногой?

– Ничего, просто я слишком долго шла. Шла и шла. Целый час бежала. Давно не тренировалась. У нас все постоянно торчат в спортзале.

– Где это – у нас?

– В интернате. В интернате для спортсменов. Сноубординг круглый год, летом на глетчере.

– Вы еще и музицируете.

– С этим я кончаю. Пусть они знают.

– Меня зовут Эмиль Зуттер. А вас?

– Виола, – ответила она. – Дезиньори. Эта фамилия часто встречается в среде людей искусства.

– И с такой фамилией вы хотите бросить музыку?

Она помолчала. Потом вдруг произнесла:

– Если спишь со знаменитой женщиной, это приносит удачу.

– Что вы сказали?

– Вы часто видите сны?

Он задумался. Хороший вопрос. Нет, сны он видит редко или они не запоминаются, так как он никому их не рассказывает. Так было и при жизни Руфи. Они никогда не рассказывали друг другу свои сны, зато у них были сказки.

– Если женатому снится свадьба, быть ему вдовцом.

– О чем вы говорите?

– Это из моего сонника. – Она наклонилась и вытащила из рюкзака помятую книжку карманного формата. Раскрыв ее, она принялась читать вслух:

– Если кто-то отмечает во сне свой день рождения, то он скоро умрет. Того, кто готовится к свадьбе, ожидают большие убытки. Вид женских волос избавляет от всех трудностей.

– Но не в Иране, – сказал Зуттер. – Там они только начинаются.

– Путешествовать, а потом растянуться на траве означает напрасные хлопоты. Катанье на лодке предвещает тревожные времена. Кто ест кошачье мясо, воспользуется краденым.

– Боже упаси! – воскликнул Зуттер.

– Плаванье избавляет от многих бед. Кто ест мясо льва, тот выйдет победителем в суде. Пьешь во сне сучье молоко – жди кошмаров и хронической хвори.

– Оно и неудивительно, – сказал Зуттер.

– Что значит хроническая хворь?

– Затяжная болезнь.

– Затяжная. Красивое слово.

– Пожизненная – еще красивее. Брак – это союз для взаимного пожизненного удовлетворения половой потребности, говорит Кант. Знаменитый философ.

– Знаю. Я же не совсем дура. Если снится, что умерла жена, жди хороших вестей.

– Что-то я никак не дождусь, – сказал он. – К тому ж это мне отнюдь не приснилось.

– Мой отчим только об этом и мечтает, но моя мать бессмертна.

– Что за книжка этот ваш сонник?

– Народные толкования снов византийского Средневековья, – прочитала она вслух написанное на обложке. – Что такое "византийское"?

– Византия – прежнее название Константинополя.

– А Константинополь?

– Прежнее название Стамбула, турецкой столицы.

– Анкара, – поправила она.

– Точно, – согласился Зуттер. – С недавнего времени Анкара. После того как там не стало султана.

– А в Византии он еще был?

– В Византии его еще не было, там сидел римский император. Очень христианский.

– Рассказывать вы мастер, но я бы не хотела иметь такого учителя истории.

– Византия была городом старых людей.

– Кто возьмет в руки сало, у того скоро умрут родственники, – прочитала она.

– Чем вам понравился этот сонник? – спросил Зуттер.

– Стилем. Язык – просто класс. Прямо как у моего отчима. Это он подарил мне книжку. Хотела бы я видеть такие квадратные сны.

– Квадратные?

– Язык какой-то квадратный, – пояснила она. – Но он лучше, чем тот, который заставляют учить в школе. Игра в бисер!

– Виола Дезиньори, – сказал Зуттер. – Не фигурирует ли эта фамилия в "Игре в бисер"?

– Без сёрфинга меня бы уже не было в живых.

– Без сёрфинга?

– Да, без виндсёрфинга. На Сильском озере у меня есть своя доска. Мы там проводим все лето, каждый уик-энд.

– Кто это – мы?

– Джиан и я.

– Джиан?

– Он больше не хочет, со мной не хочет.

Быстро взглянув на нее, Зуттер понял, что она плачет, хотя ее тихий монотонный голос ничуть не изменился. Она рылась в кармане своих джинсов. Он протянул ей пакетик бумажных салфеток. Руфь рассказывала, что в их группе самопознания частью терапии были громкие рыдания. Участники бросали друг другу носовые платки, словно ленты серпантина.

– Как вы привлекаете людей к суду?

– Сообщаю о них полиции. Но для этого я должен иметь достаточно оснований.

– Они стреляют, – сказала Виола. – Из пистолета. По мишеням, но мишени в форме человека. – Она медленно вытянула обе руки к ветровому стеклу. – Мишени поворачиваются. Они появляются перед тобой на мгновение. И надо в них попасть. В голову или в сердце. Пшт, – прошипела она сквозь зубы и щелкнула языком.

— Спортсмены или полицейские? — спросил Зуттер.

Виола согнулась от неудержимого приступа смеха.

— Да, — сказала она, успокоившись. — Ей бы служить в полиции. Если я не упражняюсь на скрипке шесть часов в день, она готова меня расстрелять. Так она поступает со всеми. И по-другому не может.

Виола смотрела прямо перед собой. Потом снова подняла руки, подперла правый локоть красивыми длинными пальцами левой руки, кивком головы откинула со лба волосы, прищурилась и вторично изобразила звук выстрела. Он едва успел крутануть руль вправо, заметив, что ему отчаянно мигает встречная машина. Виола была погружена в свои мысли и не заметила опасности.

— Кто она? — спросил Зуттер.

— Хороший вопрос. Этого она и сама не знает. Моя мать. Родилась под знаком Стрельца.

— Опасный знак.

Виола улыбнулась.

— И вы хотите привлечь свою мать к суду?

— Бесполезно, — ответила Виола. — Один раз ее уже судили. Не помогло.

Она снова открыла свою книжку.

— Кому снится, что его мать занялась беспутным промыслом, того ждут большие несчастья, — прочитала она. — Все-то он знает, этот сонник. Но беспутной ее не назовешь.

◆

— Вы только взгляните, — сказал Зуттер.

Парковка была забита автомашинами, черными лимузинами с дипломатическими номерами, шикарными спортивными автомобилями с номерами разных кантонов. У въезда стояли два охранника, один в гражданском, другой в униформе шоколадного цвета, оба вооружены, у обоих рации. Что-то не похоже на пансионат фройляйн Баццелль.

— Подождите минуточку, я только зарегистрируюсь.

Он глубоко вдохнул. Болела спина. Все было на месте: небольшое плато, синяя полоска озера, холмистый полуостров, раздвоенная вершина Марньи. Он медленно поднялся по каменным ступенькам, вошел в вестибюль. Вдоль стены тянулся длинный стол, на нем стопки книг, брошюр, проспектов, там, где стол переходил в подобие пульта, стояла молодая женщина в бежевом платье английского покроя. На завитых белокурых волосах надетая набекрень шапочка, украшенная золотистой спиралью с тремя буквами "Г". На груди тот же лейбл и надпись НАДИН. Буквы переливались и сверкали, Зуттер забыл очки в машине. Женщина стучала на клавиатуре компьютера и одновременно болтала по телефону, прижав мобильник щекой к подбитому ватой плечику платья.

Зуттер стоял довольно долго, наблюдая за людьми, снующими между гостиной и рестораном. Некоторые лица показались ему знакомыми, хотя без очков он видел не совсем четко, например, лицо председателя одной крупной швейцарской партии, над верхней губой усы щеточкой и ни к селу ни к городу — шорты. Отдыхающие были одеты кто во что горазд или по-спортивному, мужчины и женщины среднего и даже пожилого возраста были, как правило, в тренировочных костюмах. Они оживленно беседовали, часто смеялись, в воздухе витала расслаб-

ленность, только охранник в гражданском, пришедший вместе с Зуттером, хранил официальный вид.

Администраторша с веселым, но каким-то отсутствующим взглядом крутила головой, прижав к плечу мобильник, не замечая Зуттера, хотя ее улыбающиеся глаза, казалось, задерживались на нем. Она говорила на базельском диалекте, и разговор ее, без сомнения, был личного свойства. Через открытую дверь виднелась гостиная, но кроме кафельной печи все казалось Зуттеру незнакомым. Столов и стульев не было. Помещение превратили в игровую комнату, на зеленом полу там и сям стояли разноцветные табуретки, между ними лежали гимнастические мячи. Посередине оставалось свободное место для пюпитра и футляра гитары. На потолочных балках висели транспаранты... С кафельной печи свисала геральдическая композиция: синий венок из звезд с буквами EU в центре, а над ними увенчанная короной большая буква N. Задумали реставрировать наполеоновскую империю, что ли?

— Ау, — сказал Зуттер, но улыбка женщины все еще оставалась отсутствующей.

— Алло, Надин! — крикнул он.

— Минуточку, — шепнула она в трубку, но по-прежнему оставила ее зажатой между плечом и подбородком. — Да? — спросила она, витая в мечтах где-то далеко.

Глядя в ее равнодушное ухоженное лицо, Зуттер сказал:

— Я приехал на день позже, но комната заказана. Зуттер.

Молодая женщина застучала по клавиатуре.

— Зутер Флориан, — сказала она. — Чем могу быть полезна?

— Мне нужна комната, и мое имя не Флориан.

— Вы недовольны своей комнатой?

— У меня ее еще нет. Я хочу номер двадцать один.

— У вас комната номер сорок пять.

— У меня ее нет, и я ее не хочу.

— Номер двадцать один, — ее пальцы забегали по клавиатуре. — Верно, это вы, господин Фёгели. Извини, — шепнула она в трубку, из которой все еще доносилось веселое щебетанье, и положила ее на стол. — И какую же комнату вы теперь хотите?

— Я хочу фройляйн Баццелль.

Администраторша быстро взглянула на охранника, который сделал шаг вперед.

— Фройляйн Ба?..

— Баццелль. Два “ц” и два “л”.

Она уставилась на экран монитора.

— С такой фамилией у нас никто не числится. Джон! — громко крикнула она, — помоги, пожалуйста, этому господину. — И снова прижала к плечу трубку.

К Зуттеру подошел серьезный молодой человек в темно-синем блейзере.

— Позвольте спросить, кто вы? — поинтересовался Зуттер. На груди молодого человека красовалась надпись ОСКАР. А не ДЖОН.

— Вы ищете господина Зутера, — спросил он. — Или господина Фёгели?

— Я ищу фройляйн Баццелль.

— Ах, ее. Мне кажется, она умерла. К сожалению.

— К сожалению, — механически повторил Зуттер. — Вам кажется.

— А вон и господин Зутер! — крикнул молодой человек. — Кёби! Нет, не слышит.

— Да что же это такое, — прошептал Зуттер. — Пожалуйста, выслушайте меня. Я приезжаю сюда в это время каждый год. Вчера я сообщил по телефону, что задержусь на день. У меня сломался автомобиль. Я...

— Ах да, — оторвалась от мобильника администраторша. — Точно. Я приняла ваш звонок. Точно. Вчера вы отменили приезд, а сегодня все-таки приехали. Вы в номере сорок пять.

— А вы сумасшедшая.

— Позвольте взглянуть на ваше удостоверение личности, — сказал охранник в гражданском.

Зуттер достал из нагрудного кармана водительские права. Охранник повертел их в руках.

— Гигакс, — прочитал он. — Готлиб Эмиль, родился двадцать третьего ноября тысяча девятьсот тридцать четвертого года.

— Стрелец, — сказала администраторша. — Как и я.

— Его зовут Зуттер, — послышался голос сзади, — и он только что прибыл. Не вчера, а сейчас, в данный момент.

Виола! Только ее Зуттеру и не хватало. Не могла подождать в машине!

— Ты звал меня, Джон? — обратился к Оскару подбежавший молодой человек с короткой стрижкой "ежиком".

— Это господин Якоб Зутер, — сказал Джон, — но *въı*, кажется, не Зутер.

— Позвольте мне объяснить. — Зуттер задыхался, ему казалось, что он сейчас упадет замертво, и тогда уж ничего не исправишь. — Моя официальная фамилия Гигакс. Но для моих друзей я Зуттер. Фройляйн Баццелль — наша близкая подруга. Поэтому мы — я и моя жена — регистрировались под этой фамилией вот уже больше десяти лет. Зуттер — это... но объяснять пришлось бы слишком долго.

— Вы художник? — спросил Джон или Оскар. — Или, может, артист?

— Он журналист, — подсказал охранник, заглянув в водительские права.

Юная Виола — уж не подумали ли они, что это она вот уж десять лет жена Зуттера? — должна бы вмешаться снова, но она стояла молча.

Охранник, похоже, ждал указания арестовать "чету", но Джон или Оскар поднял руку.

— Журналист, — произнес он подчеркнуто вежливо. — Вы собираетесь писать о нашем семинаре?

Зуттер тяжело вздохнул.

— Пожалуйста, позовите фройляйн Баццелль.

— Фройляйн Баццелль умерла, — сказал мужчина в черном тренировочном костюме с широкой белой полосой. Тот, которого звали Зутером. — Она была здесь хозяйкой, Джон, вплоть до весны этого года. Я тогда приехал в Сильс, чтобы покататься на лыжах. О ее смерти писали все газеты.

— Пожалуйста, принесите стул, — попросила Виола, поддерживая Зуттера.

Спортсмен по фамилии Зутер мигом принес табуретку и подхватил Зуттера с другой стороны, помогая ему сесть. Зуттер обеими руками вцепился в сиденье табуретки, знакомой ему по прежним временам.

— Врача! — крикнул Джон или Оскар. — Позовите профессора Нигга!

Услышав эту фамилию, Зуттер встал.

– Не надо, уже прошло.

В вестибюле повисло тревожное ожидание. К группе подошел мужчина лет сорока, тоже в тренировочном костюме, и скользнул взглядом по Виоле.

– Эмиль! – крикнул он. – Что ты здесь делаешь?

Зуттер узнал главного редактора своей газеты.

– Вернер, – с трудом улыбнулся он, – пожалуйста, идентифицируй меня.

Казалось, только встревоженное настроение окружающих помешало главному бурно выразить свою радость. Но даже нескрываемый намек на нее оказал свое действие.

– Это наш человек, он пишет отчеты о судебных процессах. По крайней мере, писал много лет подряд, – быстро поправился он. – Эмиль Гигакс, или Зуттер, один из *самых* значительных мастеров нашего дела. Он каждый год приезжал в Сильс, когда тут еще был пансионат. Приезжал с женой. – Он внимательно оглядел Виолу. – Пансионата больше нет, Эмиль, его продали. Теперь это центр для проведения заседаний... Оскар Гензелер, наш Джон, – молодой владелец центра.

– Фройляйн Баццелль умерла? – спросил Зуттер.

– К сожалению, – подтвердил главный редактор, – к сожалению, да.

– Вы по-прежнему желаете снять комнату? – заботливо спросил Джон или Оскар.

– Да, – ответил Зуттер, – пожалуйста, номер двадцать один.

Прежде чем молодая администраторша застучала по клавиатуре, молодой шеф сказал:

– Мы это уладим. Могу я пригласить вас на чашку кофе, господин Гигакс? И рюмку хорошего коньяка?

– Я подожду в машине, – сказала Виола.

– Нет, мы пойдем вместе. – Зуттер взял ее за локоть и в тот же миг почувствовал, что она прижалась к нему.

Зуттер вез Виолу в "Вальдхаус". Было уже половина третьего, когда он подъехал к тому месту, где из ущелья вытекает речка Фекс и где дожидаются клиентов дрожки, чтобы доставить их в долину, куда въезд на автомобилях запрещен. Старый "вольво" с заметным трудом одолел подъем и добрался до первой ровной площадки, когда Виола крикнула:

– Стой! Остановись немедленно.

Он затормозил, озадаченный, и смотрел, как она вытаскивает с заднего сиденья свой рюкзак. Она распахнула дверцу, громко захлопнула ее за собой и побежала, волоча рюкзак по земле, вверх по дороге, на которой, совсем недалеко, стояла женщина и смотрела на них из-под руки. Зуттер поставил машину на ручник; странное это чувство, когда тебя бросают вместе с машиной. Но не успело удивление перейти в досаду, как Зуттер узнал женщину, к которой бежала Виола. Женщина была изящная, в темно-зеленом платье из шотландки с широким белым поясом, светло-серые волосы подстрижены "под мальчика". Это была Лео, Леонора.

Виола бросила рюкзак и бросилась ей на шею, как маленькая, она повисла на женщине, которая, стало быть, приходилась ей "тетей". Значит, Виола – это Зигги, дочь Ялуки. Зуттеру вдруг все стало ясно. Но он видел только глаза женщины, смотревшие на него из-за плеча девушки;

так смотрят танцоры на соревнованиях в момент короткой паузы, когда партнеры еще не отделились друг от друга, но уже фиксируют глазами конкурентов и готовятся к следующей фигуре.

Зуттер снял с ручника машину, включил передачу и медленно поехал по направлению к ним, но Виола все еще обнимала Лео, уткнувшись носом в ее плечо, а та сделала вид, что не узнала его за стеклом. Он проехал мимо, увеличил скорость, миновал парковку, за которой проезд был запрещен, развернулся и снова остановился, склонившись над баранкой. В нескольких шагах он заметил въезд в гараж, вырубленный в скале. Там он поставил машину и вышел из нее. "Побывай у Лео, и снова сможешь дышать". Наверху, вся залитая солнцем, стояла гостиница, рядом с ней возвышалась часовня. Что это, воздух так дрожит или дрожат его ноги? Он шел, тяжело дыша, первые дни в горах и раньше давались ему тяжело.

В гостинице под названием "Солнце" он заказал кофе и черничный торт. Так он делал и раньше. Но теперь торт ничем не отличался от обычного творожника.

...Когда дрожки, сделав большой разворот, тяжело преодолевали короткий подъем, Зуттер испуганно вздрогнул. Но напугавший его скрип исходил не от колес, а от скамейки, на которой, откинувшись назад, сидел человек и хрипел, сотрясаемый судорогами; лицо его было закрыто газетой.

– Стоп! – крикнул Зуттер кучеру.

Человек на скамейке опустил газету. Глаза его были полны слез, но теперь они широко раскрылись, и смех, только что сотрясавший его, постепенно затих.

– Эзе! – закричал он.

Это был Йорг фон Бальмоос, художник, он постарел, но нос его остался таким же вздернутым, а узко посаженные глаза смотрели по-обезьяньи живо. На нем была кожаная куртка поверх элегантного костюма для прогулок.

Дрожки остановились, кучер на козлах повернулся в их сторону.

– Я думал, тебе нужна помощь, – сказал Зуттер.

– Как всегда, Эзе, – засмеялся художник, – от тебя – всегда. Можно я прокачусь вместе с тобой?

Он не стал дожидаться ответа, хотя Зуттеру очень хотелось отказать: ему казалось, что над ним зло подшучивают. Но до "Вальдхауса" было уже недалеко.

– Что это тебя так развеселило? – спросил Зуттер.

– "Твой, как ты знаешь, умерший отец", – пишет один ваш брат рецезент о книге, автор которой не справился с экспозицией.

– Экспозиция – трудная штука для любого автора.

– Ты проводишь здесь отпуск? Как всегда? – спросил Йорг.

– Без Руфи, а в остальном – как всегда, – ответил Зуттер. Так как он ни о чем больше не спрашивал, Йорг сказал:

– Мы готовим конгресс.

– И много вас?

– Только мои дамы, Лео и Ялу.

– А Зигги?

– Иногда заглядывает. Она называет себя Виолой. В угоду своей скрипке, но скрипка теперь – дело прошлое. Если она и приезжает, то не из-за нас. У нее тут есть парень, с ним она занимается виндсёрфингом.

Зуттеру бы лучше промолчать, но он все-таки сказал:

– Я подвез ее сюда. Совершенно случайно. Она голосовала на дороге.

– Виола никогда не голосует на дороге. Это не в ее характере.

– Мне показалось, ей нужна помощь, и я остановился. Случайно, как только что около тебя.

– Возблагодарим судьбу за такие случайности. Ты зайдешь к нам на минутку?

Дрожки подъехали к "Вальдхаусу", Йорг крикнул кучеру "стоп" и протянул ему купюру в сто франков.

– У меня нет сдачи, – сказал тот.

– Ничего, оставьте себе.

– Я еду дальше, – вмешался Зуттер. – Пожалуйста, не берите у него деньги!

– Ты этого не сделаешь, – закричал Йорг. – Лео убьет меня, когда узнает, что я отпустил тебя!

– Убьет непременно, у нее это здорово получается.

– Так уж у нас заведено, – криво ухмыльнулся Йорг.

– Лео меня только что проигнорировала.

– Этого не может быть. Исключено. Она тебя любит! Видно, она просто не узнала тебя. Из-за своей близорукости. Контактных линз она терпеть не может, а для очков она слишком красива.

– Ну так как же? – спросил кучер, все еще держа купюру в руке.

– Выпьешь у нас afternoon tea[1], – пародируя кого-то, жеманно произнес Йорг. – Задержишься всего на полчасика. А потом я отвезу тебя, куда захочешь.

Зуттер сошел с дрожек. Убегать от Лео вторично ему не хотелось.

Когда они вошли в "Вальдхаус", на Зуттера никто не обратил внимания, фон Бальмооса же приветствовали с той угодливостью, которая заменяет уважение, за что художник, по всей видимости, любил и ценил подобные заведения. Едва войдя в вестибюль, Йорг приложил палец к губам и показал на одну из кушеток с высокой спинкой.

Там сидели Леонора и женщина восточного типа с густыми иссиня-черными волосами, стянутыми на затылке в узел. На спинке висела шелковая белая накидка, которую она носила поверх черного гофрированного платья. Когда она поворачивалась в профиль, сходство с дочерью было просто потрясающим, казалось, речь идет об одной и той же особе, с той лишь разницей, что на этой был не светлый, а черный парик. Женщины склонились над какой-то настольной игрой.

Йорг взял Зуттера за локоть и втащил в просторный зал со свисавшими с потолка люстрами; в зале там и сям группами сидели отдыхающие.

– Сядем на сиреневые стулья или на зеленые? – спросил Йорг. – Зеленые лучше подходят к твоему костюму.

Он явно нервничал.

– Они играют в японские шашки. А японские шашки – святое дело. Когда Лео и Ялу вдвоем – это тоже святое дело. Нельзя мешать!

– Не то одна из них тебя прикончит.

1. Чай после полудня (*англ.*).

— Ты прав, — засмеялся Йорг. — Но нам с тобой тоже есть чем заняться. Что будешь пить? — спросил он, когда перед ними возник официант. — Рекомендую коктейль "пимм номер два".

— Чай, пожалуйста, — сказал Зуттер. — А где же Зигги?

— Виола, — поправил его Йорг. — Не знаю. Знаю только, что, когда Ялу здесь, Виола где-то там. Так они и живут врозь — мать и дочь.

— Я ничего о вас не знаю.

— Вместо введения: вот моя визитная карточка. — Художник запустил руку в нагрудный карман и вытащил кипу почтовых открыток. На верхней — изображение выразительной скульптуры, какие встречаются на латинских кладбищах, чаще всего на могилах молодых женщин. Из расселины в скале выглядывает молодая женщина; грациозно подняв руку, она упирается ладонью в крышку. Еще пластичнее изображение ребенка, выбиравшегося из открытой щели; тугощекому ангелочку явно неуютно в этой пещере.

— Весьма мило, — похвалил Зуттер, — но, кажется, не твоя работа.

— Не я сделал, но я нашел это. Твое здоровье! — Йорг поднял бокал с коричневатым напитком, в котором плавала красная вишня. На всех открытках был один и тот же мотив.

— Ты не так ее держишь, — сказал фон Бальмоос, — женщина не стоит, а лежит. Это надгробная плита. Благочестивые стихи, которые ты не можешь разобрать, принадлежат Галлеру. Середина восемнадцатого века. И знаешь, где я это нашел?

Зуттер покачал головой.

— В Хиндельбанке, той самой деревне, где находится женская тюрьма. Плита лежит в церкви, и никто об этом не знает. И это при том, что когда-то она была объектом, к которому устремлялись чувствительные паломники.

— Ты, значит, посещал Ялуку в тюрьме?

— Ах да, она же моя жена, разве ты не знал? Первое время Виола, тогда еще Зигги, не хотела ездить со мной, но Лео была неумолима: ехать и никаких гвоздей. И когда мы наткнулись на эту плиту, между нами что-то произошло. Что? Скажу, если ты меня поймешь. Лео тогда начала строить новую жизнь, и я, как и все мы, стал ее частью. Видишь ли ты на открытке то, что вижу я? Нет? Тогда слушай. Малышке тогда было девять лет. Когда мы обнаружили эту церковь, она просиживала в ней часами. Из-за изображения. Она словно присматривала за ребенком. Прямо-таки идеальная нянька. Но мне надо было брать ее с собой в тюрьму. О чем бы еще я мог говорить с Ялу? Между нами все было кончено. Но не между ней и Хельмутом, должен тебе сказать. И понадобилась Лео, чтобы избавить ее от власти покойника, Лео — и это изображение.

Он сунул руку в открытый ворот рубашки, из которого выбивались густые курчавые волосы, и вытащил за цепочку медальон: все та же молодая женщина в приоткрытом гробу, но уже без младенца.

— У Зигги было две матери, — продолжал Йорг, — одна заключенная, ставшая ей чужой, другая всемогущая, Лео. В церкви Хиндельбанка ее удочерила еще одна, третья, на этот раз на изображении присутствовала и сама Зигги — ребенок, рвущийся на свободу. Этой матери она могла молиться. Никто, Эзе, молиться ее не учил. Она сама придумала себе молитву. Часами сидела она перед "тетей" — так она звала всех женщин, которые для нее что-то значили, в том числе и свою мать, — и молилась. А однажды принесла с собой скрипку и играла для нее. Церковь в Хин-

дельбанке реформатская, она почти всегда закрыта. Но Зигги познакомилась с женой дьячка и брала у нее ключи. Встав на колени перед гробом и помолившись, она играла для матери и ребенка. Играла Баха, Гайдна, Моцарта, Бруха — она ведь удивительно талантливая скрипачка. Или, как выразилась жена дьячка, благочестивое дитя. Она не знала истории надгробного памятника, она молилась и играла собственную историю. Когда я играю, говорила она, ребенок приходит в мир... Потом она играла и в тюрьме, и не только для своей матери, а для каждой заключенной в отдельности, и тюремное начальство разрешало ей это. Она помогала им обрести новую жизнь. Она *успокаивала* женщин, Эзе, она давно уже не была просто ребенком. Она и матери помогла вернуться к жизни. Лео говорила: она дарует женщинам воздух жизни. Своей музыкой учит их дышать по-новому. Благодаря ей я понял, что значит *избавление*. Это когда избавляют от судорог. Я нуждался в этом, Эзе, моя жизнь превратилась в каторгу, мое искусство — в сплошную судорогу. Я был мертвее Хельмута, бóльшим невольником, чем эти женщины... А потом я растлил ребенка, Эзе. — В глазах Йорга появился странный блеск. Зуттер недоверчиво уставился на него и потупил взгляд. — Это случилось перед Рождеством, мы возвращались из Хиндельбанка. Уже вечерело, но ей снова захотелось в церковь, к своей "тете". Когда мы подъехали к туристской базе, где я обычно покупал ей мороженое, всегда одно и то же — на палочке, она вдруг ни с того ни с сего сказала: "Йоргли, это и у меня есть". Йоргли — так она меня называла. "Смотри, — показала она на свой живот, — то, что в гробу, есть и у меня. Там у меня женщина и ребенок". Почтовая открытка лежала в бардачке, она ее достала. Мы сидели в машине на стоянке у туристской базы, ты знаешь это место. Здание в виде двойной оболочки. Зигги включает освещение в салоне и стягивает с себя трусики. "Вот, — говорит она и раздвигает двумя пальцами свою щелку. — Пощупай".

Йорг замолчал. Зуттер сидел не двигаясь.

— С тех пор, — продолжал художник, — это повторялось каждый раз. Мы приезжали в женскую тюрьму, встречались с Ялу, Зигги играла на скрипке, а я ждал внизу. Я бродил вокруг тюрьмы, как пес, который хочет только одного — попасть *внутрь*. Когда она наконец возвращалась, держа в руке футляр со скрипкой, мы шли в церковь, она молилась со своей "тетей", а я сидел на хорах. Когда потом она показывала мне свой "гробик", я гнал от себя похотливые мысли... Совсем она не раздевалась никогда. "Ты можешь видеть только это, — говорила она, — только ничего не говори Ялу, иначе она убьет и нас тоже". — "А Лео?" — спросил я. "Лео и так все знает, ей и говорить не надо". Тогда-то и пришел конец моему искусству, Эзе, но ребенку я не причинил зла. Клянусь тебе. Не с девятилетней же девочкой этим заниматься. Я лишь делал то, чего ей хотелось. А тринадцатого февраля, в этот день мне исполнилось пятьдесят шесть, Лео сказала мне: "Йоргли, этого я не прощу тебе никогда". С тех пор она и вертит мной, как хочет. Больше в Хиндельбанк я не ездил, Зигги тоже. Туда стала ездить Лео. Она воспользовалась случаем, чтобы сделать из нас совсем других людей. Прежде всего она решила развестись со мной. Потом сблизилась с Ялу и предназначила ее мне в жены. Тем самым она спасла ее от высылки из страны, а я получил свое домашнее задание. В прежние благочестивые времена это называлось браком святого Иосифа, и мне, естественно, не полагалось рассматривать это как наказание. Деятельное раскаяние, Эзе, а что до моих плотских желаний,

то и вовсе бездеятельное. Да и желаний этих у меня почти не осталось. Когда мы с Ялу поженились, она, расколдованная принцесса, увидела в этом простую формальность. Мне навязали новое поле деятельности, Лео дала понять, что она думает о моем искусстве, и оно стало для меня побочным занятием. Зачем человеку рыться в отбросах, когда на небесах столько сокровищ? Грехи мои были мелкими и неаппетитными, Эзе, так, мальчишеский порок.

— И чем же ты теперь занимаешься? — спросил Зуттер.

Йорг заметно оживился.

— Забочусь о нашем деле. Оно процветает. Лео создала школу, число ее приверженцев растет, трубы дымят, а дышать хочется всем. У нас появились филиалы в пяти странах. Мы дышим глобально. В конце две тысячи второго года мы создадим Open Air for Breath[1] в Эйерс Рок[2] — фантастический центр энергетической подпитки. Мы изменим мир, он в этом нуждается. — Йорг криво усмехнулся. — "Шмели" живут, Эзе, и многие ветераны вносят свою лепту, не только твоя Руфь.

— Руфь? — удивился Зуттер. — Она состояла в вашем союзе?

— Ну да, ты же ее знаешь. Всегда платила раньше других. Сегодня деньги поступают регулярно, но тогда, в самом начале, и несколько сотен тысяч были серьезной суммой. Лео рада, что могла помогать Руфи — вплоть до последнего дня.

— Ага, — сказал Зуттер.

— А теперь расскажи о себе, — попросил Йорг.

— О чем тут рассказывать? Вот думаю, что делать дальше. Я оставил машину в долине Фекса.

— И спустился сюда на дрожках?

— Хотел освежить память о прошлом.

— В таком случае я отвезу тебя к твоей машине.

— Я лучше пройдусь пешком.

Лицо Йорга потемнело.

— Эзе, — сказал он, — есть еще кое-что, о чем тебе надо знать.

— На сегодня я узнал достаточно.

— А вот и Ялу, — сказал фон Бальмоос.

Она и в самом деле шла к ним, так стремительно огибая группы сидящих в мягких креслах людей, что ей приходилось придерживать руками светлую накидку, а складки на платье, казалось, не поспевали за ее движениями. Все в этой маленькой женщине было каким-то опрометчиво торопливым, но при этом никак не сказывалось на ее достоинстве; подбородок, веки, волосы, накрашенные белой помадой губы — все в ее лице было несколько чрезмерным, даже тяжеловатым. Зуттер не видел ее со времени судебного процесса. Выглядела она женственнее, чем восемь лет назад, но эти годы сделали ее подвижнее, почти омолодили. Теперь он впервые услышал ее высокий, слегка певучий голос, она строила фразы точно, с долей искусственности, но ее немецкий, если не считать напевной интонации, уже никак не выдавал происхождение Ялуки. Она вся сияла, стоя перед Зуттером, который тоже поднялся со своего места.

— Господин Гигакс! — воскликнула она.

1. Чистый воздух для дыхания (*англ.*).
2. Гора на юго-западе Австралии. Место паломничества туристов.

Он не знал, какая у нее теперь фамилия, поэтому с легким поклоном произнес:

– Госпожа Ялука!

Она протянула ему снизу вверх маленькую руку, словно приглашая на менуэт; эту ручку Виола от нее не унаследовала. На секунду ему показалось, что Ялука опустилась на пол – это она сделала книксен, усвоенный за время ее жизни в Германии.

– Ну как, выиграла? – спросил, сидя в кресле, муж. Она оставила его вопрос без ответа.

– Я безумно рада познакомиться с вами, – сказала она. – Благодарю вас за все, что вы для меня сделали. Лео дала мне ваши книги.

"Какие еще книги? – подумал он. – Ну да ладно".

– Вы замечательный человек! – воскликнула она, и Зуттер почувствовал, что надо с этим кончать, так как люди в соседних креслах уже начали посматривать в их сторону.

– А где же Леонора? – спросил он.

– Ей надо немного отдохнуть, но она передает вам большой-большой привет, – сказала Ялука с преувеличенным почтением.

– Я имел удовольствие подвезти сюда вашу дочь.

– О, Виола сейчас на озере. Она всегда на озере. Где вы остановились?

– В пансионате фройляйн Баццелль, как обычно. По крайней мере, надеюсь на это. Я не уверен, что для меня там найдется комната.

Она закрыла свои глаза-щелки.

– Ваша жена, – тихо сказала она.

– Да.

– Я вам так сочувствую, – проговорила она и вдруг в испуге широко открыла глаза. – Вам не дают комнату? – спросила она таким тоном, словно речь шла о голодной смерти целого народа. – Но почему? Почему вам не дают комнату, в которой вы всегда останавливались с женой?

– Собственно, пансионата больше не существует, – сказал Зуттер. – Его владелица скончалась. Теперь там одна фирма проводит свои семинары.

– Владелица умерла, и вам об этом не сообщили? – дрожащим от возмущения голосом спросила она.

– Ялу, – вмешался фон Бальмоос, – может, ты присядешь? Зачем устраивать сцены на глазах у всех?

Она снова не обратила на него ни малейшего внимания и осталась стоять. Пришлось стоять и Зуттеру.

– Не беспокойтесь, – сказал Зуттер, – я найду, где остановиться.

– А если в "Вальдхаусе", Эзе? – предложил фон Бальмоос. – Хочешь, я спрошу у администратора? Будешь моим гостем.

И тут произошло нечто, чего Зуттер совершенно не ожидал. Ялука бросилась ему на шею. Она обняла его и положила голову ему на грудь. Он почувствовал, как она всем телом слегка прижалась к нему. Ощущение, которое он испытывал, только когда брал уроки танцев. Он осторожно взял ее за плечи, которые вздрогнули от прикосновения его рук, но так и не решился отодвинуть ее от себя.

Все вокруг внимательно наблюдали за ними.

– Не уходите, – услышал он ее голос.

Чтобы внятно, преодолевая смущение, ответить ей отказом, ему нужно было отодвинуть ее, но она сама стремительно откинула голову и решительно повторила:

— Не смейте уходить!

Он улыбнулся и пожал ей руку, но этот его жест остался без ответа.

Зуттер и фон Бальмоос молча шли обратно в долину Фекса.

— Вот видишь, — сказал Йорг.

— Вижу, только не знаю что.

— Вот уже восемь лет ты злой дух моей семьи.

— Объясни.

— С удовольствием, господин кукловод. Одна из твоих кукол имеет к тебе претензии. Восемь лет танцует она под твою диктовку. Представление длится по двадцать четыре часа ежедневно и называется "Многоженство в калмыцкой семье". Оригинальный сценарий. Откуда только ты его позаимствовал?

Зуттер молчал.

— Вот тебе подлинная история человека, который разбогател. После суда над Ялу мне пришлось посещать ее в тюрьме и заниматься ребенком. Через два года я на ней женился, по настоянию Лео, своей — как это ты изволил выразиться? — "старшей жены". Бухгалтерией я занимался и раньше, но это были только цветочки. Теперь у меня появилась большая калмыцкая семья. Нашему общему ребенку нужно было брать уроки игры на скрипке. А ты знаешь, сколько стоит час занятий у Ульрики Пульт? Скрипку пришлось отложить в сторону — пришла очередь платить за интернат. Я оплачивал кровать принцессы, потом горошину, из-за которой ей понадобилась другая кровать, потом эту другую кровать, и, разумеется, платил за королевство, полагающееся принцессе. И не забудь: все это время я расплачиваюсь за презрение, которое испытывают к злому и глупому отчиму. Ему следует заняться дыхательной гимнастикой, но только в качестве коммерческого директора. Тут уж не до искусства. Я ценил в тебе сторонника соразмерности, Эзе. У наказания должны быть свои границы. Я же расплачиваюсь до сих пор, жертвуя всем, что у меня было, за портрет калмычки, который я написал по просьбе ее незадачливого супруга — написал почти задаром. Тут нечто большее, чем просто творческая неудача. Теперь портрет висит у Шпитцера, адвоката Ялу, — помнишь еще этого типа? Лео подарила портрет ему — в дополнение к солидному гонорару, который оплатил *я*. И висит он теперь в салоне Шпитцера — в качестве conversation piece[1]. Но за все это пришлось расплачиваться деньгами и в известной мере потерей лица. А вот за портрет, который нарисовал *ты*, Эзе, я расплачиваюсь своей жизнью, — расплачиваюсь за твою умело сочиненную фальшивку. Потому что калмыки и слыхом не слыхивали о полигамной семье, которую ты нам приписал. Им незнакома семья, в которой две, три, четыре женщины дружно живут с одним мужчиной. У них и намека нет на бесшабашный тройственный союз во главе с патриархом. Это твоя выдумка, но она пришлась кстати в омерзительной семье Бальмоосов. Дамы чувствуют себя в ней как рыба в воде.

— Так вот почему ты в меня стрелял, — сказал Зуттер.

Фон Бальмоос остановился.

— Что ты такое несешь?

1. Жанровой картины (*англ.*).

Зуттер в двух словах рассказал о своих подозрениях.

– Я слышал о том, что с тобой случилось. Но нет, это был не я. – Он улыбнулся, и улыбка его показалась Зуттеру непринужденной. – Эзе, не будь у нас альтернативной службы, я был бы полным отказником. Я в жизни не держал в руках оружия.

Он снова остановился.

– Ты навел меня на мысль, – сказал он. – Моя младшая жена стреляет, а старшая берет у нее уроки стрельбы. Разумеется, речь идет о совершенно новой форме абсолютного присутствия духа: ты попадаешь в цель, если что-то в тебе стреляет само собой. Тогда уж не промахнешься, пуле остается лишь уведомить цель о скорой встрече. Правильно дышать или метко стрелять – для такого мастера, как Лео, без разницы.

То и дело останавливаясь, они подошли к машине Зуттера. Внизу, в долине, уже сгущались сумерки, кое-где в домах зажегся свет. На взгорьях, тянувшихся вдоль лощины и усеянных дачными домиками, еще лежал красноватый туман, с которым прощалось солнце. На ветровом стекле Зуттерова "вольво" торчал, прижатый "дворником", квиток с требованием уплатить штраф.

– Это все, что ты собирался мне поведать? – спросил Зуттер, шаря в карманах в поисках ключей.

– Нет, – ответил фон Бальмоос, – я хотел тебе сказать, что я переспал с Руфью.

Зуттер вцепился в дверцу, которую успел открыть.

– Когда?

Йорг задумался.

– Кажется, осенью тысяча девятьсот девяносто пятого, после моей женитьбы на Ялу, с последующей потерей всяких контактов: она запретила мне прикасаться к ней.

– Где это было?

– Здесь.

– Этого не может быть.

– Ты тогда уехал из пансионата, твоя газета вызвала тебя на какую-то конференцию.

Зуттер с неохотой припомнил этот факт. Речь шла о репортаже, в котором он зацепил как следует одного прокурора, и тот стал угрожать газете судом за оскорбление личности. Надо было решать, топить ли прокурора и дальше, пойти с ним на мировую или ограничиться публичным извинением.

– Ага, – хрипло проговорил Зуттер. – И как же это было?

– Я приехал сюда из Касте, – ответил фон Бальмоос, – один, после ретроспективной выставки в "Кунстхалле", в полнейшем расстройстве. Из-за разгромной рецензии, появившейся в твоей газете.

– Давай ближе к делу.

– Сначала мне нужно было прийти в себя, позволь тебе сказать. Здесь я не только совершал прогулки. Дважды я заблудился в тумане. А однажды заночевал в горах.

– Я признаю за тобой любые смягчающие обстоятельства, – сказал Зуттер.

– К сожалению, ты не сможешь этого сделать. Я тогда думал, что на всем свете нет человека несчастнее меня. Но я заблуждался. Каждый вечер я сидел на камне Ницше. Шел дождь, я этого не замечал. Возвращаясь через Плаун да Лей, я увидел женщину, одиноко сидевшую на скамей-

ке. Я ее не узнал. Дождь лил все сильнее, у нее не было зонтика, по ее лицу текли слезы.

– Дальше, дальше, – торопил Зуттер.

– Я остановился и спросил, не могу ли ей помочь. Только тогда я узнал Руфь и набросил ей на плечи плащ.

– А заодно и обнял за плечи.

– Само собой, – подтвердил фон Бальмоос, – и проводил ее через поле.

Зуттер сел за руль. Фон Бальмоосу пришлось наклониться, чтобы не слишком повышать голос.

– Проводил до самого пансионата?

– Никогда еще я не видел ее такой убитой.

– Никогда? – спросил Зуттер.

– Мы знали друг друга до вашей женитьбы.

– Ну да, в "Шмелях".

– Нет, раньше. Она общалась с нами еще в Париже. Была близкой подругой Лео.

– Давай заканчивай, – сказал Зуттер. – Куда ты ее отвел?

– Она сказала, когда обрела способность говорить: "Это сидит у меня в груди, Йорг, мне уже не жить, я не могу говорить". – "Но ты же сейчас говоришь со мной, успокойся". – "Говорю, но опухоль осталась". – "Оставь, – сказал я, – никакая это не опухоль".

– Ты это сразу почувствовал, – сказал Зуттер.

– Я это определил, когда мы оказались в номере.

– До того или после?

– До, если это так важно.

– Руфь умерла не от рака груди, – сказал Зуттер.

– Что этого не случится, я мог бы сказать ей, будучи профаном в таких делах.

– Когда речь о грудях, тут ты далеко не профан, – сказал Зуттер. – И после всего этого ужаса она снова стала почти как новенькая.

– Слушая тебя, Эзе, я начинаю понимать, почему Руфь не могла говорить.

– И знаешь, отчего она умерла.

– Нет, но думаю, что виной тому ваш брак.

– Вот как?

– Должно быть, ты совсем не знал ее.

– Коли так, то мне остается только поблагодарить тебя за то, что ты соизволил переспать с ней.

Йорг стоял, Зуттер сидел за рулем, в это время мимо них проехали дрожки с пожилыми японцами; одна из женщин робко им кивнула. За дрожками медленно ехал черный лимузин немецкого премьер-министра, которого вынудили отказаться от своего поста, так как уже после окончания войны он, будучи судьей на флоте в Норвегии, приговорил молодого человека к смерти за дезертирство. Что еще вчера было правом, приводил он довод в свою защиту, не может в одночасье обернуться своей противоположностью.

Когда они подъехали к "Вальдхаусу", Йорг остался сидеть в машине.

– Теперь ты должен знать все, – сказал он.

– Не многовато ли для одного раза?

– Но не здесь, поехали к камню Ницше.

Зуттер молча отпустил ручник. Машина покатилась вниз, миновала деревню. Они припарковались у гостиницы "Альпийская роза" и пошли к озеру. Время близилось к вечеру, был тот час, когда близкое кажется далеким, а далекое неосязаемо близким, когда окутанные туманом горы как бы парят в воздухе.

– Ты помнишь Love Parade[1] тысяча девятьсот девяносто пятого года? – спросил Йорг, когда они подошли к лодочной станции, откуда начинался подъем на полуостров.

Город превратился в "пульсирующую массу" в августе, это был последний август в жизни Руфи.

– Кажется, я в тот день куда-то улетал, – сказал Зуттер.

– Не помнишь куда?

– Помнится, я ехал в машине в аэропорт и услышал по радио рекомендацию "объехать город стороной". Мне нужно было купить хлеба на воскресенье и еду для кошки. Магазины в аэропорту в субботу и воскресенье работают, там за эскалатором есть единственная булочная, где хлеб пахнет детством.

– Ты стоял на смотровой площадке и наблюдал за самолетами, – сказал Йорг, – а рядом с тобой стояли две пожилые немки, которых ты шокировал.

– Ага. И чем же?

– "Вот, наконец, нечто позитивное", – отозвались они о Love Parade, на что ты возразил: "Я бы всех этих позитивных поставил к стенке".

Зуттер невесело рассмеялся.

– Должно быть, нечто подобное я прочитал у Ницше, – сказал он. – Я бы расстрелял всех антисемитов, писал он сестре, которая сама была антисемиткой. В ту пору на него уже стремительно наваливался мрак безумия.

– И на тебя тоже. Немки приняли твое замечание на свой счет.

– Просто глупое изречение.

– Опасное для жизни. То, что ты изрек, услышали женщины-агенты.

– Женщины-агенты?

– Агенты дыхательной терапии. "Я бы всех этих позитивных поставил к стенке". Ты хоть понимаешь, как можно истолковать эту фразу?

– Нет.

– Слова можно понимать так и этак. Резкий ветер оттачивает их с обеих сторон, словно ножи. С какой стороны за них ни возьмешься, все равно порежешься. Наше время понимает только шутку. Это значит, Эзе, что оно не понимает уже никого. Обе немки могли услышать в твоих словах угрозу. Быть может, они как раз возвращались домой после дыхательной терапии у Лео.

– Не сумасшедшие же они в самом деле, – заметил Зуттер.

– Что значит сумасшедшие? Когда мы еще жили в "Шмелях", у Лео была маленькая соблазнительная "лавка здоровья". Дыши красиво. Стимулируй выделение желчи печенью. Укрепляй иммунную систему.

– Руфи это не помогло.

– Я думал, эта терапия нужна Лео, чтобы чем-нибудь заняться. Все свое время я отдавал ей. Рядом со мной осталось место только для одного чело-

1. Парад любви (*англ.*).

века — для специалистки по умению жить. Она вяжет пуловеры и печет пироги, он крадет коней. Мужчина обязан окунаться в чужую жизнь, зная, что дома его ждет родная душа, которая только им и дышит. Ты можешь себе представить, что уже тридцать лет она живет одной мыслью: как бы меня унизить? Тут нужны тренированные легкие, Эзе, в сравнении с ней я — жалкий астматик. По ее милости я оказался выброшенным на мель, где мой вес художника уже ничего не значит и где мне придется околеть.

Йорг остановился, глядя прямо перед собой.

— У нас процветающее дело, Эзе. Первое время мы вдыхали в себя антитела, накапливая запасец. Занимались дыхательной гимнастикой, избавляя людей от потливости ног, от инфаркта и любовной тоски. Сегодня мы уже не исцеляем клиентов от тех или иных недугов, нам этого мало. Симптомами пусть занимаются мелкие лавочники. Возиться с антителами en détail, по мелочам, нам уже не с руки. Мы все тело переделываем в антитело. Нам помогает страх смерти, Эзе, вот наш материал и наш источник жизни. Кто делает на него ставку, тот избавляется от забот и оказывается в самом прибыльном бизнесе, который когда-либо знало человечество. Страх смерти беспределен.

Зуттер пошел дальше. Йорг, тяжело дыша, последовал за ним и схватил его за руку.

— Почему в инсценировках Fun and Games отсутствует всякое содержание? Почему на Love Parade на улицах танцуют только раскрашенные телеса? Потому что они всего лишь оборотная сторона страха смерти. "Вы в играх и шутках проводите жизнь? Так и надо, друзья! / Это трогает душу мою, ибо вами отчаянье движет". Могу поспорить, что новый тип человека не будет понимать даже междометий. Ему будут понятны только слова вроде вокзал, peace, love и ecstasy[1], этот тип ничего собой не будет представлять. Абсолютно ничего, как и сама жизнь. Дыхание пустоты, Эзе, его надо только уловить. И использовать. Лео это умеет.

На дороге к озеру то и дело приходилось одолевать довольно крутые подъемы, и Зуттер не без удовлетворения отметил, что его спутник дышит чаще, чем он сам.

— Вначале я был у Лео сутенером: люди искусства нуждаются в дыхательной гимнастике. Толстяки, случалось, уже подумывали о близком конце, но стоило им подышать вместе с Леонорой — и они снова оказывались на коне. Мне не полагалось знать, как далеко заходит моя старшая жена в своих услугах клиентам. Но скоро уже она стала поставлять мне клиентов. У Лео оказались длинные руки. И ими она выставила меня за дверь. После истории с Зигги она могла столкнуть меня в пропасть.

Тем временем они подошли к памятному камню.

— "Будь осторожен, человек", — прочитал Йорг фон Бальмоос. — Вот он, Эзе, голос глубокого мрака. В Европе и во всем мире есть несколько сот человек с положительной реакцией. Я имею в виду дыхательную реакцию. Они заражены возбудителем, который в тысячу раз токсичнее вируса СПИДа. Возбудитель страха смерти. Кто хочет забыть о нем, приходит к нам. Но горе тому, кто помешает нам позитивно мыслить.

— Кому это — "нам"? — спросил Зуттер. — Вы что — секта?

— Нам это ни к чему. Ты разве до сих пор не заметил, что все вокруг построено по принципу секты? Пару лет назад я с Лео побывал на вы-

1. Мир, любовь и экстаз (*англ.*).

ставке *пластификатора*, точнее, Лео со мной, там она мне показала, где раки зимуют и что такое искусство. Это были экспонаты, которые умелый хирург сделал из людей – правда, им прежде пришлось умереть. Но они не позволили безропотно кремировать или похоронить себя, а в виде экспонатов из сухожилий и нервов родились для нового мира. Увидеть этот мир они не могли, зато могли показать себя – и их увидели. Хирург-художник разрезал их на тончайшие пластинки. Затем растянул, оставляя большие промежутки, на семь метров в длину. Он облагородил заурядное лицо, превратив его в золотую маску, и посетители смотрели сквозь него. Никто не оставался равнодушным. При желании человека могут препарировать в античного дискобола, Эзе. Или выставить в виде беременной женщины, аккуратно разрезав в длину вместе с зародышем в чреве, слои которого напоминают кондитерское изделие. Публика ходит на цыпочках по огромному выставочному павильону, в котором можно было бы продавать ванны. А теперь это молельня с комнатой ужасов. Я наблюдал за публикой, Эзе, как она обнюхивала эти памятники удавшейся смерти – похотливо и благоговейно: мол, есть же люди, которые решились так себя увековечить! В углу выставочного зала чудо-доктор положил книгу отзывов. Список очередников. Несчастные восторженно приветствовали в нем светило науки, благодетеля человечества, вершину благочестия. Просили и с ними проделать то же самое. Все, все хотели встать в очередь к чудо-доктору. Все жаждали ультимативной косметики, которая им ничего не будет стоить, если не считать маленького отрезка жизни! Я отыскал Леонору, которую все еще считал примерной женой, охраняющей покой художника. И что же я увидел? Ее глаза сияли! Тогда-то я и понял, Эзе, что пробил час полуночного мрака. Лео открыла для себя величайший черный рынок мира. На нее снизошло озарение. Она стала вампиром... Все, все хотят стать тем, чем они и так являются, – артефактами. Ну как тут еще *заниматься* искусством? Все равно что делать холодильники для Северного полюса! Дыхание, объяснила мне Лео, когда мы ели черничный пирог, – это текстура без материи. Но когда правильно втягиваешь в себя воздух, он соединяется с клеточной тканью, поддерживает ее, преображает, обновляет все тело. Йоргли, сказала она, я тку своему "внутреннему" человеку праздничную одежду, прекрасную, как фата невесты, прочную, как волосы феи, легкую, как ветер. Я открываю для него небо, где он может летать. Единственное, чего она не сказала, но это подразумевалось само собой, что от смерти есть единственное надежное средство.

– Смерть, – сказал Зуттер.

– Вопрос только в том, как ее обставить. Лео планирует праздник прощания в виде фейерверка или ракеты с двумя ступенями. Первую мы зажигаем на Эйерс Рок. Мир затаивает дыхание. Вакуум аккумулирует энергию, накапливает ее под самую завязку. Через три года – взрыв, и мы отрываемся от земли. Мир расстается со своей историей, издавая протяжный вздох. Тут-то и приходит конец вашему Вечному возвращению, господин Ницше.

– А последняя ступень? – спросил Зуттер. – Где она взлетает?

– У истоков Нила. В Африке земля впервые вдохнула в себя человека, в Африке она снова избавится от чужеродного тела.

– Зачем твои дамы учатся стрелять?

– Кто не умеет задерживать дыхание, тот рискует прежде времени исчезнуть с лица земли. Недавно Лео перелистывала газету в поисках

траурных объявлений. Все еще самая сильная страница в твоем издании. Там она наткнулась на фамилию одного члена правления многих советов. Он был ее клиентом — и моим тоже. И вот отправился в мир иной. "Да, — сказала Лео, — Нигг выпустил его из своих рук". Нигг — это главный врач городской больницы.

— Знаю, — сказал Зуттер. — Я только что видел его в пансионате Баццелль. Он приехал на семинар.

— Ты встретишь там немало клиентов Лео.

— А что же две немки в аэропорту?

— Ты вполне мог там вынести себе смертный приговор.

— Йорг, но это же детские забавы.

— Не скажи. Дети ведь не знают жалости. У тебя нет детей, иначе ты бы это знал. Судебного репортера такие вещи не должны бы удивлять.

— Давай присядем, — предложил Зуттер.

Скамейка у камня Ницше освободилась. Юная парочка, любезничавшая на ней, ушла — видимо, ей мешали разговаривавшие вполголоса старики.

Сквозь низко нависшие ветви Зуттер смотрел на воду; у берега, в тени, она казалась темнее обычного.

— У тебя мания преследования, — сказал он.

— И это говорит человек, которого Лео держит в своих руках. Давно.

— Что-то я этого не замечал.

— Чем меньше замечаешь, тем цепче она тебя держит, — сказал Йорг. — Мир кишит черными дырами. Астроном их тоже не видит. Он только фиксирует перемены в их окружении. Каждое движение изгибается, в пространстве появляется кривизна. Сила притяжения действует повсюду. Тебя окунают в нее, сминают, добираясь до самого ядра. И вот ты уже такой добренький, каким никогда не был.

Йорг замолчал, так как на дороге послышались быстро приближавшиеся шаги. В просветах между ветвями замелькал небесно-голубой тренировочный костюм, вскоре можно было увидеть и того, на ком он был надет. Пробегая мимо, человек, улыбнувшись, поднял для приветствия руку, и Зуттеру показалось, что он уже видел его в пансионате. Фон Бальмоос посмотрел ему вслед.

— Это бегают зомби, — сказал Йорг. — Бегут навстречу своему концу, по десять километров ежедневно. А когда придет Судный день, у них будет только тщеславное желание выглядеть помоложе, up to date, just in time[1].

— Не нравятся мне твои фантазии, — сказал Зуттер.

— Потому что они не твои? — мрачно рассмеялся Йорг. — Разве моя большая калмыцкая семья не заслужила светопреставления? Эзе, из-за твоих чудных фантазий я попал в такие жернова, которые перемололи меня в порошок, словно Макса и Морица[2]. Вот уже восемь лет я только тем и занят, что притворяюсь личностью, которую зовут Йорг фон Бальмоос. Когда мне стало не хватать дыхания, вместо меня задышала Лео. Всего лишь маленькой жертвы требует она — чтобы я был своей собственной тенью.

— Сегодня ты поразил меня в самое сердце, — признался Зуттер. — Такого со мной еще не случалось.

1. Очень современно, точно ко времени (*англ.*).
2. Персонажи серии юмористических рисунков и подписей к ним Вильгельма Буша.

Йорг поднял голову и уставился на Зуттера. Потом закрыл лицо руками, и Зуттер услышал стон, который ввел его в заблуждение несколько часов назад.

Йорг запустил руку в нагрудный карман своей кожаной куртки, вынул оттуда камешек и раскрыл ладонь.

— Тебе он знаком?

Зуттер молчал.

— Ей тогда было семнадцать, как сейчас Виоле, — заговорил Йорг, — и она впервые отправилась в путешествие. С подругой. Иначе тетя ее не отпустила бы. Но этой подругой был я. Я был на два года старше ее и учился в Высшей художественной школе. За год до этого я побывал в Греции, в одиночку. После этого я уже не сомневался, что буду художником. Надо было только стать самим собой. Я был так переполнен своим призванием, что мне хотелось все превращать в искусство. И всех, кто оказывался вблизи меня, в художников. Ты слышал, как смеется Руфь? "Я стану врачом, — заявила она, — и буду все время опускать тебя с высот искусства на грешную землю". Мы разбили палатку там, где меня поразил в сердце Аполлон, где суша заканчивается мысом Сунион. За спиной у нас высились белые колонны, а мы сидели на берегу моря и ждали восхода солнца. Мы почти не спали: вот сейчас мир откроет свои глаза. Часами сидели мы молча, на наших глазах рождался новый день. Земля вокруг нас была усеяна обломками храма Посейдона. Руфь подняла два мраморных осколка и один дала мне. Я всегда носил его с собой. Он твой.

Зуттер взял у него камень и зажал в кулаке.

— А я и не знал, что Руфь бывала в Греции, — сказал он.

— С ней я мог бы жить, — проговорил Йорг.

— А я — нет, — сказал Зуттер.

Он взвесил камень в руке. Зуттер родился левшой, и ему пришлось переучиваться. Однако для бросков он все же пользовался более сильной левой. Когда он швырнул камень вверх, тот на миг поймал искорку света, уже отступившего из лощины; увидеть, как он упал, они не могли, да и удар о землю поглотила тишина.

Споткнувшись, он с грохотом уронил свою поклажу на пол, а сам приземлился на руки. И на правое колено. Удар был так силен, что он сначала ничего не почувствовал, острая боль пронзила его мгновением позже. Брюки на колене разорвались. Администраторша крикнула "Ой!" и отскочила в сторону, словно вспугнутая птица-секретарь.

— Кто в моей комнате? — спросил он сквозь стиснутые зубы. На табличке было написано имя администраторши — Мелани.

— Там ваша жена. Не сломано ли у вас что-нибудь? Такой треск...

— Вот где моя жена, — прошипел он. — В этой сумке.

Он с трудом поднялся, но ноги его снова подкосились.

— Мне кажется, она взяла ключ, — с улыбкой сообщила Мелани.

— Вам кажется, — прошипел Зуттер. — Давайте-ка лучше *посмотрим*. Пройдемте со мной, прошу вас.

Она взяла у него чемодан и пропустила его вперед. Держа в руке полиэтиленовую сумку, он заковылял к лестнице.

— Вы гость, которого не ждали, — сказала она.

— Черт я лысый, а не гость. — Цепляясь за перила, он поднимался по лестнице. На последней ступеньке Мелани остановилась. Он обернулся. — Дальше, пожалуйста.

— Не хочу мешать.

— А придется. Я никого не приглашал к себе в номер! Кто бы там ни был, вы захватите непрошеного гостя с собой!

Он не мог свободно опираться на больную ногу и чувствовал, как сквозь дыру на колене проникает холодный воздух. По лицу Мелани было видно, что она начинает понимать упрямство беспричинно обиженного человека. По скудно освещенному коридору он, припадая на больную ногу и постанывая, дотащился до пристройки с более низким уровнем пола. Здесь было только три комнаты, комната № 21 была справа.

— Стучите, — сказал Зуттер.

— Тс! — прошептала она и показала на соседнюю дверь. — Там спит господин национальный советник.

Но она все же постучала. Ответа не последовало. Она постучала решительнее.

— Открывайте дверь! — прошипел Зуттер. Она посмотрела на него так, словно хотела убить взглядом, но все же нажала на ручку. Через приоткрывшуюся дверь пахнуло ароматом роз. Внутри было темно, только полоска лунного света блестела на половице. На стуле смутно виднелся огромный букет цветов. Зуттер включил свет.

Когда его глаза отдохнули от яркой вспышки, он увидел обе кровати, разделенные ночным столиком. В кровати у стены на подушке виднелась копна черных волос, под одеялом угадывалось человеческое тело.

— Ладно, — прошептал Зуттер, — вы можете идти.

Мелани взглянула на него.

— Идите, — сказал он.

Закрыв за ней дверь, в которой торчал ключ, он услышал удаляющийся стук ее высоких каблуков.

Одеяло на занятой кровати равномерно поднималось и опускалось. Женщина спала. Он выключил свет; лунный свет неспешно вернулся в комнату, Зуттер мог различать любую деталь. Дыхание женщины было все таким же спокойным. К боли в колене добавился сильнейший позыв на мочеиспускание. Зуттер выглянул в окно с незакрытыми шторами. Все вокруг было залито призрачным светом. На дорожке, ведущей к озеру, не было никого. Но расставленные на одинаковом расстоянии друг от друга скамейки, казалось, ждали ночного гостя. Основание полуострова окутывала непроглядная тьма, в то время как хвойные деревья на гребне зубьями вершин врезались в кристально ясное небо.

Мимо ближайшей к нему кровати Зуттер прокрался к двери в туалет. Она заскрипела, как обычно. Он оставил ее открытой, чтобы запомнить расположение ванны, раковины, биде и унитаза. Потом закрыл и очутился в полной темноте.

Но под давлением мочи нижняя часть живота словно окаменела. Зуттер нащупал кран над раковиной, тихо заструилась вода. О господи, а моя никак не испускается... Зуттер расстегнул ремень, повернулся и задом нащупал унитаз. Это колено виновато, только и всего, сказал он про себя. Полусидя, прислонившись к стене и уцепившись за водопроводную трубу, он тихонько, почти неслышно помочился.

Тем лучше. Будем считать, что туалет мне не был нужен. Я зашел туда только для того, чтобы дать возможность женщине в моей кровати

столь же неслышно убраться из комнаты. Я подал ей сигнал тем, что сразу удалился в туалет и тактично задержался в нем.

Он не стал дергать за рычажок смыва. Пусть думает, что я только вымыл руки. Теперь и свет можно включить. Сначала в туалете. Лицо в зеркале: глаза бы не смотрели. На коленке дыра треугольником. Ладно. Если там еще кто-то остался, кому надо показаться, пусть увидит пострадавшего. Человека, которому в этот день досталось, как никогда в жизни. Он вытер руки и почувствовал, что у него мокрые трусы. Должно быть, сидя по-женски, он не спустил их как следует. Этот день тебе еще надо пережить, Зуттер.

Он открыл дверь, прошел сквозь лунный свет и аромат роз и включил свет в комнате.

Когда прошло ослепление, он увидел, что женщина лежит нагишом на спине, с закрытыми глазами. Она скрестила ноги, скрыв срамное место. Зато бросались в глаза груди и широкие бледные губы, которые она слегка растянула в улыбке, как при игре в жмурки.

— Ялу, — проговорил он.

— Ну вот, ты меня увидел, — сказала она высоким певучим голосом, — а теперь выключи свет.

Зуттер повиновался, и когда в темноте снова обозначился лунный свет, он увидел, что Ялука лежит на животе. Она подняла руку к голове и, словно шлейфом, прикрыла спину своими длинными волосами, которые доходили ей до бедер, до того места, откуда начинались по-детски упругие ягодицы. Между ними виднелся клок темных волос, обрамляющих запретный плод.

— Я не вижу, как ты раздеваешься, но я все слышу, — сказала она.

Чтобы сесть, Зуттеру пришлось бы убрать с одного стула ее одежду или цветы с другого.

— Ялука, — спросил он, — что означают эти цветы?

— Ничего, — словно себе самой ответила она и, не открывая глаз, повернулась к нему лицом.

— Как они попали в эту комнату?

— А как ты попал в эту комнату? Ведь свободных комнат больше не было.

— Они освободили ее.

— Да, после того как я поговорила с управляющим. "Вы знаете, кто такой господин Гигакс?" — спросила я. "К сожалению, нет", был ответ. — "Тогда и он, *к сожалению*, не захочет знать вас". И тут управляющего бросило в дрожь.

— Вот как вы это делаете. А где вы достали розы, ведь магазины уже были закрыты?

— Для меня не существует закрытых магазинов.

— Здесь, в этой сумке, прах моей жены. Завтра я развею его над озером.

— Твои проблемы.

Он рассмеялся против воли.

— Это точно. Поэтому сегодняшним сюрпризом я не могу воспользоваться.

— Тебе бы надо сказать *пожалуйста*. — Она медленно оперлась на локоть и на колено и повернулась к нему спиной.

— Пожалуйста. Оденься.

Она встала, подошла к другому стулу и начала одеваться, не обращая на Зуттера внимания. Трусы, чулки, бюстгальтер, черное гофрированное платье, светлая накидка.

– У меня есть для тебя еще кое-что, это не займет много времени, – сказала она. – Пожалуйста, сядь за стол и поставь на него розы.

Она открыла шкаф, достала коробок спичек и две свечи, которые поставила на стол и зажгла. Потом обеими руками широко распахнула свою накидку, повернулась вокруг своей оси и спросила:

– Как я выгляжу?

– Как альбатрос, – ответил Зуттер.

– Я пока еще не вымерла.

– Альбатросы тоже.

– Ты сделал меня красивой, красивее, чем я когда-либо была.

– Сегодня я впервые вижу тебя вблизи, – сказал Зуттер.

– Ты видел меня в суде.

– Издали.

– Нет, ты увидел меня лучше, чем я сама. Я прочитала. Лео тебя любит. Она приносила мне в тюрьму все, что ты писал.

– Я тебе не верю.

– Мне все равно, веришь ты или нет. Ты поэтизируешь человека. Поэтому я и пришла к тебе. Ты написал обо мне нечто прекрасное, а сейчас должен совершить нечто ужасное.

– Что же? – спросил он и тут же догадался, что она имеет в виду.

– Да, – сказала Ялука. – Ты должен меня убить.

Она склонилась над своей сумочкой и стала что-то искать в ней, спрятав руки под накидкой. Потом решительным движением протянула Зуттеру маленький револьвер с украшенной перламутром рукояткой, похожий на красивую игрушку.

– Ялу, пожалуйста!

– Никаких пожалуйста. Я сделала это ради своего мужа, ты это сделаешь ради меня. – Она повернула револьвер стволом к себе и требовательно потрясла им.

– У тебя есть другой муж. Йорг.

– Ему я не позволяю ничего. И уж никак не позволю убить себя.

Зуттер сделал глубокий вдох. Сквозь панцирь его усталости пробилась теплота, обернувшаяся озорством и задором. Он взял у Ялуки револьвер и взвесил его на руке. Против ожидания револьвер оказался тяжелым.

Ялука спустила с левого плеча бретельку платья и расстегнула на спине бюстгальтер. Под левой грудью, которую она чуть приподняла, Зуттер увидел черный крестик.

– Вот в это место, – кончиком ногтя показала она. – Револьвер заряжен. Поклянись. Поклянись всем святым, что убьешь меня.

– Для меня нет ничего святого.

– Поклянись Богом!

– Я в него не верю, а если бы и поклялся, то он мне все равно не поверит.

– Поклянись памятью Руфи.

– Ну, тут клятвы тем более неуместны.

– Отдай револьвер! – приказала Ялука.

Он через стол протянул ей оружие. Она взяла его и направила ствол на Зуттера.

— Если ты меня не убьешь, — прошептала она, — то я сама это сделаю. Но сначала убью тебя. Клянусь. Я *умею* клясться.

Они смотрели друг другу в глаза. Зуттер не чувствовал движения воздуха, но свечи замигали. Лицо Ялуки было решительным, рука с оружием не дрожала.

— Так сделай это, — сказал Зуттер.

Однажды он наблюдал за кошкой, сжавшейся для прыжка и не спускавшей глаз с дрозда, которого она придушила. Одно крыло у птицы было сломано, лапки прокушены. Кошка притащила его к месту отдыха в саду, чтобы сделать подарок Зуттеру. Там она его бросила, улететь он не мог. Но дрозд был еще живой. Его широко открытый зрачок в желтом ободке смотрел в прищуренные, похожие на щели глаза кошки; одна пустота уставилась в другую. Кошка тоже не шевелилась. Жила и двигалась только природа вокруг них. Оба существа ждали только одного — смерти. Дрозд готовился умереть, кошка — нанести смертельный удар.

Вытянутая рука Ялуки по-прежнему ничуть не дрожала, но теперь не было дрожи и в его сердце, на которое смотрело дуло револьвера: в нем поселилась веселая решимость.

— Стреляй же, — сказал он без всякого лукавства.

Она опустила оружие.

— Хорошо получилось? — спросила она.

— Да.

— И для тебя тоже?

— Тоже.

Она поставила револьвер на предохранитель и сунула его обратно в сумочку. Потом встала и обеими руками взяла себя за шею.

— Пожалуйста, помогите мне, — попросила Ялука, отделяя пальцами пряди струящихся по спине волос и пытаясь уложить их на голове; она поднимала их, но пряди снова падали вниз.

— Пусть так и останутся распущенными, — сказал Зуттер.

— Я же не молодая девушка, — возразила она.

Он встал у нее за спиной и стал придерживать отдельные пряди, пока она поочередно укладывала на голове другие. При этом руки их встречались — ее маленькие с его неуклюжими, в старческих пятнах.

— Вы любите кошек? — спросил Зуттер. — Возьмете мою кошку, если меня кто-нибудь прикончит?

— Я этого не допущу! — крикнула она и так резко повернулась к нему, что узел на голове снова рассыпался. Ее лицо выражало возмущение. — С вами ничего больше не случится, — улыбнулась она.

Наконец совместными усилиями им удалось уложить ее волосы.

— Кто вам помогает дома?

— Лео. Но я справляюсь и одна.

Он все еще стоял, прижавшись к ее спине. И когда он почувствовал, как сквозь ее тонкое платье в него проникает тепло, неожиданно напрягся его член. Ялука не могла этого не почувствовать. Но она стояла не шевелясь.

— Не могли бы вы раздеться? — попросил Зуттер.

— Второй раз не буду. Сделайте это сами.

Когда он решил повернуть ее к себе, она уперлась.

— А почему бы не так? — Ялука наклонилась над спинкой неразобранной кровати и решила, что так будет слишком высоко. Не оглядываясь она взяла его за высунувшийся из ширинки член, подвела к краю посте-

ли и легла на нее грудью, подложив руки под голову. Это была кровать Руфи.

Он задрал платье Ялуки вместе с накидкой и набросил ей на плечи, потом стянул вниз пояс и трусы. Она сбросила туфли и смахнула с ног то и другое, словно путы, мешающие двигаться. Зуттер обнял ее за бедра и ощутил под руками изящные линии таза. Позволит ли она водить ее так? "Водили" — вспомнил он загадочную надпись мелом, с датой внизу, которую он прочитал в детстве в коровнике соседа; надпись была на табличке с кличками коров, что стояли, повернувшись к нему задом: обширные, с нежной кожицей щели, с которых свисали ссохшиеся комки кала или, если места эти были набухшими, ниточки засохшей крови.

Над пышным пионом маленькая песчаная розочка. Она не любит выставляться напоказ. Вся сжавшись, она прячется в укромном местечке. И открывается только при большой нужде, но без свидетелей. Если удовольствие доставляет не только еда, но и испражнение, то последнего принято стыдиться. Существо, если оно человек, учится скрывать это даже от самого себя, иначе оно перестает быть человеком. Он одинаков у мужчин и женщин, этот конечный пункт телесности. Мы боимся, как бы оттуда не исходил дурной запах. Местечко это мы прячем от брата и от сестры, да и от самих себя тоже. Его скромность обманчива. Оно таит в себе тайны более глубокие, чем половые органы. "Никогда не знаешь, что для чего сгодится". О заднем проходе мы знаем достаточно много. Не все относятся к нему с подобающим приличием. Не сомневаюсь, Руфь, твой запах меня бы не оттолкнул. Какая жалость, что это место открыл у тебя только рак. В конце концов тебе понадобилось целое озеро, чтобы отмыться от этой дерьмовой жизни.

Ты еще помнишь ту восточную сказку? Молодой человек по имени Саид должен был выбрать одну из двух шкатулок. Одна обещала "счастье и богатство", другая "честь и славу". Сказка не оставляла сомнений в том, что следует выбрать. Руфь и он сделали бы другой выбор. На кой ляд им честь и слава! Бери счастье, Зуттер, а с богатством мы как-нибудь справимся. Почему же, Руфь, ты вероломно выбрала другое? Ты осталась верной себе, вот и вся честь; а вместо славы на твою долю выпала мужественная смерть.

Зуттер склонился над Ялукой, стащил с плеч ее платье и прикрыл им, как занавесью, ее нагое тело. Она выпрямилась, села на кровать и внимательно посмотрела на Зуттера. Его член все так же торчал из ширинки, а лицо было залито слезами.

— Я знаю, почему у тебя не получилось, — немного помолчав, сказала она.

— Почему?

— Потому что ты вспомнил Йорга. Ты не захотел меня взять так, как он. Первый раз. Это тебе помешало.

— Ну и мысли у тебя, — улыбнулся он.

Она мрачно окинула его взглядом.

— Может, я дурно пахну?

— Никогда еще мне не встречался такой приятный запах.

— Можешь поклясться?

— Клянусь.

— Что ты так долго делал в туалете?

— Хотел пописать — и не мог. Был слишком взволнован.

– А ты не врешь?

– Посмотри на меня. В таком состоянии пописать не сможет ни один мужчина.

– Я тоже хочу, – сказала она. – Пожалуйста, не слушай.

Она взяла нижнее белье и сумочку и скрылась в туалете.

Оттуда она вышла, уже наведя красоту. Ее губы были густо накрашены белой помадой.

– Еще один поцелуй, – сказала она.

Он наклонился над ее лицом и коснулся своими сухими губами ее влажного рта.

– Еще раз как следует, – потребовала она, – для Лео.

Он взял ее за бедра и отодвинул от себя.

– Для Лео? Почему для Лео?

– Я пришла от нее.

– Не понял.

– Тогда прочти. У меня для тебя письмо.

Он не стал его брать, и она положила письмо на постель.

– Дурень, – сказала она. – Что ты на меня уставился? Ты же первым узнал об этом. И написал в газете.

– О чем?

– Я могу рассказать об этом только своими словами.

– Расскажи своими словами.

– О том, что она дала мне напрокат своего мужа. Он немного растревожил меня. Но любила я только одного человека, ты и об этом написал.

– Хельмута.

– Ты это почувствовал. Ты и Лео, больше никто.

– А теперь Лео дает мне тебя... напрокат? – недоверчиво спросил он.

– Не будь таким глупым теленком! – воскликнула она. – Прочти письмо. Но не сейчас! – Она обняла его за шею и прижала к себе. – Прочти завтра, когда к тебе вернется хорошее настроение, иначе будет жаль. – Она прижала руку к его губам. – Что с твоим коленом?

– А что с ним может быть?

– Вот видишь. Мы тебя вылечили.

– Действительно, – сказал Зуттер.

– Лео тебя обследует, у нее для тебя поручение. Будь умницей. И не надо быть таким серьезным! – засмеялась она и легонько ткнула его между ног, туда, где уже безвольно висело его мужское достоинство. – Я вернусь, и мы с тобой сделаем ребенка.

Она притянула его упирающуюся голову к себе и прошептала на ухо, в котором шипело и пощелкивало ее дыхание:

– Я хочу от тебя ребенка, ты еще молодой мужчина. Но, – отодвинулась она от него, – тебе придется закрыть коровник.

– Коровник, – озадаченно повторил он, слушая, как замирают в коридоре ее легкие шаги.

Кто в теперешней Академии, прежнем пансионате Бацделль, между завтраком и началом заседания (в половине восьмого) выглядывал в окно, чтобы узнать, какая ожидается погода, и предпочтительно бро-

сал взгляд в сторону Малойи, где нередко над краем долины имели обыкновение накапливаться зловещие тучи; кто затем критически оценивал освещенность и видимость на вершине Марньи – с невозмутимостью наблюдателя, которому предстоит остаться в четырех стенах бывшей гостиницы, а не взбираться на скалы; кто, стало быть, позевывая, ждал у окна готовности желудка к перевариванию и позволял себе тайком выкурить сигарету, чтобы через пару минут рассказать свою историю; кто даже при недостатке времени не лишал себя удовольствия полюбоваться местностью, заслуженно воспетой Ницше, тот в четверть восьмого мог увидеть удалявшегося по полю одинокого человека.

И если бы позже кто-то спросил не только о времени, но и о том, как этот человек выглядел и что нес, – полиция, как и семинар в Академии, интересуется подробностями, – то он узнал бы, что речь идет о пожилом человеке в желтом вельветовом костюме и желтых туристских ботинках, оказавшихся потом всего лишь кроссовками, в кепке с козырьком, уже изрядно поношенной, и с рюкзаком оливково-зеленого (или защитного) цвета.

Молодая сотрудница Академии утверждала, что увидела его, еще когда ехала в машине, и что он нес рюкзак не на плечах, а спереди, как парашют. Судя по всему, он готовился к восхождению средней сложности, но, тут же подумала она, в одиночку ему его не совершить. Обувь, на ее взгляд, тоже никуда не годилась. Кроме того, ее насторожило, что свой провиант или еще что-то он нес в неудобной пластмассовой сумке. Молодая, спортивного вида дама все это "взяла себе на заметку", хотя от нее этого никто не требовал; ее способность регистрировать в уме увиденное зачтется ей позже. Слегка неуверенную походку "старика" она приписала неравномерному распределению груза.

Чтобы обратить внимание на другие странности этого человека, например на заметную одышку или на возможную близорукость, нужно было столкнуться с ним "в пути" или "вблизи того места", чем и воспользовались другие свидетели, в этот ранний час совершавшие пробежку. По их общему мнению, походка мужчины была и впрямь неуверенной, но шел он в хорошем темпе. Потом гонг позвал свидетелей заняться тренировкой своего собственного дыхания или упражнениями в медитации, благодаря которым можно было даже indoors[1] "снова ощутить себя".

Зуттер дошел до защищенной деревьями площадки для отдыха рядом с лодочной станцией, у причала которой швартовался "самый высокий прогулочный катер в Европе"; правда, в это время он еще не курсировал. Несколько лет тому назад Руфь и Зуттер предприняли на нем короткую прогулку, в такой же облачный день, как этот. Время от времени они поднимались на палубу, чтобы поговорить со шкипером, и при этом промерзли до костей. Зуттер расспрашивал неразговорчивого шкипера о планах реконструкции "Альпийской розы", давно отслужившей свой срок гостиницы, разорившейся и уже почти выпотрошенной; она уже несколько лет пустовала у входа на Плаун да Лей. Теперь из нее хотят сделать образец рафинированного гостиничного бизнеса, здесь станут продавать квартиры в долевую собственность тем, кто больше заплатит и кто будет приезжать сюда на определенное время. Зуттер дал волю

1. Не выходя на улицу (*англ.*).

своей не знающей удержу стариковской фантазии и попытался осторожно настроить на соответствующий лад и Руфь, так как без ее унаследованного состояния об этом и думать было нечего. Однако Руфь вышла на палубу одна и, прислонившись к перилам, подставила лицо предзимнему ветру. Тогда о ее болезни еще не было речи, но она могла простудиться; чтобы предотвратить это, Зуттер молча подошел к ней и набросил ей на плечи свою штормовку.

Теперь он отвязал выкрашенную в голубой цвет лодку, подтянул ее к песчаной отмели, вошел в нее, положил сумку и снял рюкзак: надо было отомкнуть замки на цепях, которыми шкипер закрепил весла. Одним из весел Зуттер оттолкнулся от берега. Когда лодка начала покачиваться на волнах, он вложил оба весла в уключины, взялся за рукояти и начал — первое время неловко — грести. Скоро лодка вышла на открытую воду, он надел ремни рюкзака и с растущей уверенностью почувствовал, как, гребок за гребком, сопротивляется веслам вода; греб он сильно, но без напряжения, поднимая все меньше шума.

Он сидел на веслах спиной к направлению движения, но одного взгляда через плечо было достаточно, чтобы увидеть: водная гладь впереди была пуста. Холодная и прозрачная, как стекло, она расстилалась под мягким светом, источник которого, закрытый неподвижными облаками, угадывался над массивом Корвача. Чем дальше отплывал Зуттер от врезающегося в озеро полуострова, тем ощутимее становились короткие, тупые удары волн о борт лодки, тем сильнее чувствовал он разгоряченным от непривычной работы, вспотевшим лбом порывы ветра. Место, где собирались тучи, было у него за спиной, но над краями гор, обрамлявших долину с северо-востока, пробивался солнечный свет, слабый, но ясный и прозрачный, словно во сне. Размеченные трассами валунов склоны с левой стороны долины и смутно обозначенные вершины за ними улавливали утренний свет и начинали менять свою темно-фиолетовую окраску, там и сям прочерченную прожилками снега, на нежную лиловую, плавно переходившую в теплый желтовато-коричневый цвет альпийских лугов и во все более сочную зелень хвойных лесов. Полуостров был освещен только местами, но над равниной уже мелькали, словно раздуваемые ветром и тут же снова исчезавшие, блуждающие солнечные зайчики.

Зуттер вряд ли мог точно назвать место, куда он плыл, но был уверен, что оно само откроется ему. В лодке его не покидало ощущение расстилавшейся под ним глубины. Он предполагал, что она будет достаточной вблизи резко вздымающейся вверх скалистой гряды с левой стороны, на самой ее вершине стоял "Вальдхаус", окна которого игриво поблескивали в свете начинающегося дня. Он надеялся, что потеряет его из виду, если возьмет круче влево, к темнеющему уступу.

В очередной раз бросив взгляд через плечо, он обнаружил еще одну помеху. От Изолы в открытое озеро двигался красно-желтый парус виндсёрфера. Он летел, совершая неожиданные повороты, потом маленький треугольник на мгновение исчез, словно проглоченный волнами, чтобы вынырнуть снова, как показалось Зуттеру, уже ближе к нему. Он отчетливо видел тоненькую, похожую на насекомое фигурку у шеста, которая, широко расставив ноги и низко наклонясь к воде, тянула на себя вырывающийся парус, стараясь придать ему новое направление. Становилось все очевиднее, что целью была лодка Зуттера. Управлявший па-

русом человек пользовался посвежевшим ветром, чтобы быстрее настичь лодку.

Не желая этой встречи, Зуттер круче принял влево в поисках укрытия за маленькими островками, что часто попадались в дельте перед Изолой. Но так как гряда леса за ними отступала, то, надо думать, и глубина озера становилась все меньше. Волнуемая ветром водная масса стала походить на светлый купорос; черные полосы в ней говорили о покрытом растительностью дне и предупреждали о песчаных отмелях. Избавляться от своего груза здесь Зуттер не хотел. Но более глубокое место грозило встречей с существом из другого мира, которое без устали выписывало свои пируэты на поверхности озера. Надо было выйти из гостиницы как можно раньше, чтобы в этот единственный раз оказаться на озере одному. Теперь же у Зуттера было такое чувство, что его принуждают — к осторожности или, что еще хуже, к спешке.

Он опустил весла и перевел дыхание. На вполне приемлемом расстоянии слышался шум моторов. Откуда-то появился вертолет: должно быть, срочно доставлял в клинику больного и перевозил валежник. Над Малойей неподвижным языком повисла туча, лишь ее самый верхний край трепал и завивал ветер, и на этих завитках мелькали слабые блики солнечного света.

Тем временем виндсёрфер исчез из вида. Зуттер бросил весла и, балансируя, прошел к корме. Встав на колени, он развязал рюкзак и вытащил из него тяжелый джутовый мешок с парой десятков камней. Он сунул руку в мешок, словно собирался тянуть жребий, и его рука нащупала три легких шара из хвойных иголок; он осторожно провел пальцами по круглой, чуть колючей поверхности и только потом один за другим вынул шары и положил их на свободное место между шпангоутами, где плескалась просочившаяся в лодку вода; отсюда они никуда не укатятся. Потом снова сунул руку в мешок, наткнулся на камень, ощупал его и вытянул к свету. Ребристый, величиной в половину кулака, он поблескивал своими темно-зелеными, почти черными гранями, словно кусочек застывшего потока. На вес он был довольно тяжел и казался обработанным, но поверхности были на ощупь гладкими, как шелк, точно их плавили в огне. Наверно, какой-нибудь первобытный охотник нашел его точно таким же и сдирал им кожу с животных или заострял стрелы. Зуттер опустил камень обратно в мешок.

Лодка покачивалась на волнах, и Зуттер почувствовал, что незаметно подкравшееся головокружение становится все сильнее; надо было кончать задуманное. Он открыл мятую пластиковую сумку и еще раз оглядел блестевший в глубине светлый ящичек. “Раньше они заказывали свинцовые гробы, Руфь, теперь мы хороним со скидкой в 60 процентов”. Он закрутил сумку так, что стали неразборчивы надписи на ней и она плотно облегала деревянный ящичек; затем зажал зубами крепко скрученную горловину, затянул ее — дважды и трижды — заранее приготовленным шнуром из кокосового волокна и только потом перевел дыхание и завязал узлом; как только он это сделал, верх сумки раскрылся, словно искусственный цветок. Он с трудом поднял сверток — видимо, из-за дрожи в руках — и положил его в джутовый мешок; сверток плотно лег на основание из камней. Сверху осталось еще достаточно места для трех сильских шаров, он положил их на ящичек и убедился, что они не пострадают, когда он закроет мешок.

Из наружного кармана рюкзака он вынул золотые карманные часы на длинной цепочке, когда-то их носил дедушка Руфи. Они давно уже не ходили, и Руфь поставила стрелки на время своего рождения: 11 часов 17 минут. Утра или вечера? Леонора составила Руфи гороскоп. Смерть в нем не предусматривалась. Зуттер постоянно путал дату рождения Руфи, но она только смеялась: "Ты не помнишь и своего собственного". Но дедушкины часы должны указывать минуту, на это они еще годились. "Теперь, Зуттер, я родилась навсегда".

Зуттер отделил часы от цепочки и положил их между сильскими шарами. Он взвесил на руке тяжелую серебряную цепочку. "Сейчас я завяжу мешок, Руфь, завяжу узлом, который время не скоро развяжет".

Зуттер с усилием поднял мешок и перевалил его через край лодки; груз тут же потянул его за собой, но едва он коснулся поверхности воды, как тяга ослабла настолько, что Зуттер, пошатываясь из стороны в сторону, мог удерживать его в руках. "Руфь, ты первая, ты последняя. Не возвращайся, побереги потусторонние силы. Мы сделаем по-другому. Тебе еще предстоит кое-что узнать".

Зуттер перестал судорожно напрягать ноги, они покачивались в такт волнам и почти без его участия принялись слегка пританцовывать, не ощущая тяжести тела. Перед ним с неописуемой ясностью расстилалась водная гладь, поднимаясь на фоне Малойи так высоко к небу, что, казалось, она сливалась с ним. Стояла полнейшая тишина. За крутыми уступами Марньи ландшафт как будто обрывался, вдали, из-за размытого горизонта, выглядывали только несколько как бы плывущих вершин. Но и они, несмотря на холодный день, все еще несли на себе следы безоблачного юга, к которому они стремились, оставляя за собой залитое совершенно прозрачным светом высокое зеркало воды и прощаясь с ним.

Почти озорно перегнувшись через край лодки, Зуттер крепко держал мешок за цепочку, проверяя, не ослаб ли под тяжестью груза узел, распушившийся короной из джута. Он видел, как темнеет, набираясь влаги, и расширяется мешок, так как не все в нем хотело сразу погружаться на дно. "Ты всегда хорошо плавала, Руфь, лучше, чем я. В море, на озере или в бассейне — каждый раз ты без усилий уплывала от меня, пока я молотил руками по воде, точно дрова рубил. Погружайся легко, Руфь, но надежно".

Зуттер откинулся назад, держа мешок в воде; побелевшими пальцами он раскачивал его вдоль борта, словно пакетик чая, чтобы напиток получился крепче. Вперед, назад, груз в его руке получил нужное направление, и Зуттер отпустил его.

Он смотрел вслед мешку, который тонул без промедления, но и без спешки. Над ним сомкнулась неопределенность. Зуттер поднял рюкзак и просунул руки в лямки, не забыв предварительно закрыть все карманы. Потом сел на край кормы и повернулся так, чтобы ноги свисали к воде. Затягивая лямки на груди, он почувствовал ледяной холод воды, медленно проникавшей сквозь кроссовки и носки. Потом появились пузыри.

Зуттер удивился, этого он не ожидал. Однако все было более чем естественно. Целые гроздья пузырей поднимались на поверхность и лопались в воздухе с едва уловимым треском. Вот еще один, и еще, а следом вынырнул совсем маленький.

Легкая буря, идущая из глубины, казалось, утихла, но Зуттер все еще не падал. Он ждал, не спуская глаз с воды. И они появились, редкие, по отдельности, их можно было сосчитать. Вдруг всплыл целый венок пузырьков, скромный букет под занавес, он на несколько мгновений задержался на поверхности, прежде чем исчез; словно это был другой воздух, который кто-то задержал, чье-то дыхание.

— Так тому и быть, — были его последние слова.

Послесловие

Будучи несколько лет тому назад гостем редакции журнала "Иностранная литература", Адольф Мушг, безусловно, крупнейший из ныне живущих швейцарских писателей, говорил не столько о своих творческих планах, сколько о проблемах, с

Адольф Мушг в редакции журнала "Иностранная литература"

которыми на пороге нового тысячелетия столкнулась его родина — маленькая нейтральная Швейцария, столь благополучно по сравнению с другими странами Европы — и не только Европы — прошедшая через искусы, испытания и беды XX века. Но благополучие, особенно если оно достигалось путем компромиссов, рано или поздно должно было обернуться изоляцией и разобщенностью. "Я считаю, что сейчас Швейцария греховна, и главное ее грехопадение произошло в XX веке, — утверждал писатель. — ...Сладкая жизнь для Швейцарии кончилась. Пришло трудное время разобраться с собой".

Собственно, писатель и публицист Мушг и разбирается, причем разбирается уже давно — и со страной, и с собой. Но разбирается, как правило, не напрямую, а через персонажей своих книг. "Если мои персонажи удаются, они способны сказать что-то и обо мне, сказать нечто новое, неожиданное, чего я и сам о себе не знал и смог узнать только благодаря этим образам", — признавался он в одном из интервью. Создаваемые писателем образы помогают ему избавиться от злости на нынешнюю ситуацию, от стыда за прошлое и страха перед будущим.

Из произведения в произведение он эксплуатирует довольно узкий круг тем и мотивов. Каждый раз он изобретает для них новую форму, каждый раз ищет — и чаще всего находит — равнодействующую между творческой одержимостью и чувством художественной меры. Найдена эта мера и в новом романе, который — с некоторыми сокращениями — мы представляем на суд читателя. Романом "Счастье Зуттера" Мушг еще раз доказал, что на сегодняшний день он — мастер психологически нюансированной, остроумно-иронической и в то же время насыщенной актуальным жизненным содержанием прозы.

Герой романа, отошедший (или отставленный) по возрасту от дел судебный репортер, после добровольного ухода из жизни его неизлечимо больной жены и неизвестно кем и почему совершенного на него покушения пытается разобраться с тем, что происходит с его жизнью и с жизнью общества, перебирает в памяти прожитые с женой годы и приходит к неутешительному, а точнее, безутешному выводу о том, что в выпавших на его долю злоключениях во многом виноват он сам. Наметившийся в самом начале детективный сюжет не получает развития и тем более завершения, да, сказать по правде, такого рода завершение оказалось бы в этом романе совсем не к месту.

"Счастье Зуттера" — не детективный, а полный глубокого трагизма психологический роман с ощутимым философским, в духе экзистенциализма, подтекстом, роман о несбывшейся любви и неизбывном одиночестве, о верности и вероломстве, об искренности и лицемерии, о старости и смерти — короче, о том, что все в этой жизни в любой момент может обернуться своей противоположностью. Прожив с женой много лет в счастливом, как ему казалось, браке, Зуттер после ее смерти с удивлением и растерянностью узнает, что за нежеланием Руфи рассказывать о годах молодости, за ее пристрастием к шутливым присловьям скрывались обман и измена. Ей с ним было удобно, она могла его выносить — только и всего. Осознав, на каком шатком фундаменте покоилось его счастье, Эмиль Гигакс, он же Зуттер, ровно год спустя на том же примерно месте и тем же способом вслед за женой кончает жизнь самоубийством.

В этом романе еще раз проявились приметы писательской манеры Мушга, делающие его прозу узнаваемой. Это прежде всего художническая смелость и бескомпромиссность, убеждение, что "искусству позволено все", отстаивание своего права не признавать запретных зон, решительно вторгаться в потаенные, нередко табуированные сферы жизни. Шокировавшая обывателя смелость в выборе предмета исследования в его прежних книгах присутствует и в этом романе — в изображении эротических сцен, в трактовке некоторых теологических и конфессиональных вопросов и т. д.

Другая не менее важная черта творческого облика Мушга, проявившаяся в "Счастье Зуттера", — идущая, видимо, от протестантской традиции въедливость, дотошность, желание докопаться до корней исследуемого явления, разобраться в существе дела. Слово "Grund" в значении "основание", "причина", "довод", "суть" — одно из любимых и часто употребляемых в его лексиконе. Доходить до самой сути, не оставлять без внимания мельчайших нюансов и деталей дела — его страсть, хотя, надо признать, писатель не тешит себя надеждой, что в один прекрасный день ему удастся добраться до первопричины, раскрыть тайну бытия или хотя бы заглянуть в потемки души самого близкого человека. Не потому ли в романе так и остаются нераскрытыми отдельные загадочные происшествия и не все сюжетные нити сведены воедино?

И, наконец, третий признак, выделяющий стиль Мушга на фоне современной немецкоязычной словесности Швейцарии, — владение словом, изящество формулировок, богатство литературных, фольклорных, мифологических и прочих ассоциаций. В романе это явное и подспудное присутствие Гуго фон Гофмансталя, скрытая полемика с Ницше, народные немецкие сказки с их мрачным очарованием и многое другое, что теперь принято называть модным словом интертекстуальность.

Именно эти качества позволили Мушгу с конца 70-х годов прошлого века уверенно встать рядом со своими выдающимися земляками — Максом Фришем и Фридрихом Дюрренматтом, а затем и продолжить блистательно начатое ими обновление швейцарской литературы. Мушга нельзя причислить ни к последователям именно Фриша, ни к приверженцам манеры Дюрренматта. Он близок и тому и другому и в то же время отличен от них. С первым его роднит интерес к страдающей, сомневающейся в себе и других личности, со вторым — сарказм, склонность к пародированию, отсутствие даже намека на "провинциальную застенчивость". Вот только встать на уровень достижений своих великих предшественников в области драматургии ему, несмотря на все попытки, так и не удалось, хотя, надо признать, мастер диалога Мушг отменный: чтобы убедиться в этом, стоит перечитать полные разящей иронии сцены бесед Зуттера со своими оппонентами — другом-богословом Фрицем, лечащим врачом, полицейским чиновником, социальным работником, больничным священником и т. д. Вереница этих персонажей словно для того только и нужна, чтобы Мушг мог продемонстрировать свое умение создавать напряженные драматические ситуации. Исчезая со страниц романа, эти персонажи все же оставляют в нем запоминающийся след, добавляют яркий штрих к картине той жизни, из которой по доброй воле уходит отчаявшийся обрести почву под ногами Зуттер.

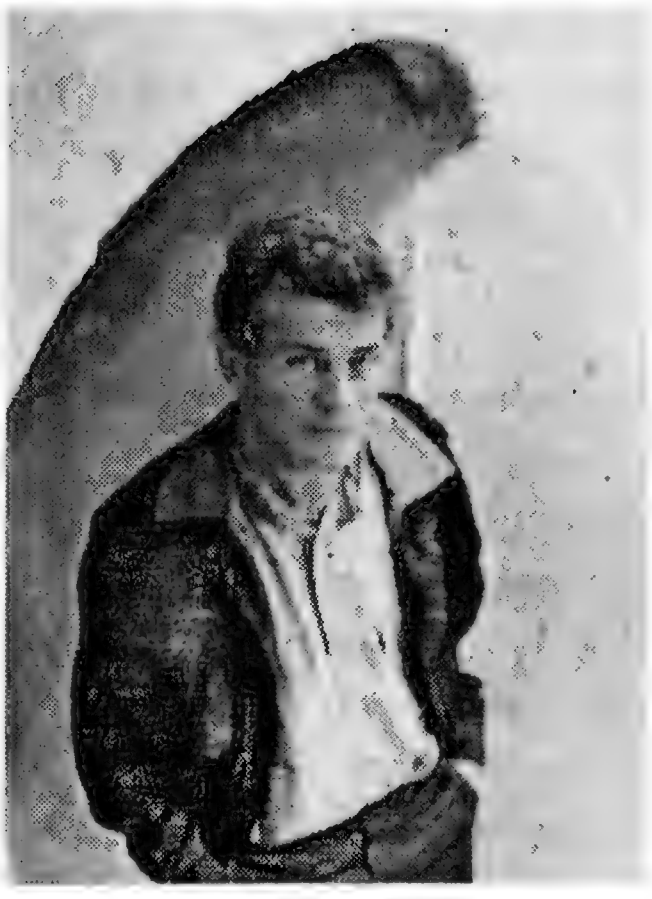
Герой Мушга окружен людьми, которые вроде бы искренне желают ему добра, но помочь — а сделать это можно, только избавив его от одиночества, — не способны. Жить, держаться на поверхности помогала ему только покойная жена, строптивая, но наделенная чувством юмора женщина; видимо, этот юмор и нравился в ней Зуттеру больше всего, так как именно юмор — вспомним книги высоко чтимых Мушгом Томаса Манна и Германа Гессе — дает шанс выжить там, где жить по-человечески, казалось бы, уже просто невозможно. Уходит жена — и обманчивое, зыбкое "счастье" Зуттера кончается. Столкнувшись с тем, что он узнал о своей жене после ее смерти, Зуттер впадает в депрессию, из которой так и не находит выхода. Супружеские отношения Зуттера и Руфи строились на "культуре дискретности", то есть сдержанности, скрытности, столь характерных для протестантской этики и морали. Супруги знали, о чем можно говорить, а о чем — как потом, задним числом, выяснилось, самом главном — предпочтительнее умалчивать. На страницах романа с настойчивостью лейтмотива всплывает немецкое слово "Anstand", которое переводится как "приличия", "хорошие манеры" и озна-

чает умение держаться, достойно переносить тяготы жизни и в любой, даже безнадежной ситуации сохранять выдержку, не досаждая своими проблемами никому, включая самых близких людей. Не случайно манера Руфи вести себя сравнивается в романе со стойкой, которую способна держать хорошая охотничья собака, легавая, не поддаваясь эмоциональным порывам, какими бы сильными они ни были. Не оттого ли в центре романа — старение и смерть, а любовь, желания, страсти оттеснены на периферию или поданы в несколько карикатурном, "дюрренматтовском" освещении?

Перед тем как уйти из жизни, Зуттер дважды падает, и падения эти обретают символический смысл. Первый раз это случается, когда неизвестно кем выпущенная пуля пробивает ему легкое (тогда-то, придя в себя, он и решает разобраться в себе и других и на время отвлекается от депрессии); второй раз он спотыкается в гостинице об урну с прахом покойной жены. "Культура дискретности" так и не позволила ему поддаться чувственным соблазнам, поджидавшим его в номере в образе молодой привлекательной калмычки, и сохранить верность если не жене, останки которой всегда при нем, то хотя бы самому себе, своей "идентичности".

Романом "Счастье Зуттера" Мушг подтвердил верность главной, сквозной теме своего творчества. Тема эта — истощение гуманизма, дефицит искренности, участия и душевной теплоты в мире, где царят или холодный расчет, или буйство неуправляемых страстей. Он по-прежнему пишет о трагическом разладе в сфере частной и общественной жизни, о задавленных обстоятельствами и экзистенциальной виной людях, преимущественно интеллигентах. С помощью юмора, иронии, сарказма он будоражит воображение, воспитывает в читателе критическое отношение не только к выходящему из повиновения современному миру, но и к отчаянно-безнадежным попыткам человека этот мир стреножить и усмирить. Стержнем его творчества был и остается пусть и изрядно потрепанный, основательно оскудевший, временами даже как бы стесняющийся самого себя, но — гуманизм.

Альберто Несси



“В *поисках неба*”

Из стихов последних лет

Перевод с итальянского Евгения Солоновича

Не *высовываться*

Михаэлю

Не высовываться в морозное утро брр
на площади павших некто по стойке вольно
глядит на идущих к мессе на велосипедистов на даму
в спортивном костюме под пальто и на ее собачку

а в баре тем временем какой-то очкарик за столиком
говорит непонятно что шоколадным яйцам
в блестящей хрустящей обертке. Не высовываться
черный огромный камень обрушивается на меня

говорят “в восемьдесят шестом это стоило сто миллионов”
“берегись” “такие как он никого не боятся”
“вообще-то мне все равно” говорят в баре
“чао Берто, привет, чао Берто, привет, чао Берто”

и я бегу из этого края где скрывая свои болезни
девушки работали на бумажных фабриках и берегись
встречаю женщину с сумочкой мужчину разбитого параличом
и вижу все ту же дюжину чаек взмывающих в небо

© Edizioni Casagrande, 2000
© Е. Солонович. Перевод, 2002

и в роли тринадцатой чайки шляпа твоя, Михаэль,
над мусорным баком. А на бульваре Стоппа опасно
моя мать высовывается из окна кухоньки смотрит мне вслед
и все гуще толпа теней да и сам я тень разве нет

Экземпляры

Вот писатель. А кто же еще?
Ждет автобуса на остановке,
сразу видно – заядлый курильщик,
при портфеле, в котором руины.

Вот артист. Он когда-то лицом
был похож на Монтгомери Клифта[1].
Нынче любит пасьянсы раскладывать в кухне.
Иногда по ночам возникает в окне
божеством в полусумраке ниши
из компании римских божеств
школьник пятидесятых годов на экскурсии в Риме.

Вот певица. В дождливые воскресенья
позволяла себе прокатиться в Ла Скалу,
где покажут уборные звезд.
Родила от какого-то гастролера.
Продает теперь маски и кукол.

Памяти Элены

Ты только косвенно виновата
в том что я вспоминаю сентябрьский день
близость которой не было станционный тупик
в нем на рельсах вагон ржавого цвета.

Удивленные шаги на тропинке
ты бледнее обычного дело в тебе и во мне
нелепая девочка и такой же нелепый мальчик
в поисках слова в поисках запаха в поисках неба

под которым любить друг друга:
если я поворачиваю калейдоскоп неподвластных смерти
всё возможно, всё, я – Рембо,
товарный вагон – наш единственный шанс для побега.

1. Монтгомери Клифт (1920–1966) – американский актер театра и кино.

Ноктюрн

Больше нет больше нет больше нет
повторяли нахохлившись птицы
долгой ночью в моем тумане
поощряемые тишиной, больше нет.

Больше нет ни Ренато ни Марко
ни Лоренцо назад не вернутся ребята
больше нет ожидания лета
путешествий в зеленую сказку.

Ночь застыла на грани желанья
и неловкости, ты спала я не спал
не до сна снова оползень перед глазами
без разбора сметающий все на пути.

Ни друзей ни подруг из тогдашней компании
только прах, больше нет
отраженья внезапного счастья
пусть хоть в капле июньской росы, больше нет.

Ежевичный свет

Славяне турки филиппинцы португальцы
кто эти люди для которых воскресенье
возможность мяч под вечер погонять
без криков обязательных для наших

потанцевать под окнами немного
при ежевичном свете февраля
что свалку обнажил на дне оврага.

Песня

Кто решится промедлить на пороге
безболезненно? Кто стать деревом
опалившим осеннее небо?

Насовсем и по-прежнему небо
далеко, когда застыв на пороге
сквозь друг друга смотрим а дерево деревом

держит путь в новый день и над деревом
открывается новым упреком небо
застигнув нас все еще на пороге.

Бессмертный

Быть может, имя девушки, как было,
так и сегодня есть на камне в школьном
дворе. А почему бы нет? Под дальним кленом
ее глаза перенимали свет
у перелесков и у птичьих перьев,
пока вслепую ангел пролетал
над косогорами, над полутрупом,
держащимся за стену, — доискался
забвения в вине.
Я был бессмертным.
“Мы вроде вон того гнилого винограда”, —
витийствовал рабочий в остерии,
и с ветки падал лист, за ним другой,
но я недаром написал на камне
то имя, значит — умереть не мог.

Фабио Пустерла

“Мы были здесь”

Из стихов последних лет

Перевод с итальянского Евгения Солоновича

Отель “Palace Beach”

“Комо-Эрба, Эрба-Комо, сколько раз туда и обратно,
пешком, на своих двоих, не то что теперь, с такими ногами,
после того как шлепнулась, дура такая, на кухне: бац!
И лучше не делается ничуточки; доктор сказал, надо
привыкнуть,
доктору виднее, вот я помаленечку и привыкла; а тогда —
с теми документами в лифчике, скорая на ногу, точно лань.
Если б меня остановили, конец. И меня остановили, но
виновата
чертова завистница, которая приходила и ела от пуза,
а потом донесла на меня — мой отец был сержантом
и мы не нуждались. И еще я была красивая девушка,
и немцы заигрывали со мной, понятное дело.
Если бы фрицы знали, что там как раз, куда они смотрят,
спрятаны документы, листовки, имена.
Смотреть, но не трогать, говорила я, и они смеялись. *Ja, ja.*
Как-то раз, несколько лет назад, я видела одного,
он был начальник у них и допрашивал меня в тюрьме,
и вот приехал на море, я его видела. Он спросил: что вы
смотрите на меня,
что это вы так смотрите?

© Marcos y Marcos, 1999
© Е. Солонович. Перевод, 2002

А потому смотрю, что много лет назад вы меня арестовали,
говорю. Потому что немцев тут и сейчас хватает,
едут в отпуск. И наших фашистов тоже. Неужто не знали?
А чего это вы все время ходите с книгой и пишете на
листочках?
Сочиняете стихи?"

Гротеск № 3

Турин–Франкфурт[1]

Обломки. Девятый вал?
А что? Похоже на это.
Плавает круглый стол.
Рюмки после фуршета.

Книги вблизи и вдали,
вдохновений разводы.
Шлепанцы, пьяные корабли,
метафоры, переводы.

Клей аллегорий размок,
и от таких аллегорий
рыб и моллюсков мор
косит. Мертвое море.

Глубокомысленный спор
ведут журналисты и критики.
Свидетели катастрофы –
зеваки, туристы, политики.

Тем, что придут

Судя по ходу времени, все более скорому,
если вы и посмотрите в нашу сторону,
с высоты ваших светлых времен, это будет похоже на то,
как смотрят вниз на дорогу, не помня, что шли по ней, –
вы нас не увидите за пеленой тумана.
Но мы были здесь, охраняли голос.
Не каждый день и не каждый час,
иногда, лишь когда удавалось
или казалось возможным
собраться с силами.
Мы выходили за дверь,
безотчетным зудом влекомы,
оставляли свои хоромы
и снова пускались в путь – все равно куда.

1. Автор имеет в виду ежегодный Книжный салон в Турине и Международную книжную ярмарку во Франкфурте. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Летние заметки

Светляки? Кто их так называл? Это зеленожопка
светилась в июньских кустах.
Можно было взять ее в руку,
подержать, неподвижную, на ладони,
издающую свет. А трава? Что сказать
о первой траве? О ручье?
О воде-невидимке, журчащей неподалеку?
Долины дышат покоем
среди гор, травяной ковер.
Названья животных: лиса, куница.
И рожь не забыть, когда ветер
чуть колышет, зыбит ее, и над рожью
шелест ночной пролетает, дальний призыв
домов, где уснули дети.
Да, и рожь, и вода, и редкие огни — узелок на память.

Мерцание

I

В этой отчаянной зимней пустыне,

когда земля извивается в корчах
и к закату близится то, что иной именует веком,
а иной, с беспричинной гордостью, тысячелетьем,

и господин Swatch[1] предлагает новинку —
всемирное революционное время,
членящее день на тысячи равных для всех единиц,

в результате чего все наконец окажутся в рамках
пунктуальности, в сети, в мешке, в узде,
в беде, благополучно лишенные времени или прошлого,

тщетно тяготеющие к виртуальному
глобальному будущему, этому призраку,
благодаря которому бремя настоящего станет легче, —

в этой отчаянной зимней пустыне

моя тугоухая девяностодевятилетняя бабушка
Идельма Форменти Буссолини,
обманув бдительное око, оказалась на балконе

и оттуда смотрит и комментирует.

1. Марка швейцарских часов.

II

Впереди
на фоне неба она обнаруживает кварталы,
окна и женщин в них, ей неведомы их имена,

огорчения, радости; движенье
недоступных ее пониманию сверхскоростных поездов,
магнитные карточки не толще облатки,

тарелки антенн, кабели в пестрой обмотке; и выше,
на экране перистых облаков, среди шлейфов
аэробусов и спутников,

может статься, ей видятся черно-белые кадры
ее, не чужого, века: дроги с гробами
на улицах Лугано — ее Лугано,

отец, знавший толк в хорошем вине и сыре,
скупость богатых, часы с пружиной
в разобранном и собранном виде, запах земли и куры;

Радамес, Риголетто, температура под сорок,
тиф, две войны, дядя Лампо,
Бергамо, трансатлантические пароходы и грыжа,

кафе под луной, границы, паника, беженцы
и вереница лиц,
теперь уж забытых и безымянных.

III

Ей не по себе одной на балконе; она не читала
Эзру Паунда, а если б читала, вообразила
себя Эзрой Паундом, смотрящим сверху на Пизу,

но это всего лишь она —
осколок прошлого, ящерка,
слишком старая, чтобы скользить по стене.

И она несет несуразицу.
Пугает соседей.
Кричит в пустоту.

Петер Биксель
Швейцария глазами швейцарца

Перевод с немецкого Анатолия Егоршева

Я – швейцарец.

Стоит сказать маме, что я еду в Германию, во Францию или, положим, в Швецию, как тут же слышу в ответ: "Так-так, сынок, едешь, значит, за границу".

Для моих соотечественников мир делится на две части: Швейцария и заграница. Когда я туда отправляюсь, мама говорит: "Смотри, чтоб не украли чего, чемодан из рук не выпускай".

За границей швейцарцы носят кошелек за пазухой, а то и зашивают свои франки в белье.

Слово "заграница" для нас все еще сродни выражению "нагота и босота".

Представившись за границей швейцарцем, я замираю в ожидании возгласа удивления, хочу встретить взгляд, полный радостного изумления, глубокого уважения или, по крайней мере, непритворной приветливости.

В Берлине мне часто приходилось пересекать границу между западной и восточной частью города. Чувство, которое я при этом испытывал, на других границах приходится вызывать в себе чуть ли не силой: ощущение иного мира, неизвестность, опасение чего-то...

На этом контрольно-пропускном пункте всегда было много моих земляков. Я с ними не заговаривал, они тоже, и тем не менее было ясно, что это швейцарцы. Сначала я не задумывался над тем, по каким признакам узнавал их. Просто казалось, что так могут выглядеть только они. Различить людей других национальностей было, во всяком случае, трудней. Однажды я решил понаблюдать за моими соотечественниками повнимательнее и на себе убедился в правильности своих выводов.

Люди других национальностей достают паспорт в двух-трех шагах от пограничника и подходят, держа его в руках неприметно, даже небрежно. Швейцарцы предъявляют свой паспорт – красный с белым крестом – так, чтобы он был виден всем. Они несут его как щит: само звание швейцарца должно уберечь их от опасностей и дать определенные преимущества; даже при быстротечном контакте с восточногерманскими полицейскими, коих они отнюдь не причисляют к своим друзьям.

Я – швейцарец. Это звучит гораздо весомее, чем просто ответ на вопрос: "А откуда вы?".

Незнакомец должен сразу почувствовать, чем занимается швейцарец и насколько он преуспел в своем деле. Ему как бы говорят: "Я – легкоатлет", "Я – боксер" или, к примеру, "Я – физик".

Успех обеспечен: незнакомец выражает свои эмоции, как минимум, восклицанием: "О, Швейцария! Дивная страна!.."

Швейцария – дивная страна!..

Для нас это не только комплимент. Таково наше глубокое убеждение. Слыша подобные восторги, мы думаем о чем-то неизмеримо большем, чем ландшафт, а если и думаем о

© 1969, 1989 by Arche Verlag AG, Zürich
© А. Егоршев. Перевод, 2002

чудесных пейзажах, то и их воспринимаем как наше достижение.

Некий учитель-энтузиаст читал лекцию о Швейцарии с показом слайдов и вспомнил, как однажды сказал знакомому уроженцу Южной Франции: "Ваш край фантастически красив!" На что тот ответил: "Э, нет, это ваша Швейцария фантастически красива!" Потрясенный таким открытием, учитель с тех пор свои отпуска проводит только в Швейцарии. Нужен, как видим, сущий пустяк, дабы убедить швейцарца в том, что ему давно известно.

Не составляет труда доказать, что мнение, будто в Швейцарии живут люди сплошь нечистоплотные, глубоко ошибочно. Столь же легко опровергнуть заявления о том, что Швейцария страна несвободная, отсталая, реакционная, ибо мы убеждены: понятие "Швейцария" изначально включает в себя понятия свободы и прогресса.

Оброненную кем-нибудь фразу, что у Швейцарии за рубежом подмоченная репутация, мы расцениваем как чрезвычайное происшествие. И делаем вывод, что людям надо лучше разъяснять суть "особого пути", которым идет в своем развитии Швейцария. Следовательно, феномен этот чисто терминологический, некоторые люди просто не могут подобрать слов, чтобы определить такое понятие, как Швейцария.

В любом случае Швейцария целиком зависит от авторитета, которым она пользуется в мировом сообществе. Так же обстоит дело и с другими странами. Смущает и озадачивает лишь то, что мы неколебимо верим в нашу духовную независимость, нашу исключительность, нашу упрямую самобытность.

Будни нынешней Швейцарии неотделимы от Второй мировой войны. Не пережившему ее в зрелом возрасте трудно отстаивать свое мнение по политическим вопросам. Если участники какой-либо дискуссии спрашивают друг друга, кто в каком году родился, то именно по этой причине.

Война укрепила в нас чувство собственного достоинства. Нас не тронули, и этим доказано все: сила нашей армии, наша честность, мощь государства, прочность демократических устоев и, конечно, богоугодность наших помыслов и деяний.

Мы, швейцарцы, не любим коммунистов. Поэтому исход войны только укрепил наш антикоммунистический настрой. То, что она велась против фашистов, не имеет сегодня ровно никакого значения.

Мы убеждены, что щадящее отношение к нашей стране заслужили мы сами, что это заслуга генерала Анри Гизана[1] и, разумеется, всех швейцарцев, ибо своим поведением, боеспособностью армии и красотами нашей родины мы явно произвели на Господа Бога весьма благоприятное впечатление.

Во время войны Швейцария была раем. Само ее название звучало магической формулой для гонимых и преследуемых, она была их землей обетованной. Наша природа виделась страждущим райскими кущами. Швейцарское государство и швейцарский ландшафт казались им нерасторжимым целым, в чем, кстати, убеждены и мы сами.

Поскольку единство Швейцарии красивой, Швейцарии доброй, Швейцарии прогрессивной и Швейцарии гуманной есть нечто само собой разумеющееся, то критику отдельных ее частей мы всегда воспринимаем как посягательство на целое. А потому любой критический анализ начинается у нас с уверений в приверженности целому.

Тягу к социализму и всеобщую стачку в начале века многие швейцарцы по-прежнему расценивают не как критику частного, но как деяния и устремления антигосударственные. Хотя Социалистическая партия[2] с тех пор выросла и стала благоразумнее, никто не отождествит швейцарца с социалистом. У социалистов галстук не совсем в тон костюму — вот и вся их оппозиционность.

Мы — страна буржуазная.

1. Командующий швейцарскими вооруженными силами в 1939–1945 гг. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Автор имеет в виду Социал-демократическую партию Швейцарии.

То же самое можно выразить и позитивно, сказав: мы — страна истинных граждан[1].

Швейцарец считает, что он интересуется политикой. Он совершенно искренне убежден, что сам формирует свои политические взгляды и не поддается никакому влиянию.

Но в политических спорах у нас явственно ощущается склонность к морализму. Что правильно? Что ложно? Что служит делу? Что ему не служит? Так вопросы не ставят.

Ставят так: что пристойно? что непристойно? что нравственно? что безнравственно? Именно с этих позиций начинается борьба с политическим противником. Оппозицию уличают не в ложности ее доктрины, не в идейных заблуждениях — в аморальности.

Замечание "Так делать не принято" нанесет ей куда больший урон, чем любые аргументы.

Мы — страна свободы и вместе с Шиллером и прочими иностранцами убеждены, что завоевали свободу революционным путем.

Это неверно. Мы вовсе не страна революций и никогда таковой не были.

Но сами мы верим, что Швейцария страна типическая. Просто мы прибавляем к нашему представлению о Швейцарии все то положительное, что о ней говорят, и привыкли смотреть на Швейцарию глазами иностранных туристов. Средний швейцарец видит Швейцарию такой, какой ее видит средний англичанин.

Наше представление о нашей стране — импортный продукт. Мы живем в созданной о нас легенде.

Мы реакционны.

Вся наша история — это реакция на заграницу.

Рудольф Габсбург[2] был прогрессивно мыслящим правителем. Но обитатели лесных кантонов хотели, чтоб все и впредь было так, как было всегда. И восстали они не против многолетнего гнета, а против новшеств, нововведений. Не революции формировали нашу страну, а реакция.

Сделав консерватизм и умеренность принципом, мы жили неплохо. Поэтому, наверное, и совесть наша нечиста. Поэтому мы постоянно и пытаемся представить события нашей истории как революционные, героические, идеалистические.

Мы верим, что идею свободы принесли в мир именно наши предки. Правда, легко доказать обратное, если вспомнить, что своим подданным они роздыху не давали.

Предки стойко оборонялись от чужеземцев, вот и все. Мне приятно сознавать, что без особых романтических затей и при всей их неуклюжести и неповоротливости они сумели создать некое подобие государства. Пожалуй, даже некий образец. Мы же считаем, что ярчайшим образцом должна служить вся наша полная героического пафоса история. И мир верит нам, верит в подвижников и мучеников свободы. А вот я почему-то не верю, что наши пращуры были людьми более идеальными, чем мой сосед и я.

Нашей стране, наверное, 120, может быть, 150 лет[1]. Все остальное — предыстория, когда мы больше думали о защите границ, а не о самой стране.

Важнейшее событие этой предыстории — завоевание независимости[2]. Однако независимость — еще не сво-

1. Употребленное здесь слово "Bürger" многозначно: 1) гражданин, 2) горожанин, 3) буржуа, 4) обыватель.
2. Рудольф I (1218–1291) — германский король с 1273 г., первый из династии Габсбургов.

1. Очевидно, автор ведет свое летосчисление от Венского конгресса (1814–1815), восстановившего независимость Швейцарии после наполеоновского вторжения и признавшего ее "вечный нейтралитет", и победы буржуазно-демократических сил в 1848 г., в результате которой из непрочного союза кантонов Швейцария стала конфедерацией с централизованным государственным аппаратом.
2. В ходе развернувшейся с середины XIII века борьбы с Габсбургами лесные кантоны (Швиц, Ури, Унтервальден) заключили между собой в августе 1291 г. "вечный союз", заложивший основы Швейцарской конфедерации как фактически самостоятельного государства в рамках Священной Римской империи.

бода, есть страны независимые, но отнюдь не свободные.

Тем не менее именно независимость послужила фундаментом, на котором было построено государство. К тому факту, что оно стало свободным, Вильгельм Телль мало причастен, Винкельрид[1] почти непричастен, зато весьма причастны либералы первой половины XIX столетия. Им я обязан моими личными свободами. Они добились их провозглашения, преодолев все преграды, будь то откровенная обструкция или мнение большинства. Они отстаивали саму идею государства, а не только экономические интересы. Быть демократом для них значило сообща строить государство, а не извлекать из него личные выгоды.

Потомки людей 1848 года назвали бы их решительными, не ведающими сомнений, ведь либералы были оппозиционерами, реформаторами, "левыми". Они создали конституцию Швейцарской Конфедерации.

Но потомков у них нет. На 1848 год никто не ссылается. Взывают по-прежнему к духу 1291-го. Мы по-прежнему держимся за Телля. Ведь память о нем нас ни к чему не обязывает — кроме как к защите суверенитета.

1848-й обязал бы нас крепить государство, быть открытыми и отзывчивыми.

Бряцать оружием и хвастать своей силой, что столь характерно для нашей предыстории, впечатляет нас больше, нежели политические достижения либералов.

Многие швейцарцы, похоже, и сегодня еще не испытывают особых симпатий к 1848 году. И неудивительно, ведь в 1848-м многие чувствовали себя несчастными только потому, что им пришлось жить в этом году.

Поэтому швейцарец убежден, что свободу защищает и гарантирует не государство, но армия. Это печально, ибо армия может отстаивать только независимость. Свобода же есть достижение политическое. А независимость — ее предпосылка, не более.

Школьная история сплошь и рядом говорит о военных достижениях. Наверняка простоты ради, ибо рассказывать о войнах проще. Политика слишком сложна — оставим ее.

А сами останемся с Теллем, Винкельридом и позаботимся о том, чтобы о Мунцингере[1] и Штапфере[2] вспоминали пореже.

Мы считаем себя людьми трезвыми. Трезвая Швейцария была бы мне мила. Если бы и наша армия была обществом трезвенников, я бы, пожалуй, даже подружился с нею. Но швейцарец учится владеть оружием не для отражения агрессии, а потому что это интересно. Мы не считаем нашу армию чем-то необходимым и уж конечно не считаем ее неизбежным злом. Просто любим ее. Это наше национальное достояние, наш фольклор.

Трезвой армия не бывает, она всегда пьяна от восторга. Мы убеждены, что она ценный в воспитательном отношении институт и решает в мирное время гораздо более важные задачи, нежели только подготовка к отражению агрессии.

Пройдя армейскую школу, швейцарец становится взрослым. Недаром говорят, что она полезна всем и что не прошедшего ее можно сразу узнать даже в глубокой старости. Семнадцать недель ритуального мужания — вот что такое армейская школа.

В вопросах, касающихся отечества, мы так часто лжем друг другу, наверное, еще и потому, что привыкли формулировать наши суждения о нем на языке Шиллера — мы его называем "немецким литературным", — а не на наших наречиях. Стоит пере-

1. Как гласит предание, во время сражения с австрийскими рыцарями при Земпахе в 1386 г. воин по имени Арнольд Винкельрид ценой своей жизни прорвал вражеский строй, что в конечном итоге обеспечило швейцарцам победу.

1. Иосиф Мунцингер (1791–1855) — ведущий либеральный политик своего времени. Президент Швейцарии в 1855 г.
2. Филипп Альберт Штапфер (1766–1840) — государственный деятель, особенно ярко проявивший себя в Гельветической республике, созданной в 1798 г.

вести громкие фразы наших героев на диалект, и — фальшь очевидна.

Встав перед пушкой, дабы предотвратить гражданскую войну, золотурнский староста Венги, по преданию, сказал: "Уж если кровопролития не избежать — пусть я погибну первым".

По-нашему это звучит так: "Хватит!"

Правдоподобно, просто, убедительно. И нынешний градоначальник Золотурна не сказал бы иначе.

Когда разразился скандал вокруг закупки "Миражей", в газетах появился снимок комиссии, которая выступила затем со смелым отчетом по итогам расследования.

Несколько мужчин стоят на поле аэродрома и смотрят в небо. Одного помню особенно хорошо: черная широкополая шляпа, во рту сигара. Вид у всех не такой уж и умный. Это члены Национального совета[1], и тогда я негодовал, так как был почти уверен, что комиссия не колеблясь примет сторону военных и правительства. Как вскоре выяснилось — напрасно. Их отчет прямо-таки поразил меня, и я вспомнил снимок. Теперь я вижу на нем ту Швейцарию, которой даже горжусь. Это, разумеется, не вся Швейцария, но она есть.

В этой стране я живу.
В этой стране можно жить.

Тут я родился. Тут вырос. Мне понятен язык этого края. Я знаю, что такое мужской хор, деревенский оркестр[2], семейная вечеринка членов какой-нибудь партии. Мне кажется, что страстных филателистов я узнаю здесь даже на улице. Только тут я могу с абсолютной уверенностью отличить робких от видавших виды.

Тут я чувствую себя дома. И мне трудно представить, чтобы кто-то чувствовал себя дома так, как швейцарец в Швейцарии.

Я тоскую по дому. Но это тоска не по Швейцарии, а всего лишь по знакомым местам и вещам.

Швейцария мне знакома. И потому — приятна. Я знаю, как тут организована жизнь, могу понять, что происходит за ее кулисами. Знаю что почем, и мне не надо пересчитывать деньги за товары и услуги на другую валюту.

Здесь я чувствую себя уверенно, так как могу разобраться в том, что происходит. Здесь я могу отличить правило от исключений. Наверное, это и есть чувство родины. Меня не удивляет, что я люблю ее.

Да, я люблю этот край, и мне хочется быть гражданином этой страны, потому что мои конституционные права гарантируют мне, что я могу остаться тут при любых обстоятельствах.

Допустим, я — шведский гражданин, вырос в Швейцарии и всей душой полюбил этот край. Все равно меня могут выслать.

У меня же, законного гражданина Швейцарии, есть право остаться здесь. И я им очень дорожу. Иметь это право доставляет мне, кроме того, удовольствие, и я останусь здесь вопреки расхожей фразе: "Уезжай, коль тут не нравится!"

Но я хотел бы иметь право жить здесь, не чувствуя себя обязанным все время восторгаться. Я здесь не в качестве туриста и могу позволить себе не дивиться на достопримечательности, не любоваться Альпами, когда дует фён, даже назвать красивым, скажем, голландский пейзаж и не понять, что имеет в виду голландец, когда говорит: "Швейцария фантастически красива".

В нашем краю случаются большие туманы, и я страдаю от фёна. Юра и Альпы вызывают во мне прежде всего угрызения совести, потому что меня не оставляет ощущение, будто я обязан подняться на их вершины, но раз за разом откладываю это на потом. Ничто не вызывает у меня столько противоречивых чувств, как Швейцария и швейцарцы.

Все, что меня радует и удручает, доставляет удовольствие, причиняет

1. Нижняя палата швейцарского парламента.
2. Традиционные деревенские оркестры состояли из скрипки, виолончели, контрабаса и цимбал; сейчас популярен аккордеон.

хлопоты, занимает ум и сердце, почти исключительно связано со Швейцарией и швейцарцами.

Все это я и имею в виду, когда говорю: "Я — швейцарец".

Мне трудно что-то назвать типично швейцарским явлением. Вот два примера.

В своей мечтательно-романтической книге о Франции Генри Миллер замечает, что в Америке к писателям относятся довольно пренебрежительно, и рассказывает о таможеннике-французе, который выказал ему глубочайшее уважение, когда увидел в его паспорте слово "писатель". Генри Миллер видит в этом лишнее доказательство того, что Франция — страна высокой культуры. Гюнтер Грасс читал в Цюрихе отрывки из своих новых произведений. Когда он прибыл в Клотен[1], чиновник заглянул в его паспорт, потом посмотрел на писателя сияющими глазами и сказал: "Значит, вы и есть Грасс!"

Первый пример мы считаем типичным, второй — нетипичным. Почему?

А потому, что до сих пор не научились воспринимать высказывания людей как сугубо личные. За ними нам непременно видится национальный характер. О приветливом немце мы говорим: "Нетипичный немец". О неприятном французе: "Нетипичный француз".

Мы полагаем, что так же досконально знаем швейцарца, и делим все его поступки на положительные и отрицательные, то есть типичные и нетипичные. Поэтому хулиганы для нас — не швейцарцы. ("Поесть солдатского хлеба им только на пользу".) Нонконформисты — не швейцарцы. ("Пусть убираются в страны Варшавского пакта, если им тут не нравится".) "Отказники" — не швейцарцы. Кто работает с прохладцей, тоже не швейцарец. Кто не твердит с гордостью: "Я — швейцарец", и тот не швейцарец. "Истинные" же швейцарцы возмущены тем, что все эти "нешвейцарцы" тоже обладают гражданскими правами и таким образом ставят под сомнение дальнейшее существование традиционной Швейцарии.

Если бы скромные герои 1830-го и 1848 годов гарантировали дальнейшее существование традиционной Швейцарии, не было бы того, что мы называем Швейцарией.

Поскольку мы считаем себя людьми типичными и верим, что и другие нас считают таковыми, нам трудно что-либо менять в нашей жизни. Мы боимся стать нетипичными. Мысль о единой Европе, например, зазвучавшая в политических речах и у нас, нам по-прежнему чужда. Тот факт, что мы с энтузиазмом можем говорить и говорим об этом, доказывает, по сути, всеобщее неверие в ее реальность.

Генри Миллер, которого обыкновенно причисляют к космополитам за его критические суждения об Америке, тоже превращается в опасного националиста, едва начинает писать о Франции.

У каждой страны есть такие вот "зарубежные националисты". Скверный оборо́т дело принимает лишь тогда, когда мы сами начинаем оперировать их аргументами.

Среди швейцарцев есть уринцы, валлисцы (валезанцы), бернцы, цюрихцы, базельцы, романши, тичинцы (тессинцы), франко-швейцарцы, крестьяне, пастухи-горцы, рабочие, крупные предприниматели, люди здоровые и больные, уголовники и др. Это многообразие формирует швейцарца, пожалуй, сильнее, чем общая государственная политика.

У европейцев между собой, безусловно, не больше общего, чем у всех швейцарцев.

При слове "Швейцария" я думаю прежде всего о южных предгорьях Юры, кантоне Золотурн, где говорят по-немецки. Расположенные поблизости общины кантонов Берн и Аргау мне не чужие.

Когда я приезжаю в Базель, Цюрих или Люцерн, то понимаю людей еще хорошо, нахожу много общего и расплачиваюсь одинаковой валютой, — в обще́м, я еще не за границей, но уже и не дома.

1. Международный аэропорт близ Цюриха.

В кантонах Женева, Во, Невшатель и в Тессине я еще дальше от моей малой родины; на французском я говорю с трудом, итальянский вообще не понимаю. Но деньги те же, цены схожи, законы похожи, у солдат одинаковая форма.

Я рад, что тессинцы, франкошвейцарцы, романши живут общим домом. Так нам легче не дать друг другу превратиться в типичных швейцарцев.

Ясно, что, кроме языка, ландшафта и превратностей судьбы, на человека влияет государство. Значит, должно быть и нечто общее. Я не знаю, что это такое. И не хочу знать. Общее не производит на меня впечатления. Оно усыпляет, рождает ощущение непогрешимости.

Уверенность в собственной непогрешимости лишает Швейцарию воли к переменам, и мне становится не по себе при мысли, что и через двадцать лет придется жить в Швейцарии, точь-в-точь похожей на нынешнюю. Мы слишком привыкли быть музеем-заповедником. Нам нравится, что иностранцы смотрят на нас с восхищением, и те, кто рассуждает об "особом швейцарском пути", имеют в виду музей-заповедник под названием "Швейцария", демократию, которую можно продемонстрировать.

В этом демократическом государстве тоже есть привилегированные: родовую знать сменила знать денежная, аристократов потеснили парвеню. Свои привилегии они защищают, выступая против любых перемен. Любая попытка углубить демократию, считают они, может ограничить их права, любая реформа – подорвать их положение в обществе. В этом им удалось убедить своих сограждан, ибо умеренная социализация привела к тому, что и рядовой швейцарец стал собственником. Он готов защищать спекулянта земельными участками, ибо защищает таким образом и свой садик. У нас это называется терпимостью.

Мы – страна зажиточная. Бедность здесь считается пороком. По крайней мере, в ней бедняки не признаются и тем облегчают жизнь богатым. Но и богатство у нас не принято выставлять напоказ. Деньги здесь – нечто интимное, о своем состоянии не говорят.

Любому нововведению в социальной сфере объявляют войну, заявляя, что оно сковывает частную инициативу. Под частной же инициативой понимают возможность разбогатеть для каждого гражданина. Но частная инициатива – это право волков...

Тем не менее у нас любят поговорить о Bürgersinn'е. Слово, значение которого едва ли поддается определению. В прошлом оно, возможно, означало чувство локтя, стремление жить в едином правовом, демократическом государстве. Сегодня Bürgersinn – скорее соглашательство, боязнь нового, терпимое отношение к недостаткам, отказ от дискуссий по принципиальным вопросам.

Этот искаженный в своей сути Bürgersinn ведет к утрате заинтересованности в укреплении демократических основ государства. То, что заранее безоговорочно одобрено, контролировать не надо. Внутренняя политика – тема фактически запретная для нашей прессы. Газеты, как правило, ограничиваются изложением официальной точки зрения и спешат заявить о согласии с ней. Пресса у нас уже не трибуна общественного мнения.

Демократия без дискуссий – музейный экспонат. Внутренний враг Швейцарии – превратное представление о долге человека и гражданина. Защитная поза ежа – свернуться и выставить иголки – стала символом нашей независимости. Но ведь и ежу нужно развернуться, чтобы жить...

Заметки об ущербности демократии

1

Повсюду, где нет демократии, следует уповать на нее и стремиться к ней; она достойна того.

2

Это относится и к Швейцарии.

3

Демократия дана нам в представлении и есть посему своего рода культурный феномен. Ее закрепление в правовых нормах и организационных формах необходимо и желательно, но оно не может заменить культуру демократии. Без соответствующей культуры политические институты начинают развиваться сами по себе. И в результате разрушают мечты о демократии и связанные с ней надежды.

4

Почему?

5

Буржуазные идеологи издавна поносят демократию, утверждая, что она является самой лучшей из всех скверных форм государственного устройства. Такая трактовка превращает демократию в неизбежное зло или охранную грамоту власть имущих.

6

Власть имущие лишь в недалеком прошлом и лишь постепенно осознали, что демократия служит им лучше, чем феодализм. Она гарантирует, что в рамках системы у них не будет врагов. Раньше они и представить себе не могли, чтобы бедняки думали так же, как люди богатые.

7

Лишить любого властелина любых врагов — цель всех государственных систем. В этом смысле демократия не отличается ни от какой иной системы.

8

И ныне, и перед лицом истории демократия гарантирует равномерное распределение обязанностей среди всех членов общества, что делает ее удобной для правящего класса.

9

Демократия преуспела пока только в том, что наделила каждого гражданина правом на обогащение.

10

В Швейцарии демократия установлена; следовательно, стремиться к ней нет необходимости. Поэтому о демократии тут либо уже не мечтают, либо лелеют "более человечную" мечту — добиться богатства и власти.

11

Демократия означала экономический успех. И в первой половине XIX века либералы пропагандировали ее, оперируя этим аргументом. Свои обещания они выполнили.

12

На смену власти феодалов пришла власть либералов. Швейцария мыслилась как государство с однопартийной системой. Становясь членом правительства, человек автоматически становится либералом с присущим ему ощущением свободы. Вот истинная подоплека так называемого коллегиального принципа, ни единым словом не закрепленного в конституции. Выстраивая властные структуры, либералы руководствуются в основном эмоциями. Демократии удалось равномерно распределить обязанности между всеми согражданами. Власть же по-прежнему функционирует вне этой системы.

13

Находясь внутри системы, важно сделать политическую карьеру, чему прямая демократия никоим образом не препятствует. Наоборот, она облегчает такие устремления. Вследствие демократического распределения обязанностей ответственность политических деятелей невелика.

14

Политическому просвещению и обновлению общественной жизни угрожает вовсе не демократическая "усредненность", а то обстоятельство, что политики привыкли полагаться на умеренность демократии.

15

Жалобы на пассивность избирателей есть не что иное, как стенания политиков и чиновников по поводу отсутствия пылкой любви к ним. Если в голосовании участвовали 33 процента электората, то на следующий день я присаживаюсь где-нибудь у тротуара и начинаю считать прохожих, удивляясь, что накануне каждый третий из них опустил в урну свой бюллетень. Коли народные избранники и в этой цифре видят мало любви, то я спрашиваю себя: откуда у них такие претензии? Провалившийся кандидат винит нерадивых избирателей. Депутаты, чей законопроект отклонен, винят своих коллег, уклонившихся от голосования. Примечательно, что нуждающиеся в любви всегда знают, кого готовы полюбить те, кто не любит их.

16

Из-за равномерного распределения обязанностей среди населения власть становится неконтролируемой: одна ее ветвь — политическая — делает вид, будто от нее мало что зависит, а другая — экономическая — прячется за первой.

17

"Что хотят, то и творят!" Произнося эти слова, иной гражданин ложно понимает ситуацию. Политики придерживаются духа и буквы закона. И граждане в большинстве своем знают: участвуя в политической жизни, основ власти они не затрагивают. Они не могут принимать решения по вопросам, которые кажутся им насущными. То, что их угнетает, у государства не под надзором.

18

Как и в любом другом государстве, гражданину поэтому остается надежда только на немногих заслуживающих доверия политиков. Правда, в отличие от положения в некоторых других государствах эти политики испытывают здесь наслаждение оттого, что не обладают властью. Когда политика лишается властных полномочий, безвластными становятся все граждане — вернее, те из них, что не обладают в экономике никакой властью; небольшая же кучка крупных собственников обретает власть и могущество. Очень тонкое распределение "власти" между всеми гражданами есть демократическое требование,

которое, в конечном счете, препятствует соблюдению демократии.

19

Демократия, осуществляемая через прямые выборы, — пожалуй, самая идеальная из всех ее форм, однако в ней таится опасность самоустранения — как результат исключения всякой конфронтации и потери интереса к политике. В однопартийном государстве политические идеи развиваться не могут.

20

Демократизация Швейцарии давно завершена. Еще в те времена, когда у страны были совсем иные проблемы. Освободить швейцарскую демократию от ее оков невозможно. Мы в тупике. Только поэтому мы не способны реагировать на проблемы остального мира, не способны быть членом ООН, не способны вступить в Европейское сообщество — и даже не способны длительное время сохранять достигнутое нами самими, в одиночку, себе на благо. И эта неспособность не зависит от того, желали бы мы чего-нибудь или нет.

21

Ни один швейцарец не думает о демократии, когда думает о Швейцарии; он думает только о процветании. Демократия уже давно не связана в его глазах с образом Швейцарии, она всего лишь присутствует в стране.

22

Как крах реального социализма не может заставить меня отказаться от социалистических убеждений, так и из-за крушения реальной демократии я не перестану быть демократом.

Правда, нигде так не трудно уповать на социализм, как при социализме. И нигде так не трудно уповать на демократию, как при демократии.

Филипп Жакоте
Самосев. Книга вторая

Записные книжки 1980–1994

Перевод с французского и вступление Бориса Дубина

Почти полвека назад, в 1953 году, Филипп Жакоте вместе с женой, художницей Анн-Мари Эслер, перебрался в альпийскую деревушку Гриньян, где и начал вести записные книжки под общим названием "Самосев". Самые ранние среди опубликованных записей, составивших на сей день уже три томика, датируются 1954 годом, самые поздние из пока что напечатанных — 1998-м. Проза в них сменяется стихами, а часто, напротив, растет из стихов. Авторское слово нередко ответвляется от любимых цитат — из японских отшельников и арабских мистиков, старых итальянцев и современных испанцев, Гельдерлина и Музиля, Джерарда Мэнли Хопкинса и Симоны Вайль (многих из цитируемых авторов, среди которых немало наших соотечественников, Жакоте переводил).

Подобное переплетение стихового и прозаического, своего и чужого привычно для Жакоте издавна. На нем построены многие из его поэтических сборников, включая известные русскому читателю, а с середины 50-х годов поэт все чаще пишет и просто прозу — миниатюры, новеллы, даже роман ("Тьма", 1961), оставшийся, правда, единственным опытом в этом роде. Во французской поэзии такую протеическую манеру широко практиковал, например, Анри Мишо — пример для Жакоте важный. Может быть, этот не жесткий, не пафосный склад и вообще характерен для современной лирики — скажем, похожую нелюбовь к строгим и чистым жанрам последовательно отстаивает в своих зрелых книгах Чеслав Милош. Почему к этой вольной форме пришел Филипп Жакоте и чем она ему дорога?

Мне кажется, эта свобода важна для него как возможность наиболее прямой речи, постоянного разговора с воображаемым собеседником — не зря ведь "Самосев" начал писаться в горной глуши. В уединении такая связь, невидимая, но жизненно необходимая, становится ощутимей, собственный голос и ответные реплики — слышней. А писательский, как и человеческий, голос Жакоте негромок, и, если бы это слово не было для всего его облика слишком сухим и однозначным (чрезмерное ему, по-моему, вообще не очень близко), я бы сказал *принципиально* негромок. Его муза — сомнение. В заметках Жакоте о собственном писательстве чаще всего встречаются слова "трудно", "мучительно", "не уверен", "не знаю": "Оттолкнувшись от нерешительности, сделать первый шаг. Значит, опять ничего позади, поскольку все пройденное лишь парализует? Нерешительность и есть движущая сила, темнота и есть исток. Иду без дороги, говорю без убежденности в правоте...". В радиовыступлении Ива Бонфуа о поэзии Жакоте по женевскому радио несколько раз говорилось о его "скромности" ("Его присутствие в поэзии до сих пор выглядит слишком неброским, слишком скромным, из-за чего и может пройти мимо многих..."; "Сказанное им, при всей скромности, при всей его всегдашней скромности, удостоверено и весомо..."). Если на небе поэзии искать путеводную звезду Филиппа Жакоте, то, скорее всего, ею, видимо, будет "звезда

© Editions Gallimard, 1996
© Б. Дубин. Перевод, вступление, 2002

нищеты", которая вела в наших сумрачных краях Арсения Тарковского ("...нищеты, и тщеты, и заботы / о нерадостном хлебе своем...").

В этом смысле записи "Самосева" — это всегда следы вновь и вновь прокладываемого пути, не случайно сквозь них проходит образ дороги, старинная метафора поэта-странника. На страницах записных книжек Жакоте как бы договаривает свои прежние книги и торит тропы к новым. Местом поэта — и поэзии, и слова как такового — у Филиппа Жакоте, а может быть в литературе новейшего времени вообще, все больше становится промежуток. Не парадный зал и не шумная площадь, а безлюдный переулок, почти неразличимая стежка от поля к полю. Кажется, Бодлер — первый по хронологии и по значению поэт "современности" — первым заговорил и о своеобразном, новом героизме будней. Жакоте — поэт повседневности: она не только его среда и предмет, она его смысловой горизонт, его ценностный масштаб. Он возделывает завещанный Вольтером сад ("Мягкий, погожий день. Чистка стоков в саду..."). Его окружают обычные цветы и птицы, а они повторяются. Так и поэт, каждый раз повторяясь, без устали начинает сызнова: "Опять? — пишет Жакоте в недавней книге "И все-таки". — Опять цветы, опять шаги и слова вокруг цветов, и больше того — всегда едва ли не те же самые шаги, не те же самые слова?"... И заканчивает миниатюру "К полевому вьюнку": "Я начинаю снова и снова, потому что снова и снова начинается все это: зачарованность, удивление, озадаченность. И конечно же, благодарность".

1980

ИЮЛЬ

На выходе из дубового леса, затянутого буксом и плющом (словно потемневшего от какой-то суровой, безрадостной, чуть ли не траурной мысли) — поросшая овсом ложбина, и вдруг нахлынувшие опять удивление, взволнованность, радость. Откуда они? Подумалось почему-то — как ни абсурдны такие мысли, ими тоже дорожишь — о встрече в Эммаусе. Дело, наверно, не просто в цвете или в отсветах буханки хлеба на столе. Скорее в другом — в том, что доходит оттуда, снова доходит с этим особым, блекловатым светом из мира мертвых. Что просвечивает через завесу и тем не менее говорит совершенно внятно. И после, когда всматриваешься, — этот невесомый, сухой, почти белый рой, это беспрестанное кишение, этот шорох. Единство кузнечика и колоса.

По-прежнему иду на закат дорогой среди травы (сухие былки бессмертника и клевера), вдоль которой стоят старые, обомшелые стволы зеленеющих дубов. Словно ограда из необработанных камней, а за ней — царство сурового, холодного, как будто изначального света. Поражаюсь покою, который излучают эти места.

август

Мадригал Джезуальдо ("*Moro, lasso...*"[1]): как будто стоны и жалобы доносятся с самих звезд, как будто это звездная ночь ожила, подала голос — не смешиваясь в полифоническом строе, напоминающем о расстоянии между звездами. Просветление стона.

"Plaint" из "Fairy Queen" Пёрселла[2]. Голос Деллера[3] звучит так, словно покидает родные края и возвращается на родину — или просто уходит из дому и поворачивает назад. Как будто у него есть домашний кров — или удерживающие его корни. Так птица в полете не абсолютно свободна, а подчиняется невидимым законам.

1. "Умираю, несчастный..." (*итал.*).
2. Имеется в виду "Плач" из оперы Г. Пёрселла (ок. 1659–1695) "Королева фей". (*Здесь и далее – прим. перев.*)
3. Альфред Деллер (1912–1979) – английский певец, руководитель камерного оркестра (с 1950 г.).

сентябрь

На стихотворениях "Дней недели" и "Месяцев года" Фольгоре да Сан Джиминьяно[1] (конец XIII – начало XIV века) – тот же изящный, многоцветный, радостный отблеск, как на большей части ренессансной живописи, особенно в более миниатюрных вещах – пределах, украшениях "кассони". Наслаждение и утонченность.

ноябрь

Снежный отсвет в комнатах. Вспоминаю стихи Леопарди из "Ricordanze":

In queste sale antiche,
Al chiaror delle nevi...[2]

Может быть, все мы живем в пустыне, в ночи, потерявшей красоту ночи. Упадок, который считаешь общим, затрагивает и тебя. Когда кто-нибудь говорит: "Бог умер", – это не звучит радостным криком. Но странно: в нескольких итальянских словах о снеге (как в другие дни – о чем-то другом) мне чудится какой-то серебряный звук – думаю, что-то в этом роде слышит верующий в колоколах Вознесения. Да, похоже. И опять в этой точке схода – иной мир. Или по-настоящему наш?

1981

январь

Миларепа[3] . Мысли о нем в связи с тибетской музыкой, которую открыл для себя несколько дней назад. Его книга, иных моих друзей восхищавшая, меня – за исключением нескольких страниц – оставила почти холодным. Почему? Может быть, слишком легкомысленно с моей стороны спрашивать, во имя чего, собственно, все эти подвиги аскетизма. На модную йогу они, в самом деле, не похожи, и это хорошо; но замуровывать себя живьем, есть крапиву, чтобы самому стать того же цвета и обойти законы природы, – не извращение ли это?

Сознание, что я в подобных вопросах топчусь на месте, все сильнее парализует. Год за годом я возвращаюсь к тому же противоречию, ни на шаг не продвинувшись вперед, скорей даже отступив назад: груз неотвеченного перевешивает. Свет все дальше, все разреженнее, а темнота все ближе и плотней – кажется, само сердце черствеет. Я как будто наперед знаю, что написанное другими (глубочайшими мыслителями, величайшими святыми) не завладеет мной настолько глубоко, чтобы целиком изменить. Отсюда эти открытые, бегло пролистанные и немедленно, слишком быстро закрытые книги (кроме стихов – они еще способны светить мне более или менее долго, более или менее издалека) – что-то вроде картин, мелькающих в окне. Но, кажется, эти картины стали теперь так бледны, так редки, что и слова для рассказа о них тоже не успевают кристаллизоваться.

"Возможно, еще этот образ..." Эти слова родились в полусне – и тут же оборвались. Так, наверно, чувствовал бы себя тот, у кого дрожат руки, возводящие карточный домик, который кажется уже почти обитаемым. И в тишине, которую я по-прежнему – как во времена "Непосвященного"[1], только став еще более непосвященным – пытаюсь в себе воссоздать, кажется, если что и родится, то слово-другое, не больше; в полной внутренней опустошенности.

Как вообразить себе, что глаза, как будто готовые погаснуть, стоит

1. Фольгоре да Сан Джиминьяно (наст. имя – Джакомо ди Микеле, ок. 1280 – ок. 1330) – итальянский поэт, от него дошло три цикла сонетов, два из которых здесь упомянуты".
2. "Воспоминания": "В той старинной комнате, // Освещенной снегом..." (*итал.*).
3. Миларепа (1040–1123) – тибетский поэт-мистик.

1. Имеется в виду "L'ignorant" – сборник стихов Ф. Жакоте 1957 г.

лишь краскам дня — их постепенно сносившейся до отдельных нитей и сквозящей теперь ночной темнотой тканине, все больше похожей на тусклое серебро, — окончательно стушеваться, развеяться, найдут в себе силы снова раскрыться перед черной бездной, откуда встанут не привычные созвездья, а совсем другие фигуры, светящиеся в каком-то ином пространстве?

*

Эти, кажется, отворяющиеся двери, образы и т. д.

Словно рука, легшая на плечо,
чуть похлопав затравленного,
этот свет от снега на гребешке
хребта,
еле видный свет...

После нескольких подобных "озарений" и попыток их осмыслить (понятно, негодных, и что мне всякий раз мешало?), после уже стольких лет

я не в силах найти другие слова, кроме все тех же:

"словно дверь отворилась..."

Так и боярышник поражал меня всякий раз, как я его видел. Его ветки сплетались аркой моста, под которым тянуло пройти, чтобы оказаться в каком-то ином пространстве, отчетливо помня тем не менее, что все это "не взаправду".

Так — или чуть по-другому — и полет козодоя, словно нащупывающего дорогу между днем и ночью, между землей и небом, всегда казался вначале чем-то иным, как бы предвестьем, которое всякий раз разоблачалось потом тиканьем часов.

Так и невидимый ручей под густыми, колючими, непролазными кустами — его неумолкающий, неуловимый голос, как будто бы тоже доходивший до нас откуда-то из иных краев,

и вся поэзия подобного склада,
вся музыка, вся живопись,
уводящие к затаенному и
неназываемому.

февраль

Слова из "Беседы птиц"[1], которую я видел в замечательной парижской постановке Питера Брука (птицы прилетают в долину Небытия, но звездочет приободряет их, побуждая лететь дальше): "Даже если оба мира вдруг исчезнут, мельчайшая крупинка песка не перестанет существовать. Даже если от людей и духов не сохранится ни следа, капля воды останется той же тайной". Эпиграф к любой книге стихов, которую кто-то еще рискнет написать и напечатать в наше время.

*

Мое давнее неприятие и сюрреализма, и мистики как-то связаны. Мне хотелось найти для себя средний путь; может быть, этой мечте не хватало силы.

Сегодня мне случается слышать визионеров, говорящих с куда большим напором или более острой ностальгией; свет для них — несомненное озарение, они как будто не чувствуют в нем обмана. На нижнем пути рискуешь потерять всякое представление о ясности. И как знать, действительно ли он все еще более труден?

Если единственная путеводная звезда — это едва заметный розовый отсвет на бахромчатом краю ангельского крыла, то чем это может помочь? Тут был бы нужен пожар — иначе эту стену не одолеть. Или все это опять не более чем слова, зачаровывающие, но не затрагивающие повседневной реальности?

Слишком далекие от жизни? как беглец, прячущийся в лучах, в сиянии зари.

Как беглец, прячущийся в утренних лучах...

1. "Беседа птиц" — мистическая поэма (ок. 1175) персидского поэта-суфия Фаридаддина Аттара; Питер Брук поставил по ней спектакль в 1973 г.

июль

"О Давид! Домашний кров теперь не для меня. Мое место среди тех, чье сердце разбито". Загадочные слова Сухраварди[1] из трактата под названием "Язык муравьев". Может быть, я не понимаю их до конца, но слышу всем сердцем.

Как и эту фразу из "Книги испытаний" Аттара: "Кто знает, до каких высот способна подняться утренняя молитва простой старухи?"

*

Утро, и этот летний свет, из года в год неминуемо переносящий меня к тому давнему переезду на лодке через Невшательское озеро к Эставайе, когда этот город на миг показался мне издали тем швабским городишком, каким, должно быть, виделся Гёльдерлину, хотя он в ту пору еще не упоминал о "философском свете" за окном, который через полтора века так заворожит Гюстава Ру[2] (см. наброски его "Реквиема" — обязательно нужно их опубликовать).

август

Книга Корбена[3] об Ибн Араби в итоге противопоставляет "богоявление" и "воплощение". Есть путь "чистой святости", а есть другой, подразумевающий муки, — юный и взрослый Христос, которые смотрят друг на друга со стен Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне; замечтавшись, я иногда почти воочию представляю себе это противостояние вечности и времени.

*

Идти дорогами, когда они уже почти неразличимы, когда вот-вот исчезнут из глаз; кое-где кажется, что шагаешь по углям, которые тем не менее не обжигают. И попутчиками в этих, пока еще освещенных солнцем местах — одни бабочки.

Идти. Дороги диктуют — или как будто диктуют — путь, исчезая из виду.

октябрь

Октябрьское утро

Еще чуть-чуть холоднее
Горихвостка посвистывает в
блекнущем свете утра
Как уголек в костре

декабрь

Отодвинь этот занавес снега...

1982

февраль

"Жить? Этим пусть занимаются слуги" — даже явный перегиб в этой фразе Вилье де Лиль-Адана[1], приведенной у Малларме, точно передает соблазны той эпохи, ее высоту и опасную готовность к извращению.

Как бы там ни было, перечитывая Малларме — и слушая птиц за окном, вообразивших, будто настал апрель, — я должен признаться, что этот поэт действует на меня с прежней силой (во многом обязанной его душевному благородству, безжалостному напряжению его духа), хотя мне у него все время нечем дышать: эта разреженная атмосфера и ледяной просверк созвездий, с которыми он так любил сравнивать свои стихи.

*

...Новорожденная, чудесная просинь февральских вечеров. Крыло? полет? — что она напоминает, эта пока еще едва ощутимая легкость, откры-

1. Шихабаддин Яхья Сухраварди (1155—1191) — иранский теолог-мистик.
2. Гюстав Ру (1897—1976) — швейцарский франкоязычный поэт, наставник и друг Жакоте.
3. Анри Корбен (1903—1978) — французский историк религии, виднейший специалист по гностическим течениям в иранском мусульманстве, переводчик классиков суфизма.

12. Огюст Вилье де Лиль-Адан (1838—1889) — французский прозаик и драматург-символист.

тость, прибавка света? Начало, подступ, нежданная милость. Голубь. Оттенки кровельного сланца. Чуть отодвинута ночь, чуть приподнята крыша света, и мы — под его раскинутым крылом. (Так думаешь после, по прошествии времени, а в тот миг чувствуешь совсем иначе — и в этом все дело. Чувствуешь то, что чувствуют дети, когда отказываются идти домой и, весело крича, продолжают игру. Чувствуешь, как свет перевешивает темноту с такой бесконечной мягкостью, что на глаза наворачиваются слезы.)

март

Мишо — на восьмом десятке, в "Угловых опорах"[1]:

"Береги свою слабость".

"Осторожней, протаптывая тропу: на простор с нее не вернуться".

"В тебе остается нечто незамутненное".

И еще, в перекличке с блейковским тигром:

"Тигр-властитель, словно по звуку трубы собирающийся в одно при виде жертвы — для него это разом и спорт, и охота, и приключенье, и штурм, судьба, свобода, огонь, свет.

Он кидается, плюнутый голодом.

Кто посмеет сравнить свои секунды с его?

Кто в своей жизни хоть десять секунд был тигром?"

И дальше:

"Музыка, исстари неразлучная с поэзией.

Хватало тростниковой флейты. Наполняя ее, проходя ее насквозь, дыхание оборачивалось тоской. "Ее" тоской, в которой человек тут же узнавал свою... только похорошевшую — и, зачарованный, видел себя пастухом, путником или принцессой. Пространством рожденная, она возвращалась пространством".

1. "Угловые опоры" — книга поэтических афоризмов Анри Мишо (1971).

1983

март

Перечитал "Письмо лорда Чандоса"[1]: изо всего, что было написано о кризисе современного духа, этот текст 1903 года остается самым насущным. Он в изящной форме передает глубочайшую драму — утрату мирового строя и любого порядка вообще, необходимость иного, может быть недостижимого, языка, способного передать этот иной опыт, для которого лейка важнее возлюбленной, а мурены важнее хода истории. Странно только, что в пьесах самого Гофмансталя этот приговор никак не отозвался — словно он не нашел ничего лучшего, как укрыться под сень традиции и стать общепризнанным писателем.

апрель

Мысли? Какие там мысли?

Просто первая жабья трель, которая растворяется в ночном тепле, чуть позже — первая совка.

*

Три часа пополудни, а почти темно. Сплошной дождь из серых туч, сквозь которые проникает один желтоватый отсвет. Под низкой крышей трудно дышать. Приходится снова и снова штопать ту же ткань (жизнь, свою жизнь), а она опять сквозит, расползается. И все-таки не терять терпения: чинить — это все, что ты можешь. Парадный костюм — не для тебя, если не хочешь выглядеть ряженым.

Собственный, холодный свет дождя — скрытый, подспудный.

*

Полуразрушенная церковь в Алераке. Крошечная волюта, врезанная в

14. Новелла-эссе австрийского писателя Гуго фон Гофмансталя (1874—1929), посвященная радикальной критике языка и представляющая собой литературную мистификацию — послание лорда Филиппа Чандоса, графа Батского, Фрэнсису Бэкону.

камень, окаймляющий нишу для хора, — единственное ее украшение, если не считать фиалок у самой стены. Славившийся когда-то чудесами ключ скупо сочится и сегодня.

Пора, когда в еще голых лесах появляется первая, почти желтая зелень буков — плиссированная, опушенная серебром листва на светло-коричневых ветках.

Тропинка среди травы и фиалок. Тоже ключ, и такой же чудесный.

1984

февраль

Серый, тусклый день, похожий на плохую прозу, — как будто из окружающего ушла "душа", а небо напоминает уличную стену, вдоль которой с яростью проносится ветер, только и ярость эта какая-то неживая, пустопорожняя.

апрель

Во всем — какое-то молодое изящество, просветленность. Как будто раскрыл дантовскую "Vita nuova" на словах "A ciascun alma presa e gentil core" или прочитал сонет, обращенный в "Rime" к Гвидо Кавальканти: "Guido, i vorrei che tu e Lapo ed io", понимая, что в ту лодку тебе не ступить, разве что ты, словно тень, смешаешься со смехом, пением, радостью, которые она покачивает на искрящихся волнах. Петрарка тоже где-то неподалеку. Кажется, приближаешься к царству фей. В руках у них — зеленая ветвь, которая преображает каждого, к кому прикоснется, во взгляде — живая вода или вино, дарящее легкий хмель.

Вишни — сплошные плюмажи снега. Вот-вот объявятся пчелы, неугомонные, бесчисленные. В воздухе, кажется, золотистый гуд огромного роя.

Ария Монтеверди тоже подошла бы этим то прохладным, то обжигающим созвездьям.

Сквозь едва опушенную листвой смоковницу, словно через серебристо-розовое сито, сочится свет полдня. Но действительно ли это сито, решето, фильтр? Скорее, дерево само кажется застывшим светом — неуверенным, ломким, хрупким. Или походит на подсвечник с зажженными листьями. А за ним уже не просто апрельский свет, а другое сияние, доходящее, чудится, из каких-то совсем далеких краев.

*

"Мой Гвидо, если б Лапло, ты и я,
Мечтою околдованы прекрасной,
Уплыли в лодке, ветру
неподвластной..."

Минуту мне снилось, что и я в
этой лодке,
я даже слышал тот смех, те
песни,
разносившиеся по апрельским
деревьям...

Но посмотри на свои руки! И
проси об одном —
чтобы они не подвели тебя в
другой, сумрачной лодке
и, если упросишь, пусть разгоняют
перед тобой туман;

а лучше так: согласись остаться
внимательной тенью
между теми песнями, как
холодок зимы —
в воздухе Пасхи...

*

Дотель[1]: "Словно какой-то луч из иных краев".

*

Дорогу мне освещают не мысли, а вишни. Вот кто истинные писцы этих орфических пластин. На садо-

1. Андре Дотель (1900—1991) — французский поэт и новеллист, входивший в группу "84", с которой Жакоте сблизился в Париже в конце 40-х годов.

вой земле — глубокая черта, оставленная ногтем музыканта.

ИЮНЬ

Обрывок сна, единственный, который запомнился: нас, пятерых мужчин, довольно бедно одетых и, кажется, похожих друг на друга (в памяти осталось что-то смутное, но, может быть, таким оно было и во сне), должны отправить в лагерь или в тюрьму. Один из нас — Ив Бонфуа[1]; он выронил свои бумаги, я поднимаю их, и читаю его фамилию — во сне он носит фамилию Барштейн, — и говорю себе (или кто-то мне говорит): ничего удивительного, что у него теперь это имя, ведь по-немецки оно означает "нагой камень" (я имею в виду его книгу "Начертанный камень"[2]). И добавляю, обращаясь к кому-то, что горжусь быть сейчас здесь со своими друзьями-евреями. Особенно поразительно то, что во сне я, если не ошибаюсь, тут же вспомнил значение слова "bar", а проснувшись, должен был справиться в словаре.

1985

сентябрь

Или вместе с увяданием проступает костяк загадки, которая кроется в каждом? Может быть, потому же все сильнее любишь кожу вещей.

Музыка, взгляд, прикосновение руки. Молочный свет, в котором купается эта пора года, как будто мир превратился в овечье стадо, улегшееся на огромном лугу, пропитался росой и туманом, окутался шерсткой.

1. Ив Бонфуа (р. 1923) — французский поэт, переводчик Шекспира, Китса, Йейтса, Леопарди, автор эссе о литературе и изобразительном искусстве.
2. На русском языке в переводе Марка Гринберга опубликована в кн.: И. Бонфуа Стихи. М., 1995.

1986

ИЮНЬ

В эссе "Стена и книги" (сборник "Новые расследования") Борхес пишет: "Музыка, минуты счастья, мифы, иссеченные временем лица, некоторые вечера и места как будто хотят нам что-то сказать, или уже сказали, или вот-вот скажут; эта неминуемость откровения, которое раз за разом откладывается, может быть, и составляет суть эстетического".

Он же, в прекрасных стихах про дождь, переведенных Роже Кайоа[1]:

Яснеют очертания двора,
Где дождь проходит, морося над
садом.
Или прошел? В сырые вечера
Минувшее родней того, что
рядом...

октябрь

Последние два года, особенно под воздействием книги Пьетро Читати[2], снова и снова перечитываю Гёте, позднего Гёте. Вышедший недавно сборник эссе моего соотечественника Адольфа Мушга "Goethe als Emigrant"[3] показывает, что интерес к нему возрождается не у меня одного. Под пером пятидесятичетырехлетнего Мушга Гёте, которого для нас уже давно отодвинули в тень Гёльдерлин, Клейст, Рильке, выглядит теперь "зеленым юнцом", человеком, принимающим мир таким, каков он есть, привязанным к единству мира и открытым миру; в этом Мушг сближается со своим младшим собратом Петером Хандке, когда тот пишет о

1. Роже Кайоа (1913—1978) — французский писатель и мыслитель, автор трудов по философии и социологии культуры. Годы Второй мировой войны провел в эмиграции в Аргентине, где сблизился с Х. Л. Борхесом и его кругом, впоследствии был виднейшим пропагандистом и переводчиком латиноамериканской словесности во Франции.
2. Пьетро Читати (р. 1930) — итальянский писатель, литературный критик и эссеист.
3. Гёте как эмигрант (*нем.*).

Сезанне, — Хандке "Долгого возвращения домой"[1]. Сами мысли о Гёте для Мушга что-то вроде последней и, может быть, запоздалой попытки уберечь мир от грозящего самоуничтожения.

ноябрь

Цитата из Анри Корбена на обложке одного журнала поэзии: "Может быть, единственный след невидимого — это колдовство звука, который слышат только сердцем".

1988

апрель

Фрагменты Гёльдерлина: ошибка — и до чего же претенциозная ошибка! — использовать эти вещи, которые темны, потому что отрывочны и не закончены, в защиту отрывочной и темной манеры собственного письма.

*

Тропы на гребнях гор, с их торчащими каменными ребрами, козьи тропы, на которых ничего не стоит оступиться. Пора между зимой и летом, последние холода, последние туманы. И не забыть об опасностях здешних мест, к тому же укутанных туманом, холодной летучей золой, в окружении деревьев, еще безлистых, но уже совсем готовых распахнуть свой зеленый веер, пригласить под гостеприимный кров...

*

Чуть позже, лишь несколько дней спустя, все уже занавешено, защищено, опушилось и отяжелело. Как удержать в памяти то, что было здесь раньше: голый, еще без ветрил, такелаж этих рощ прямо перед тем, как взлетят тысячи парусов и флот тронется в путь, — за секунду до того, как поднимутся веки?

1. Петер Хандке (р. 1942) — австрийский писатель; повесть "Долгое возвращение домой" опубликована в 1979 г.

1990

июнь

Снова открыв старую тетрадь за август 1968 года с несколькими заметками о майских событиях, которые я в ту пору, следя за ними издалека, оценивал по привычке сдержанно, я хочу вспомнить из тогдашнего только одно — свою реакцию на чтение шестого номера журнала "Эфемер"[1], вышедшего тем летом.

Меня потрясло, что три писателя моего поколения, которыми я восхищался больше всего и по-прежнему восхищаюсь — двое из них были соредакторами журнала (два других, Бонфуа и Пикон, сохранили молчание), — Луи-Рене Де Форе, Андре Дю Буше и Жак Дюпен, писатели, скорее избегавшие публичности и, насколько помню, никогда не вовлекавшиеся в политические дебаты, в те дни приветствовали случившееся с одинаковым пылом — пылом, который я, даже оказавшись рядом с ними, вероятней всего, не смог бы разделить. Характерно, что каждому из них тогда почудилось, будто он — пусть ненадолго — видит перед собой воплощение мечты, которой всегда жил в творчестве: Де Форе — "потрясающее слово истины, заговорившей устами младенца", Дю Буше — новые "каникулы", Дюпен — "восстание знаков"... Эти

1. "Эфемер" — журнал литературы и искусства, который издавали в Париже в 1967—1972 гг. поэты Ив Бонфуа, Луи-Рене Де Форе (1918—2000), Андре Дю Буше (1924—2001), Жак Дюпен (р. 1927) и литературно-художественные критики Борис де Шлёцер (Борис Федорович Шлёцер, 1881—1969) и Гаэтан Пикон (1913—1976), а также присоединившиеся к ним позднее Мишель Лейрис (1901—1990) и Пауль Целан (1920—1970).

страницы перевернули меня тогда; должно быть, я чувствовал смутный стыд за то, что не способен отдаться подобной волне пылкой надежды. Но помню, читая журнал дальше, я наткнулся на путевой дневник Басё "Узкая тропа на край мира" в переводе Рене Сиффера[1] и тут же, не раздумывая, сказал себе: эта узкая тропа – единственная, по которой я хочу идти, не противореча собственной сути, единственный путь, на котором я не споткнусь. Уже с первых слов, с первой "меткой стрелы": "Дни и месяцы – постоянно в дороге; годы, сменяющие друг друга, тоже всегда в пути. Сидящий в лодке всю жизнь плывет; натягивающий удила скачет навстречу старости, странствуя день за днем, сделав странствие своим единственным приютом", я, подхваченный "обрывок облака, вверившийся воле ветра", был в этой самоотдаче готов к любым остановкам, любым переходам, даже к разрывам (как часто чувствовал себя подхваченным подобной силой другой, более меланхоличный путник – Франц Шуберт). Ни малейшего бунта против отцов тут не было – наоборот, во всей чистоте представало почтение к прошлому, как на той тысячелетней стеле, которая, "воочию являя дух Предков", рождает у путника слезы. Мне виделись как бы колья просторного шатра или узлы гигантской паутины (это Жубер[2] писал, что "мир соткан наподобие паутины"). Абсолютное чудо этой прозы, этой поэзии заключалось в том, что она плела вокруг нас сеть, чьи всегда невесомые нити обещали, кажется, единственную настоящую свободу.

1. Двадцать лет спустя этот дневник, теперь уже в переводе Жака Бюсси, вместе с еще несколькими вещами вышел в издательстве "Делирант" под названием "Келья видений". (*Прим. автора.*)
2. Жозеф Жубер (1754–1824) -- французский мыслитель и писатель эпохи раннего романтизма, автор максим и афоризмов о морали, искусстве, душевной жизни, составивших "Дневники", изданные лишь посмертно (1838, затем – 1842).

август

На молодой смоковнице, которую пощадил пожар, – первый зеленый листок, новорожденный феникс. Больше чем когда бы то ни было хочется повторить за Ангелом Силезием[1]: "Бог – это зелень луга".

октябрь

"Дым коромыслом" – последняя книга Мишеля Лейриса, вышедшая в 1988 году. "Хрупкий звук" конца жизни, взвинченный и нудный, поскольку он опять, и в который раз, пережевывает те же самые жалобы. Истончающаяся на глазах ткань книги открывает свою нитяную основу, вместо того чтобы распахнуться перед более мощным светом или хотя бы чем-то иным. Но читая вот эти строки, почти последние строки его, как оказалось, последней книги: "Факт, что поэзия как бы то ни было существует там, где ее удается застать врасплох или где ты сумел вдохнуть ее в те или иные существа, вещи, слова, сны, картины или книги, сам по себе решительно ничего не меняет, но тем не менее служит уроком, смысл которого ты не должен упустить. И я действительно – по крайней мере, в счастливые минуты, когда мой желчный темперамент ослабляет хватку – вижу здесь знак того, что не все потеряно и жизнь не исчерпывается всеобщим абсурдом, идея которого неотвязно преследует меня", – читая эти строки, я признаюсь себе, что в конце концов пришел ровно к тому же.

*

Раскаты грома – как будто где-то глухо ворочаются скалы или волны – замечательно вторят "Мегерам моря"[2], которые я сейчас перечитываю.

1. Ангел Силезий (наст. имя – Иоганнес Шефлер, 1624–1677) – немецкий католический поэт-мистик.
2. "Мегеры моря" – сборник стихов Луи-Рене Де Форе (1967).

ноябрь

Перечитал "Идиота". После череды кошмаров "ясный и свежий смех" Аглаи врывается в книгу как настоящий водопад.

*

Листья, несущиеся по вспаханному полю, по вспаханной земле грудами, которые раскидывает южный ветер.

*

Радуга, одним концом опершаяся на брошенный дом в зеленой лощине.

1991

апрель

Куст розмарина, улей голубых пчел.

*

Музыка. "Просверки"[1], которые я в ней иногда слышу (еще вчера вечером эти поразительные модуляции шубертовской "Фантазии-сонаты"), кажется, начисто отсутствуют в современных вещах, больше того — уже у Дебюсси. Нет ли здесь общего с провозглашенной "смертью Бога", с трудностью произнести сегодня слово "душа"? И не перекликается ли это с исчезновением в живописи обнаженной натуры, еще радовавшей Ренуара, Боннара, Матисса? Когда оно ушло? Почему? Но мы ведь чувствуем его, как прежде? Что же мы, стали обломками, пережитками? Повернулись к будущему спиной?

1. Такое название носят записные книжки Шарля Бодлера.

ноябрь

На этрусских надгробьях из обожженной глины, в Лувре, женщина часто держит в руке веер. Смерть и беззаботность, легкомыслие, изящество — смерть и это дуновение ветра, которое вдруг освежает уже спящие, нездешние черты.

*

Два сна о семейном ужине, где я прислуживаю за столом: дядья, тетушки, все уже умершие. Как будто на несколько шагов стал к ним ближе.

1992

февраль

Вальзер[1] и Дотель, такие похожие друг на друга своим простодушием.

июнь

В поезде на Мюнхен, идущем по берегу Невшательского озера оттенков стали: всюду изобилие зеленых насаждений, и все-таки полное ничтожество архитектуры, если сравнить ее с прекрасными старыми домами в последних селеньях на берегу, выглядит как предвестье конца света.

Почти поражаешься, замечая среди этих тщательно выстроенных декораций обычные полевые цветы — шалфей, мак; вот так же я поразился, увидев, как над садиком наших друзей в Голландии протянул выводок цапель. Стихи — из разряда этих цветов, этих утесов; ничего общего с остальной архитектурой, несуществующей и вездесущей, они не имеют. И это вовсе не избитое сожаление о потерянном рае.

1. Роберт Вальзер (1878—1956) — швейцарский немецкоязычный прозаик, высоко ценимый Ф. Кафкой, В. Беньямином, Р. Музилем, Т. Манном. Во второй половине жизни отрекся от литературы, добровольно затворившись в лечебнице для душевнобольных, где, по всей видимости, покончил с собой.

июль

Перечитал сборник стихов Кристины Лавант, составленный Томасом Бернхардом[1]. Прекрасно, как старые распятья деревенских церквей, как старая тканина — суровая, жесткая.

август

Думал об Анри Тома[2], о посланной ему открытке, где изображен лекиф в форме девушки с лирой.

Изображение этого изображения, сможет ли оно ему помочь?

Сможет ли хоть какое-то жертвенное вино напоить дух в том краю?

Изображение девушки, или изображение лиры в ее руках,

или ее живое присутствие, само ее похожее на лиру тело — сумеют ли они выручить старика там, где он теперь?

Или единственный выход — химия Морфея?

октябрь

Какие слова еще хватит твердости произнести на ухо умирающему или даже просто истосковавшемуся, потерявшему всякую надежду вернуть прошлое? Нужно найти — найти безошибочно — те, которые единственно уместны; и ни малейших фиоритур (хоть они и в родстве с цветами).

Есть ли вопрос серьезнее этого?

Удержать свет. Когда начинает смеркаться и видишь только смутные образы, только тени, преврати их в звук, сумей создать звук, который сохранит сияние для слуха. А когда заглохнут и звуки, выщелкни пальцами хоть искру. Подумай: ведь над этим холодеющим телом сейчас вспорхнет то невидимое, чьим летучим отблеском в нашем мире служат птицы.

1. Кристина Лавант (наст. фамилия Тонхаузер, 1915–1973) — австрийская поэтесса, прожила жизнь в бедности и болезнях, умерла непризнанной; Томас Бернхард (1931–1989) — австрийский поэт, романист и драматург.
2. Анри Тома (1912–1993) — французский поэт и прозаик, входил в литературную группу "84", Жакоте подружился с ним во второй половине 40-х годов, писал о его книгах.

*

Деревья начинают желтеть, словно пытаются возместить светом укорачивание дня.

1993

сентябрь

Мягкий, погожий день. Чистка стоков в саду.

Водяные косички, которые расплетаешь, стараясь не замутить. Столько осеней в одной, написал об этом несколько строк.

Еще я подумал о Шаламове, который, покинув последний круг ада, край вечной мерзлоты, был одержим одной мыслью — вернуться к стихам. Такое должно развеять любые сомнения. Человек, избегнувший худшего, что может быть, нуждается в самых чистых словах. Никогда не забывать об этом.

Стихотворное слово, пишет он еще на каторге — "это моя крепость посреди зимы".

октябрь

Шелест палых листьев, сухой, невесомый шелест, худосочный шорох, как будто они лишились тела, плотности, гибкости. Легкие, ломкие, начинающие твердеть — лишенные земных соков. Бабки, в которые на шахматных плитах дорожек небрежно играет ветер. Старики с хрупкими костями, тусклым взглядом.

*

Горящие буквы, слова, которые, оказывается, горят. Поразительное различие между бумагой, на которой они были написаны и которая теперь чернеет, вспыхивает и развеивается щепоткой пепла и дыма тех же пепельных тонов — единственная разница в том, что один падает, а другой подымается в воздух, — и этими значками, горящими совсем иначе.

*

Может быть, единственное стоящее сегодня — это несколько кратких слов без малейшего вибрато.

ноябрь

Давняя мысль о том, что "Песнь песней" в переложениях Сан-Хуана де ла Круса[1] — это одна из высших точек, достигнутых поэзией всех времен. Как те вершины в горах, которые горят, когда остальные уже погасли.

1994

январь

Продолжаю, сонет за сонетом, перечитывать Ронсара: как это не похоже на то, что я чувствовал, когда больше тридцати лет назад с головой уходил в антологию Блайса[2], где любое или почти любое хокку день за днем наполняло меня жизнью, возвращая окружающий мир, чуть ли не саму способность дышать. А здесь, несмотря на прекрасные места то в одном, то в другом стихотворении, приходится буквально заставлять себя двигаться дальше. Сочинитель хокку — прежде всего мудрец или безумец; Ронсар — прежде всего мастер, одержимый стремлением опередить современников, сравняться с древними образцами или превзойти их.

февраль

Дети в Сараево натягивают невидимую бечевку через заледеневшую улицу, чтобы прохожий споткнулся; другие достали санки. Неуничтожимая сила живого.

1. Сан-Хуан де ла Крус, Иоанн Креста (в миру — Хуан де Епес-и-Альварес, 1542–1591) — испанский поэт, монах-кармелит, видный церковный деятель и реформатор. Подвергался преследованиям инквизиции, позднее причислен к лику святых (1726), признан учителем церкви (1926).
2. Реджиналд Блайс (1898–1964) — английский востоковед, переводчик и комментатор японской поэзии, философии дзен-буддизма.

июнь

Середина дня, жарко. Небо над самым коньком кажется раскаленным добела и выгоревшим выше; даже стрижи как будто притихли, отяжелели и словно медлят на лету.

*

"Окрестность с желтыми птицами" Валенте[1]. Временами трудно входить в эти оголенные строки, как в иные стихи Хуарроса или Жабеса[2]. Помогают слова, обращенные им к умершему сыну и давшие название всей книге:

"Я думал, что знаю твое заветное слово, способное тебя окликнуть. Но я его не знаю, не нахожу. Это я умер, я забыл твой секрет, говорю я себе".

И ниже:

"Человек, несущий пепел умершего в маленьком свертке под мышкой. Моросит. Никого. Он идет, как будто его сверток можно куда-нибудь принести..."

Зацепляет на этой странице, конечно, "маленький сверток"; без этого, без этих слов все растворилось бы в бесплотной белизне.

Валенте хватается за тонкую, тончайшую нить, но этого достаточно, чтобы удержаться: "я на самом обрыве всего лишь узенький край тени, которой нет".

*

Заметка в книге Валенте "Камень и центр": "Предельную смелость испанского поэтического слова ищут и видят у Гонгоры. А ее — и без малей-

1. Хосе Анхель Валенте (1929–2000) — испанский поэт, переводчик английской и итальянской лирики, в 1954–1986 гг. жил за рубежом (Великобритания, Франция, Швейцария).
2. Роберто Хуаррос (1925–1995) — аргентинский поэт; Эдмон Жабес (1912–1991) — французский поэт, мыслитель-эссеист.

шего ущерба для великого кордованца – следовало бы искать у Сан-Хуана де ла Круса". И еще: стоит прочесть дальше его эссе "Зрачок воды", о связи между водой и ночью, той рекой, теми водами, дна которых, как в "Духовной песни" Сан-Хуана, человеку не достичь и которых никому не перейти вброд, "aunque es de noche", "*хоть мрак все гуще*".

ноябрь

Снова слушал Веберна. Предельной сжатостью, предельной экономией средств он напоминает Моранди. В августе 1919 года в письме Альбану Бергу он говорит о своей любви к горам: "... в поисках высочайшего... Причина моих чувств – тот глубокий, непостижимый, неисчерпаемый смысл, который открывается в любом явлении природы... Я тут нашел одну травку (это была грушанка из семейства вересковых). Маленькая, вроде ландыша, неброская, еле заметная. Но ее бальзамический запах. Этот запах! В нем для меня сама нежность, сама изменчивость, глубина, чистота..."

14 февраля 1945 года его единственного сына Петера убило в поезде во время воздушного налета. Его самого, пытавшегося бежать вместе с женой из Вены, по ошибке застрелил пьяный американский солдат. Жена умерла четыре года спустя.

декабрь

Встал чуть раньше обычного (еще только семь часов). Толкнул ставни на кухне, а над садом – сияющая Венера, как звук трубы, как крик радости, от которого разом рушатся любые стены.

Асар Эппель

Целый месяц в деревне

– В пяти километрах отсюда, в Этуа, жил Рильке. Пошли, *ффиона*, поищем его дом! – говорю я.

Именно так – с двумя "ф" – следует писать имя ffiona. Оно – валлийское. А с маленькой буквы – потому что так предпочитает его носительница. Спотыкаясь на строчном начертании и двух несусветных "фф", привыкайте и вы тоже.

Мы с британской беллетристкой *ффионой* и еще тремя коллегами проживаем в сельской швейцарской местности в имении издателя Ледиг-Ровольта, чья красавица жена, пережив мужа и дожив до глубокой старости, отказала усадьбу писателям. Их международным отбором озабочен особый совет, назвавший постояльцев августа и теперь ублажающий нас в лице домоправительницы Кристины – молодой актрисы, закупающей провизию (какую пожелаем) и готовящей ужины, куда полагается являться к восьми. Это наш единственный долг.

В старинном шато всё как при владельцах – хозяйкины бигуди и шляпы, редкостная мебель, драгоценные безделушки, мобили скульптора Тангели, живопись Мунка. Возле дома – лужайка, срывающаяся к дороге, и с получающегося косогора скатывается огромный валун. Так пострижен куст. Назло Сизифу охота вкатить его обратно. Что и делаешь, но за письменным столом, пребывая в убеждении, что сочинительство – труд не Сизифов.

Здесь тебе даровано прожить месяц. Потом в аэропорту на твой паспорт даже не глянут – улетайте, мол, откуда прилетели. Попроживали, и хватит.

А в здешних местах кто только не проживал. Тут и чаплинское Веве, и набоковское Монтрё, да и на моей двери стоит "Набоков", причем Кристина уверяет, что он в этой комнате жил несомненно. Возможно. К своему издателю Ровольту Набоков, конечно, наезжал, и для ночлега хозяин уступал ему собственную спальню. Больше негде. Можно бы и в библиотеке, но там нет нужных ночующему удобств. Туда, вероятно, откочевывал сам хозяин.

Рильке же пребывал в Этуа, куда мы с *ффионой* и отправляемся. Но сперва о здешнем бытованье.

Актриса Кристина боготворит нашего Анатолия Васильева и, узнав о моем с ним добром знакомстве, дарит меня почтением и дружбой, хотя с остальными Кристина тоже обворожительна и дружелюбна.

Ужины она, как сказано, сотворяет самолично, но с помощью своего помрежа – сицилианки Стеллы Ле Пинто Бенсалем (у Стеллы муж араб, отсюда окончанье фамилии). За месяц эти ужины – ни разу не повторенный кулинарный апофеоз. При свечах и с правильно поданным вином.

Назвав столько звучных имен, сообщу, что фамилия Кристины – Кандаурофф (тут сдвоенное "ф" на конце), ибо отец швейцарки Кристины – рожденный в Сеуле русский человек. По-русски Кристина знает слова четыре. Это от парижского дедушки, которого она обожала.

Вообще прежние россияне плюс соотечественники нынешние нетнет и возникают. Вот на женевском тротуаре приземистый господин на вопрос о дороге, уловив мой акцент, снисходительно (сам-то он женевец!) толкует: "Пойдешь типа вон туда и свернешь типа туда вон". Сынок женевца взирает при этом типа высокомерно.

От их фени отличается слог навестившей нашу обитель величественной княгини Волконской, тетки Андрея Волконского, создателя "Мадригала", открывшего нам когда-то немало превосходной музыки. Я разглядываю перстни на княгининых руках и удивляюсь ее неграссирующей

© А. Эппель, 2002

речи ("маму мое русское "эр" очень заботило"), что у давних эмигрантов редкость, особенно во франкофонной среде – а мы как раз во франкоговорящей Швейцарии. Но об этом – ниже.

Я, конечно, стараюсь соответствовать. Говоря о достойном упокоении останков государя, пользуюсь словом "погребение", а не получекистским "захоронение", коим на ее родине оперировали все средства массовой информации. Почему чекистским? Словом "захоронение" пользовались и до чекистов, когда закапывали, скажем, погибшую от эпизоотии скотину. А потому согласитесь, что, зарывая расстрелянных и замученных в палаческих своих рвах, людских слов "похороны" или "погребение" органы употреблять не желали.

– А разве государь только сейчас умер? – недоумевает графиня...

...Когда выходишь с веранды, где ужинал, попадаешь в вечернюю Швейцарию, в местность между Женевой и Лозанной, где климат как в Сочи, но не влажный. За месяц экран компьютера даже не запылился – в Москве вблизи Садового кольца он обрастает мохнатыми молекулами за день.

Выходишь, значит, в первый вечер и узнаёшь, что мерцаемое под луной верстах в пяти – Женевское озеро, а мерцаемое за ним – Франция. Город Эвиан-ле-Бен.

Ночное небо у нас с Женевой общее, на нем бессчетно чистых звезд, меж которых ползут цветные огонечки. Это на женевский аэропорт и оттуда летят самолеты. А еще ночные небеса играют заревами обожаемых тут фейерверков.

За озером, в Эвиан-ле-Бене, фейерверки тоже обожают, но француз, он же нетерпелив, и потешные огни к четырнадцатому июля были пылко отбабаханы накануне, когда Франция выиграла футбольный чемпионат мира.

Швейцарцы степенней, и национальному дню в нашем селении салютовали вовремя. Сперва выслушали речи местных властей. Потом те сказали: "А теперь споемте патриотическую песнь!", и все как смогли запели. А потом уже стали пускать огни и шутихи и жечь на особом помосте костер. Заполыхали костры по окрестным холмам тоже. Получилось здорово красиво.

А во дворах – и возле костра – реяли флаги Швейцарской конфедерации: белый крест на красном полотнище.

Но что мы вообще о ней знаем? Что Карамзин заезжал к Лафатеру – раз. Что Суворов перешел через Альпы – два. Что Ставрогин, "как Герцен, записался в граждане кантона Ури". Что в одесском кафе "Фанкони" о чей-то хребет сломали кий, и хотя фамилия Фанкони представляется нам итальянской – она швейцарская. Добавим сюда женевскую улицу Франца Лефорта, чье имя носит в Москве Лефортово, ибо симпатяга, авантюрист и любимец Петра – как раз уроженец Женевы.

А город этот – нет чтобы ограничиться знаменитым озером с белыми парусами и шумными птицами – так через него бежит еще и широкая французская Рона. Мало им французских магазинов, французских мод и французских ресторации, они еще вздумали обзавестись достославной французской рекой! По-моему, это уже роскошь.

Оттого на набережной в шикарных отелях бессчетно арабских шейхов. Как мы когда-то в Крым, так они в Женеву. Взять, скажем, того, который разъезжает взад-вперед в белом открытом "роллс-ройсе" с компонентами декора, отлитыми из чистого золота, или понаблюдать азарт приобретений на лицах арабских дам в супердорогих магазинах. Правда, иногда лиц не увидать. Скажем, в аэропорту за кинокрасавцем в безупречном светлом костюме, но в туфлях старика Хоттабыча на босу ногу гуськом семенят четыре положенных жены в глухой черной одежде. Потом он куда-то отлучается, а вся четверка сидит рядышком на стульях, и если у троих обозримы лица и руки, то у четвертой – самой, наверно, любимой – руки в глухих перчатках, а лицо закрыто не шифоновой занавесочкой, но тем, что мы видим на наших омоновцах. Этой – похоже, юной – жене три недозагерметизированных

супруги что-то советуют, а она кормит младенчика незащищенной от посторонних взглядов маленькой белой грудью. Меж тем возникает глава семейства — элегантный наш Хоттабыч, и к нему с воплями "папа!" кидается множество детишек, подталкиваемых каждый своей мамой...

Хотя селение, где мы проживаем, — опрятнейший городок (один из жителей по выходным дням протирает со стремянки каждый листок плюща на стене своего дома), оно все-таки деревня. В первый же вечер улавливаешь знакомый буколический запах. Ну да — навоз. Значит — в преизбытке мухи, для борьбы с коими в ходу обыкновенные мухобойки. Есть в докучливых количествах и комары. От них хороши швейцарские фумигаторы, так что спишь с открытым окном, и ни один не влетает. Зато нет слепней и оводов, хотя на околице, откуда слышится навоз, — огромные старые хлева и конный завод, а дальше — выгоны, и, когда выгоняют коров, в хлеву звучит Моцарт, а точнее — "Eine kleine Nachtmusik". Одна из коллег — американская писательница — убеждена, что это ради нагула и продуктивности, но я для себя решил, что Моцарт — любимый композитор здешнего пастуха.

Да, это деревня. Выпасы и выгоны, поля, фермы. Однако в телогрейках сельчане не ходят, они ездят в сверкающих автомобилях и выращивают цветы. Все здороваются. Даже дети. Правда, дети — они дети и есть. Дети здороваются не всегда.

А некоторые, кто поотвязанней, сходятся вечерами под навесом автобусной остановки. Очевидно, местные власти сознательно отвели подросткам хулиганского возраста этот закут. Стены там разрисованы как надо, валяются банки из-под пива, слышны рваные голоса и девчоночий хохот. Туда собирается и цветная молодежь — она в нашем селении живет при конюшнях и на конюшнях же работает. Она в нашем селении наличествует — в Швейцарии вообще много беженцев и переселенцев. Так что толстая негритянская барышня, оседлав мотоцикл позади шлемоносного паренька, с соответственным гоготом и грохотом (но в разумных пределах) носится в темноте по трем нашим улочкам.

Сами конюшни — прекрасное и счастливое зрелище. Оттуда, наведя скребницей и прилаженной к пылесосу щеткой лоск на лошадей, выезжают всадники и всадницы, меж тем как в окошки денников тихо выглядывают прочие кони.

Я видел, как их куют. Двое кузнецов привозят в пикапе маленькую наковальню, сверкающие подковы, рашпили и молотки. Вместо горна — небольшая электрическая печь. В ней для подгонки под вычищенное и подрезанное копыто раскаляется подкова. Конь стоит спокойно, поглядывая через плечо на коваля, завернувшего ему ногу. Тут же крутится пес, поедающий почему-то срезки с копыт. Все освещено августовским солнцем. Пахнет паленым. В конюшне играет музыка.

— Что же до новых швейцарских граждан, *ффиона*, — говорю я, — то не напоминает ли вам вон та делянка подмосковный огород? Ах, вы не знаете подмосковного огорода? Это когда горбылины вместо забора, корыто с ржавой водой, драный полиэтилен и пырей с лебедой на невнятных грядках. Я решил, что это кто-то из наших вздумал вписаться в швейцарское огородничество, но оказалось — беженцы из Сараева. О, загадочные славянские шесть соток!

...Когда к вечеру отправляешься пройтись, солнце еще высоко, а когда возвращаешься, долину пересекают долгие тени — среди прочих от громадного дуба, лет пятьсот — с изначальных времен швейцарского сообщества — стоящего в поле. Тень его достигает дороги, где всегда на одном и том же месте, разложив подрагивающие крылышки, сидит на асфальте бабочка-ванесса. Зачем? — я понять не могу, бабочку не спугиваю, но ворчу: нет, мол, на тебя ловца чешуекрылых Набокова!

Меня собрался навестить проживающий в Женеве мой друг, замечательный Симон Маркиш, и мы сперва никак не можем столковаться относительно места встречи (он нашего селения не знает), а потом спохватываемся: "Да у церкви же!" "Там и скамеечка есть подождать, у стенки

противоположного дома!" — радуюсь я догадке.

Церковь в нашем селении приятна видом и соразмерна. С положенным жестяным петухом на шпиле и травяным двором, откуда вид на поля обширней, чем отовсюду. Даже полоска Женевского озера и французские горы обозримы. Пока стояла жара, они сквозь дымку угадывались, а стало прохладней, объявились многоглавыми долгими кулисами, меняющими колера почище Хамелеона в Коктебеле. Заодно засверкал меж них и сахарный клык Монблана.

Часы на колокольне с боем. Сперва я решил, что они опаздывают, но, сверившись с Би-би-си, убедился, что бой своевремен — швейцарские часовщики, они и есть швейцарские часовщики. Правда, запоздало долетает звон из городка Обонна, но это потому, что скорость звука все еще триста тридцать три метра в секунду, а Обонн все-таки в километре.

Пусто на улицах, пусто и в церкви, словно пустота в ней с тех пор, как неистовый Кальвин повыкидывал из домов Божьих все лишнее. Пусто, светло, тихо и чисто. Ни живой души. Орган. Служба раз в месяц. Священник по очереди посещает приходы. Его появление указано в расписании. Под спинками церковных скамей желобки — в них вертикально стоят молитвенники. Алтарь в виде перевернутой шестигранной пирамиды. На нем Книга пророка Даниила, открытая на стихе "Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями".

"Это же не про Навуходоносора, — говорю я *ффионе.* — Это наше тут обитание с полевыми зверями..."

Прежде чем об этом сказать подробней, следует заметить, что в полях — свои тишина и безлюдье. Разве что всадники иногда проследуют, самим проехаться и лошадей размять. Но запустенья нет. Все дотошно обработано. Ни разу не блеснули стекляшкой ни поле, ни виноградник, ни долина, ни косогор. О, блистающие наши просторы! О, мириады битых солнц на родимой почве! И пятен от автомобильных жидкостей на асфальте здешних дорог нет. И хотя они всего лишь проселки, по которым хозяева полей и виноградников добираются к своим угодьям, — но заасфальтированы.

Виноград же тут выращивают для изготовления отменного вина — красного, белого и розового. От последнего почему-то болит голова, и его надо пить аккуратно.

Между тем одного хозяина с одним работником, чьи головы торчали над виноградной шпалерой, я все же видел, и он, обрадовавшись, что объявилась живая душа, стал делиться со мной секретами виноградарства, в свою очередь интересуясь делами у нас, ибо, как все, за нас переживает.

За нас тут, а также из-за нас переживали всегда. Причем настолько, что, будучи лет двести нейтральной страной, создали армию, куда в момент могут призвать тысяч четыреста отлично подготовленных солдат и офицеров. Лет же десять назад я был потрясен, узнав, что оружие у швейцарцев хранится дома. Мой друг за обедом выложил на стол парабеллум, два нагана и кучу патронов. "А если бы ты был пулеметчиком?" — "Пулемет стоял бы в сарае", — ответил он.

— Но в этот приезд, *ффионе,* я удивился еще больше. Тот же друг водил меня по огромному подвалу своего нового дома, выглядевшему как московская квартира после евроремонта. Был там холодильник для хранения вина и каморы для стиральных машин, но главное — имелось бомбоубежище, где можно отсидеться даже при ядерном или химическом нападении, для чего полагается иметь сорокасуточные (потоп же был сорок дней и сорок ночей) запасы. И есть машина для очистки воздуха, которую, если погаснет электричество, крутят вручную. Затворяется все это бетонной в стальном каркасе дверью. До недавнего времени такому укрывищу полагалось быть в каждом доме.

Однако теперь, *ффионе,* времена другие. Гуляю я тут позавчера и вижу невзрачный автомобильчик, а в нем сложенных, как перочинные ножики, четырех долговязых парней. Завидев живую душу, они высовываются и по-английски спрашивают: "Не знаете ли вы, где селение Этуа?" (то, куда мы направляемся). "Да вон оно!" — показываю я на кучу крыш с торчащей меж них колокольней. "А

не знаком ли вам этот месье?" — показывают они конверт, я же, приметив, что письмо сказанного месье было адресовано в Польшу, исподтишка перехожу на польский: "Я, знаете ли, нездешний. А вы как тут?" "А мы, — сперва не обратив внимания на родную речь, отвечают из машины, — хотим подработать, но в этом году была поздняя весна, так что виноград еще не поспел, и получилось, что мы на неделю раньше..." И пауза изумления. "Почему это вы по-польски говорите?" "Не только говорю, но даже "Огнем и мечом" (это польская святыня!) перевел", — нескромно сообщаю я, не столько ради хвастовства, сколько чтобы насладиться эффектом. В автомобиле немая сцена. Да и сам я ошарашен встречей в швейцарской глухомани с польскими студентами, проехавшими пол-Европы, дабы заплутать в виноградниках и пережить таковые неожиданности.

"Может, пана подвезти?" — "Спасибо. Я гуляю". Отъехали. Останавливаются. "Может, пан пива выпьет? У нас его навалом." — "Благодарствую. В другой раз." Отъехали. Останавливаются. "А то подвезем?" — и неуверенно удаляются. Я же ухожу по очередному виноградному склону...

Касательно зверей, лучше начинать с не полевых. Вблизи нашей усадьбы, по пути в виноградники, в жару можно видеть полеживающего на дороге рыжего кота. Лежит он плашмя на горячем асфальте, но в тени, которая, как сказано, достигает сюда от громадного дуба. При этом кот надсадно дышит, по-собачьи разинув пасть. Хитрец придумал греться, но в прохладе, и перемещается вслед за тенью. Еще он гуляет с хозяином вокруг огромного поля. По ту сторону поля его уже не разглядеть, но то, как хозяин наклоняется погладить шевеление воздуха, — факт гуляющего кота подтверждает.

А из полевых — конечно лисы. Лисы в виноградниках — классика, но про зверька, в свете фар сверкнувшего глазами на чьем-то заборе, сказать стоит особо. "Fuin" — назвала его сидевшая за рулем Стелла де Пинто Бенсалем.

— Представляете, *ффиона*, какой-то фуин, правда, через одно "ф"!..

Потом в Москве я докапываюсь, что это — каменная куница. По-русски "белодушка". Они понемногу расселяются на север и обживают города, полагая, наверно, каменные стены скалами. У нас уже добрались до Воронежа.

Да, преображаются звери. Но и человек забавы ради скособочивает природу. В нашем селении один любитель разводит разного вида козликов, вызолоченных фазанов и пуховых, как оренбургские платки, кур, при этом в загородке пасутся еще целых шесть кенгуру. А за одним забором на нашем с *ффионой* пути мы удивляемся кроликам с апельсиновыми животами, с частично апельсиновыми лапами и ушами, причем цитрусовый этот цвет четко отделен от нормального серого окраса.

Меж тем завиднелась колокольня Этуа. Рядами, как виноградные лозы, стоят груши, так же стиснутые меж натянутых проволок, причем каждая точь-в-точь трезубец из-за трех оставленных на ней веток. Плоды тяжелые, продолговатые и тугие. Точь-в-точь как в стихе Бродского: "В густой листве налившиеся груши, как мужеские признаки висят". Перевести это *ффионе* у меня не получится — моего английского не хватит. А если переводить "мужеские" как "мужские", прекрасная строка обернется бестактностью, да и у *ффионы*, верно, возникли какие-то свои ассоциации, а раз она ими не делится, пусть груши остаются грушами и сменятся яблонями в несметных красных яблоках. Земля, словно тут упражнял руку Вильгельм Телль, завалена ими тоже, а ветви, чтоб не обломились, друг к другу прибинтованы.

Почти готов виноград. Под каждой лозой в громадных количествах лежат срезанные грозди — это удалили неперспективные, в заботе о хорошем вине давая вызреть лучшим. Не польские ли ребята тут успели побатрачить?

Прежде я входил в Этуа со стороны шоссе. Вход же со стороны проселка поворачивает селение на оси церковной колокольни иным образом. Когда, миновав сады, огибаешь последний бугор, открываются два-три дома — местные выселки, потом

школа, где опять-таки под навесом на чем попало выколачивают рэп ученички, потом официальные местные здания. И, наконец, церковь.

— Наверняка он жил тут, в старой части города, — резонно предполагает *ффиона*.

Озираемся спросить. Несмотря на белый день, вокруг привычное безлюдье, и только из венецианского окна во втором этаже длинного дома глядит какая-то старая дама.

— Sprechen Sie deutsch? — задрав голову, спрашиваю я, хотя мы во франкофонной Швейцарии, где немецкого или не знают, или вяло им пользуются, при том что в немецкоязычных кантонах говорят по-французски почти все. Я даже думал, немецкая речь игнорируется намеренно. Оказалось, не совсем так.

Немецкоязычная Швейцария — вообще феномен. На самом деле там изъясняются на диалекте (вернее, на диалектах — в зависимости от места), который так же далек от немецкого, как, скажем, голландский. Так что для немецкоязычной Швейцарии немецкий язык — иностранный. Однако делопроизводство, культура, телевидение, пресса существуют именно на чужеземном немецком. В итоге швейцарец спрашивает на почте бланк по-швейцарски, а заполняет его на немецком. Придумана эта морока, чтобы в диалектах не замкнуться и от мира не отгородиться. Во франкофонных же кантонах язык общения с миром — французский, в италоговорящих — итальянский. Так что немецкий ни к чему.

Вот я неуверенно и спрашиваю: "Sprechen Sie deutsch?"

— Конечно! — отвечает старушка (чувствуется старая школа). — Что вам, господа, угодно?

— Не знаете ли вы, мадам, где тут жил Рильке? Такой немецкий поэт?

— Отчего же? Пожалте! — старая дама делает жест в сторону двери, то есть приглашает нас в дом, где "такой немецкий поэт" жил. Я оторопело смолкаю, а *ффиона* не видит причин, почему не зайти, если зовут.

За дверью парадного маленькая доска сообщает о великом постояльце. Под ней высокая ваза с засушенными цветами. Старая дама выглядывала в ожидании гостей, но, пока те не появились, просит нас подняться.

Навощенные полы. Темные кресла. Рояль. Гравюры. Тишина. Пьем минеральную воду. Уважительно глядим на стены. Отвечаем на вопросы. Сами задаем вопросы. Почему Рильке приехал в Этуа? Может, из-за недалекой воды — это ближайшее к озеру селение, какой-нибудь километр, и ты на берегу, да и Лозанна с Женевой достижимы.

Уже в Москве в монографии Ингеборг Шнак обнаруживаю, что прожил тут Рильке всего полтора месяца. С 13 мая по 28 июня 1921 года. Вот отрывок из его письма от 22 мая 1921 года к госпоже Нёльке: "Старый дом в сельской местности, в бывшем августинианском приходе, сейчас собственности мадмуазель Дюмон, сдающей в нем комнаты с пансионом... Это может быть временным прибежищем..." Еще пишет, что побывал на колокольне в Сен-При и видел надпись "Celui qui veille voit venir l'heure de son départ (Кто бодрствует, знает час своей разлуки)". Известно также, что в Этуа он не сочинял, разве что сделал набросок французского стихотворения, зато вел переписку — в частности, с Полем Валери и Андре Жидом, — подыскивал местообитание.

Нашел Мюзо, где умер и похоронен.

На обратном пути мы с *ффионой* в пределах моего английского, слегка приправленного немецким, о чем только не беседуем. Еще мы договариваемся, что напишем о хождении к дому поэта. Она — по-английски, я по-русски. Правда, я тогда не предполагал, что придется перевести для этого стихотворение Рильке, сложенное им в обретенном Мюзо и весьма созвучное нашей прогулке. *Блаженны, кто умеет знать/ О немоте разноязычья./ Немолвленного благодать – / Источник нашего величья! // Из разного возведены / Мосты меж нас через словесность, / А мы – и тут восхищены! – / В погожую глядим Совместность.*

Что ж, я обещанное написал, *ффиона*, похоже, нет. Интересно, что напишет она.

Алексей Зверев

Тени в раю

Написанный за несколько летних дней 1857 года рассказ Толстого "Люцерн" основан на действительном происшествии. Устав от Петербурга и тамошнего разгула, охладев к литераторам из круга некрасовского "Современника", пытавшимся научить его идейности (Чернышевский, поначалу благожелательный к недавнему севастопольскому офицеру, уверенно пророчил: он "будет писать пошлости и глупости, если не бросит своей манеры копаться в дрязгах и не перестанет быть мальчишкой по взгляду на жизнь"), Толстой, как у него часто бывало в молодости, испытал потребность остаться наедине с собой, чтобы все приключившееся с ним передумать заново и все переменить. Заграничное путешествие давало такой шанс. Положив в дорожный портфель свежую книжку журнала, где появилась "Юность", Толстой отправился странствовать по Европе — в первый и, как оказалось, предпоследний раз.

Путь лежал, разумеется, в Париж. Петербургские опекуны рассчитывали, что там спадет "умственная шелуха", из-под которой проглядывает большой, но бесцельно существующий талант. Предстояли частые беседы с жившими тогда на берегах Сены Некрасовым и Тургеневым. Им надлежало как-то воздействовать на Толстого, чтобы он в верном направлении продолжил начатую и не раз брошенную повесть "Альберт". Видимо, они и пытались, но ничего не вышло. Тургенев, едва сдерживая раздражение, писал: "Странный он человек. Я таких не встречал и совсем не понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича..."

Под словом "кальвинист" подразумевалась уже проявившаяся одержимость Толстого вопросами, имеющими прямое отношение к высшим ценностям жизни и ее нравственному оправданию. Она и выглядела для Чернышевского "умственной шелухой", только мешающей делу — обличению социальных язв, хлопотам о радикальных преобразованиях. Какая досада, ведь не один Тургенев чувствовал, что "этот человек пойдет далеко и оставит за собой глубокий след".

А тот, кому правда суждено было пойти очень далеко, записывал в парижском дневнике: "Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу". Что именно он знает и может — не сказано. Тогда Толстой еще затруднялся сформулировать, в чем его призвание.

Потрясший его случай помог понять это яснее.

В ту пору для поучения — или развлечения? — парижан устраивали публичные экзекуции, собиравшие тысячи любопытных. 7 апреля казнили некого Франсуа Рише, повара, приговоренного за убийство и кражу. Покорившийся судьбе, даже как будто безразличный к тому, что его ждет, Рише в сопровождении священника поднялся на эшафот и, совершив краткую молитву, лег под нож гильотины. Толстой стоял в толпе зрителей на Ракетной площади, наблюдая, как сработала "эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека". За всю жизнь Толстого, в которой были Кавказ и Севастополь, он еще не испытывал подобного состояния кошмара. И под свежим впечатлением написал критику Василию Боткину, с которым был откровенен: "Политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего".

Общавшиеся с ним той весной вспоминали, что после зрелища казни он переживал состояние глубокой депрессии. Гильотина снилась ему по

© А. Зверев, 2002

ночам, царапина на шее казалась отметиной черта, выбравшего свою очередную жертву. Он кинулся прочь из Парижа, где не находил себе места, и, к изумлению своей двоюродной тетушки, Александры Толстой, в которую был платонически влюблен, вдруг предстал перед нею в Женеве, объявив,. что только она его спасет от моральных терзаний, сводивших с ума.

***

Швейцария — Женева и Кларан — очаровала Толстого. Озеро, синие горы, долгие прогулки, вернувшаяся способность работать, влекущая мысль завести у себя в деревне школу и посвятить ближайшие годы этой деятельности — такого духовного подъема Толстой не испытывал уже давно. Городок Люцерн на севере страны, облюбованный богатыми англичанами, которые проводили летние месяцы в Альпах, тоже показался Толстому прелестным: "И как мне все здесь приходится — чудо!"

Вот его письмо из Люцерна Боткину: "Я живу в пансионе Даман на берегу озера, но не в самом пансионе, а в чердачке... Домик, в котором я живу, стоит в углу, весь обвит абрикосами и виноградником... В сенях висят хомуты, подальше под навесом журчит фонтанчик. Перед окном густые яблони с подпорками, некошеная трава, озеро и горы. Тишина, уединение, спокойствие... все просто, деревенско и мило ужасно". Идиллическая картина. Лет за семьдесят до Толстого такое же умиление вызвали эти места у Карамзина. Швейцарские главы "Писем русского путешественника" окрасились мыслями о земном эдеме средь "диких савойских утесов и подле гор плодоносных".

Рассказ Толстого начинается такими же восторженными описаниями. Чудесный пейзаж: необыкновенное "разнообразие теней и линий, и во всем спокойствие, мягкость, единство и необходимость прекрасного". Удивительная "гармония красоты" — она была бы совершенной, если бы не резали глаз эти зеленые лавочки на набережной, эти липки с подпорками, "бедные, пошлые людские произведения". Но все равно душу переполняет ощущение избытка счастья. Необыкновенная, сказочная страна: бело-лиловая горная даль, бело-матовые снеговые вершины, "и все залитое нежной, прозрачной лазурью воздуха и освещенное прорвавшимися с разорванного неба жаркими лучами заката".

Но уже на второй странице гамма меняется, верней, новое значение получает преобладающий в ней белый цвет. Теперь это "белейшие кружева, белейшие воротнички, белейшие настоящие и вставные зубы, белейшие лица и руки". Лучший в городе пансион "Швейцергоф", великолепный пятиэтажный дом на берегу, заполнен англичанами, а их прежде всего остального отличает "отсутствие потребности сближения и одинокое довольство в удобном и приятном удовлетворении своих потребностей". Ни следа душевного волнения, лишь "строгое, законом признанное приличие". За общим столом разрезают говядину, обмениваясь в сотый раз повторенными фразами о достоинствах местной кухни, о красивых видах, о погоде. Холод этикета, чопорность, скука. "Мертвые лица", пробуждающие в душе "чувство задавленности".

Контраст создан, и вскоре, уже в экспозиции, выяснится, для чего он понадобился. Очень незамысловатый сюжет "Люцерна" суммирован самим автором непосредственно в рассказе, причем этот абзац выделен курсивом: *"Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним".*

Этот заурядный случай производит на Толстого впечатление тягостное, убийственное — явно не по своему значению, если держаться логики здравомыслия. Александра Толстая вспоминает, как племянник приехал к ней страшно возбужденный, пыла-

ющий негодованием, и, выслушав его, она все не могла взять в толк, что, собственно, случилось. "Факт, конечно, некрасивый, но которому Лев Николаевич придавал чуть ли не преступные размеры".

Действительно придавал, написав в "Люцерне", что "это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации". Люди, не разделявшие его верований, вообще те, кто точно представляет себе житейский масштаб, но вряд ли чувствует внутренний смысл событий, не выходящих за круг повседневности, подобную реакцию должны были счесть странной, даже необъяснимой. На самом деле она была закономерной, укорененной не только в складывающейся системе взглядов Толстого, но в уже сложившейся русской традиции восприятия порядков и нравов Европы. В той, говоря словами Достоевского, особой "всемирной отзывчивости", которая и сегодня поражает сторонних наблюдателей, нередко провоцируя достаточно неприязненные оценки.

***

В 1985 году Милан Кундера опубликовал статью "Предисловие к вариации", в которой попробовал объяснить, отчего с годами у него выработалось стойкое нежелание перечитывать русских классиков, в частности Достоевского. Вскоре после советской оккупации какой-то пражский театр предложил Кундере, попавшему в черный список, сделать под псевдонимом инсценировку "Идиота", и, познакомившись с романом, он решил, что не возьмется за эту работу, даже если будет голодать. Танки с красными звездами тут были не последней, но все-таки не основной причиной — во всяком случае, так кажется Кундере семнадцать лет спустя. Оттолкнуло его не российское подданство автора, даже не его откровенная неприязнь к малым, по державной мерке, народам, к "полячишкам", а главным образом накал переживаний, который становится нестерпимым. Что это за "агрессивная сентиментальность", что за "жесты" и "всплески", выходящие из всяких берегов? Невозможно надолго оставаться в "мире, где все обращается в чувства, иными словами, где чувства возводятся в ранг ценностей и истин".

Выпад Кундеры встретил резкое возражение Бродского. Мотивы понятны: от Достоевского перебрасывался мостик к политике, и Кундера давал понять, что агрессия эмоций в русских романах прямо предвещает советский экспансионизм, от которого настрадался мир. Бродский находил эту аналогию вульгарной и предвзятой — он, конечно, был совершенно прав. И был очень проницателен, заметив, что все дело в стремлении Кундеры стать абсолютным европейцем, "даже более европейцем, чем они сами": вот отчего ему не терпится обозначить четкую дистанцию, отделяющую его от славянского (тем самым, неизбежно, и русского) духовного наследия.

Вскоре после этой полемики Кундера стал писать по-французски, на самом деле превратившись в абсолютно европейского писателя, без уточняющих оговорок о славянском происхождении и, стало быть, о почти неотвратимом в таких случаях воздействии ценностей русской культуры. А престиж Достоевского на Западе ничуть не пострадал от той сильно нашумевшей кундеровской статьи. Совсем недавно Сьюзен Сонтаг, тоже не без вызова, написала, что "любить Достоевского — значит любить саму литературу". Так думает не она одна.

Цитируя еще одного крупного русского автора, можно было бы заключить: "Как говорится, инцидент исперчен". Но тут дело серьезнее, чем раскачивание "любовной лодки", разбившейся не о быт, а о политику. Дело в принципиальном несовпадении устоявшегося русского и столь же прочно определившегося европейского воззрения на прогресс, на цивилизацию западного образца, в которой, наблюдая одни и те же факты, можно увидеть благодетельное устроение условий социальной жизни, а можно, как Толстой в "Люцерне", почувствовать, что унич-

тожаются "инстинктивные, блаженнейшие потребности добра в человеческой натуре". И почувствовав это, озаботиться труднейшими, никем так и не решенными вопросами: "что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство?" Вот о чем, неловко утешив оборванного музыканта, выпив с ним под насмешливыми взглядами лакеев шампанского в лучшем зале дорогого ресторана, думает рассказчик, когда в темноте возвращается домой и ясно сознает, что не удастся ему "заспать все эти впечатления и глупую детскую злобу, которая так неожиданно нашла на меня".

Отметим эти эпитеты: "глупый", "детский". Они или их синонимы непредставимы в тексте Кундеры, который по части доказательности стал бы совсем беспомощным, если бы то и дело не подчеркивалось, что это лишь частное мнение, частный опыт автора. Но все-таки постоянно дается понять, что речь идет о вещах очевидных: собственно, какие нужны аргументы, когда русская взвинченная эмоциональность, которая не в ладу с логичным и ясным постижением мироустройства, и так общеизвестна, а ее последствия — читайте Достоевского — могут оказаться ужасающими по своей жестокости. Лишь по обязанности, словно спохватившись, автор, правда, добавляет, что "знаменитая русская душа" каким-то странным образом сочетает в себе эту жестокость с "глубиной", но его оговорка ничуть не сказывается на общем ходе рассуждений. Где цивилизация, а где варварство — на этот счет у Кундеры просто не может возникнуть никаких сомнений, и Дидро, способный внятно, с должной мерой рациональности истолковать любую жизненную ситуацию, для него бесконечно предпочтительнее, чем темный, сбивчивый, стихийный Достоевский.

Кундера не вопрошает, он оперирует аксиомами или, во всяком случае, построениями, которые для него аксиоматичны. Убеждения Толстого, особенно окрепшие после парижского бесчеловечного спектакля, тоже почти определились — пережитое в Люцерне, помимо всего остального, было важно и тем, что сделало эти убеждения выверенными. Однако его позиция все-таки иная, и она привлекательна прежде всего тем, что допускает "глупость", "детскость", только не категоричность. В рассказе это выражено открыто: "Несчастное, жалкое создание человек с своей потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно движущийся океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий! Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой неблаго. Проходят века, и где бы, что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются, и на каждой стороне столько же блага, сколько и неблага. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответы на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна и справедлива!"

В "Люцерне" эта диалектика, позволяющая охватить и мелкое, и очень значительное явление жизни с разных сторон, обнаружив его внутреннюю неоднородность, только декларирована. Впоследствии она станет одним из самых драгоценных свойств искусства Толстого. И уже ради того, чтобы был — впервые с такой ясностью — постигнут этот принцип осмысления и изображения действительности, стоило после бегства из Парижа выбрать швейцарский маршрут.

***

Впрочем, цели Толстого, отдавшего предпочтение Женеве, а не Лондону, где жил очень его тогда интересовавший Герцен, были не только литературными. Пожалуй, и вовсе не литературными. В Европу он, как все русские путешественники, принадлежавшие к кругу мыслителей и поэтов, ехал прежде всего с тем, чтобы своими глазами увидеть порядок жизни, выработанный европейскими убеждениями, и понять его преимущества или изъяны при сопоставле-

нии с российским. Швейцария предоставляла для этого оптимальные возможности.

Начиная с Карамзина, эта страна неизменно воспринималась в России как эталон всего европейского. Она и вправду была перекрестком, на котором встретились самые разные западные веяния: приютом сурового, фанатичного Кальвина и родиной либерального, мечтательного Руссо, пристанищем для гонимых за свободомыслие, как Шелли, или за вызывающее общественное поведение, как Байрон, образцом терпимости, демократизма и разумного решения самых трудных общественных вопросов. Романтически настроенные читатели "Новой Элоизы" (их были тысячи и тысячи, не исключая Толстого, который, по ироничному замечанию брата, даже письма вынянчившей его старушке Ергольской писал под чеченскими пулями так, словно вообразил себя несчастным учителем Сен-Пре, а ее несколько экзальтированной девицей Юлией) стекались в Швейцарию с твердой уверенностью, что здесь на самом деле им откроется обещанная Руссо "картина равенства, единения, кротких нравов", природный и социальный ландшафт, навевающий мысли о рае.

Толстой с его необыкновенным художественным зрением распознал тени в раю.

После начальных минут восторга им стало овладевать "невеселое расположение духа", когда в первую же прогулку по Люцерну выяснилось, что сразу за пансионом тянутся "узенькие грязные улочки", где встречаешься лишь "с пьяными работниками и женщинами, идущими за водой или, в шляпках, по стенам, шмыгающими по переулкам". Вдруг сделалось "ужасно душевно холодно, одиноко и тяжко". Руссо, которого, по признаниям поздних лет, Толстой "боготворил", от корки до корки проштудировав "все 20 томов, включая Музыкальный словарь", больше не вспоминался. Глазам предстала действительность. С утопией равенства и счастья у нее не было ничего общего.

Эта мрачность овладела Толстым еще до возмутительной сцены с нищим музыкантом. Нет причин проводить линию разграничения между автором и героем "Люцерна": рассказ полностью автобиографичен, а на последних страницах публицистика, требующая открытого авторского слова, откровенно теснит художественность. И хотя элегантная публика, которая высыпала на балконы, чтобы послушать занятное тирольское пение того, кто со своим смешным выговором именует себя "un bauvre tiaple"[1], а потом не наградила бедного малого ни сантимом, — сплошь англичане, стрелы яростной толстовской публицистики разят главным образом швейцарцев. Это они — высокомерный, закованный в броню приличий кельнер, привратник, лакейски почтительный к чистой публике и унижающий оборванца только за то, что тот плохо одет, — вызывают у Толстого "кипящую злобу негодования". И провоцируют выкрики, оскорбительные для Швейцарской Конфедерации: "Разве, кто платит, не все равны в гостиницах? Не только в республике, но во всем мире. Паршивая ваша республика!"

"Люцерн" — просто идеальный пример в подтверждение вывода Кундеры, что русские писатели склонны возводить чувства "в ранг ценностей и истин". Вопрос, разумеется, в том, считать ли это слабостью или, как Кундера, даже ущербностью русской культуры. Логику Кундеры понять несложно: одними эмоциями, сколь угодно искренними, в литературе ничего не достичь, необходима художественная выучка, а еще больше — художественная дисциплина, способность властвовать собой. Однако у Кундеры обсуждается проблема, имеющая отношение не столько к области эстетики, сколько к миру духовных приоритетов, а здесь его расхождение с русской классикой становится, пожалуй, непреодолимым. Без порицаемой им эмоциональности, которая, как выразился Кундера, создает особый климат произведения, нельзя представить себе русский роман золотого века, и приходится либо осваи-

1. "Бедолага" (*искаж. франц.*).

ваться в этом климате, либо искать для себя иную литературную среду обитания.

Те, кто предпочитает второе решение, без труда отыщут аргументы в пользу своего выбора, указав хотя бы и на чрезмерную резкость, несправедливость суждения о Швейцарии, вырвавшегося у толстовского рассказчика. Или на явную пристрастность Достоевского, когда он предвещает Западу катастрофу из-за того, что там утрачен "высший смысл жизни", потеряно "все общее и все абсолютное". А еще лучше — на многочисленные пассажи в славянофильской публицистике, доходившей до очевидных нелепостей вроде заявления Константина Леонтьева, что для него "Мордва милее Европы".

Но, нанизывая подобные аргументы, смешивают слишком разные вещи: не только публицистический пафос и художественное изображение, но, хуже того, идеологию русского почвенничества и моральное чувство писателя, которое с этой идеологией соприкасается только внешне, а то и вовсе с нею не связано. Тот же Леонтьев, оригинальный философ, которого в советские времена тенденциозно замалчивали, а теперь с той же тенденциозностью принялись возводить на пьедестал непонятого национального гения, не уставая твердил, что "жизнь пошлеет от прогресса", что Европа "погубила у себя все великое, изящное и святое", что нужно ненавидеть и страшиться ее, возвеличившую и осуществившую идеал "эгалитарного свободопоклонства", а он, боже упаси, воцарится и на отечественных просторах. При желании можно было бы и "Люцерн" истолковать как иллюстрацию этих заветных леонтьевских мыслей, но такого желания не проявил сам Леонтьев. Он много и по-своему ярко писал о Толстом, они встречались в Оптиной Пустыни, где Леонтьев хотел остаться монахом. Оценки Леонтьева, который намного лучше других понял художественный гений Толстого, тем не менее оставались всегда критическими, и эта критика носила совершенно осознанный идеологический характер. Их встреча закончилась признанием Леонтьева, что только по неистребимому слабодушию он не пошлет в Петербург донос, чтобы Толстого выслали куда-нибудь в Сибирь, да без семьи, да без денег. "А то вы положительно вредны".

"Своя своих не познаша"? Ничего подобного. Леонтьев, если встать на его позицию, был неукоснительно прав. Толстого он корил за недостаток фанатизма, за либеральничанье, то есть как раз за то, что Толстой доверялся своему писательскому чувству, тогда как надлежало твердо следовать идее, для Леонтьева главнейшей. И в итоге эта идея оказалась в том же "Люцерне", по существу, опровергнутой, ибо ни об эгалитарности, ни о свободопоклонстве, этих, по Леонтьеву, чудовищных европейских пороках, созданная в повести картина Швейцарии никак не свидетельствует. А свидетельствует она как раз о том, что равенства между людьми даже в Швейцарии с ее образцовой демократией нет и следа. Что свободе, понимая ее как обеспеченное каждому право нестесненного развития своей личности, там никто не поклоняется. Что под альпийским, как и под российским небом человек остается все тем же самым пленником социальных условностей, рабом сословных предрассудков и жертвой собственной душевной огрубелости. Что невозможно такое состояние, "в котором не было бы добра и зла вместе". И что "один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, всемирный дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить себя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу".

Конечно, тут тоже философия, но уж ничуть не такая, которая уместилась бы в рамках панславистской доктрины, насаждаемой Леонтьевым, или в пределах трезвой рациональности, очаровавшей Кундеру. Она, толстовская философия, родилась, не приходится сомневаться, как результат очень сильного чувства, но

разве становится из-за этого менее состоятельной и всеобъемлющей? И в чем беда, если действительно не выкладки, а чувство подсказывает, какие ценности иллюзорны, а какие останутся непреходящими? Ведь это чувство — перечтем последнюю страницу "Люцерна" — вовсе не ограничивается "пошленьким негодованьицем на лакеев", оно передает "гармоническую потребность вечного и бесконечного".

Эпилог "Люцерна", похоже, никто из тогдашних критиков не прочитал вдумчиво. И слева, и справа посыпались почти одинаковые упреки: социально озабоченный Писарев писал, что в лице героя повести явлен "тип неисправимого фразера или бестолкового идеалиста", а европейски мыслящий либерал Анненков находил, что вещь получилась "ребячески-восторженная". Итог полвека спустя подвел Ленин с его феноменальной глухотой, когда дело касалось искусства: только и видно, что Толстой совсем не способен к "конкретно-исторической постановке вопроса".

Через много лет в "Исповеди" Толстой вспомнит, что после своего европейского путешествия он, открыв в Ясной школу для крестьянских детей, "действовал еще во имя прогресса, но уже относился критически к нему. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно". Вернувшись к "Люцерну", можно догадаться, что́ это были за явления. Толпе, которая потешалась над певцом, адресованы горькие слова о "холодности и насмешке", ставших спутниками цивилизации, здесь, в Швейцарии, доведенной "до высшей степени". Для Толстого этого было довольно, чтобы подвергнуть сомнению саму цивилизацию как благо для человечества. Росток проклюнулся, дальше он начнет стремительно развиваться, и сделается неизбежным духовный кризис Толстого в начале 80-х годов, а как следствие — драма двух последних десятилетий его жизни.

Плоские ленинские сентенции о помещике, юродствующем во Христе, были объявлены непререкаемой истиной, и очень долго у нас не существовало ни малейшей возможности объективно разобраться и в истоках этой драмы, и в ее уроках. По существу, она сугубо русская, не в последнюю очередь предопределенная именно предосудительной, на западный взгляд, эмоциональностью — непосредственностью и прямотой отклика, когда зло принимает формы, опознаваемые и наглядные, такие, которые возмущают душу, тоскующую о человечности. И этот "непогрешимый блаженный голос заглушает шумное, торопливое движение цивилизации", заставляя судить о ней строго, излишне строго, но зато sub specie aeternitatis, при свете вечности, который просиял и на страницах швейцарской повести Толстого.

Переписка: Макс Фриш – Фридрих Дюрренматт

Перевод с немецкого, вступление и комментарии Евгении Кацевой

Вряд ли в двадцатом веке были более известные швейцарские имена, чем Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт. Очень разные как писатели, они пользовались широчайшим признанием среди читателей и зрителей чуть ли не всех стран и континентов — пожалуй, даже большим, чем в... Швейцарии. Нет, их, разумеется, и на родине очень хорошо знали, все издавали, ставили, даже почитали — но как-то дистанцированно, словно не родные это сыны, прославившие свое отечество, а своего рода — по-нашему — диссиденты. Конечно, они давали основания для этого, но скорее своим поведением — критическим, независимым, — чем произведениями. Фриш даже уезжал из Швейцарии, семь лет прожил в Нью-Йорке, купил себе там квартиру. Но в конце концов вернулся. И все же, швейцарец до мозга костей, он оставался чужаком. Он не мог простить своей стране, что в войну она не пускала к себе эмигрантов из фашистской Германии, даже боготворимому им Брехту не дала убежища. Гордясь тем, что он первый, кому в Израильском кнессете при получении награды разрешили говорить на немецком языке, он отказался от премии города Цюриха, потому что вручать ее должен был обербургомистр, в прошлом коллаборационист. За Дюрренматтом таких резких поступков, кажется, не числится, он прожил всю жизнь в своем Бернском кантоне, откуда совершал недлительные путешествия, слыл затворником, с властями не дружил и не враждовал.

Редкий случай, но у нас в стране книги обоих писателей издавали и пьесы ставили с давних пор почти по мере их выхода в свет. Ну бывали, конечно, перерывы (по счастью, не слишком длительные): не то кто-либо из них сказал (по поводу наших, то бишь советских, действий), что-то осудил (скажем, построение Берлинской стены), не с тем заявлением выступил (не одобрил, например, вступ-

© 1998 Diogenes Verlag AG Zürich

ления наших войск в Чехословакию), не того, кого надо, поддержал (А. Сахарова, Л. Копелева)... Да мало ли что может сорваться с языка или соскочить с публицистического пера человека, не присягавшего на верность Программе и Уставу КПСС. Но в их художественных творениях эти шумные, но преходящие грозы не занимали существенного места, а когда занимали, пекущиеся о знакомстве русскоязычной аудитории со значительными новинками зарубежной литературы переводчики — с разрешения авторов, а то и без оного — купировали соответствующие огрехи мировоззрения западных интеллектуалов.

Имена обоих швейцарских классиков вне их родины обычно произносятся на одном дыхании, почти как одно имя: Фришидюрренматт. Этот "двойной памятник" не очень радовал обоих. Так, в одном радиоинтервью в Риме Фриш еще в 1961 году говорил журналистке Корине Пульвер: "Нас обоих раздражает, что нас постоянно называют вместе... Мы друзья. Трубка, которую я сейчас курю, — подарок Дюрренматта. Но эта дружба имеет, конечно, свои шипы. Нам ничего другого не остается, как дружить. Ведь если бы мы завраждовали, это было бы большим подарком для его друзей, для моих друзей, для его противников, для моих противников — они, собственно говоря, только этого и ждут. Так что мы хоть и друзья, но, по сути, обречены быть друзьями". Дюрренматт был не столь чувствителен, тем не менее в ответ на появившуюся в 1960 году книгу Ханса Бенцигера, где оба писателя впервые рассматривались как единое целое, "Фриш и Дюрренматт", — ну, скажем, как своего рода "Пат и Паташон", — он позволил опубликовать свое крайне критическое письмо по поводу пьесы Фриша "Граф Эдерланд" (см. письмо № 9).

Нет, дружбой назвать их отношения трудно. Даже к начальному периоду их знакомства это слово мало применимо. Фриш сразу же обратил внимание на младшего коллегу и тут же хотел взять его под свое покровительство. Его первые письма исполнены неподдельного дружелюбия и желания помочь — помочь пробиться в театры и издательства, помочь благожелательными профессиональными советами. Дюрренматт суховато благодарит и почти неприкрыто дает понять, что ни в чем таком не нуждается: и с соответствующими людьми он уже сам связался, и доработками занимается. Мнение Фриша он, разумеется, чрезвычайно высоко ценит и дорожит им. Но нельзя сказать, что он с такой уж трепетной почтительностью взирает на своего, к этому времени весьма известного, старшего собрата и беспрекословно внемлет ему. А вскоре он и сам начинает довольно безапелляционно поучать его.

Любопытно, как точно совпадают рамки их земного бытия. Десятилетняя дистанция сохранилась до самого конца. Пяти недель не дожил Макс Фриш до своего восьмидесятилетия: 15.05.1911—04.04.1991; трех недель не дожил до своего семидесятилетия Фридрих Дюрренматт: 05.01.1921—14.12.1990, — он ушел, будучи все на те же десять лет моложе Фриша.

А так называемая дружба постепенно не только испарялась, но переходила если и не в полную свою противоположность, то в явное недружелюбие. Достаточно сказать, что, живя в маленькой Швейцарии, они много лет не виделись и после долгого перерыва впервые встретились... в Москве, в феврале 1987 года, на Всемирном конгрессе деятелей культуры против ядерного вооружения, в отеле "Космос", где происходил конгресс и жили его участники.

Вначале Фриш участвовать не хотел, он писал мне: "Мне жаль, но не могу поступить иначе. Это вопрос политической совести: в своей стране я отверженный, а за границей я должен ее представлять". Но затем все-таки принял приглашение.

Сердечной встречу классиков не назовешь, но — она состоялась, вежливая, с рукопожатием и даже обменом несколькими фразами. Последствий для их отношений эта встреча не имела.

Свело их вместе еще раз — уже посмертно — разве что издательство "Фолио", выпустившее пятитомное собрание сочинений Дюрренматта и четырехтомное — Фриша (берясь за первое, я как составитель мысленно просила прощения у Фриша за "измену", тем более что и он не остался "обойденным").

Да и вот еще эта книга: "Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт. Переписка". Составитель Петер Рюэди. Цюрих, Диогенес, 1998. (Обстоятельнейшие комментарии П. Рюэди частью использованы в адаптированном виде в нашей публикации.)

В книге приведены все сохранившиеся письма обоих великих швейцарцев, предоставленные архивами каждого из них.

Русскому читателю будет сложно воспринимать письма, содержащие взаимный критический разбор рукописей пьес. Но вряд ли есть смысл пересказывать их содержание. Читателю можно лишь порекомендовать выбрать один из двух путей: обратиться к вышеупомянутым собраниям сочинений, где все рассматриваемые пьесы опубликованы (Ф. Дюрренматта — с комментариями В. Седельника), либо ограничиться попыткой ощутить атмосферу, тональность писем, определяемую степенью сближения-отдаления авторов друг с другом, друг от друга, понять, где выражено попросту иное видение сути вещей, а где пером движет истинная заинтересованность в совершенствовании произведения адресата и где — придирчивость, продиктованная постепенно накапливающимся раздражением.

1. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

22.1.1947
Цолликерштрассе, 265

Уважаемый господин Фриц Дюрренматт!

На днях господин Райс[1] упомянул Ваше имя и Вашу пьесу[2], я попросил у него рукопись, которую сейчас в первый раз прочитал и пришел от нее в восторг. Знаю, что я не первый, кто Вам это говорит. Все в целом произвело на меня глубокое впечатление, прочитанное продолжает жить во мне, отдельные сцены особенно сильны, потому что они, как мне кажется, увидены крупным планом, и я восхищаюсь прежде всего мощной и своеобразной фантазией, открывающейся во всем — как в языке, так и в сценической образности. Я думаю, пьесу, хотя она и представляет некоторые трудности, надо показать на хорошей сцене, и я уже говорил об этом с господином д-ром Хиршфельдом[3]. Кроме того, я сегодня дал свой экземпляр Хайнцу Хильперту[4], чтобы он успел прочитать ее до своего отъезда. Надеюсь, Вы не рассердитесь на меня за это; может быть, я поторопился. Некоторые вещи — так мне по крайней мере кажется — следовало бы ужать, и Вам нужен хороший режиссер, который сел бы вместе с Вами и показал Вам, где Вы выходите за пределы возможностей сцены, что́ вредит видению; я имею в виду, например, танец анабаптистов[5] на крыше и некоторые другие эпизоды. Возможно, Вам будут говорить, что еще слишком заметны некоторые влияния; чаще всего я думал порой о "Шелковом башмаке"[6], порой о гениальном Георге Бюхнере. Но я считаю, что это

Макс Фриш

скорее внешние подражания, к тому же они второстепенны; в Вас достаточно Собственного, чтобы суметь все это стряхнуть, и если милость, которая так ощутимо царит над Вашим первенцем, Вас не покинет, то мне бессомненно кажется, что в Вас нам явился драматург крупного формата. Здесь много того, чему я искренне завидую, и я надеюсь, что Вы не воспримете мое письмо как отеческое одобрение, как похлопывание по плечу; я только хочу, чтобы Вы знали, как я восхищен и уверен, что к нам пришел настоящий художник. Я поздравляю Вас с первой пьесой.

С сердечным приветом
Макс Фриш

NB. Если Вы хотите, чтобы я поговорил с профессором Мушгом[7], не включит ли он ее в "Собрание Клостерберг", дайте мне знать; я не хотел бы вмешиваться без Вашего согласия.

1. Курт Райс (1900—1974) — основатель одноименного театрального издательства, многолетний президент Швейцарского театрального союза.
2. Имеется в виду первая драма Дюрренматта "В писании сказано" (1946), позднее радикально переделанная и переименованная в пьесу "Анабаптисты"..
3. Курт Хиршфельд (1902—1974) — сначала заведующий литературной частью, а затем директор Цюрихского драматического театра, поставившего все главные пьесы и Фриша, и Дюрренматта.
4. Хайнц Хильперт (1890—1967) — режиссер и художественный руководитель многих театров — в Цюрихе, Берлине, Вене, во Франкфурте-на-Майне и др. Поставил первую пьесу Макса Фриша "Санта Крус".
5. Сцена эта — танец перекрещенцев (анабаптистов) Бокельзона и Книппердолинка (кстати, реальных исторических лиц XVI в.: первый — демагог, вождь перекрещенцев, второй — бургомистр Мюнстера, безоговорочно пошедший за первым, пожертвовавший ради спасения души дочерью, состоянием) — конечно же, была оставлена в пьесе и действительно вызвала скандал во время премьеры 19.04.1947 г.: публика яростно освистала ее.
6. "Шелковый башмак" — так называлась драматургическая тетралогия Поля Клоделя (1868—1955), в сокращенном виде поставленная в 1945 году в театре Comédie Française. Имеется в виду перекличка с тетралогией католических мотивов пьесы Дюрренматта "В писании сказано".
7. Вальтер Мушг (1898—1965) — профессор Базельского университета, историк литературы, занимавшийся также и современными авторами. Издатель серии "Собрание Клостерберг" в базельском издательстве Бенно Швабе, где вышли первые четыре пьесы Фриша и первая пьеса Дюрренматта "В Писании сказано". Собственно говоря, посредничества Фриша для публикации пьесы Дюрренматта здесь не требовалось, чего Фриш не знал: Мушг еще 7.01.1947 отправил Дюрренматту приглашение к сотрудничеству, на что Дюрренматт в тот же день ответил длинным письмом, в котором писал о своем неприятии новейшей литературы, попутно упомянув: "Фриша я не понимаю".

2. Фридрих Дюрренматт — Максу Фришу

Базель, Сант Албанфорштадт, 30
24.1.47

Глубокоуважаемый господин Фриш.

Хочу от всего сердца поблагодарить за Ваше письмо. Могу сказать, что мне редко доставляло такую радость письмо. Вам должно быть понятно, что для меня значит, когда писатель столь высокого ранга и мастерства протягивает мне руку. Вы, наверное, сами знаете, как это укрепляет мужество, в котором мы постоянно нуждаемся, чтобы не выпустить перо из рук. Не в успехе мы нуждаемся, Вы ведь знаете, что даже самых лучших понимают лишь немногие.

Затем я хочу поблагодарить Вас за снисхождение, с каким Вы отнеслись ко многим слабостям моей пьесы, которые я очень хорошо знаю, но которые я вряд ли уже сумею устранить. С тех пор в моей жизни многое произошло[1], и моя жизнь и мышление во многом изменились, так что я лишь с трудом могу разобраться в анабаптистах.

Ваше письмо для меня особенно многообещающе, потому что оно приходится на период моей жизни, который мне кажется решающим для меня и моего искусства[2]. В это лето я со многим покончил. Может быть, "Анабаптисты" хороши прежде всего тем, что они заставляют меня идти дальше. В этой пьесе много того, чего я больше не могу продолжить, что я могу применить лишь единожды. Вам должно быть очень хорошо знакомо, что человеку следует остерегаться того, чтобы не стать эпигоном самого себя.

Я хотел бы еще добавить, что тогда меня особенно волновали проблемы протестантской церкви, но меня все больше захватывала фабула. Я пользовался игрой в театральные эффекты только для того, чтобы смягчить ужас и бессмысленность истории, дабы из материала не получилось "трагедии старшеклассников".

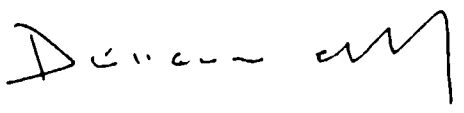
Прошу Вас извинить меня за то, что я говорил главным образом о себе, но мне важно ухватиться за руку, протянутую Вами. Я очень хорошо знаю, что Вы далеко впереди меня и что Вы — дающая сторона, но голодный охотно садится за стол, когда его приглашают, даже если он может только благодарить. Судя по тому, что мне о Вас известно, перед Вами мир раскрывается по-другому и проблемы возникают иные, чем у меня. Вы должны всегда иметь в виду, что я сын бернского священника и что, несмотря на все свои старания, я не смог до конца преодолеть религию своего отца[3]. Вы правильно меня поймете, если я скажу, что здесь я достиг своей границы.

Фридрих Дюрренматт

Дорогой господин Фриш, я слишком мало могу Вам предложить и не могу возвратить столько, сколько Вы мне дали, я могу лишь еще раз от всего сердца поблагодарить Вас.

Что касается постановки "Анабаптистов", я был бы очень рад увидеть когда-нибудь пьесу на сцене. Я очень благодарен Вам за то, что Вы говорили с господином д-ром Хиршфельдом и что дали ее Хильперту. Господин Райс пригласил меня на завтра. С господином профессором Мушгом я уже связался через посредничество господина Хорвица[4]. Он прочитал "Анабаптистов" и некоторые другие работы[5]. Завтра я встречусь также и с ним.

С наилучшими приветами
Ваш



1. Дюрренматт бросил изучение философии, разошелся со своей первой подругой и, женившись на актрисе Лотти Гайслер, переехал в Базель, где она работала в городском театре. Принял решение полностью посвятить себя писательству.
2. Свою докторскую работу Дюрренматт хотел писать о Кьеркегоре, много занимавшемся конфликтом между верой и церковью.
3. Отец Фридриха Дюрренматта, пастор Райнхольд Дюрренматт (1881—1965) был либеральным представителем "позитивного протестантизма".
4. Курт Хорвиц (1897—1974) — актер, режиссер, художественный руководитель Цюрихского драматического театра. В период 1946—1950 был директором театра в Базеле и явился, собственно говоря, первооткрывателем Ф. Д., позднее стал художественным руководителем Баварского государственного театра.
5. Имеется в виду ранняя проза Дюрренматта: "Старик", "Образ Сизифа", "Директор театра", "Пилат" (см. Фридрих Дюрренматт. Собрание сочинений в пяти томах. Том I. Харьков, Фолио, 1997).

---

3. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

Цюрих, 27 марта 1949

Дорогой Дюрренматт!

Сегодня ночью прочитал Вашу новую пьесу[1], которую получил на несколько часов от Хиршфельда — я поздравляю Вас с нею! Считаю ее великолепной. Говоря очень общо: в ней снова в полной мере присутствует то, что восхищает меня во всей Вашей работе — масштабность, видение крупным планом, которое, я убежден, на сей раз осуществимо и в театре; затем — радикальность мышления. Это, конечно, сказано с ходу, мне надо еще раз подумать, как точнее назвать то, что так восхищает меня в этой пьесе и в Вас. В особенности меня радует, разумеется, то, сколько почвы, вовсе таковой не являющейся, уплывает из-под ног зрителя; против Вас поднимется целая армия задниц, это Вы знаете, — правда, увидеть и услышать армию этих самых задниц доставит Вам удовольствие. Истинное наслаждение доставляет мне то, что́ пьеса говорит об отечественности, — спрячусь уж за какой-нибудь деталью, — здесь излишни и смех, и усмешки, это чистое освобождение, прорыв к неприкрытой реальности; но Вам, дорогой Дюрренматт, это обойдется в несколько тысяч франков, ибо в Фондах нашей отчизны для Вас теперь не найдется ни малейшего местечка[2], и я чертовски рад, что пьесу теперь покажут и в Штутгарте. Это совершенно точное попадание в то, что противоположно желаемому; мне кажется также суще-

ственным, что показана не просто распродажа культуры, а человек, эту распродажу организующий и проводящий ее в духе исполнения приговора; это не позволяет пьесе превратиться в сплошное бесчеловечное глумление; Ромул, каким я его видел сегодня ночью, мне представляется тем самым положительным началом, которое все, если их послушать, так молитвенно жаждут и которое, стоит ему заявить о себе, тут же проклинают, да, желательнее всего было бы его уничтожить или по крайней мере замолчать, как это делают наши газеты, или попросту обругать, потому что положительное, гляди-ка, вовсе не так уж приятно. Я уже чую слово, каким встретят этого Ромула: разрушитель — так назовут его политиканы, и для обывателей от Бога он нигилист, бомба в христианский огород, а его вскользь брошенный хладнокровный вопрос, является ли культура чем-то таким, что можно спасти, есть, разумеется, чистая ересь; тут уж все куры в зрительном зале или в фойе закудахчут, культура — их драгоценнейшее перо. Уже одно это отличает нас от всех существ, которые нам известны; римский камердинер, знающий наизусть Горация и потому уверенный, что он не может и ему не дадут погибнуть, — это не единственная, но очень сдержанная и потому, возможно, столь неизбежная насмешка над всеми, кто привык обосновывать свое бессмертное право на существование западной культурой, — я имею в виду всю эту патетическую суету нашего отечественного Запада, который хочет, естественно, жить столь же естественно, как саламандра или курица, которая кудахчет, когда ее берут за горло, но все это украшается позой культурного миссионерства, справиться с которым можно только с помощью комедии и большого количества фалернского вина. Боюсь, что от Маршалла[3] Вы не получите премии — хотя бы из-за того, что Ромул так ведет себя по отношению к Рупфу, этому холодному спасителю культуры. Кстати, мне немного жаль, что Рупф, как и некоторые другие персонажи, остается после всего этого балагана очень незавершенным. Очень сильными я считаю — тут я уподобляюсь профессору и гельветскому эссеисту, обладателю критериев, который не без удовольствия именно этими критериями меряет живого писателя и порой даже благосклонно похваливает, — итак, очень сильными я считаю первые три акта, великолепен завтракающий Ромул, когда все остальное, происходящее на наших глазах, тут же становится второстепенным; иначе — ест ли Ромул или пусть даже кормит своих кур — его равнодушие сразу приобрело бы другой характер: вздорно-высокомерный, взрывной, дергающийся и так далее, я все больше и больше убеждаюсь, что такие вещи столь важны и часто определяют весь акт; каждый из трех первых актов имеет свою четкую линию, иначе говоря, большое театральное пространство, заполнить которое при Вашей необузданной фантазии не составляет труда, но если акт или сцена в визуальном плане ничего сразу же не предъявит, то фантазия языкового образа мало что или совсем ничего не спасает. Очень сильное впечатление (так говорит эссеист, когда он что-то одобряет) производит появление Эмилиана, для меня — наисильнейшее, ибо оно сразу дает перспективу Ромулу, поднимающую его над шарлатаном; здесь это становится очевидным, и я поражаюсь, что Вы сумели достичь этого одним-единственным персонажем, — уже при чтении, а на сцене, вероятно, еще больше, потому что я ощущаю его взвихренность, даже когда другие разговаривают. То, что Эмилиан потом смывается с Реей, я сегодня ночью как-то упустил. Ведекиндовским[4] кажется и третий акт из-за беззастенчивого использования театральных петард: они взрываются по мере духовного затухания, и это особенно прекрасно; прямо-таки дюрренматтовской предстает, разумеется, победа пассивности. Поверю ли я, как зритель, что вылезающих отовсюду парней в черных плащах оттесняют к стене, — этот момент представляется, конечно, щекотливым и решающим для всей пьесы; Хиршфельд рассказывал мне раньше,

что его это не убедило; меня же это убедило полностью и без труда. Хорвиц в Ромуле найдет одну из лучших своих ролей; если его не измотает дирекция, он будет великолепен, я вижу его очень четко. "Когда германцы явятся" – это замечательно, для меня это уже стало крылатой фразой, она звучит в конце этого акта и доводит мой восторг до предела.

Последний акт я считаю намного слабее, даже слабым, но еще не знаю, почему у меня возникло это впечатление, впечатление чего-то дешевого – оно никоим образом не связано с развязкой, которая поражает только частностями, в целом же последовательна и вполне ожидаема. Может быть, дело в германцах, смахивающих на гельветские корнишоны[5]? То, что германцы в течение трех актов драматургически безупречно надвигаются и уже их первые представители не оправдывают порожденного ожидания и опасений, это, конечно, одна из составных частей данной комедии; честь этому комизму; но стремление навести глянец мне уже в языке представляется чрезмерным, то есть пропадает сама комичность, потому что партнеры попросту чересчур мелки для Ромула, чересчур выстроганы, как те скамейки[6], они лишены для меня "реальности" других персонажей, например антиквара, или спортсмена, или декламирующей дочери, все это преувеличения, в которых нет недостатка в бесцеремонности и потешности, но германцы мне кажутся слишком легковесными: не для германства, а для драматургии. У меня такое впечатление, будто здесь у Вас пропал запал; после того как я прежде по-настоящему очень осознанно восхищался тем, как Вы умеете разыграть шутку во всю ширь – настойчиво, скабрезно, почти бесстыже, как то происходит в великих комедиях или, скажем, у того же Сервантеса, где главная шутка подается все снова и снова, ты давно уже перестал наслаждаться неожиданностью, а шутка все прет напролом, выходя за пределы огорчительной повторяемости, почти раздражения и скуки, пока ее заново и окончательно не находишь удачной, – удачной самой по себе, без подпитки намеком и неожиданностью, хорошей, как должна быть хороша и устойчива со всех сторон скульптура. О чем это я говорил? О последнем акте, о своем впечатлении, словно здесь у Вас пропала охота к работе, которая, возможно, по времени даже была предшествующей; шутка, мне кажется, уже не забавляет, она потеряла меру, стала скорее безразличной, чем смелой, и поскольку все здание, которое Вы возвели за три акта, отвечает высшей мере взыскательности, мне было как-то неловко, когда в решающих местах Вы удовольствовались почти гимназическими шуточками. Конечно, здесь есть вещи, которые не могут быть совсем уж нелепыми и пустыми; но они не должны быть дешевыми; птичий двор, который обкудахтывает последнего кайзера мировой империи, смешон, но он не дешевый; германцы, берущие на себя мировую историю, дешевы, и у меня такое впечатление, будто у главной шутки, заключенной в этом последнем акте, нет другой подпорки; она оскальзывается. (Мне кажется, что, поработав немного, это можно исправить; я думаю, здесь недостаток не в сооружении, а в исполнении.) Разумеется, можно было бы еще многое сказать, мне важно было сразу поделиться своим первым впечатлением, прежде чем растранжиришь его во множестве разговоров. С господами Хиршфельдом и Оберером[7] я еще не говорил подробно; я считаю, что будет нелепо, если пьесу не поставят также и в Цюрихе, хорошо бы с Хорвицем, и надеюсь, что так оно и будет; Цюриху это необходимо!

На премьеру я, к сожалению, приехать не могу, так как в это время мне предстоит в Штутгарте собственная экзекуция[8], или я буду дома, чтобы приветствовать своего третьего отпрыска. Когда мы снова увидимся? Поскольку вскоре я как архитектор стану безработным, я мог бы уже ранним летом навестить вас в Билензее; я бы очень хотел.

На сегодня, дорогой Дюрренматт, я сердечно поздравляю Вас и хочу без обиняков выразить Вам свое восхищение, чего я обычно, когда дело касается знакомства с современниками, за исключением только Брехта, не делаю; Вы можете поступить с этим как хотите!

Сердечно приветствует Вас
и Вашу жену
Ваш

Это письмо, конечно же, невнятная писанина, но у меня совсем нет желания переписать его набело.

1. Речь идет о пьесе "Ромул Великий" (декабрь 1948 г.), носящий подзаголовок "Исторически недостоверная комедия в четырех актах". Хотя здесь действуют и реальные персонажи, к истории она имеет весьма косвенное отношение. На самом деле Ромул правил Римом всего один год (475—476), после чего был свергнут, отправлен в ссылку, так что никак не мог, как сказано в пьесе, двадцать лет разводить кур в императорском дворце.

Премьера пьесы состоялась в апреле 1949 года. Ее поставил Штадттеатер Базеля, вслед за этим, в мае 1949 года, она была показана в Штутгарте.

2. Фриш ошибся: Дюрренматт получил премии даже от двух фондов.

3. Георг К. Маршалл (1880—1959) — министр иностранных дел США, автор "Плана Маршалла" — американской программы восстановления Европы после Второй мировой войны; программы, породившей знаменитое "Экономическое чудо" Западной Германии.

4. Франк Ведекинд (1864—1918) — немецкий драматург, оказавший сильное воздействие на Дюрренматта, — настолько сильное, что вдова Ведекинда в 1952 году подала иск в суд за плагиат (в связи с пьесой Дюрренматта "Брак господина Миссисипи"); Дюрренматт суд выиграл, написав блистательную статью "Признания плагиатора".

5. "Кабаре Корнишон" — популярный в Швейцарии сатирический театр. Созданный в 1933 году, он закрылся в 1951-м; в нем участвовали многие актеры Шаушпильхауса, тексты для него писал и Дюрренматт.

6. "Выстроганные скамейки" — сатирический атрибут базельских карнавалов.

7. Вальтер Оберер — в течение многих лет директор Штадттеатер в Берне, с 1948–го до 1957 года административный директор и художественный сотрудник цюрихского Шаушпильхауса.

8. Имеется в виду предстоящая премьера пьесы Фриша "Когда окончилась война" во время Недели культуры "Швейцария в Штутгарте", которая, в отличие от более позднего показа "Ромула Великого", прошла с успехом.

---

4. Фридрих Дюрренматт — Максу Фришу

Шернельц
30.3.49

Дорогой господин Фриш,

сердечнейшее спасибо за Ваше письмо. Я очень рад, что Ромул вам понравился, именно Вам, Вы один из немногих читателей, которые сегодня имеются. Ваши возражения по поводу четвертого акта мне надо просто проглотить, в чем-то они меня убеждают, с другой стороны, у меня такое чувство, что Вы ищете для своих стрел другую цель, нежели ту, какую выбрал я. Как бы то ни было, я сейчас не в состоянии написать другой четвертый акт, я не вижу друго-

го варианта, чем именно такой четвертый акт. Разумеется, я рад снова полностью вылезть из этой шкуры, вытряхнуть все целиком из рукава — мне надо было наконец высказать вещи, которые я не мог больше замалчивать. Я сделал это в трех актах, а в четвертом я просто забавлялся.

Я рад, что теперь Вы прочитали пьесу, я ведь обещал прислать Вам экземпляр, и потому у меня уже давно совесть была нечиста. Но и Вы теперь не подводите меня с вашей пьесой[1]. Каждый, с кем я разговаривал, — даже такой человек, как Диггельман[2], бедняга, который навестил меня здесь, — уже читал или видел ее, а я не знаю ни строчки, хотя дважды сам обращался к автору.

Не знаю, когда приеду в Цюрих. В Штутгарт мне придется поехать, без всякого желания, я ведь ненавижу поездки за границу (она начинается уже по ту сторону Тванна и Лигерца), но Хорвиц настаивает.

Надеюсь, у вашей жены будет все в порядке. Мы радуемся новому Фришу и с любопытством ждем, будет это мальчик или девочка[3]; у нас в этом году тоже произойдет такое событие, я не сомневаюсь, что после этого Фонд заявится с обещанными в знак благодарности за Ромула тысячными банкнотами.

Приезжайте же хоть ненадолго к нам! Здесь очень хорошо, тем более что у нас даже есть служанка, как в сказке — за шестьдесят франков в месяц: драматургам везет.

Я пишу сейчас детективный роман для "Беобахтера"[4]. Я стану и стал способен на всё. Эту фразу я оставлю в такой грамматической форме.

Сердечно приветствуем Вас и прежде всего желаем вашей жене всего приятного и доброго и не слишком сильных болей. Пусть все пройдет благополучно.

ваш
Фриц Дюрренматт

язык четвертого акта я еще раз переработал

1. Имеется в виду пьеса Фриша "Граф Эдерланд", части из которой автор впервые читал лишь в январе 1950 года.
2. Вальтер Маттиас Диггельман (1927—1979) — писатель-самоучка, человек с весьма неблагополучной биографией; первые публикации появились в шестидесятых годах.
3. 17.05.1949 г. жена Фриша Труди Фриш-фон-Майенбург родила вторую дочь Шарлотту.
4. Речь идет о первом детективном романе Дюрренматта "Судья и его палач".

"Швайцеришер беобахтер" — основанный в 1927 году базельским специалистом по рекламе Максом Расом массовый журнал; выходил поначалу ежемесячно, затем дважды в месяц. В начале пятидесятых годов Рас организовал кампанию по сбору средств в пользу Дюрренматта.

---

5. Фридрих Дюрренматт — Максу Фришу

Шернельц
8.5.49

Дорогой господин Фриш,

большое спасибо за телеграмму и за "Вельтвохе"[1].

Родился ли уже ребенок? Как себя чувствует ваша жена? Я повсюду спрашивал, но никто не мог мне ответить.

О Германии мне сказать нечего. Так как у меня не такие зоркие глаза, как у Вас, и Вы Германию знаете дольше и основательнее, то я впредь, поскольку мне противно рыться на кладбищах в поисках каких-нибудь живых существ, которые все еще продолжают жить, буду лучше молчать.

Посылаю Ведекинда. Седьмой том отсутствует, но там нет ничего существенного.

Примите его как малый знак моей благодарности.

С наилучшими приветами и
сердечными пожеланиями вашей жене
ваш *Фриц Дюрренматт*

1. В швейцарском еженедельнике "Вельтвохе", в номере от 6 мая 1949 года, была опубликована рецензия Фриша на базельскую премьеру "Ромула Великого", где речь шла не столько о спектакле, сколько о самой пьесе.

---

6. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

9.7.49
[без адреса отправителя]

Дорогой господин Дюрренматт!

Посылаю "Эдерланда" – Ваше мнение меня в любом случае очень интересует; я надеюсь, что Вы будете совершенно откровенны.

Сегодня я отправляюсь на север[1].

Сердечные приветы
также Вашей жене
Ваш *Фриш*

1. Фриш отправился в Кампен-на-Зильте, к издателю Петеру Зуркампу.

---

7. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

Кампен-на-Зильте
14.7.49
п.а. [по адресу] Зуркамп

Дорогой Дюрренматт!

Чтобы не забыть: пошлите Зуркампу[1], которому я об этом говорил, "Пилата" и "В Писании сказано"; он хотел бы это прочитать. (Зуркамп, Фалькенштайнерштрассе, 31, Франкфурт). Здесь, между дюнами и безбрежной водой, великолепно, но, к сожалению, я успел простудиться; в остальном же это то, чего я искал: совершенно другой мир. Вас сердечно приветствует

Ваш *Фриш*

(я буду здесь до 3-го августа.)

1. С издателем Петером Зуркампом (1891—1959) Фриш познакомился в Цюрихе на премьере драмы Карла Цукмайера "Генерал дьявола" 25.11.1947 г. и с тех пор стал постоянным автором этого издательства — единственного правообладателя его произведений.

8. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

16.10.49
[без адреса отправителя]

Дорогой господин Дюрренматт,

благодарю Вас за быструю присылку первого и второго актов "Миссисипи"[1], которые я так же быстро проглотил. Так как завтра я уезжаю в Авиньон, я, к сожалению, могу написать Вам только мало и бегло. Я считаю, что первый акт великолепен по ситуации и развитию; удовольствие доставляет разыгрывание козырей — в абсурдности ситуации, пока она неожиданна, заключена большая сила. Мы немного уже касались этих вещей в разговоре; мои вскользь сделанные замечания — это очень личные ощущения, которые потом при чтении, в особенности второго акта, вновь возникли. Мне кажется, растянутая во времени абсурдность не может создать плодотворного климата. Опасность кроется в постоянном заострении, постоянной экстремальности примеров — это утомительно, и, кроме того, без присутствия на первом плане обыденного я легко теряю масштаб, представляющий неслыханное именно как неслыханное. Возможно, чего-то не хватает просто во мне, которому вдруг не хватает воздуха, — я этого совершенно не ощущал в "Анабаптистах". Я иногда задаюсь вопросом, до какой степени легитимным может быть воздействие экстремального, которое меня ошеломляет; у меня тогда, как я уже говорил, возникает тоска по более гуманному климату, по умеренности даже в бурлеске, который легко оказывается в пространстве, где попросту все возможно и все безразлично. Ситуация, констелляция этих трех людишек — я не решаюсь даже сказать человек — так бесспорно многозначительна; Вы сами чувствуете, что эта пьеса с точки зрения ремесла завидная удача, хотя второй акт (тут я расхожусь с Вашим мнением) мне не кажется уже решенным; я не верю, что Джон[2] нажмет на курок, а ведь это важная опора во всей постройке. Почему я не верю? Согласен, он достаточно ослаблен, по крайней мере по логике, но не по жизненности. Миссисипи считает, что одолел его, что, кстати, дается ему явно с трудом; но Джон — он, правда, находится в безумном положении; но для подобного сорта людей (он ведь не из интеллектуалов) он, на мой взгляд, многовато теоретизирует. Он делает это благодаря драматургическим приемам и философским познаниям автора, но — черт меня побери — он не сам делает это! Миссисипи не обладает для меня ничем гипнотическим, интеллекта недостаточно; Жану[3], который вынуждает фройляйн Юлию взять в руки бритву, легче, потому что она существо податливое, и Жан полностью играет на ее инстинктах, при которых аргументы являются только возбудителями страстей и страхов, здесь же аргументы, именно как аргументы, должны убивать. Я пишу то, что приходит в голову, притом после первого прочтения! Может быть, дело не в Миссисипи (a propos: я считаю, что сплин в связи с Моисеевым законом[4] мог бы чаще проявляться), но в том, что он, хотя и сбит по понятным причинам с толку, не впадает в смятение, а в свою очередь миссисипствует, ведет разговор, в какой он никогда не мог бы вступить, и поскольку здесь так много резонерской дискуссии,

я не верю в ее конец, лишь понимаю, что пьеса вертится вокруг этого конца, и потому принимаю его — как абсурдный образец заранее заданного свидетельства, но не как событие, вырастающее в образец. Я не знаю, дорогой Дюрренматт, видите ли Вы, в чем здесь для меня трудность, и даже если я один такой, то это еще ни о чем не свидетельствует. Есть еще и другие вещи, менее центральные, которые мне мешают, заострения, некая чрезмерность с посещением казни; присущая Вашему дарованию гротескность, должно быть, нечто очень трудное, она линза для столь многого, чего иначе не сделать зримым, и вдруг, когда ее оказывается слишком много, она вообще уже ни о чем не говорит, как бы отбрасывает назад, люди превращаются в кукол; у Ведекинда, подумал я, это все люди из плоти и крови, ситуация безумная, но никак не абстрактная — все это очень личные ощущения, выражение, может быть, личной пристрастности; возможно, у меня раньше, чем у других, обрывается нить восприятия происходящего всерьез, человеческого участия. Я с большим любопытством жду третьего акта! Надеюсь, Вас не задевает то, что я говорю. Это не умаляет моего восхищения, о котором я уже не раз говорил, а только обостряет мое личное желание, чтобы для будущих посевов Вы использовали более "гуманный климат"; у меня в самом деле такое ощущение, что абсурдное, пусть и великолепное, непременное, то и дело плодотворное, долговременным быть не может.

Передайте сердечный привет Вашей жене, я желаю ей всего доброго с маленьким лигерцерцем[5], и Вам самому желаю всего доброго

Сердечно Ваш
Фриш

1. Речь идет о первоначальном варианте комедии "Брак господина Миссисипи". В отличие от швейцарских театров, решительно не принявших пьесу, Фриш отнесся к ней положительно, возражая лишь против ее чрезмерной заостренности. Тем не менее премьера пьесы, состоявшаяся в 1952 году в Мюнхене, имела большой успех, Дюрренматта сравнивали с величайшими комедиографами Аристофаном, Свифтом.

В основе пьесы — извечный спор: можно ли спасти мир с помощью религии или идеологии.

2. Джона — революционера, идейного антагониста прокурора Флорестана Миссисипи — Дюрренматт позднее переименовал во Фредерика Рене Сен-Клода.

3. Жан, Юлия — персонажи "натуралистической драмы" Августа Юхана Стриндберга (1849—1912) "Фрёкен Юлия" (1948).

4. Одна из основных идей Миссисипи — справедливость на Земле можно установить с помощью Моисеевых законов, в то время как Сен-Клод настаивает на необходимости революций.

5. 19.09.1949 г. у Дюрренматта родилась дочь Барбара.

---

9. Фридрих Дюрренматт — Максу Фришу

[без даты и адреса отправителя]

Дорогой господин Фриш,

это письмо я начинаю Вам писать не без некоторой озабоченности, ибо я совсем не уверен, в состоянии ли я выразить то, что мне бы хотелось. Все лето я занимался графом Эдерландом, — разумеется, не только им, но он все время оставался в центре тех вещей, над которыми я раздумывал все эти недели, хотя я и не мог бы сказать, что пришел к заключительному выводу, и меньше всего — о художественной ценности этой "страшной истории", как Вы ее называете. К тому же,

что еще, видимо, усугубляет дело, я для собственной работы бьюсь над материалом, не очень далеким от вашего, но я хочу говорить не о своей работе, а о вашей.

Не только граф фон Эдерланд меня очень интересует и заставляет мысленно его выслеживать, подобно шпиону, но и убийца, не дающий покоя, — может быть, убийца даже больше. Когда я размышляю над тем, что случилось, я прилипаю к нему и не могу оторваться. Эдерланд тоже не избавился от него. Убийца говорит об Эдерланде, что тот его понял, он единственный, кто его понял. Может быть, в том-то и дело, что надо понять убийцу, чтобы понять пьесу в целом, чтобы понять Эдерланда. А это трудно. Встанем на место зрителя: он тоже вряд ли поймет убийцу, он услышит об этом убийстве, об этой бессмысленной истории, которая так бессмысленна и ужасна, он будет стараться, как доктор Ган, понять убийцу, постичь смысл и, как доктор Ган, он капитулирует перед этим убийством, как перед чем-то необъяснимым, что ему угрожает, что его потрясает, но не имеет объяснения: ведь и убийца не может его объяснить себе, он только знает, что что-то сделал, но не знает, чего он хотел этим достичь, он сделал что-то, чего никоим образом не понимает. Но это не собьет с толку зрителя, он будет, как и доктор Ган, как и убийца, сидеть перед загадкой, порядок же остается нерушимым.

Когда я размышляю об Эдерланде, мне поначалу важны, собственно говоря, не жизнь его после встречи с убийцей и не жизнь до этой встречи, а тот момент, когда Эдерланд понимает убийцу. Этот момент, должно быть, страшен. Это момент, который никакое искусство не в состоянии изобразить, но можно представить себе драму Эдерланда, показывающую путь к этому моменту, это может быть драма только между Эдерландом и убийцей, и побеждает убийца. Вы же показываете путь Эдерланда после этого момента. Вы показываете нам Эдерланда уже преображенным. То есть Эдерланд, появляясь перед зрителем, уже понял убийцу, зритель же, в отличие от Эдерланда, убийцу еще не понял — это усложняет понимание пьесы. А понять убийцу трудно, потому что для этого требуется мужество. Ибо правда Эдерланда, правда, по которой он действует — может быть, лучше сказать, действительность, — это нечто такое, что очень трудно передать одним понятием, вы делаете это словом "жизнь", но и это слишком неопределенно, топор выражает это гораздо лучше, топор, который убивает. Другая большая сложность заключается в том, что зритель, дабы следовать за ходом пьесы, должен понять Эдерланда, ведь то, что для убийцы было непостижимым моментом — убийство, кажется тем более жутким, что его никто не понимает, но все-таки чувствует, что оно не может быть бессмысленным, это только для Эдерланда уже не момент, а жизнь. И это должен понять зритель, иначе Эдерланд покажется просто сумасшедшим, одержимым, как его называет Ган. Он должен настолько хорошо понимать эту жизнь, что ничего не может противопоставить такой логике, доводы Эдерланда в любом случае должны быть сильнее доводов зрителя, как, например, сильнее доводы Мефистофеля, нежели зрителей, — Эдерланд должен убеждать (даже если пьеса воспримется как дьявольская). Недостаточно, чтобы он казался сумасшедшим (он кажется, но не является им). Но каким образом Вы можете это сделать? Не лежит ли ошибка не в вас, а в самом Эдерланде? Его жизнь полностью находится по ту сторону всех понятий, это бездна, и потому также и по ту сторону всякой метафизики, если хотите, возможно также по ту сторону всякого искусства. Это, собственно, можно понять лишь инстинктивно, тем не менее по законам драматургии Эдерланд должен объясниться, чтобы быть понятым зрителем.

Я хочу сказать: это глубокая мысль — дать Эдерланду самому себя опровергнуть, а именно его ограниченной способностью к переживанию, благодаря чему он постоянно встречает одних и тех же людей. Возможно, в определенной степени это и объективно, мы всегда встречаем лишь немногих типов, но здесь меня это не интересует, я хочу только сказать не более того, что Эдерланд не гений. Я думаю, важно это констатировать. Вы в дневнике где-то писали, что некоторые называли повесившегося Мариона[1] эстетом, потому что он так приблизился к бездне. Я хочу причислить себя к тем некоторым и именно потому назвать Эдерланда эстетом в его последней консеквентности, так же как и Дон Жуана и Джека Потрошителя. Оба были гениями чувственности (бравый Джек, правда, несколько мистическая — sic! — фигура, он мог бы быть и просто безумным врачом, но маркиз де Сад был совершенно точно гением).

Извините, что я описываю подробнее то, что называю эстетичностью в ее последней консеквентности, я опираюсь здесь на Кьеркегора. Воспримите здесь эстетичность как не религиозно-бездонное.

Кьеркегор, который много размышлял об эстетическом, много лет занимался образом высококлассного вора, то есть все сплошь гении, одни гении обольщения, другие — чувственности. К ним я могу причислить, например, Пелегрина из "Санта Круса". Эдерланд не гений, причем намеренно не гений. Он был прокурором, очень хорошим, конечно, но прокурор-гений, сходя с ума, изменяется другим образом. Скажем так, — а я думаю, что мое впечатление здесь верно, — с того решающего момента, как он понял убийцу, он становится человеком типа Барона в "Санта Крусе". Преобразовывающийся человек порядка. Но при этом преобразовании возникает вопрос: может ли Барон стать Пелегрином, прокурор — Дон Жуаном, маркизом де Садом. Вероятно, еще лучше — Джеком Потрошителем, но счет никогда не сойдется, всегда в остатке будет часть Барона. Так в Эдерланде всегда возникает чувство, будто он поучает, он осуществляет свои убийства так, как профессор проводит свои эксперименты, следуя не побуждению, а какому-то учению.

В шахматной игре эстетического —

Эдерланд:	слон
Жак:	ладья
Высококлассный вор:	конь
Дон Жуан:	королева
Художник:	король (находится под постоянной угрозой мата со стороны этических фигур).

Эдерланд как слон:
диагональ между этической и эстетической линией ведет в никуда. К тому же он сперва убирает все этические пешки.

Эдерланд: потерпевший кораблекрушение, разбившийся на рифах эстетического.

Тягостность подобных фраз. Об Эдерланде просто-напросто нельзя философствовать. Только понимать.

Эпидемия убийств, вспыхивающая из-за Эдерланда. Налагаемое государством на автора наказание: он должен держать надгробные речи.

Не поймите меня неправильно: констатация того, что Эдерланд не гений, не означает критики; он и не должен им быть. Эдерланд страдает от болезни, от которой страдает каждый, она у вас последовательно вспыхивает во всем мире. Я только хотел сказать, что кажется, будто Эдерланд — это персонаж, который своеобразно сопротивляется драматическому изображению. Можно представить себе какого-нибудь Эдерланда на этическом поле (например, наподобие Михаэля Колхааса, человека, который ходит кругом в качестве палача и все время вешает виновных), но этот персонаж не будет лишен драматизма, потому что он всегда может ужасным образом обосновать свои действия, то есть стать понятным. Эдерланд не может обосновать своих действий, а когда он все-таки это делает, он резонирует. Иной раз это мне очень бросалось в глаза в нем, в то время как убийца, например, не резонирует. Такой мне кажется его ре́чь. Может быть, причина в том, что действия Эдерланда ничем подобным логично обосновать нельзя.

Поговорим о другом. О переодеваниях. С точки зрения театральности меня это очаровывает. Вы пользуетесь переодеваниями на совершенно новый лад. Когда актер в театре переодевается, у зрителя сохраняется восприятие тождественного, он испытывает удовольствие, что переодетый персонаж вводит кого-то в заблуждение. Другое дело, когда актер, переодевшись, выполняет другую роль, — я вспоминаю, как видел Гинзберга[2] в одной пьесе Ахарда[3], он играет одновременно трех персонажей, двоих из них к тому же в различном возрасте. Я хотел бы посмотреть пьесу Нестроя[4], о которой я вам рассказывал, где один и тот же актер должен играть самого себя, свою жену и своего ребенка. У вас же переодевание — символ. Мне интересно, как будет реагировать зритель.

Посредством переодевания Вы поднимаете пьесу в область фантастического. Кошмар, в котором сверкает топор. Так и хочется сказать, что в этой пьесе мешает все, что не фантастично. Пьеса, которой никогда не следует стать фабулой, историей. К моему удивлению, собственно говоря. Ведь в Цюрихе я Вам говорил, что чем реалистичнее мир этой пьесы, тем она ближе к действительности и тем более действенной она окажется. Мир в седьмой картине мне мешает не потому, что здесь мало действительности, а потому, что здесь слишком мало фантастического, все словно недостаточно нафантазировано, полностью сконструировано. Не очень нравится мне и Санторин. Эту пьесу, собственно, можно играть только в мансардах, на чердаках, в гримерных и погребах, но никак не на свободном пространстве. В рассказе в "Эдерланде" все совершенно иначе, рассказчик все время находится между происходящим и зрителем, поэтому рассказ мне и кажется сильнее. Обстоятельство, заставляющее меня задуматься.

Вернемся к негениальности: Эдерланд тоже не дурак. Не дурак и не гений. Никто так не облегчает зрителю дело, как дураки и гении, одними он восхищается, над другими можно смеяться. Эдерланд же обыкновенный человек, совершающий безумные поступки. Если его правильно понять, это одна из самых страшных, представляющих наибольшую угрозу фигур, если его не понять, он сумасшедший, а сумасшедшие не интересуют людей. Дон Кихот восхищает и того, кто не знает, что он такое, с Гамлетом дело обстоит так же.

Пьеса мне кажется очень широко задуманной, но мало реализованной.

Эдерланд поневоле очень односторонняя, "сверхотчетливая" фигура. Потому все на слишком большой высоте, словно в горном воздухе, в котором трудно дышать.

Слова "Мы счастливы и свободны" мне кажутся хорошими в рассказе, в драме же — невозможными.

О топоре: смерть от топора — одна из "неэстетических смертей". Едва ли поддается описанию. Красная лужа, в которой плавает расколотая голова. Греческая трагедия любит страшные виды смерти. Они происходят за сценой и рассказываются словами, примерно как Саломея появляется с головой Иоанна, зрителю о смерти сообщается словами. В Эдерланде не так. Иначе и не может быть. Вопрос, как происходит смерть на сцене. Вообще не происходит, она проглочена фантазией.

Не следует ли Эдерланду с самого начала носить с собой топор убийцы? Иначе в сторожке дровосека происходит чуть ли не второе рождение Эдерланда.

Тем самым в Эдерланде как в пьесе опять-таки оправдано, что в ней возникает Санторин. Санторин — название, данное на Земле другой планете.

Если представить себе, что материал попал в руки более слабого: Эдерланд стал бы или совершенно рефлексирующим и тем самым героем Хеббеля[5] или совершенно нерефлексирующим и тем самым зверем. Вы же, напротив, не становитесь жертвой ни Сциллы, ни Харибды, а в известной степени терпите между обеими кораблекрушение.

В Эдерланде встречное движение по отношению к главному персонажу всегда происходит в одно и то же время, в одной и той же ситуации, но именно это встречное движение заталкивает его в область рассказа. Возможно, потому, что проза может обладать большей магией, чем драматургия.

Простите меня за очень неполные высказывания, я бы мог еще многое отметить и, вероятно, уже слишком многое отметил. Простите меня также за то, что посылаю неправленый текст, но мне не хочется обрабатывать его, иначе это письмо никогда не будет отправлено.

С сердечными приветами
Ваш *Дюрренматт.*

Пожалуйста, подождите еще. Мне нужно еще несколько дней, чтобы послать вам рукописи для Зуркампа[6]. Сейчас я еще поработаю над Ромулом.

1. В "Дневнике 1946—1949" Макс Фриш писал: "Когда кукольник [Марион] повесился, кое-кто назвал его эстетом, ибо, чтобы быть в состоянии жить, он так нуждался в игре, в форме, потому что он обитал слишком близко от хаоса".
2. Эрнст Гинзберг (1904—1964) — актер, режиссер, писатель. С начала эмиграции в 1933 году и до 1962 года с перерывами работал в цюрихском Шаушпильхаусе.
3. Марсель Ахард (1899—1974) — французский комедиограф.
4. Иоганн Непомук Нестрой (1801—1862) — австрийский комедиограф. Имеется в виду его пьеса "Смерть в день свадьбы, или Муж, жена и ребенок" (1829).
5. Кристиан Фридрих Хеббель (1813—1863) — немецкий драматург, теоретик драмы; автор "мещанской драмы" "Мария Магдалина", исторических трагедий "Ирод и Мариамна", "Агнеса Бернауэр", трилогии "Нибелунги".
6. Посредническая попытка Фриша не удалась. Тем не менее Дюрренматт отправил тексты, но они попали в издательство в момент разрыва между Петером Зуркампом и Готфридом Берманом Фишером, крайне осторожно высказавшим пожелание прочитать после "Пилата" роман и повесть Дюрренматта. Последствия неизвестны.

10. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

23.06.50
[без адреса отправителя]

Дорогой Дюрренматт!

Обращаюсь к Вам с просьбой: моя жена и я хотели бы летом всей семьей, состоящей из родителей, троих детей и няни, недели на две устроить себе каникулы — не знаете ли Вы, возможно ли в Вашей благословенной местности снять дом, скажем из трех спален и гостиной? Если это возможно найти в Вашей местности, было бы очень заманчиво; мы могли бы вволю посвятить себя винам, драматургии, ландшафту и насмешничеству.

Привет от меня Вашей милой жене и дайте мне знать, есть ли надежда. Время: в июле[1].

В любом случае Вас приветствует
Ваш *Фриш*

1. Отпуск на Билерзее вряд ли состоялся в июле. В записной книжке Дюрренматта 25 июля 1950 года отмечено: "В Цюрихе. Встретил Фриша".

---

11. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

29.11.50
[без адреса отправителя]

Дорогой Дюрренматт!

Большое спасибо за рассказ[1], который произвел на меня сильное впечатление; я скоро снова увижу его и — раздарю кое-кому; не ради Вас, а ради читателя! Как Ваши дела в остальном? В Испании[2] было интересно; ландшафт великолепен, бой быков прекрасен, фашизм отвратителен.

Еще раз с благодарностью
и добрыми пожеланиями
Ваш *Фриш*

1. Имеется в виду рассказ "Нигилист", позднее переименованный в "Западню".
2. В ноябре 1950 года Фриш впервые побывал в Испании.

---

12. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

17.2.1951
[без адреса отправителя]

Дорогой Фриц!

Спасибо тебе за вчерашний звонок, на который я, к сожалению, не мог ответить. Что меня радует в заметках "Вельтвохе"[1], так это то, что по крайней ме-

ре один человек отметил наиболее для меня важное: создан персонаж, которого прежде не было. Я тем временем часто раздумывал над твоими мыслями, которые в устном изложении, конечно, богаче и понятнее. Математически рассчитываемая невозможность, которую ты видишь так отчетливо, признаюсь, не была для меня столь очевидна; с другой стороны, в эти три года, пока я то и дело возвращался к задуманной работе, я, разумеется, как-то ощущал проблему, которую ты обозначаешь, — с моей точки зрения, дело как раз в том, что граф Эдерланд, фигура мифическая, таковой и остается, то есть она не обретает плоти и не появляется на сцене; незримая, она поднимается над конкретной персональной судьбой, которая, со своей стороны, опускается в область приватного, — она здесь только для того и существует, чтобы иллюстрировать привлекательность мифической фигуры. Или скажем совсем просто: частное лицо, господин Мартин, появляется, чтобы временно выдавать себя за графа Эдерланда. Будем исходить из пьесы в ее нынешнем виде: что происходит? Как вводится мифическая фигура? Служанка упоминает имя, легенду о графе Эдерланде, не рассказывая ее; фокус в том, что несуществующая по сю пору легенда выдается за знаменитую. Дальше в пьесе: дочка угольщика, которая тоже знает легенду о графе Эдерланде, видит в мечтах своей несбывшейся жизни, что этот легендарный граф однажды оказывается реальным. Она мечтает об этом, как мечтают дети о Самихлаусе* или женщины о Дон Жуане. И вот однажды появляется мужчина, не граф, а господин прокурор; она называет его графом Эдерландом, она накладывает на него это имя мифической фигуры в надежде, что он будет действовать, как легендарный граф Эдерланд, который — и это должно быть достаточно ясно — так никогда и не появляется. Не появится он и позже. Позже, когда его имя возникнет в очередной раз, это будет имя аферист — в отеле. Аферист: человек, не являющийся тем, за кого себя выдает; господин Мартин, выдающий себя за мифическую фигуру. Афера, всем нам знакомая: большинству людей присущи такие интерференции, мужчина кажется себе Дон Жуаном или Синей Бородой, женщина — Еленой. В картине, показывающей авантюриста, его успех и его поражение, происходит следующее: корабль, на котором он хочет отправиться в кругосветное путешествие, — это декоративное изделие, оно вдруг оказывается на столе в качестве декоративного изделия. Мне кажется, отчетливее, зримее вряд ли можно показать, что речь идет об афере, что перед нами сидит некий господин Мартин, а вовсе не мифическая фигура. Мифическая фигура не появляется. В следующий раз, когда возникает имя Эдерланда, оно возникает как простой шифр; генерал спрашивает у схваченного убийцы, как это называется: соловей, кузнечик, незабудка, подсолнух, Санторин, граф Эдерланд. Генерал четко говорит: это первый **код**, который не поддается расшифровке. Здесь речь идет не об Эдерланде, мифической фигуре, а о кодовом обозначении. В следующей картине, в канализационном убежище, даже Инга, возлюбленная, знает, что ее возлюбленный не является той мифической фигурой; когда к ней обращаются как к графине, она называет это глупостью. Ее прекрасный сон кончился. Но в последней картине, мне кажется, наступает полная ясность в этом отношении. Эльза говорит: "Все кричат, да здравствует граф Эдерланд, но никто никогда его не видел!" (Потому что он миф.) И далее: "Ты, Мартин, ведь не граф Эдерланд". Это верно, мифическая фигура не может иметь своей истории и потому не имеет конца; она идет дальше, незримая, видны только ее кровавые действия и слышны пулеметные выстрелы. Конец, вполне приватный, имеет только прокурор, приватный господин Мартин, который некоторое время считает себя графом Эдерландом, или, го-

* Швейцарское имя Санта-Клауса. (*Прим. перев.*)

воря иначе: то, что мы видели своими глазами, — это не граф Эдерланд, мифическая фигура, а эдерландское в обычном человеке по имени Мартин, в прокуроре. Я и не ожидал, что его частная судьба потрясет зрителя; меня занимает эдерландское начало, действительность, которая, возможно, нас погубит, то эдерландское, что выражено посредством мифической фигуры, которую, как ты правильно говоришь, нельзя показать, — я ее и не показал, я лишь пробовал отразить ее в Ком-то, кто, пытаясь некоторое время прожить в этом образе, в какой-то мере опишет нам эту фигуру, легендарную. Он, этот Кто-то, идет к окну; но это ничего не меняет в фигуре Эдерланда, который идет дальше, незримо, но действительно, и это должно производить на зрителя более тягостное впечатление, чем моя художественная поделка.

Ну хорошо, в следующую пятницу у нас будет дискуссия, постановку вскоре похоронят, и это жаль, потому что мне нужны и деньги. Я рад, что ты хочешь взять на себя труд изложить свои мысли еще более отчетливо. Моя жена сказала мне, что ты не совсем доволен статьей в "Вельтвохе", и я не хочу тебе противоречить в этой связи. То же самое, будь оно сказано иначе, могло бы произвести другое впечатление, зачастую это просто вопрос очередности; ты говоришь о кораблекрушении, и то, что ты после этого говоришь о серьезности отважного замысла, кажется лишь попыткой вежливо смягчить сказанное, вряд ли это можно счесть действительным высказыванием. Досадно, но я рад, что именно в этой газете, к сожалению важной, критика носит более коллегиальный и серьезный характер, и, главное, мы сами поставляем этим типам материал, чтобы натравливать нас друг на друга[2], чем они занимались с самого начала, причем в обе стороны.

Приезжай снова в Цюрих! Желаю удачи в работе с ангелом[3], который восхищен нашей землей.

Сердечно
твой *Макс*

1. 16 февраля 1951 года, через шесть дней после премьеры "Графа Эдерланда" в Шаушпильхаусе, "Вельтвохе" опубликовала статью Дюрренматта, содержащую не критику постановки, а анализ пьесы, с вынесенным вперед выводом: "Отважный замысел потерпел крах", за которым следуют всякие разные вежливые рассуждения-оговорки: "Мифическая фигура Эдерланда, являющаяся не́ более чем словом, — это подвиг Фриша — художнику большего не дано. Как плод фантазии, она дальше последует своим путем..."
2. Литературная общественность к этому времени уже начала рассматривать Фриша и Дюрренматта как соперников и разделяться на приверженцев того или другого.
3. Видимо, имеется в виду какое-то упоминание Дюрренматта о задуманной пьесе "Ангел приходит в Вавилон".

---

13. Фридрих Дюрренматт — Максу Фришу

Лигерц 19.2.51

Дорогой Макс,

большое спасибо за твое письмо. Я рад, что ты не сердишься на меня. В моей статье мне особенно досадно то, что я совсем не думал о читателях, такой критикой мы могли бы заниматься между собой. В самом начале я писал,

что ошибка пьесы — не в твоем драматургическом искусстве, а в том, что положительное начало кажется неким смягчением, мне жаль, я должен полностью отнести это на свой счет, тут просто неловко написано, это мое собственное писательское кораблекрушение. Чем больше я продумываю Эдерланда, тем больше он представляется чем-то вроде Фауста II: великолепным абсурдом. Все правильно, что ты пишешь, но поверь мне, театральная сцена слишком элементарна, чтобы она могла показать нечто столь тонкое: Эдерланд **находится** на сцене, на сцене символическое всегда будет восприниматься как сама сущность, а никак не как сущность **чего-то**. В Эдерланде верно все лапидарное, да, в этом смысле твоя драматургия много выиграла, убийца просто великолепен, потому что все верно до малейшей детали: его отчаяние здесь — нечто совершенно ясное, отчаяние, порожденное жизнью, в то время как отчаяние Эдерланда порождено культурой — или так кажется, а это куда меньшее, слабое отчаяние. Я говорю о том, какое впечатление Эдерланд производит на сцене.

Возвращаясь к своей статье, скажу, что я сожалею, что она не показала более четко позитивное. Люди попросту не имеют права отворачиваться от Эдерланда. А моя статья дает им лишнее основание не идти на собственную казнь — и до тех пор, пока они этого не сделают, их шансы остаться в живых уменьшаются.

Я не знаю, когда снова буду в Цюрихе, мои театральные работы находятся в безвоздушном пространстве Ничегонеприносящего, я, наверное, должен некоторое время опираться на прозу и написать несколько романов, чтобы было на что жить.

С сердечнейшими приветами
Тебе и Твоим близким
Фриц Дюрренматт.

Я теперь займусь статьей для "Рундшау"[1] — это даст возможность точнее высказаться публично.

1. Имеется в виду еженедельник "Нойе швайцер рундшау". Данных о том, что Дюрренматт написал, а тем более опубликовал более подробную статью о "Графе Эдерланде", нет.

14. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

30.3.53
[без адреса отправителя]

Дорогой Фриц!

Я был очень рад, что мне не пришлось одному начинать Мюнстер-Мюнхен[1], что мы смогли поехать вместе. Я как раз думаю о вещах, которые Ты высказал уже в последнее утро[2] в отношении "Дон Жуана". Жуан вне вопроса о справедливости и несправедливости, Жуан как удар молнии, его невиновность, дитя рая, ударяющееся об землю, и т. д. Если бы Ты сконцентрировал

это в нескольких строчках, скажем строчках в десяти[3], я охотно включил бы их как цитату в заметки (в книге). Но это должно быть сделано быстро, потому что после Пасхи будет верстка. Это просто запрос; если Тебе не хочется, не надо.

Впрочем, мы ведь скоро снова увидимся.

Моя жена позвонит твоей жене.

Пока же сердечные приветы Твоей жене и Тебе и желаю прекрасной (приятно-трудовой) Пасхи

Твой *Макс*

1. 25 февраля 1953 года Фриш и Дюрренматт вместе отправились на заседание Баварского радио в Фельдафинге. По рассказу Дюрренматта, там играли сначала радиопьесу Фриша "Бидерман и поджигатели", затем художественный руководитель немецкого телевидения Клеменс Мюнстер прочитал "сотрудничающим с Баварским радио писателям доклад о научных, политических и художественных аспектах новых массмедиа, от которого мы не могли уклониться... Мы были скептичны".
2. Имеется в виду день отъезда из Мюнхена 29 марта 1953 года.
3. Дюрренматт говорил об образе Дон Жуана в связи с работой над своей пьесой "Ангел приходит в Вавилон". Десять строчек, которые просил Фриш, он не написал.

---

15. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

28.11.54
[без адреса отправителя]

Дорогой Фриц!

С благодарностью возвращаю твою радиопьесу[1]. Как я уже говорил, я сразу прочитал ее в поезде, она очень увлекательна, по моему мнению, достаточно увлекательна, чтобы включить в себя еще многое из того, чем ты обладаешь в избытке и в чем ты здесь себе отказываешь. По моему ощущению, гротеск — вот в чем суть (нет такого правительства, которое могло бы вступить в союзы и ратифицировать бессмыслицу, и как только люди начнут сами представительствовать, своего рода гангстерской политикой здесь попросту ничего не добьешься; а что понадобилось в России Ирене и Бонштеттенду[2]?). Мое первое впечатление: гротеск проявляется недостаточно, слишком скупо. И твое представление о вечной грозовой погоде — не ограничивай его только шелестом; ты ведь владеешь этим языком. Дай ему больше простора!..

С нетерпением жду "Геркулеса"[3].

Я очень рад, что ты берешь на себя труд написать о проблеме романа в связи со "Штиллером"[4], Ты видишь, как мало приходит в голову даже Рихнеру[5], если речь идет не о Гофманстале, — он ограничивается тем, чтобы быть корректным, не послужить причиной самоубийства вышедшего из отроческого возраста автора.

До свидания в четверг!

Сердечно
Твой *Фриш*

1. Речь идет о радиопьесе "Экспедиция 'Вега'", исполненной сарказма антиутопии, предостерегающей от военно-идеологического противостояния.
2. Персонажи "Эскпедиции 'Вега' ".
3. Радиопьеса "Геркулес и Авгиевы конюшни" была написана в 1954 году, затем переделана в комедию для театра.
4. Роман Фриша "Штиллер" опубликован осенью 1954 года. Обещания написать о нем Дюрренматт не выполнил.
5. Макс Рихнер (1897—1965) — редактор газеты "Die Tat", имевшей еженедельное литературное приложение; его рецензия на роман "Штиллер" напечатана 27.11.1954 г.

16. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

23.12.54
[без адреса отправителя]

Дорогой Фриц!

Я по-прежнему с нетерпением жду твоей критической статьи, которую я упомянул в разговоре с Морасом[1] ("Меркурий"); они были бы очень заинтересованы в ней. Предлагать Твою работу сперва "Нойе швайцер рундшау", после того как они нашли в лице господина Отто Базлера[2] своего человека, было бы бессмысленно. Кстати, книга расходится хорошо; они печатают уже восьмую-десятую тысячу, и ты можешь представить себе, как я этому рад. Тем временем я нашел и арендовал квартиру, правда не в Базеле, а в крестьянском доме в Меннедорфе, в двадцати пяти минутах езды от Цюриха; там у меня есть свое место, покой. Переселение, разумеется, далось нелегко, но это надо было сделать. Итак, с 4.1.1955: Хазенаккер, 198, Меннедорф. Телефона у меня пока не будет; нет номеров. Я очень надеюсь, что при случае Ты будешь моим гостем! Дай мне знать открыткой или телеграммой, когда Ты приедешь в Цюрих и где мне тебя застать. Теперь же я всем вам желаю доброго Рождества, затем доброго года, в особенности Тебе много радости в работе, много удачи с романом[3] и с комедией[4], которая вдруг снова обретет тебя.

Дай знать о себе!

С сердечной дружбой Твой
Макс

1. Иоахим Морас (ум. в 1961 г.) — один из основателей ежемесячного журнала "Меркурий" (1947) — "Немецкого журнала для европейской мысли".
2. Отто Базлер — преподаватель, критик, друг Томаса Манна, Германа Гессе. Его рецензия на роман "Штиллер" опубликована в "Нойе швайцер рундшау" в декабре 1954 года.
3. Дюрренматт работал в это время над "комедией в прозе" "Грек ищет гречанку".
4. Точно неизвестно, какая комедия имеется в виду. Если верно приведенное Дюрренматтом в своих "Материалах" описание того, как первоначальный замысел повести "Лунное затмение" частично преобразовался в комедию "Визит старой дамы", над которой он работал в 50-х годах, то речь, видимо, идет о плане другой комедии; или же, возможно, Фриш высказывает просто пожелание, чтобы Дюрренматт после неудачи с постановкой "Ангел приходит в Вавилон" снова вернулся к драматургии.

17. Фридрих Дюрренматт — Максу Фришу

19.3.55
[без адреса отправителя]

Дорогой Макс,

так как по телефону Ты недосягаем, сообщаю: статью о "Штиллере" я вскоре изготовлю, затем пришлю ее тебе. Я должен был сначала закончить роман, потом заболела Лотти. 2-го марта ей сделали операцию, опущение матки. 10-го последовала тяжелая легочная эмболия, которую она, к счастью, выдержала, теперь ей придется еще три недели лежать в больнице. Вот причины моего долгого молчания. Снова приступаю к работе.

Сердечнейше
Дюрренматт

---

18. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

29.III.55
[без адреса отправителя]

Дорогой Фриц!

Надеюсь, Лотти чувствует себя лучше. Мне очень жаль ее. Передай ей привет от меня. Большое спасибо за сообщение. Роман? И готов! Поздравляю, я очень заинтересован. Когда его можно будет увидеть? А когда — Тебя? Сегодня я еду в Германию, в воскресенье вернусь. Ты, очевидно, работал, как титан (с секретаршей), чего я не могу сказать о себе; я все еще мастерю "Китайскую стену"[1].

Я надеюсь, что вскоре смогу навестить вас; когда Лотти снова будет в добром здравии. То, что Ты напишешь статью о "Штиллере", меня очень радует.

Удачи твоему роману!

Сердечно (в спешке)
Твой *Фриш*

1. Фриш имеет в виду второй (из четырех) вариант пьесы, над которой он работал между февралем и июлем 1955 года для Берлинского фестиваля.

---

19. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

Меннедорф, 22.6.55

Дорогой Фриц!

Как дела? Я почти полгода тебя не видел. Позавчера в гостях встретил Шифферли[1], который с механическим рефлексом (вряд ли им осознаваемым) беспрестанно болтал со мною только о "Дюрри", к сожалению, очень глупо: сплошь одни новости (которые я с разных сторон уже знаю, так что временами я отчетливо чувствовал ненадежность этого охочего до сплетен Шифферли) — скверный способ слышать о Тебе. Никаких, даже малейших,

подступов к разговору о чем-либо, все время лишь личностные новости, хвастовство разглашателя тайн. Хватит об этом! Я то и дело слышу, что Ты работаешь над пьесой, и мое любопытство велико. Ты пришлешь ее мне? О твоей статье о "Штиллере" я говорить не хочу; но что поделывает твой собственный роман? Выйдет ли он осенью? (Шифферли говорит: да! — но от него я уже слишком много слышал этих "да".) Очевидно, с работой у Тебя дела обстоят очень хорошо. Как дела у Лотти? Я охотно повидался бы с вами. Могу ли я в июле́ заехать? Я все еще занимаюсь "Китайской стеной", много удовольствия, но и много возни; в середине июля я должен ее сдать, и это хорошо. Мне хочется чего-нибудь нового. Здесь в Меннедорфе я чувствую себя очень хорошо, в особенности летом; за исключением курева и питья, я веду вполне здоровую жизнь, не тоскую по городу, обыгрываю всех на холостя́цких сборищах[2] в шахматы (вместо того чтобы прочитать наконец самое необходимое!) и с удовольствием стряпаю. Еженедельно приезжают дети. Gava. Я думаю, у Труди тоже все хорошо. Мы приходим в себя. А время мчится! — тем быстрее, чем больше свободного времени. Культурные обязательства (заседания, доклады, дискуссии) решительно отклоняются: ради досуга. Не имею представления, что буду писать...

Подай знак, я жду этого и приветствую Тебя сердечно

Твой *Макс*

1. Петер *Шифферли* (1921—1980) — основатель издательства "Архе" (1944), где с 1952-го до 1980 года печатался Дюрренматт.
2. Переехав в Меннедорф, Фриш расстался со своей семьей; официально брак с Труди Фриш-Майенбург был расторгнут лишь в 1959 году.

---

20. Фридрих Дюрренматт — Максу Фришу

Невшатель
24 июня 55

Дорогой Макс,

твое письмо осчастливило меня. У меня была нечистая совесть по отношению к тебе, и это еще имеет место. Статья о "Штиллере" пока не готова. У нас все шло наперекосяк, болезнь Лотти была ужасным шоком. Сперва ее боли, ожидание операции, боязнь, не рак ли это (врач был немного слишком прям в своих опасениях), затем эмболия. К тому же у детей и у меня была корь, временами я сам себе казался пародией на Иова. К тому же — необходимость писать, доставать деньги. И не только это. Когда мы виделись в последний раз, у тебя, болезнь Лотти уже маячила за спиной, все для нас обоих было чем-то вроде трапезы висельников. Я должен с тобой еще обсудить политическую сторону Штиллера, которая в связи с твоей городской авантюрой[1] совершила поворот, для меня не совсем понятный. То, что я работаю над новой пьесой[2], верно, это доставляет мне радость; в особенности сейчас, когда я могу отставить все остальное. Слишком многое случилось за это время. Постановки "Ангела" в Берне (поразительно хорошо) и в Санкт-Галлене (поразительно плохо) привели к тому, что я словно взорвался и заново написал второй и третий акты: с точки зрения режиссуры. Три недели бешеной работы, одни из моих самых счастливых недель, когда я впервые за долгое́ время снова хорошо себя чувствовал, за-

нимаясь своим делом. Новая редакция будто бы уже печатается, как утверждает Шифферли, старая раскуплена. Затем корректура романа[3] и "Веги"[4]. Важно: куплен стол для пинг-понга. Приезжай, когда хочешь. С мамзелью машинисткой дело прекрасно спорится: ты играешь в пинг-понг, а она печатает. Пластинки: Моцарт, слегка дотронешься — и вноси свои поправки под музыку, бочонок бордо в пути. Младшенькая[5] тебя позабавит.

С сердечнейшими приветами
от Лотти и от меня
и до скорого

К сожалению, в отношении конгрессов[6] я был не так умен, как ты, и поплатился за это, было обидно, зато теперь я поумнел и тоже больше туда не хожу.

Фриц.

1. Закрыв в 1955 году свою архитектурную контору, Фриш стал больше заниматься политическими аспектами строительства, вопросами планирования и городского развития.
2. Имеется в виду трагическая комедия "Визит старой дамы".
3. Речь идет о "комедии в прозе" "Грех ищет гречанку".
4. Подразумевается радиопьеса "Экспедиция 'Вега'".
5. Младшая дочь Дюрренматта Рут (р. 6.10.1951 г.).
6. Дюрренматт в данном случае имеет в виду театральные дискуссии: 31 марта 1955 года в Баден-Бадене, и 23—25 апреля в Дармштадте.

---

21. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

Меннедорф, 2.8.55

Дорогой Фриц!

С опозданием — я теперь из опозданий не вылезаю — благодарю Тебя за твою прелестную книжечку о театре[1], которую я читал с удовольствием, хотя к концу насыщаясь меньше, чем мне бы хотелось. Когда мы сможем опять поговорить? Я все еще собираюсь появиться в Нойенбурге, правда июль уже прошел — я без конца кустарничал над "Китайской стеной", теперь наконец закончил, разделался уже и с корректурой. Переработка отняла у меня ровно полгода, зато это первая пьеса, которую закончил, надеюсь — не прикончил. Сейчас я должен еще сделать одну работу ради денег для Базельского АКФ[2], потом мог бы, если Тебе это подходит, лично осведомиться у вас, как вы живете, над чем ты работаешь, каков в настоящее время твой образ мыслей и так далее. Как ты смотришь, скажем, на 15 августа? Может, ты глубоко погружен в работу и не расположен отвлекаться? В таком случае дай мне знать. Меня очень интересует твоя новая пьеса.

Сердечный привет от меня Лотти. Надеюсь, она чувствует себя хорошо, — у меня нечиста совесть из-за того, что в ваше трудное время я не справился поточнее о дошедших до меня слухах.

Сердечно и с надеждой на
скорую встречу
Твой *Макс*

1. Речь идет о книжке Дюрренматта "Проблемы театра", вышедшей в издательстве "Архе" в 1955 году.
2. Фриш написал текст к литографии панно его друга, художника Хонеггер-Лавате-ра, которую дарили гостям на состоявшейся в Базеле 3—11 сентября 1955 года яр-марке образцов АКФ (Allgemeiner Consumverein) — Союза потребительских об-ществ.

22. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

Меннедорф, 14.2.56
Тел. 92–92–13

Дорогой Фриц!

Вчера я вернулся из своего холодного Стокгольма[1], из мертвого Берли-на — и нашел здесь "Вельтвохе". Как глупо! Ты будешь сердиться на меня; Гас-сер[2] был во Франкфурте, мы просто болтали, я, конечно, не думал, что он все сразу отправит в набор!.. Я за то, чтобы мы тем не менее это сделали.

Во Франкфурте было не очень хорошо. Постановка очень напряженная, местами из-за чрезмерной отчетливости запутанная, к тому же несколько им-позантных неправильных акцентов; но дело, возможно, в самой пьесе: почти никто не понимает, что все должно означать, а юмор в истории с убийством их совсем сбивает с толку; это был трудный вечер. Некоторые сцены получились великолепными, например сцена на мансарде с убийцей и супругой убитого. Новая редакция мне кажется лучше прежней; но и она не решает проблемы. Но на сем я прощаюсь со своим любимцем с топором.

Поедешь ли ты в марте в Болдерн[3]? Я надеюсь, что при этом ты заехал бы ко мне. Я скоро снова посмотрю твою пьесу; я люблю ее, но это мешает мне в работе — потому что я люблю ее и восхищаюсь ею, это значит, мне надо пока переключиться на повесть[4], хотя сэкономленный материал я предназначал, собственно, для театра. И если повесть не удастся, вина твоя!

Сердечно твой
Макс

1. Фриш в Стокгольме выступал перед студентами и в швейцарском клубе Швед-ско-немецкого общества, затем остался на пять дней, чтобы "немножко посмако-вать Скандинавию".
2. Мануэль Гассер (1909—1979) — журналист, один из основателей еженедель-ника "Вельтвохе". Встретившись с ним во Франкфурте на премьере новой редак-ции "Графа Эдерланда", Фриш рассказал ему о возможном плане написать вместе с Дюрренматтом продолжение пьесы "Бидерман и поджигатели"; Гассер написал об этом в "Вельтвохе" как о деле решенном, кое-что и напутав к тому же.
3. В Болдерне, у Цюрихского озера, Евангелическая академия организовала 12—15.03.1956 г. встречу швейцарских писателей и промышленников.
4. Видимо, имеется в виду роман "Homo faber", работу над которым Фриш начал еще в конце 1955 года.

23. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

2.5.57
[без адреса отправителя]

Дорогой Фриц,

я путешествую вслед за театром, за миром, за светом и за островами, чтобы насытить мой маленький роман[1] действительностью или забыть о нем. Я очень боюсь, как бы Ты именно сейчас, когда я в отъезде, не заявился в Меннедорф.

Твой *Фриш*

1. После возвращения из Греции с мая до августа 1957 года Фриш заканчивал работу над окончательной редакцией романа "Homo faber". В октябре того же года (!) книга вышла в свет.

---

24. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

5.1.60
[без адреса отправителя]

Дорогой Фриц,

посылаю копию[1] для твоего сведения. Досадно. Но по крайней мере ограничено вмешательство в личную жизнь.

Сердечно
Твой *Фриш*

1. Копия эта не сохранена. Раздражение Фриша вызвала книга Ханса Бенцигера "Фриш и Дюрренматт". Берн и Мюнхен, издательство Франке, 1960. В ней, наряду с прочим, обсуждаются отношения Фриша с Ингеборг Бахман.

25[1]. Фридрих Дюрренматт — Максу Фришу

[без даты, без адреса отправителя]

Дорогой Макс,

к твоему пятидесятилетию — всего хорошего. Здоровья, восхождения на Олимп (художественный — это не подстрекательство к самоубийству) Нобелевской премии. Как я слышал от Хирши, счастье в работе тебя не покидает, я прямо-таки нервничаю, вижу, как ты спуртуешь.

"Андорра": много раз читал, каждый раз все с большим одобрением, наконец с настоящим увлечением, после первоначальных довольно сильных сомнений. Впечатлен простым, наглядным, ясным. Поздравляю.

С чем я испытываю затруднения: вовсе не с развитием Андри; может быть, сцена с солдатами и с ним в первой картине слишком преждевременна, слиш-

ком многое предвосхищает. Затем: правильно ли связывать проблему антисемитизма с проблемой малого государства? Малые государства на сцене: добро как климат. Опасно, когда им приписывают судьбу, которая становится проблемой самой по себе, которая вырывает их из анонимности, как это происходит здесь из-за нападения черных. Поневоле возникают параллели с прошлым, они должны возникать; скажем: что произошло бы, если бы Германия напала на Швейцарию? Вопрос интересный, конечно, но ложный, он действителен только локально для Швейцарии (ведь другие малые государства подверглись нападению). Возражение, что речь идет о притче, неприемлемо, есть проблемы, которые уже нельзя выкроить из исторического контекста, одну из них ты и поднял: черных будут воспринимать как СС. Но и в Андорре увидят Швейцарию. В этом параллель полностью верна, однако там, где нельзя установить параллелей, более общая проблема теряет четкость, потому что она усложняется. Общая проблема усложняется проблемой особой. Неудовлетворительным мне также кажется исходное положение повествования, история с Сеньорой и учителем. Должна ли вообще Сеньора — ради дидактики — возникнуть, быть убитой? — в этом месте драматургия мне кажется слишком условной. Пьеса верна повсюду там, где это исходное положение не играет никакой роли; то, что Андри оказывается не евреем, я считаю неким деликатесом, но не более того. Конечно, это важно, чтобы показать самую проблему, но по сути это не более, чем наводящий вопрос, от которого я легко могу отказаться. Если уж исходное положение таковым не является, то не лучше ли было бы, как в старых пьесах, раз и навсегда, притом как можно решительнее, покончить с ним в самом начале, в своего рода прологе? По поводу демонстрации еврейской проблемы: подступается ли здесь театральная символика к реальности? В целом: я восхищен художественностью, но не концептуальностью. У меня такое впечатление, как если бы вдруг был найден "Войцек"[2] в виде готовой пьесы, в ней непременно во многом отражена его сила, но форма кажущейся фрагментарности, может быть, была бы самой сильной, самой художественной. <...>

1. Сохранилось три варианта этого письма; здесь приводится третий из них. Отправленный окончательный текст не найден. Поскольку варианты существенно отличаются друг от друга не только по интонации, но иной раз и по мысли, приводим и два других текста, свидетельствующих о том, как трудно давалось Дюрренматту это письмо, как сложны уже были в это время отношения между обоими писателями. В особенности если учесть, что "Андорра", поставленная в начале ноября 1961 года в цюрихском Шаушпильхаусе, имела огромный успех.
2. "Войцек" — пьеса немецкого писателя и политического деятеля Георга Бюхнера (1813—1837), оставшаяся во фрагментах.

Приводим тексты двух других вариантов поздравительного письма:

25[a].

К твоему пятидесятилетию — всего доброго. Как я слышал от Хирши, ты сохраняешь свою суперформу, я прямо-таки нервничаю, кажусь самому себе американским ракетостроителем по сравнению с Гагариным.

"Андорру" я читал несколько раз, все с большим одобрением, после сильных сомнений, впечатлен простым, показательным. Сомнения, напротив, у меня вызывают выбранные театры [неразборчиво; неразборчивая вставка], не знаю, правильно ли связывать проблему антисемитизма с проблемой малого государства. Мировая проблема сужается чрезмерно подчеркнутой особостью. Вообще, малые государства на сцене: хорошо как театральная шутка, как климат, наглядно и анонимно, — опасно, когда этому приписывается судьба, как ты сделал это в "Андорре", возрастает возможность фальшивых ассоциаций. По поводу демонстрации еврейской проблемы: подступается ли театральная символика к реальности?

25[б].

[Первые два абзаца почти дословны, лишь в первом абзаце после слова "спурту-ешь" добавлено: "кажусь сам себе бернцем при добыче улиток"]

С чем я испытываю затруднения: с вещами, разыгрывающимися на обочине. Правильно ли связывать проблему антисемитизма с проблемой малого государства? Малые государства на сцене: добро как климат. Опасно, когда им приписывают судьбу, потому что она становится проблемой самой по себе, которая вырывает их из анонимности, как это происходит здесь из-за нападения черных. Поневоле возникают параллели, здесь неизбежные. Что произошло бы, если бы Германия напала на Швейцарию. Вопрос интересный, но провинциальный, действительный только для Швейцарии. Там же, где эти параллели провести нельзя, всеобщая проблема теряет четкость, потому что она усложняется. Неудовлетворительным я считаю также исходное повествование, пьеса верна там, где оно не играет роли. Должна ли Сеньора вообще возникать, быть убитой? Четкие линии здесь смазываются, пьеса излишне утяжеляется. Не лучше ли было бы, как в старых пьесах, сразу в начале, в своего рода прологе, изложить раз и навсегда исходное положение и решительно покончить с ним. По поводу демонстрации еврейской проблемы: подступается ли здесь театральная символика к реальности? У меня такое впечатление, как если бы вдруг был найден "Войцек" в виде готовой пьесы, может быть, форма кажущейся фрагментарности была бы для "Андорры" наиболее сильной, наиболее художественной.

---

26. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

Рим, 18.12.64

Дорогой Фриц,

посылаю рождественский привет Тетте[1], которая, как я слышал, на Рождество будет у вас. Это хорошо. Передай ей письмо в вечер Рождества.

О Вилере[2] я больше ничего не слышал, зато слышал, что у государственного советника Видмера[3] дела с пенсией выглядят несколько лучше. То есть, как Ты и ожидал. Мы обсудили, как покрыть остаток; движется ли дело с этим фондом?

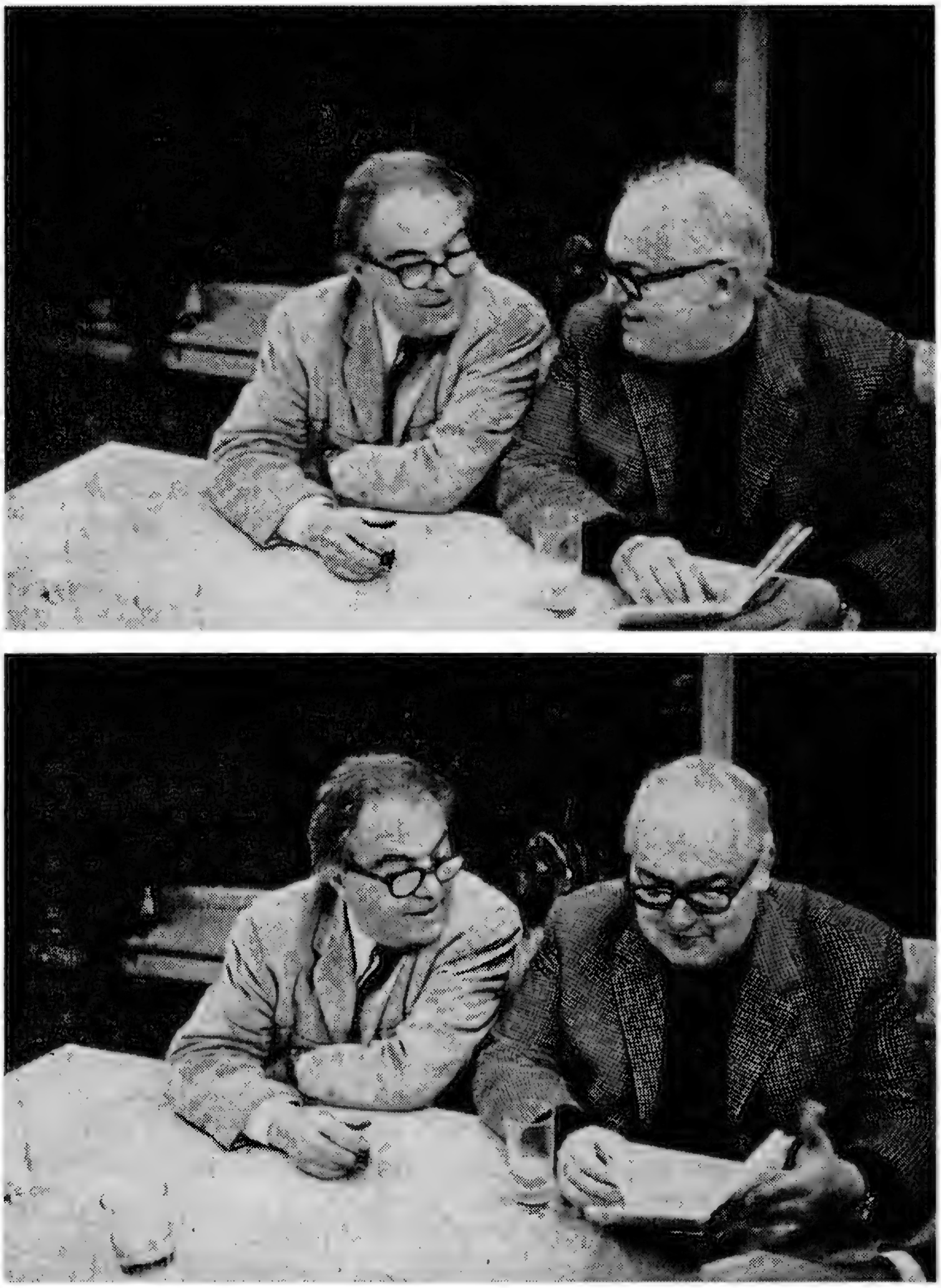
Вот и Гинзберг умер. После того как ты обрисовал его состояние, я был "рад", получив это известие; но получается настоящий мор. А друзей (друзей, даже если с течением времени наступило отчуждение) не прибавляется; мир переходит в другие руки, это естественно, но от смерти к смерти оказываешься в нем все беднее на родственников. И это будет теперь возрастать. Надеюсь, что в следующий раз мы увидимся не на похоронах.

Приедешь ли ты как-нибудь в Рим?

До конца апреля мы останемся здесь, затем переедем в Берцону. Я был бы очень рад, если бы ты как-нибудь приехал. После того как разговор надолго и не только внешне прервался, нам, чтобы он наладился, требуется некоторое время и покой; в Кроненхалле[4] я не чувствую себя свободно.

Привет Лотти и сердечно приветствую тебя самого
твой *Фриш*

1. Тетта — вдова Курта Хиршфельда (р. 1928), дочь художника и скульптора Эрвина Шарфа.
2. Вайт Вилер (р. 1908) — цюрихский адвокат, друг Хиршфельда, Гинзберга, затем и Дюрренматта.



Макс Фриш и Фридрих Дюрренмант за чтением сборника стихов на швейцарском

диалекте во время конференции писателей в Рюшликоне (под Цюрихом) 1 ноября 1968 г.

3. Зигмунд Видмер (р. 1919) — член городского правительства в 1954—1966 годах, затем в 1966—1982 годах — городской президент Цюриха; Фриш был связан с ним как с председателем управления высотного строительства.
4. Известный ресторан в Цюрихе.

27. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

17.2.65
[без адреса отправителя]

Дорогой Фриц!

Я прочитал. Пьеса[1] меня очень занимает. Я поздравляю Тебя. Как и часто до этого. Несколько — или даже очень — ошеломлен. Ты ведь никогда не выходил на сцену тонкокожим. Мне не надо заверять Тебя, что начало грандиозно, что весь замысел грандиозен. Штеккель[2] — удачная находка, я его вижу. Я не испытываю перед постановкой никакого страха. Немного жаль мне, что мы не могли поговорить об этом на досуге: о деталях, от которых я посоветовал бы отказаться, о формулировках, которые, как мне кажется, слишком дешевы, они могут повредить большой "шутке" и дать в руки лакомый кусочек для подкарауливающих врагов, коими обзаводишься начиная с определенного возраста. Но спустя час после первого быстрого чтения я, собственно, еще совсем не добрался до чисто литературного: несмотря на смех, вызываемый даже при чтении, а на сцене его будет еще больше, пьеса представляется мне чем-то вроде бутылочной почты, донесением о местоположении друга, которого в последний раз видел в надежном челне, теперь терпящем бедствие. Без причитаний; но пьеса близка к точке, когда человек только молчит. Я понимаю, почему ты так долго медлил с этой пьесой. Замечу попутно и доверительно: в сущности, нашему Шпильхаусу следовало бы закрыть ею свои ворота. Это будет великий вечер, мне понадобится коньяк.

С сердечной дружбой
твой *Фриш.*

1. Речь идет о комедии "Метеор", над которой Дюрренматт работал с 1964-го до 1966 года, — пьесе о жизни и воскрешении, которую автор называл своей самой личной комедией, хотя и не носящей в себе автобиографических черт.
2. Леонхард Штеккель (1901—1971) — актер, режиссер, с 1933-го до 1953 года работал в цюрихском Шаушпильхаусе, ставил пьесы Фриша "Китайская стена" и "Граф Эдерланд". В комедии Дюрренматта "Метеор" играл главную роль Швиттера.

28. Макс и Марианна Фриши — Фридриху и Лотти Дюрренматтам

[без даты, без адреса отправителя]

[40 лет Цюрихскому зоопарку][1] и текущие новоприобретения. Мы ждем вашего посещения. Не кормить: новая пара прибыла только что из Национального парка[2] и благодаря совращениям со стороны курортников[3] не имеет, к сожалению, своего идеального веса — безалкогольно, но очень сердечно

Макс + Марианна.

1. Текст написан на юбилейной открытке "40 лет Цюрихскому зоопарку", где в виде коллажа между зверями вклеены фотографии Марианны и Макса.
2. Фриши навестили Дюрренматтов летом 1964 года в санатории после инфаркта Фридриха.
3. Имеются в виду Дюрренматты.

29. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

Берцона, 19.10.1969

Мой дорогой Фриц,

не знаю, говорит ли Тебе четко кто-нибудь об этом: Ты поступаешь нехорошо. Вероятно, я теперь пишу письмо так, как не следует писать, по крайней мере, не следует отправлять; но в результате подобной повседневной дипломатии (или как ее ни назвать) ты явно видишь, с одной стороны, врагов, а с другой стороны — друзей, которые сочтут твое поведение великолепным. Достаточно было бы сказать, что твое поведение правильное; но даже правильным я его не нахожу. При этом я говорю не о пресс-конференции[1] в Базеле (поскольку я на ней был), а о твоей статье в "Зонтагс-журнале"[2].

Ты знаешь, как я оцениваю Вернера Дюггелина. Твое негодование мне понятно, так же, как мне непонятно было твое братство с ним; равно как непонятно твое нынешнее братство с Куртом Бекком или Биглером. Это твое дело. Тебе нужны люди, которые слепо тебе преданы, которые делают из тебя корабельную носовую фигуру, чтобы использовать тебя. Теперь ты публично выставляешь Дюггелина свиньей, причем и как личность, и как артиста, это перворазрядная дискредитация. Даже твое негодование не дает тебе такого права, тем более что (согласно сообщениям) явно существовала договоренность о том, как вести себя публично. Такая некорректность, которую не прикрывают неудачные остроты, говорит не в Твою пользу. Зачем ты это делаешь? Твоя статья полна грубостей. Ты не понимаешь этого или считаешь, что можешь себе позволить подобное? При этом читатель ровным счетом ничего не узнает об основной проблеме, которую, к сожалению, решить нельзя; он узнает, что Ты чувствуешь себя преданным, — а тот, кто знаком с тобой в течение десятилетий, знает, как легко Ты заглазно предаешь своих друзей, по легкомыслию или злонамеренно, что опять-таки не означает, что после этого ты не будешь чувствовать или вести себя как друг.

(Грубостью я, однако, не счел твою фразу: "Фриша и издательство 'Зуркамп' можно было успокоить, лишь сказав, что в качестве корабельной носовой фигуры я обещал инсценировать Фриша, и таким образом ударным заголовком 'Дюрренматт инсценирует Фриша' я выкачал бы угрожающий подъем воды".

Это лишь подтверждает то, что я слышал: как об этом проекте говорили в Базеле. Это не грубость, а только ясный off-side: "Зуркамп" вообще не был обеспокоен по поводу того, что я сделал свой вывод в отношении Дюггеллина, обеспокоен был **Ты**, а что касается меня, то в Вулпере я ни единым словом не только не давил, но даже и не просил тебя. Фраза лжет.)

Твои приспешники наверняка считают гениальной выходкой то, как Ты взорвал пресс-конференцию. Не знаю, Фриц. Другим Ты высказаться не дал — подобное годится лишь до тех пор, пока Ты остроумен; но обиженный редко

бывает остроумным, он легко впадает в бесконтрольную суетность. Боюсь, что так и случилось. Это позабудется.

Ваш "Зонтагс-журналь" (его основание тоже было акцией, которая друга может заставить только удивиться и лучше всего промолчать[3]) предложил мне высказаться; я воздержусь.

Не знаю, дорогой Фриц, что ты сделаешь с этим письмом. Я должен предоставить это на твое усмотрение. Не могу же я требовать от Тебя другого характера. Я восхищаюсь Тобой — причем так давно, что могу полагаться на это; но, может быть, тебя следовало бы чаще освистывать, когда Ты стоишь off-side (однако Ты все равно не услышал бы этого) или когда Ты, если нет уверенности в успехе, разыгрываешь грубость. Я только считаю, что Тебе это ни к чему. Что Ты испытываешь при этом? Когда я задаюсь вопросом, зачем я, вместо того чтобы заниматься своими профессиональными проблемами, пишу это письмо — получатель ведь может использовать письмо и злонамеренно, — то я полагаю: у Тебя достаточно друзей, которые ограничиваются восхищением, но явно мало тех, кого Ты терпишь, если однажды они откажут Тебе в аплодисментах. При случае я это делаю; например, в этот раз. Не принимая другую сторону. Беда, что твоя практическая театральная деятельность не движется; Ты знаешь, как она меня интересовала: я каждый раз ездил, чтобы посмотреть твои пьесы. (Менее жалко мне, что "Дюрренматт инсценирует Фриша" не состоится; я ничего не сказал по поводу этого сообщения, но кое о чем подумал.) Итак, беда; но твоя статья слишком самодовольна, чтобы быть убедительной. Тот, кто тебе это говорит, не враг твой; враг тот, кто говорит это за спиной. А таких много.

Сердечно твой
Фриш

1. Тяжко комментировать это письмо, как и письмо № 25 Дюрренматта Фришу об "Андорре". Наступившее сильное охлаждение после фактического неприятия Дюрренматтом самой любимой и, заметим, очень успешной пьесы "Андорра" Макс Фриш, надо отдать ему должное, пытался преодолеть — видимо, безрезультатно; во всяком случае, ответных писем на письма Фриша №№ 26 (1964), 27 (1965), 28 (1969) не имеется.

Кратко изложим факты. 14 октября 1969 года Дюрренматт выступил на созванной Базельским театром пресс-конференции в сопровождении актера и режиссера Курта Бека (1926—1993) и главного редактора еженедельника "Зонтагс-журналь" Рольфа Р. Биглера (1930—1978) с объяснением, почему он выходит из руководства Базельского театра, с художественным руководителем которого, Вирнером Дюггелином (р. 1929), он годом раньше подружился после постановки "Анабаптистов" (1967); затем в этом театре были поставлены и некоторые другие пьесы Дюрренматта. Фриш поначалу симпатизировал театру, но после нарушенного обещания поставить его пьесу "Бидерман и поджигатели" с июня 1969 года запретил показывать прежние постановки своих пьес "в театре Дюггелина". Однако снял запрет, когда Дюрренматт выразил желание инсценировать эту пьесу, — "чтобы успокоить Фридриха Дюрренматта", — как он написал завлиту Герману Байлю 28.10.69; но, поскольку "теперь это оказалось излишним", запрет снова вступает в силу. "Это сообщение никоим образом не означает, что я солидаризируюсь с утверждениями Фридриха Дюрренматта", — заканчивает свое письмо Фриш.

Сам Дюрренматт тоже рассердился на Дюггелина за отказ поставить его переработку комедии Лессинга "Минна фон Барнхельм" и всяческие осложнения замысла постановки его собственной комедии "Брак господина Миссисипи".

2. В "Зонтагс-журнале" Дюрренматт выступил со статьей "Мой уход из Базельских театров".

3. "Зонтагс-журналь" был задуман как противовес "Вельтвохе".

30. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

Кюснахт, X. 1978

Дорогой Фриц,

сердечное спасибо за Твою книгу[1]. И: если можешь, прости, что я испортил вечер в "Кроненхалле"[2]. Виноват не только коньяк! С некоторых пор у меня накапливаются неудачи, можно прийти в отчаяние — многие из этих неудач остаются незамеченными; они происходят взаперти, а взаперти я пребываю достаточно — вследствие этого.

Дорогой Фриц,

я только хочу тебе сказать (прежде чем мы как-нибудь увидимся): не думай, что я считаю свои резкие жесты (для всякого совершенно непонятные) верными, оправданными или хотя бы простительными. И если я говорю: извини! — то я имею в виду, точнее говоря, это связано не с Тобой как личностью, а только со мной. Это болезнь.

Сердечно
Твой старый *Макс*

1. Речь идет или о книге Дюрренматта "Картины и рисунки". Цюрих, издательство "Диогенес", 1978; или о как раз вышедшей в издательстве "Архе" книге "Дюрренматт. Книга для чтения".
2. 28 сентября 1978 года состоялся вернисаж выставки картин и рисунков Дюрренматта в галерее его нового издателя Даниэля Кеэля, после чего был банкет в ресторане "Кроненхалле". По свидетельству участников вечера, Фриш явился в ресторан с опозданием, Дюрренматт ему надписал "Книгу для чтения" — "Моему старому собутыльнику Максу", Фриш исчез, снова явился и швырнул книгу на стол, обидевшись за надпись, и снова ушел, как говорится, хлопнув дверью, полностью испортив Дюрренматту настроение.

---

31. Макс и Марианна Фриши — Фридриху и Лотти Дюрренматтам

Венеция, 27.12.79

Дорогой Фриц и дорогая Лотти,

мы тщетно ищем в тумане львов Фрица[1], но думаем о вас с сердечными приветами

ваш *Макс*

Тем не менее мы видели множество других львов, мы хотим вместе их снова осмотреть; в первый день Рождества мы ужинали в названном ресторане[2] (с фотографом[3] и Э. Петрихом[4]), с любовью вспоминая вас. На Площади М поднимается вода!

сердечно
Марианна

1. Скульптурные львы перед Арсеналом.
2. Ресторан "Коломба".
3. Уличный фотограф, работающий на террасе ресторана.
4. Эккарт Петрих — издатель популярных путеводителей по Италии, к этому времени умерший. Его путеводитель по Венеции, который возили с собой и Фриши, и Дюрренматты, служил источником шуток.

32. Макс Фриш — Фридриху Дюрренматту

Берцона, 15 сентября 1980

Дорогой Фриц,

историки приглашают меня к кассе, как и тебя. Как поведем себя? Подумай об этом и дай мне знать. В этом году я часто бываю в Нью-Йорке, но Цюрих остается моим адресом. Надеюсь, у Тебя все в порядке — я Тебе этого желаю,

сердечно Твой старый
Макс

[Приложение[1]: письмо Фонда Фриша Фридриху Дюрренматту от 15 сентября 1980.]

1. Письмо Фонда Фриша, созданного в октябре 1979 года, с просьбой подарить или одолжить на время письма или рукописи Фриша.

33. Фридрих Дюрренматт — Максу Фришу

Невшатель, 11.5.86[1]

Дорогой Макс,

когда-то для Тебя было проблемой то, что я на десять лет моложе Тебя. Теперь это не играет роли. Наш упирающийся в Ничто наклонный спуск, по которому нам еще предстоит поскользить, имеет примерно одинаковую длину. Я никогда не помнил о том, что однажды этот срок должен наступить, и раз уж мы оба стали пожилыми господами, то я не знаю, должны мы друг другу выражать соболезнование или поздравлять. Как бы то ни было, мы браво по- и раздружились. Я во многом восхищался тобой, Ты во многом изумлял меня, и ранили мы друг друга тоже нередко. У каждого свои шрамы. Эти строки я пишу не без ностальгии. Меня никогда особенно не интересовало писательство нашего времени, ты был один из немногих, кто в наше время занимал меня, — всерьез занимал меня, пожалуй, Ты единственный. Как человек, который столь решительно, как Ты, превращает себя самого как частный случай в мир,

ты всегда представлялся мне, столь же упрямо превращающему мир в меня самого как частный случай, коррективой моего писания. То, что мы должны были двигаться врозь, пожалуй было предначертано. Но мне не хотелось бы превращать это в литературно-исторически предопределенный урок.

1. Письмо это, предназначенное к 75-летию Фриша, многократно перепечатывалось секретаршей; в конце концов был отправлен написанный от руки самим Дюрренматтом текст. Фриш не ответил, к огорчению Дюрренматта, который писал своему приятелю в 1990 году: "Я ему написал, но он даже не ответил".

В архиве имеется открытка, которую Марианна и Макс однажды прислали Дюрренматтам (без даты и адреса отправления):

"Дорогая Лотти, дорогой Фриц,
посылаем возвещенную пластинку; мы уже дошли до состояния, похожего на оборотную сторону фотографии. Сердечные приветы и доброго здоровья всем вам от

Марианны + Макса".

По воспоминанию Марианны Фриш, пластинка эта — Switched-On Bach, Trans Electronic Music Productions ("Лотти и Фриц слышали ее в Берцоне, и Лотти, играющая на клавесине, была возмущена", — вспоминает Марианна).

На "оборотной стороне фотографии" изображена одетая обезьяна, стоящая с метлой в руках на земном шаре с надписью "Атом". Обезьянья тема часто встречалась на почтовых открытках, что, видимо, связано с научно-популярной книгой Десмонда Морриса "Голая обезьяна", которую Фриш и Дюрренматт поминали в своих разговорах.

Жан Старобинский: Женева, литература, память

Беседует с Сергей Зенкин

9 марта 2002 года, один из первых теплых весенних дней. Открытые окна старой квартиры выходят на здание университета, расположенное через улицу. Квартира большая, но вся заставлена, завалена, загромождена книгами. "Вот здесь раньше была столовая, — шутливо жалуются хозяева, — но однажды ее не стало: видите, теперь здесь тоже книги..." Сверху одной из стопок на рояле лежит книга на русском языке — недавно присланный автору первый том вышедшего в Москве двухтомника: Жан Старобинский, "Поэзия и знание. История литературы и культуры".

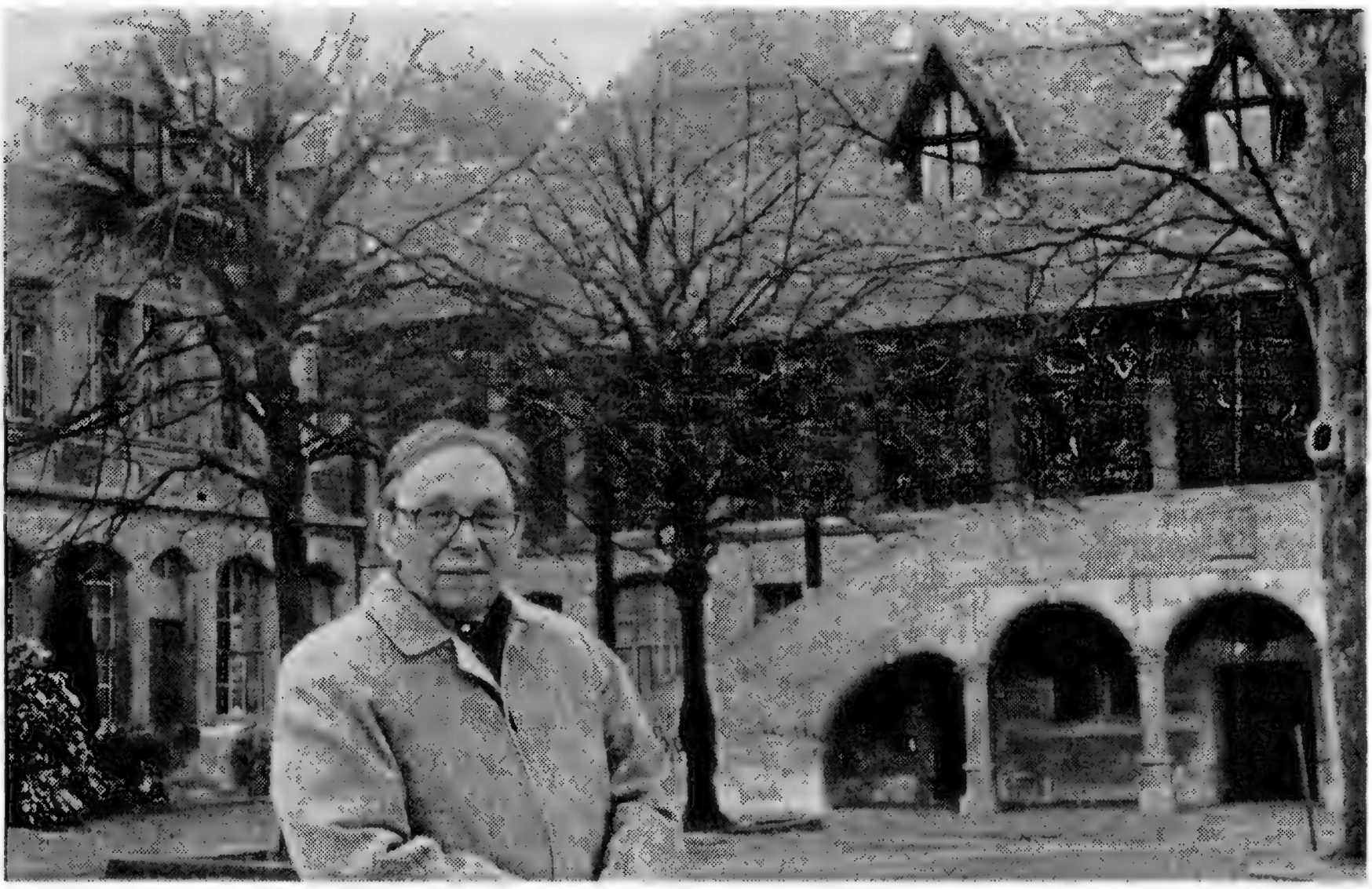
Сам автор, энергичный и подвижный, несмотря на почтенный возраст (он родился в 1920 г.), — один из самых известных в мире швейцарских ученых; если бы присуждалась Нобелевская премия по литературоведению, он наверняка был бы в числе первых кандидатов. Всю жизнь проработав в Женевском университете, он знаменит множеством книг и статей по истории культуры от Возрождения до XX века (о Монтене, Руссо, Бодлере...). Энциклопедически образованный филолог, он всегда интересовался теоретическими новациями, которыми так богато развитие этой науки последнего столетия. Он и сам им способствовал, когда в 50—60-е годы, вместе со своим учителем М. Раймоном и рядом друзей и соратников в разных странах (Ж. Пуле, Ж. Руссе, Ж.-П. Ришаром), своей практической историко-литературной работой подготавливал обновление литературной теории. И еще он — женевский старожил, человек, идеально вписанный в жизнь родного города, космополитическая история которого слилась с его личной памятью. Об этом и идет наш разговор.

С. Зенкин. Вы знаете Женеву как мало кто иной. С нею связана вся ваша биография — а между тем вы женевец лишь во втором поколении, и к моменту вашего рождения ваши родители, эмигранты из Польши, жили в Женеве всего несколько лет. Создавало ли это у вас в детстве ощущение отделенности, инаковости?

Ж. Старобинский. Не так-то легко возвращаться к самым ранним воспоминаниям... Да нет, в моей памяти нет мотивов отделенности. Ни в школах, куда меня определяли, ни в семье не было разрыва между двумя культурами; просто мне казалось естественным, что я расту, разговаривая по-французски, что родители говорят со мной по-французски, но нередко я слышу, как друг с другом, а иногда и со своими друзьями они говорят на славянских языках. Для отца это был русский, а для матери, уроженки Люблина, — польский. Я вслушивался в эту речь, не понимая ее, и она составляла часть моего мира. Одновременно в речи гостей звучали разговоры, литературные и научные интересы (я рос в медицинской семье) какого-то мира, не совпадавшего со старинной Женевой.

Вообще-то мой опыт не был столь уж необычным. В Женеве жило довольно много русских и поляков. Если отвлечься от меня самого и начать вспоминать имена, которые звучали в моем детстве, — имена знакомых моих родителей, — то окажется, что от них открываются самые разные перспективы. Мой отец, работавший врачом в женевской больнице, с удивлением обнаружил там истории болезни Ленина и Муссолини, которые оба жили в Женеве до 1914 го-

да. Его руководитель-профессор предпочел уничтожить эти дела, "чтобы избежать неприятностей". Другой коллега моего отца, практиковавший в Женеве Симон Жиклинский, учился в коллеже вместе с Хорхе Луисом Борхесом. В прекрасном позднем рассказе Борхеса "Другой" писатель сидит на скамейке в Кембридже, близ Бостона, перед рекой Чарлз; рядом с ним садится молодой человек — его двойник — и говорит, что он с 1914 года живет в Женеве и перед ним течет Рона. У него с собой даже есть деньги — вечером он пригласил пообедать Симона Жиклинского... Да, в Женевском коллеже возникало немало космополитических знакомств.



Жан Старобинский рядом с Женевским коллежем, в котором он учился

Если порыться как следует в памяти, найдутся и другие примеры такого типа. Вот, скажем, я обнаружил, что среди учеников Женевского коллежа был Бальтазар Клоссовский — сын польского художника и не кто иной, как будущий художник Бальтус; а друг его матери Райнер Мария Рильке писал директору Женевского коллежа письмо с просьбой быть снисходительным к его отметкам... Женева ведь была международным городом, и такие вещи вовсе не были чем-то исключительным в классах Женевского коллежа. А первым моим — счастливым — опытом встречи с городом, где мы жили, стала образцовая школа, Дом малышей, которую организовали психологи из Института Руссо Эдуард Клапаред (педагог и психолог, очень смелый человек), Пьер Бове, а позднее Жан Пиаже — вся знаменитая Женевская школа педагогики и психологии. Вот таковы мои первые впечатления от Женевы, где оставалось много от международного города, каким была Женева до 1914 года.

Вспоминается хозяйка книжной лавки недалеко отсюда, на площади Каруж — это была знаменитая ныне улица русских студентов, упоминаемая у Мартена дю Гара в "Семье Тибо", — звали ее госпожа Менкес, и к ней в лавку я ходил покупать романы Жюля Верна, красивые тома в красных переплетах с чудесными иллюстрациями. У госпожи Менкес был сын, который стал врачом и уже в 40-х годах лечил французскую писательницу Колетт, приезжавшую к нему на прием в Женеву. В юности он был связан с анархистской средой, в дальнейшем лечил несколько нестандартными методами, это здешняя знаменитость; а его мать снабжала меня романами Жюля Верна! В книги, питавшие воображение любого мальчика начала XX века, я погружался с помощью этой русской хозяйки книжной лавки. Я до сих пор прекрасно ее вижу — на руках у

нее перчатки-митенки, лавку отапливает маленькая печка, а на калориферной трубе дозревают груши.

Вот такие у меня детские воспоминания; как видите, в них глубоко перемешаны российские и местные, женевские, мотивы. Кажется, на той же площади был еще русский бакалейщик, торговавший всякой русской едой, но, как мне рассказали потом, между 1905-м и 1914 годами он являлся осведомителем русской полиции. Там было много всяких русских интриг, которых я не знаю. Среди моих друзей были сыновья других русских врачей, работавших в Женеве. Но в 1914 году все переменилось: одни вернулись на родину, чтобы воевать, другие разъехались кто куда — вся картина стала иной. Во время той войны в Женеве были группы последователей Толстого, увлекавшихся его социальными идеями, и в Женеве же образовалось течение, о котором я узнал уже не от родителей, — пацифизм, во главе которого стояли Ромен Роллан, требовавший прекратить бойню, и еще один человек, который желал порвать со своим прошлым, — французский поэт Пьер-Жан Жув, живший в Женеве и романской Швейцарии с 1915 года, близко друживший с Роменом Ролланом и участвовавший во всех движениях, которые здесь происходили. Здесь издавались их книги с прекрасными гравюрами Франса Мазереля. Их историю стоило бы написать...

С. З. А когда возник такой облик Женевы — международного города?

Ж. С. С тех пор как утвердилась база женевского протестантизма. В XVIII веке экономическая структура Женевы стала опираться на мануфактуры и банки, располагавшиеся у ворот Французского королевства, Савойи, Пьемонтского королевства. Протестанты оказывали финансовые услуги великим католическим державам, участвовали в вербовке наемников (дед Жан-Жака Руссо одно время был агентом Савойи, занимаясь вербовкой швейцарских солдат), женевские банкиры открывали банки во Франции. Возник своего рода протестантский интернационал. А одновременно с развитием банков в Женеве имело место еще такое своеобразное явление, как развитие научной рефлексии. Возник интернационал ученых.

Такой и была уже весьма международная Женева XVIII века, сильными сторонами которой являлись религия, философия и наука; затем наступает пора кружка Коппе, кружка госпожи де Сталь. Она была дочерью банкира Жака Неккера, немца по происхождению, который начал свою карьеру в Женеве и закончил ее в Париже министром Людовика XVI — тоже примечательный пример перехода границ. Жермена де Сталь держала салон в Париже, собирала в нем интеллектуальный свет после Термидора, а в дальнейшем не без удобств сопротивлялась Наполеону из своего замка Коппе. Еще в XVII веке в Коппе служил домашним учителем у немецкого графа Дона Пьер Бейль, автор знаменитого "Исторического и критического словаря" — еще один крупный мыслитель-протестант, оставивший свой след поблизости от Женевы.

Если вдаваться в подробности, пришлось бы рассказывать очень медленно... Франц Лефорт, адмирал Петра Великого, тоже был женевцем; здесь, у нас в библиотеке, хранится его портрет. Я не знаю: это в честь него названа Лефортовская тюрьма?

С. З. Да, только Лефортово — это прежде всего район Москвы, а уже по нему называется и тюрьма.

Ж. С. Ах вот оно что... В общем, Женева была маленьким, тесным городом, в ней насчитывалось всего 20 000 жителей, но ее влияние расходилось по всему миру. В этом городе доля образованных людей была одной из самых высоких в Европе. Ее буржуа и простонародье нередко проявляли довольно мятежный нрав, на протяжении XVIII века Женева пережила целый ряд восстаний ремесленников (прежде всего часовщиков) против олигархов-патрициев. Можно сказать, что этот город был лабораторией европейских революций XVIII века. Пастор Этьен Дюмон — одна из улиц недалеко отсюда носит его имя — был ближайшим сотрудником Мирабо при составлении Декларации прав человека, а затем стал доверенным лицом, секретарем Иеремии Бентама.

Примерно в те же годы в кружке Коппе встречались люди со всей Европы. Там развивалась настоящая европейская мысль, обращенная к Германии и соприкасавшаяся с разными частями западного мира. Также очень показательно, что во время своего большого заграничного путешествия госпожа де Сталь останавливалась в России... А гуляя по блошиному рынку (кстати, как раз сегодня он работает — погода хорошая!), я нет-нет да и натыкался на что-нибудь принадлежавшее Герцену — вот каким бойким перекрестком была Женева. Я даже интересовался потомками Герцена: у него был сын, которого тоже звали Александр, он стал физиологом, и его книги оказали большое влияние на Ницше. Будучи в Женеве, Ницше был знаком с семьей Герцена, с его сестрами и дочерьми; у него есть несколько писем, адресованных мадемуазель Герцен. Куда ни взглянешь, Женева предстает все более многообразным местом встреч, и даже если порой женевцы и приезжие не всегда сразу сближались друг с другом, но в какой-то момент обнаруживается, что Женева присутствует далеко от своих границ.

Во время моей единственной поездки в Москву я побывал в доме Толстого, там очень трогательные старушки показали мне комнаты, дали послушать записи голоса Толстого. Там есть комната, закрытая для посещения, — комната дочери Толстого, умершей довольно рано, около 1900 года. Она переводила, и что же именно? "Дневник" Амьеля!

Во время и до Второй мировой войны многие немецкие эмигранты оказались у нас под угрозой: Швейцарии приходилось считаться со своими опасными соседями, такими как Германия. Одна из таких семей была семьей моего однокашника по коллежу, а его мать в юности была невестой Кафки. Ее девичья фамилия — Фелиция Бауэр. После того как вся семья уехала из Женевы в Америку, я обнаружил в лавке букиниста оригинальное издание "Сельского врача" Кафки с ее экслибрисом... Много позже я познакомился с поселившимся в Женеве Марком Слонимом — лингвистом, который близко знал членов Пражского лингвистического кружка. У Марка Слонима после войны я впервые повстречал Пауля Целана — он приехал в Женеву работать в Международной организации труда.

С. З. Вы ведь играли значительную роль в Международных женевских встречах, попытке создать "интернационал интеллектуалов" вскоре после войны...

Ж. С. Да, я был там сначала, в 1946 году, юным слушателем, присутствуя на лекциях Ясперса, Лукача, Бернаноса. Через несколько лет я стал членом организационного комитета Встреч, а с 1967-го по 1995 год был его председателем. Теперь в нашем комитете председательствует славист Жорж Нива. Цели Встреч смещались, претерпевали развитие. На первых Встречах делалась попытка подвести итоги той ситуации, в которой оказалась Европа после 1946 года, и там произошло нашумевшее столкновение: с одной стороны, немецкая антифашистская мысль (представленная Карлом Ясперсом, который, в отличие от Хайдеггера, не был скомпрометирован), а с другой стороны, пытались дать слово марксизму, и поскольку в 1946 году не удалось заполучить никого из русских, то слово предоставили Дёрдю Лукачу. Противостояние Ясперс — Лукач, их перепалка остались в памяти женевцев.

Во Встречах участвовал еще Дени де Ружмон, покинувший Швейцарию во время войны. У него было звание швейцарского офицера, но в 1940 году он написал статью о взятии Парижа немцами — очень сильную статью, выражавшую скорбь от известия, что Париж занят немецкой армией. Немецкое посольство заявило протест, и Ружмону дали понять, что ему, пожалуй, лучше будет поехать читать лекции за границу, в Соединенные Штаты. Он провел там три или четыре года, прежде чем вернуться в Швейцарию. На Женевских встречах 1946 года он выступил со своей первой декларацией в поддержку Европы. В дальнейшем вся его деятельность была посвящена созданию общеевропейского культурного центра, объединению европейских систем образования. Был там и итальянец Умберто Кампаньоло, создавший Европейское общество

культуры и пытавшийся проводить встречи интеллектуалов с Запада и Востока. Во время холодной войны эти встречи позволяли поддерживать хотя бы личные контакты; другое дело — какое влияние они имели на политику... Впоследствии на Женевских встречах делались попытки собирать вместе представителей обеих частей Европы. На одной из них я видел издалека Эренбурга: я не знал его лично, но до сих пор отчетливо вижу его у подъезда то ли театра, то ли концертного зала, он осторожно осматривается, но взгляд горящий, на поводке у него собака...

Потом, когда поднялись студенческие волнения 1968 года, была еще одна значительная международная встреча, происходившая в приватной обстановке. Там спорили друг с другом сторонник американских бунтарей Герберт Маркузе и Раймон Арон.

С. З. Вы уже упоминали Пьер-Жана Жува, которого вы хорошо знали. Не могли бы вы рассказать о нем подробнее, а также и о другом литературно-художественном деятеле, приехавшем в Женеву из Парижа, — издателе сюрреалистов Альбере Скира?

Ж. С. Что касается Жува, это было во второй половине его жизни, после его второй женитьбы. Он словно начал жить заново, Бланш Жув была во многом его вдохновительницей, и в конце 20-х годов для Жува начался новый этап поэтического и ораторского творчества. Этот поэт располагался где-то на периферии, на самой периферии сюрреализма, с такими своими чертами, как внимание к бессознательному, к глубинным силам души, к духовному опыту, сохранявшему маргинальное место в сюрреализме рядом со священным и религиозным. Познакомился я с ним потому, что о нем часто писали в журнале "Нувель ревю франсез". В мои школьные годы этот журнал передавали из рук в руки; отец начал получать его с 1932-го или 1933 года. Там и печатался Жув, а также критические тексты Альбера Тибоде, а критические статьи о поэзии иногда появлялись за подписью Жана Валя, философа, пристально интересовавшегося поэзией. Так что Жува я стал читать по рекомендации "Нувель ревю франсез" и еще журнала "Мезюр", в котором он также печатался и который также приходил к нам; все это создавало в коллеже интернациональный поэтический климат.

Когда в 1941 году Жув приехал в Женеву, он не был для меня незнакомцем, и моя первая критическая публикация в 1942 году (я тогда еще учился) стала рецензией на "Портики" Жува. Он очень любил принимать у себя друзей и поклонников, а жил он у самого собора, то есть недалеко от меня и других молодых писателей, проводивших у него многие вечера. Я учился тогда в Женевской школе медицины и приходил слушать, как он говорит о Делакруа, Бодлере, Моцарте (он только что издал в Швейцарии свое эссе о "Дон Жуане" Моцарта). Во время его лекций я крутил ручку граммофона, игравшего знаменитые арии из этой оперы. Вот так я и познакомился с Жувом, а через него и с Пьером Эммануэлем, который находился под его влиянием и после войны сделался религиозным поэтом. Благодаря Жуву и Эммануэлю я стал читать Достоевского. И начал выступать как критик поэзии в швейцарских журналах. Я писал заметки о поэтических произведениях в 1942—1946 годах. То был мой первый опыт критического чтения — не анализ, а просто суждения о поэтах. Однако я считаю, что задачей критики является приветствовать, даже прославлять то, что заслуживает похвал; такова одна из ее функций.

Что же касается Скира, то в наших отношениях с ним было несколько этапов. Сначала я встретил его имя внизу титульного листа журнала "Минотавр", который выходил в Париже и выпустил несколько очень значительных номеров. Кто такой Скира, я не знал. Потом оказалось, что это швейцарец, обосновавшийся в Париже. В нем было что-то от авантюриста высокого полета. С чего он начинал? — он охотно отвечал, что какое-то время работал танцовщиком... И вот он поселился в Париже, среди художников, издал книгу о Пикассо и сам ходил продавать ее, разыскивая любителей, он отличался исключительным вкусом в компоновке издания — это подлинно художественный та-

лант. Я тогда был подростком, читал "Нувель ревю франсез", а "Минотавра" брал в Библиотеке искусств и истории; меня сразу поразили в нем заново открываемые старинные произведения, своеобразная фантастика, открытие ночной стороны XVII века. Там публиковались и произведения сюрреалистов, фотографии Мана Рея и других великих фотографов, а также статьи – "Ночь подсолнуха" и "Звездный замок" Андре Бретона, которые потом вошли в его книгу "Безумная любовь". Некоторые из этих текстов стали классическими: первые эссе Роже Кайуа о богомоле и легендарном миметизме, тексты Элюара; а кроме того, мой отец знал африканиста Марселя Гриоля, у которого было имение по соседству с Женевой и который стал связующим звеном между моими семейными знакомствами и школьными интересами, он сделал прекрасный номер "Минотавра" об экспедиции Дакар–Джибути, в ходе которой были описаны нравы племени догонов; там же были и тексты Мишеля Лейриса.

Все это имело для меня огромное значение в отрочестве, и вот в 1942-м или 1943 году мы узнали, что Альбер Скира вернулся в Женеву со своей супругой Розабьянкой, дочерью художественного критика Лионелло Вентурини. В Женеве Скира продолжил свою деятельность издателя книг по искусству, вскоре он задумал продолжать "Минотавра" в форме нового журнала – "Лабиринт"; в нем он пытался собрать вновь своих сотрудников-сюрреалистов, пригласил к сотрудничеству жившего тогда в Женеве Бальтуса и еще замечательного прозаика и критика Шарль-Альбера Сенгриа. Я опубликовал там лишь однажды статью о прециозности и с тех пор принадлежал к группе друзей, собиравшихся вокруг Скира. Там часто бывали Альберто Джакометти, Бальтус; из писателей были все, кого только удавалось залучить после освобождения Франции от оккупации.

Новый этап моих отношений со Скира начался тогда, когда он задумал издавать две книжные серии. Одну он назвал "Искусство, идеи, история": он хотел сделать что-то отличное от художественных альбомов, которые выкладывают на столик в салоне, и он привлек к работе историков. Хорошо помню, как назвал ему имя историка, которым восхищался, – Жоржа Дюби, предварительно выяснив номер его телефона в Авиньоне. Тут я и увидел Скира за работой: "Я не знал этого Дюби; говорите, он очень хороший историк? – так позвоним ему!" Звонит по телефону, и на следующей неделе Дюби уже садится в поезд и приезжает в Женеву. Я никогда не видел, чтобы замысел столь быстро превращался в реальность.

Такой был у Скира напористый стиль: взявшись за дело, он работал не покладая рук, звонил авторам до самой полуночи, повторял по нескольку раз уже сказанное – кипучая деятельность, сочетавшаяся с его ночными похождениями (в компании юных сотрудников и сотрудниц), в которых я не участвовал... Так развивалась эта книжная серия. Скира не хотел, чтобы в книгах были примечания, и мне нужно было настаивать, чтобы поместить примечания хотя бы в конце книги, – в такой серии, как "Искусство, идеи, история", требовалось все-таки давать читателю кое-какие пояснения.

Была еще и вторая серия, в которой я не стал непосредственно сотрудничать со Скира, так как он хотел, чтобы я помогал ему непрерывно; она называлась "Тропы творчества" – в ней поэты и художники рассказывали о том, каким путем они пришли к созданию своих произведений. Я предложил для этой серии исследование об иронии и меланхолии, где показывал, как меланхолия присутствует в цирковом искусстве, и это стало моей книгой "Портрет художника в образе паяца". В той же серии выпускали свои тексты ряд писателей и художников: с одной стороны, Жан Дюбюффе и Пьер Алешинский; с другой стороны, Клод Симон, Ролан Барт ("Империя знаков"), Клод Леви-Стросс ("Путь масок")... Это была очень богатая серия, и благодаря ей писатели стали писать специально для иллюстрированных изданий.

Такова была последняя фаза моей дружбы со Скира: началось со школьной любви к журналу "Минотавр" и закончилось ролью одного из многих его сотрудников. Благодаря его деятельности в Женеве вышло много прекрасных

книг, жаль, что теперь этого больше нет; без этого мне сейчас чего-то не хватает — какой-то оживленности... Скира любил постоянно повторять: "Что вы об этом скажете? Что вы об этом скажете?" И он привлекал к себе симпатии людей — кое-что в нем раздражало, но все же симпатия была очень сильной, люди шли за ним и знали, что придут к успеху.

С. З. Обычно вас причисляют к участникам Женевской школы в литературоведении...

Ж. С. Слово "Женева" здесь вполне уместно; а слово "школа" возникло поздно и пришло не из самой Женевы. Часто ведь именно историки или же художественные эксперты, глядя назад в прошлое, определяют, что имела место такая-то школа. Пожалуй, можно было говорить о Женевской лингвистической школе, включавшей Фердинанда де Соссюра и его более или менее верных учеников, издавших его "Курс общей лингвистики"; но у Женевской школы критики нет тесных связей с Соссюром.

Как было дело? Женева отличается тем, что здесь находится франкоязычный университет, который, однако, не подчинен — ведь мы в Швейцарии — французскому университетскому режиму, его системе, где властвует национальное министерство образования, определяющее учебные программы и курсы, устанавливающее, какие дипломы нужно иметь, чтобы работать во французских университетах. Женева долгое время обладала независимым положением, но ее связь с Францией вела к тому, что здесь регулярно работали французские профессора. Францию представлял в Женеве Альбер Тибоде, который для Франции был "не совсем правильным" — он не имел докторской степени, позволяющей преподавать в Сорбонне, работал критиком в "Нувель ревю франсез" и не выпустил толстого исторического труда, который требовался в так называемой лансоновской школе. Так что Женева обладала свободой маневра, которой не было у французских университетов.

Рядом с особняком Соссюров

Если возникновение Женевской школы связывать с Марселем Раймоном, то заметим, что его первой книгой стала как раз толстая диссертация на французский манер о влиянии Ронсара в XVI веке. Он много с ней намучился, прочесывая насквозь всю эпоху, выискивая учеников и подражателей Ронсара. Так он заплатил

дань исторической критике в духе Лансона. А переехав в Женеву (до того он работал в Германии), он выпустил книгу "От Бодлера до сюрреализма", открыто обращенную к исканиям новых поэтических течений, добивавшихся свободы выражения, исследовавших бессознательное, подступы к сверхреальности, — ретроспективно все это можно определить как постромантизм: поиски тайн бытия, неуловимых условным повседневным языком. Постромантический сюрреализм приковывал к себе внимание Марселя Раймона, который связывал его с грезами Руссо; получался сплошной поток влияния, который начинался от Руссо и проходил через Нерваля, Бодлера — вплоть до новейших типов творчества. Одновременно связи с Германией пробудили у Марселя Раймона интерес к категории барокко, а вместе с ней — к идее стилистики формы, того, что может быть конкретно расшифровано в произведении: не надо абстрактной спекуляции, надо вслушиваться в словесную материю стиха. Я помню, как Марсель Раймон излагал нам свои взгляды на генетику и риторику текста: для риторического анализа он предлагал образы, взятые из Лотреамона. Помню, скажем, пример "спрута с шелковистым взором"...

В общем, в преподавании Марселя Раймона было нечто очень синкретичное, нечто большее, чем обычное преподавание литературы, — история преодолевалась ради внутреннего опыта, в который рискованно вовлекается наша жизнь и который не всегда принимает во внимание история литературы. Лекции и семинары Марселя Раймона заставляли беспокойно обращаться к себе самому, к жизни, в которую ты погружен. Этому способствовала и их несистематичность: никаких методологических формул, всего лишь два принципа — вслушиваться в тексты и задумываться об экзистенциальных вопросах.

А когда речь заходила об экзистенциальной рефлексии, я мог предъявить ему свой опыт чтения Кьеркегора, к которому меня побудил Пьер Эммануэль (а также и Сартр), — это неплохо согласовывалось с уроками Марселя Раймона. Когда же из Парижа приехал мой друг Жан Руссе, чтобы продолжить свои занятия французской литературой барокко, то рядом с Марселем Раймоном мы оказались как бы заодно. Нас не объединял какой-либо журнал, мы не ощущали себя какими-то особенно оригинальными, просто у нас была общая область исследовательских интересов: поэзия, дружба с поэтами.

Потом я познакомился с Жоржем Пуле. Он был бельгийцем, учился в Льеже, потом поехал в Англию и занимал там довольно скромный пост. Он очень тщательно вникал в мысль французских философов и критиков. Тем самым он в значительной мере вышел из рамок истории литературы, и вольная философская проблематика — осознание времени, пространства, человеческого "я", субъективности — позволяла ему практиковать "тематический" подход к писателям. Он был невероятно начитан, прочитывал все, не пренебрегая даже тем, что можно было оставить в стороне — нет, он ничего ни оставлял в стороне, и этот принцип читать все произведения писателя позволял ему прорабатывать насквозь все его творчество. Я не знал более неутомимого читателя, чем Пуле, — он читал очень быстро и вместе с тем очень внимательно. И если он был небрежен в отношении того, как текст включается в историю, зато с точки зрения исчерпывающего знания текстов он был чрезвычайно требователен. Он ставил себе иные задачи, нежели историю текста. В нем было что-то очень притягательное, одновременно властное и скромное.

Сам я задумал тогда книгу о понятиях сущности и видимости, и это согласовывалось с его собственными занятиями, так что когда я познакомился с Пуле и вышел первый том его "Очерков о человеческом времени", я почувствовал к нему живую симпатию; а когда он получил назначение в Балтимор, в университет Джонса Хопкинса, он устроил туда приглашение и мне. К тому времени я еще очень мало что написал: кое-какие критические статьи да книжку о Монтескье, выросшую из семинара, который я вел как ассистент Марселя Раймона, сам продолжая изучать медицину (я несколько акробатически совмещал две разные профессии). В Америке я уже гораздо ближе познакомился с Пуле, и я многим ему обязан в развитии моих книг о Монтене и Руссо — там ста-

вится ряд вопросов на основе одной общей проблемы. В этих вопросах, конечно, сказывалось влияние философов — Сартра и Мерло-Понти.

Так вот, Жоржу Пуле, еще в Лондоне познакомившемуся с Жан-Пьером Ришаром, пришла в голову мысль: нет ли какого-то родства между этими его друзьями, которые занимаются кто романтизмом и реализмом, кто барокко, а кто мотивами чувственного восприятия в поэзии (Жан-Пьер Ришар)? Прототипом всего этого мог считаться Марсель Раймон — и вот так Пуле и придумал Женевскую школу, тогда как мы шли каждый своим особенным путем, не сверяясь с каким-либо теоретическим сочинением Марселя Раймона. Беспримерный случай: у Женевской школы не было никакого канонического текста — напрасно стали бы его искать. Мне еще пришлось написать теоретическую статью "Отношение критики", но то было гораздо позже, уже после того как Пуле пустил в оборот понятие Женевской школы.

Как бы то ни было, мне приятно думать, что у нас получилось что-то непокорное тому духу, который господствовал во Франции. Я больше не преподавал в Америке после отъезда из университета Джонса Хопкинса в 1956 году. Но в Соединенных Штатах переведены почти все мои книги. Последняя из них, "Действие и противодействие", вот-вот выйдет в Нью-Йорке. Тем временем университетские посты в США заняли Рене Жирар, Мишель Фуко, Жак Деррида, Жан Бодрийяр, Люс Иригарэ, Элен Сиксу и другие, и они продолжают оказывать там сильное влияние. "Женевское" же присутствие остается сравнительно скромным — оно ослабло потому, что исследование текстов уступило место чисто теоретическим или же социологическим соображениям.

В Америку ездили и другие люди, которые мне симпатичны, — такие как Вольфганг Изер и прочие немецкие теоретики восприятия. Глава этой школы Ханс Роберт Яусс был персона нон грата в Америке из-за своего прошлого; я-то знал его лично, и он мало говорил о прошлом...

Да, прошлое его вскрылось довольно поздно, в ходе полемики: Яусс назвал "подпольным эрудитом" филолога Эрнста Роберта Курциуса, и тогда другой автор, вступаясь за Курциуса, раскрыл военное прошлое Яусса: оказывается, тот в семнадцать лет записался в войска СС и командовал иностранными добровольцами, воевавшими против России...

С. З. Он служил в боевых частях...

Ж. С. Да, в боевых частях — не в полицейских. Это были немецкие, французские и прочие волонтеры, которые участвовали в боях. Потом он попал в плен к американцам, военный трибунал его оправдал; но, конечно, он зря скрывал эти события своей жизни. Тоталитарные режимы были похитителями и совратителями детей — и, наверное, немецкие юноши могли увидеть спасение от неприкаянности и душевного разлада в том, чтобы пойти на войну. Они совершили ошибку, но одни из них сказали об этом, а другие не сказали в достаточной мере. Это очень волнующий вопрос; во всяком случае, нельзя сказать, чтобы теория рецепции Яусса чем-то была обязана нацистам. Это совсем другое, он заново выстроил свою мысль в новых условиях.

С. З. Возвращаясь к Женевской школе: получается, что она была названа задним числом, и назвал ее так Жорж Пуле, который сам как раз и не работал в Женеве?

Ж. С. Да, он примкнул к этой школе, он чувствовал горячую симпатию к Женевской школе. В какой-то мере он тянул ее на себя, в сторону преобладания субъективного. Должно быть, это и составило нам репутацию "идеалистов". Не помню, как зовут этого английского теоретика-марксиста, у которого я прохожу как идеалист...

С. З. Терри Иглтон?

Ж. С. Совершенно верно, Иглтон! Но в той перспективе "отношения критики", в которой я работаю, я стараюсь не ограничиваться внутренними отношениями текста; я стараюсь рассматривать их в составе социальных и исторических отношений, в той мере, в какой эти соображения не выливаются в тавтологию или в нелепые и банальные общие положения. Общественные фе-

номены интересуют меня не меньше, чем индивидуальные. Мой интерес к социологическому подходу (то есть к более полной истории литературы) восходит, по крайней мере, к 1944–1945 годам, когда я познакомился в Женеве с Люсьеном Гольдманом – его привлекли сюда лекции Жана Пиаже по генетической психологии.

Пуле никогда не принимал во внимание звучание поэтического текста, он старался описать опыт субъекта. Помню дискуссию в Цюрихе – единственный раз, когда я видел Мориса Бланшо; они спорили с Пуле, и главный вопрос, который задавал ему Пуле, был такой: "Как вы можете исключать субъекта, говоря о писателе?" Пуле настойчиво старался все основывать на субъективном опыте, свойственном тому или иному индивиду, неподражаемо-частном. Каждый раз у него было для этого особое прилагательное: "шаровский", "сюпервьелевский", "валерианский", "клоделевский"; и каждый раз для Пуле субъект составлял самую сущность того, что сообщает нам текст писателя. Я же признаю вписанность текста в историю, материальность стиха, возможность трагического столкновения писателя с миром.

С. З. Нельзя ли рассматривать ваш подход к произведению как прообраз структуралистского подхода?

Ж. С. Вообще-то мы с Жаном Руссе, в отличие от Пуле, никогда не ставили себе непреодолимых границ. Напротив, мы очень интересовались всем, что появлялось нового и живого в изучении текстов, их сообщении, их толковании. В пору нашей совместной работы в университете мы с Жаном Руссе всегда были едины в своих установках. Мы приглашали в Женеву преподавателей-структуралистов, критиков и писателей. Замысел состоял в том, чтобы дать слово тем, кто говорит что-то новое в той или иной области, чтобы можно было слушать друг друга и вести диалог. Среди приглашенных преподавателей, занимавших относительно маргинальное положение по отношению к французской университетской системе, были Гаэтан Пикон, Жан-Пьер Ришар, писатели Ив Бонфуа, Мишель Бютор (позднее он самостоятельно преподавал в Женеве и читал блестящие лекции о Гюго и Рабле). С другой стороны, нам хотелось послушать Ролана Барта, который был представителем структурализма, а позднее мы приглашали и Жерара Женетта, и многие женевские студенты получали новый импульс, позанимавшись год или два в семинаре Барта, это потом помогало им писать диссертации.

Словом, нам никогда не казалось необходимым верно держаться своей исходной программы, чтобы потом чувствовать, как нас обгоняют другие. Мы, конечно, с интересом наблюдали за научными предприятиями, которыми не занимались сами, просто потому, что я, например, уже составил себе обширную программу трудов, размышлений над некоторыми вековыми мотивами, и этим надо было продолжать заниматься. Нельзя прерывать уже начатое: у меня в работе были большие тематические исследования о "распорядке дня", о моделях дня, помогающих понимать литературное произведение, или о восприятии тела, или о "действии и противодействии". Все это было задумано уже давно, и мы не могли легко сняться с места и пойти другим путем.

В какой-то момент чувствуешь, что надо идти до конца по пути, который выбран, разрабатывать все возможные аспекты, даже подвергать критике изначальные решения. Не так давно это сделал Жан Руссе, написав статью "Прощание с барокко?", где вновь ставится под вопрос специфика литературного барокко. Это не отречение. Пристальное чтение поэтов XVII века, которое дал Руссе, остается по-прежнему абсолютно верным.

С. З. В центре Женевы стоит внушительный особняк – дом патрицианского рода Соссюров. В 1965 году вы опубликовали и прокомментировали "Анаграммы" одного из его представителей – Фердинанда де Соссюра, – текст, сыгравший большую роль в развитии структуралистской и постструктуралистской мысли. Как вам видится это сегодня?

Ж. С. Да, у Соссюра был любознательный, беспокойный ум. Он написал несколько работ, опубликованных при жизни и, в общем, не великих. Он все

время возвращался к санскриту, к его системе согласных, и там было что-то, в чем он не был достаточно уверен, и это мешало ему написать крупный труд. Тем временем он год за годом читал курс общей лингвистики, который постепенно менялся и был окончательно обработан уже после его смерти по студенческим конспектам. Этим занялись два человека, чьи лица мне памятны до сих пор, — Шарль Балли, основатель лингвистики языка, стилистики языка, и Альбер Сеше, который был моим профессором лингвистики и на своих лекциях преподавал систему Соссюра в том виде, в каком он сам и Балли ее кодифицировали, закрепили, сделали удобнее для передачи, свободнее от колебаний, нерешенных вопросов, возвращений к старым проблемам, чем она предстает в рукописях самого Соссюра. Возникла традиция, оплодотворившая собой структурализм, очень значительная, но основанная на книге, которая не вышла непосредственно из-под пера Фердинанда де Соссюра. Это и был "Курс общей лингвистики"; в дальнейшем его сравнили с рукописями, и сегодня становится ясно, что мысль Соссюра была не столько научной, сколько философской, что в ней было больше сомнений, неуверенности, она похожа на утренние заметки Поля Валери, в которых тот оставлял оборванные фразы, пропущенные слова, неологизмы — целая мастерская, работа в которой не дошла до конца. Все это привели к завершенности — к "Курсу общей лингвистики".

А наряду с этим Соссюр задавался еще очень странными вопросами, так как в некоторый момент, занимаясь санскритом, он задумался о том, не служит ли исходной точкой для поэзии некая условная система — исходное слово, слоги или фонемы которого мало-помалу проступают в течение речи. Он не ставил эту проблему в терминах классической риторики, например парономасии, то есть обыгрывания имени; такие термины никогда у него не встречаются. Дело выглядит так, как будто с древнейшего периода до новолатинской поэзии передавался некий творческий секрет: берется какое-то слово, имя, и Соссюру казалось, что у Лукреция прослеживается имя Афродиты, рассеянное на протяжении десяти стихов: A, FR, FRO, DITE. Этот прием модификации исходного слова он называл "гипограммой", "параграммой", "анаграммой" — в его рукописях, которые, насколько мне известно, не опубликованы полностью, есть колебание на этот счет.

Ученики Соссюра несколько устыдились всего этого, словно сыновья Ноя, прикрывшие наготу отца. И лишь от своего преподавателя латыни на филологическом факультете Робера Годеля я услышал о том, как Соссюр в конце своей жизни пытался получить подтверждение практики анаграмм от итальянского поэта Пасколи, который получал премии за сочинение латинских стихов. В Голландии устраивался такой конкурс, и Пасколи несколько лет подряд был его лауреатом. Он не ответил на письмо Соссюра (помнится, я опубликовал это письмо) и так и оставил его в неизвестности — ситуация прямо как в романе.

В эпоху структурализма это оказалось очень стимулирующей идеей; я первым опубликовал "Анаграммы" в журнале "Меркюр де Франс", а затем один парижский издатель переиздал их, и группа "Тель кель" вывела из них целую теорию того, как язык работает наподобие бессознательного: то есть произошла встреча между гипотезами Фрейда и теорией анаграмм Соссюра. Все это не ушло из моих размышлений, но сейчас это для меня не так настоятельно актуально. Во всяком случае интересно, каким образом, по крайней мере в некоторых произведениях — скажем, при восхвалении какого-то события или государя, — обыгрывались не только буквы имени, но и звуковые элементы этого слова.

С. З. Является ли Женева как университетский город соперницей Парижа?

Ж. С. Нет, не думаю. Дело в том, что во Франции преподавание литературы больше не подчинено, как раньше, какой-то официальной доктрине. Не стало непроницаемых перегородок между историей литературы, философией, общей эстетикой, компаративистикой. А потому не стало и четкой разни-

цы между тем, что делается в Женеве и в различных парижских и французских университетах. В силу исторических, географических, личных причин в 20–30-е годы прошлого века в романской Швейцарии были лучше, чем во Франции, осведомлены о Фрейде, Гуссерле, Ясперсе и первых этапах экзистенциализма. Теперь этого разрыва не стало.

Раньше у нас была менее централизованная система, позволявшая нам соответствовать местным потребностям, быстро давая на них ответы. Мы с вами сегодня прогуливались от женевской ратуши до университета – так вот, было время, когда университетские профессора надевали темный костюм и шли на прием прямо к заведующему департаментом народного просвещения; а разве французские профессора ходили на прием к министру образования? Стоило пересечь парк, подняться на горку, и попадаешь прямо в кабинет руководителя системы образования. Когда речь шла о чьем-нибудь назначении или другом вопросе такого рода, многие дела решались именно так – благодаря влиянию, которое мог оказать внушивший к себе доверие профессор. Не знаю деталей моей собственной истории, но когда в 1958 году (мне было уже тридцать семь лет) меня назначили преподавать историю идей три часа в неделю, на полставки, то Марсель Раймон надевал парадный костюм и ходил разговаривать обо мне к заведующему департаментом народного просвещения.

Это одна из черт, которая, возможно, несколько отличала нас от Парижа. А ведь во Франции был еще и момент национальной политики, утверждения национального прошлого, которое надлежало выражать через литературу, – республиканского и классического прошлого; тогда как Швейцария и Женева оставались довольно независимы по отношению к этому прошлому и, подобно госпоже де Сталь, могли обращать взоры к Германии, до тех пор пока Германия не пала под ударами нацизма. Вспоминаю, как эмигрант из Германии Исаак Бен-Руби, преподававший в Германии французскую философию, читал у нас лекции, рассказывая женевцам о Гуссерле. Это было в 1939 году! Во французских университетах этому тогда не учили.

Так что кое в чем мы опережали Францию, ей приходилось догонять. А теперь во Франции все стало очень разнообразным: есть система университетов, а есть Коллеж де Франс, Нормальная школа, Школа высших социальных наук. Франция предлагает широкий набор разных подходов, тогда как прежде там в истории литературы царил дух ортодоксии. Отличительные черты Женевы мало-помалу исчезли, подобно тому, как наши международные встречи, которые после войны были уникальным явлением, теперь конкурируют с полусотней других организаций. Видимо, пора придумывать какую-то новую оригинальность Женевы – или уж просто вступать в Совет Европы...

С. З. Большое спасибо за ваши ответы.

Хуго Лёчер

Запись беседы и вступление Елизаветы Соколовой

В декабре прошлого года в Москву на презентацию своего романа "Ной", вышедшего в русском переводе в издательстве "Текст", приехал известный швейцарский писатель и публицист Хуго Лёчер — один из самых ярких представителей поколения "после Фриша и Дюрренматта". Колоссальный опыт путешественника, живой интерес ко всем проявлениям жизни, искусство эстетического обобщения жизненного опыта придают творчеству этого писателя, слывущего одним из самых тонких стилистов в современной немецкоязычной литературе, общеевропейский масштаб.

Будучи по натуре оптимистом, Лёчер совершенно не подвержен апокалипсическим настроениям, весьма распространенным в художественной среде современной Швейцарии: в положении "малого государства" он не видит трагедии. Зато подлинная трагедия, с которой писатель сталкивался, например в странах Латинской Америки (повесть "Мир чудес. Встреча в Бразилии", 1979), где голод и нищета сосуществуют с великой культурой, или в Португалии под властью диктатора, никогда не оставляла его равнодушным. Такая "ангажированность сердца", как и неиссякаемое любопытство к новому, неизведанному заставляют его стремиться увидеть все своими глазами, испытать на собственной шкуре, чтобы потом, подсмеиваясь в равной степени над собой и над обстоятельствами, передать свои впечатления на бумаге.

Ирония — вот, наверное, секрет литературного обаяния писателя. У Лёчера она как бы "двойная": насмешке, создающей критическую дистанцию к изображаемому, сопутствует определенный скептицизм автора по отношению к себе самому, к своим возможностям в постижении окружающего мира, "небоязнь" выставить себя в неприглядном свете.

В первом романе писателя "Сточные воды" (1963) современный город показан как бы "снизу вверх", глазами инспектора подземных очистных сооружений. Герой убежден: "Чем чище хочет быть общество, тем больше должен быть диаметр канализационных труб".

Его "роман об экономическом чуде" ("Ной", 1967) сатирически переосмысливает библейский сюжет о всемирном потопе и строительстве ковчега. В роли праведника, избранного Небесами для спасения человечества, оказывается бизнесмен-волюнтарист. Убежденный в неизбежности скорой экологической катастрофы, он затевает широкомасштабное строительство ковчега, которое порождает кратковременный экономический бум. Результат, однако, плачевен: Ной разорен и приговорен к исправительным работам.

Остроумно обыгрывая бытовое значение древнегреческого слова "апокалипсис" — снятие покрова, обнажение, разоблачение (роман "Сезон", 1995) или относительность всего сущего в современном мире, нарастающую в геометрической прогрессии (роман "Глаза мандарина", 1999), Лёчер помогает своим героям избежать "гибели всерьез", сохранить жизнелюбие и оптимизм. Даже в пронизанных трагическими мотивами повестях "Мир чудес. Встреча в Бразилии" и "Осень в городе Большого Апельсина" (1981) ирония в изображении бразильских и, соответственно, калифорнийских реалий, а на их фоне — себя помогает рассказчику, преодолев личный кризис, удержаться "по эту сторону бытия".

Журналист в силу "нравственной необходимости" и писатель в силу "эстетической потребности", Хуго Лёчер создает прозу, соединяющую сострадание и интеллектуализм, глубокую искренность и безукоризненный стиль. А увлечение фотографией помогает ему безошибочно выбрать единственно верный ракурс для каждого нового произведения. Результат — заслуженная любовь читателей, множество престижных литературных премий.

Теперь и читатели журнала "Иностранная литература" имеют возможность познакомиться с творчеством писателя (их вниманию предлагается фрагмент повести "Осень в городе Большого Апельсина"). В декабре 2001 года Хуго Лёчер посетил редакцию журнала и ответил на наши вопросы.

"Иностранная Литература". Вы в первый раз в Москве?

Хуго Лёчер. Нет, я уже приезжал в Москву в начале восьмидесятых. Тогда же впервые услышал о вашем журнале как о первоклассном посреднике в деле распространения иностранной литературы в СССР. Помню, меня потряс ваш тираж. И я с огромным удовольствием пришел сегодня к вам в редакцию.

"ИЛ". Какое впечатление произвел на вас город?

Х. Л. В мой прошлый приезд Москва была совсем другой, но и тогда уже мне понравилась. Помню, на улицах было очень темно. А теперь, наоборот, повсюду море света. И пусть даже это ощущение возникает благодаря рекламе кока-колы — не важно. Главное — облик города здорово изменился. Но еще в тот раз я осознал значение слова "оттепель": сосульки, которые падали с крыш, мощное весеннее течение Москвы-реки...

"ИЛ". "Оттепель" имеет ведь еще и политическое значение...

Х. Л. Конечно, оно-то и проникло тогда в мое сознание: долго-долго все было сковано морозом, а потом вдруг начинается таянье... В Швейцарии ничего подобного не бывает — я имею в виду природу. Только в Москве, наверное, и можно по-настоящему прочувствовать политическое значение этого образа. Я посетил кладбище, где находится могила Хрущева. Тогда еще подобные посещения не поощрялись... Это было очень красиво: березы, солнце и снег...

"ИЛ". Наверное, вы вообще как-то по-особому ощущаете смену времен года? Не случайно ваш предпоследний роман называется "Сезон"...

Х. Л. Ну, в этом романе лето как таковое играет скорее вспомогательную роль... Но мне действительно нравятся разные времена года. А в наше время, благодаря самолетам, у человека появилась удивительная, как мне кажется, возможность за несколько часов из одного времени года попадать совсем в другое: теперь необязательно после осени следует зима — мы можем улететь из нее в лето или в весну...

"ИЛ". У нас в редакции лежит ваша книга "Осень в городе Большого Апельсина". Она действительно об осени...

Х. Л. В этой книге слово "осень" употребляется сразу в трех смыслах: осень как время года; осень как старость героя и осень как закат атлантической культуры.

"ИЛ". Вы не могли бы поподробнее остановиться на последнем значении?

Х. Л. Для меня Лос-Анджелес, город Большого Апельсина, олицетворяет новую, чисто американскую концепцию города. В противоположность Нью-Йорку (Большому Яблоку), который представляется мне в значительной степени продолжением Европы на другом берегу Атлантики. Я жил в Лос-Андже-

лесе довольно долго. Дом мой окружали с двух сторон газоны — естественный и искусственный. Самое поразительное, что между ними не было заметно никакой разницы! Это и кажется мне главной особенностью Америки и Лос-Анджелеса.

Когда в сентябре этого года в Нью-Йорке произошли трагические события, я долго не мог понять, реальность это или чья-то фантазия. Вот вам ярчайший пример того, насколько уже размыта граница между вымыслом и реальностью. Собственно, в этом и состоит главная идея моей книги. Там есть ключевая фраза: "Если важно все, значит, ничего более не важно". Если здесь, в Америке, вымысел не отличишь от реальности, значит, это закат атлантического мира. Отсюда понятие осени как конца.

В этом смысле показательна именно Калифорния, где понятия "запад" и "восток" сливаются и даже меняются местами. В Америке есть такой ключевой лозунг "go West"[1], под этим понимается: "иди в Калифорнию". Но если пойти еще дальше на запад, окажешься на Востоке. И о людях, которые приехали с запада Калифорнии, в центральных штатах говорят, что они "с Востока".

Нечто подобное происходит в моей последней книге "Глаза мандарина". В ней упоминается известный китайский роман "Путешествие обезьяны на Запад". А ведь обезьяна при этом едет в Индию, то есть туда, куда мы, с Запада, отправляемся "на Восток" за священными текстами.

"ИЛ". Ваша новая книга называется именно "Глаза мандарина" или все-таки "Глазами Мандарина"?

Х. Л. Да-да, именно "Глаза...". Когда я готовился к путешествию в Китай, мне попалась одна книга, где была описана первая встреча китайцев с европейцами. Если верить ей, мандарин заглянул в глаза европейцу и удивленно спросил: "Разве голубыми глазами можно что-нибудь увидеть?" В моей книге речь идет о европейце, который глядит на мир голубыми глазами, о его встрече с Китаем.

Возвращаясь к Калифорнии... Вот еще пример, показывающий, что такое "смена перспективы", характерная для этого штата. В 1950 годах, будучи студентом, я жил в Греции на острове Эгина. Там был греческий храм, и однажды туда пришел молодой американец. Я спросил его: "Как вам нравится наша античность?" Он начал свой ответ так: "В отличие от американской античности..." Я был возмущен, что это еще за американская античность?! Ее ведь не существует! Оказалось, он сын дипломата, который долго жил в Мексике и, конечно, знал доколумбову культуру. Потом его отец переехал в Индию, и он имел возможность ознакомиться с античностью Азии, а теперь увезет с собой назад в Индию впечатления еще и от европейской античности. У него было три античности, а у меня только одна. И тогда я решил открывать для себя новые "античности".

"ИЛ". По-видимому, у вас есть какое-то свое, особое восприятие Америки. Не могли бы вы рассказать, как вы относитесь к американской культуре, американскому образу жизни?

Х. Л. Если под американским образом жизни понимается кока-кола, гамбургеры и прочее, то лично меня в Америке интересует совсем другое. Хотя я точно знаю, именно эта сторона их "образа жизни" наиболее привлекательна для стран третьего мира! Даже мы, швейцарцы, иногда восхищаемся ею. Раз уж речь зашла об Америке, должен признаться, что с точки зрения культуры меня в большей степени привлекает Южная Америка.

Конечно, она сильно отстает от Северной в экономическом развитии — это ясно. Но не в том, что касается культуры! И США делают огромную внешнеполитическую ошибку, отдавая предпочтение экономической экспансии перед культурным обменом, они недооценивают Южную Америку, которая обогащает мир своим искусством, самобытной музыкой, прекрасной литературой. В то время как США навязывают ему гамбургеры, кока-колу и т. д.

1. Иди на запад (*англ.*).

Я позволю себе небольшое отступление. Получив премию за свой первый роман "Сточные воды" — это было в середине 1960-х годов, я отправился в Португалию, где на эти деньги можно было какое-то время довольно сносно жить. Я очень люблю эту страну, но в те времена, к сожалению, у них была диктатура. Для швейцарского телевидения я сделал фильм "Ах, господин Салазар"[1], однако за час до показа он был снят с эфира. Вскоре я попал в Бразилию, бывшую португальскую колонию. И первой книгой, оказавшейся у меня в руках в этой стране, стала "Проповедь святого Антония рыбам". В ней есть такая мысль: рыбы — идеальная публика, потому что молчат. Только вот едят друг друга. И что хуже всего — большие рыбы едят маленьких. Вот если бы все было наоборот, и маленькие могли бы свергнуть больших, то это была бы уже не проповедь для рыб, а призыв к свержению португальских колониалистов.

Хотя США и утверждают, что они — плавильный котел для разных культур, по-моему, это неправда. Вот Южная Америка действительно плавильный котел, с точки зрения смешения различных рас и культур. И ощущение различий между расами там гораздо слабее. Мои встречи и с португальской Америкой, и с испанской Америкой убедили меня в этом.

Что же касается США, то меня больше всего поражает противоречивость многих явлений их общественной жизни. Например, война во Вьетнаме, с одной стороны, и в то же самое время — активные протесты студентов. И еще — то, что потом скопировал весь мир: самовольный захват жилых помещений (seat-in), сексуальная революция и т. д. Ярко выраженный конформизм в сочетании с крайним индивидуализмом. И конечно, меня не устраивает диктат США в мировой политике, навязывание всему миру "американского образа жизни".

"ИЛ". Не могли бы вы рассказать нашим читателям, как создавалась ваша книга о Лос-Анджелесе?

Х. Л. Интересно сравнить, как шла работа над этой книгой и над предыдущей. Предыдущая называлась "Мир чудес", и ее действие происходило на северо-востоке Бразилии. Голод, нищета, и на этом фоне — отличная литература, талантливые певцы. В тех местах засуха — обычное дело. Я много путешествовал по стране, писал журналистские очерки о своих впечатлениях. Мне давно уже хотелось написать книгу, но я никак не мог понять, как подступиться к теме, с чего начать.

Однажды я приехал на место паломничества святого Франциска и увидел нескольких детей восьми—двенадцати лет, они несли небольшой ящичек, в котором лежала их умершая трехлетняя сестра. И отец этой девочки объяснил мне, что об умершем маленьком ребенке плакать нельзя: слезы родственников намочат крылья отлетевшей души, они отяжелеют, и душа не сможет подняться вверх. И вдруг я понял, как должна строиться моя книга. Девочке не суждено было познакомиться со страной, где она родилась, а мне довелось много путешествовать по ее стране. Основой книги, ее стержнем стал мой разговор с этой девочкой: я рассказывал ей, как могла бы сложиться ее жизнь, останься она в этом мире.

А потом из этого беднейшего уголка земного шара — прыжок в Калифорнию, в одно из самых богатых мест на свете. Разительный контраст, полная смена темы. Однако кое-что все же объединяет две эти книги: речь в них идет не о действии, не о герое — речь идет о ситуации.

"ИЛ". А где вы жили, работая над книгой о Калифорнии?

Х. Л. Я начал ее, живя в Лос-Анджелесе. Продолжил в Цюрихе. Потом вернулся, для того чтобы проверить впечатления, убедиться, что правильно передал атмосферу, и для того чтобы закончить работу. Полгода я прожил в Лос-Анджелесе в первый раз, потом уехал, вернулся и прожил еще полгода. Я

1. Антониу ди Оливейра Салазар (1889—1970) — португальский политический деятель, основатель фашистской партии Национальный союз (1930), председатель совета министров и фактически диктатор Португалии (1932—1968).

преподавал в университете и должен был ходить туда раз в неделю, иногда — два раза. У меня было много времени. Пришлось научиться водить машину. Раньше у меня было предубеждение: я делил людей на тех, кто сам водит машину, и тех, кто имеет шофера; но поскольку мне было уже пятьдесят лет, а водителя у меня все еще не было, я решил, что пора наконец научиться водить самому — тем более, в Калифорнии такие просторы, такие расстояния, что без машины невозможно добраться куда бы то ни было, в том числе и в университет. Стыдно признаться, но очень скоро я полюбил сидеть за рулем — теперь я мог ехать и ехать куда глаза глядят. Там ведь повсюду такие виды: горы, пески, океан... И я обрел вдруг немыслимую прежде свободу передвижений.

Американцам вообще свойственна невероятная мобильность: они начинают учебу в одном городе, продолжают в другом, работают поначалу в третьем, потом меняют работу, переезжают, и так по многу раз. У нас в Швейцарии часто говорят: "Здесь мои корни", а у американцев корней в этом смысле нет. Меня вообще восхищает мобильность в современном мире, его глобализация. Для меня всегда много значили Франция, Испания, Португалия, а год назад я открыл для себя Восточную Европу. Европа вдруг стала больше. Недавно я был в Чехии, Словакии, Прибалтике, Петербурге — и повсюду открывал для себя новую реальность; менялись мои представления и о своей стране.

"ИЛ". У Генриха Бёлля есть такое красивое сравнение: "Вся Европа не больше одной летней ночи".

Х. Л. Сейчас я составляю книгу очерков под названием "Уроки Европы. Для отстающих". Она как раз об этом.

"ИЛ". Очень интересно, расскажите нам, пожалуйста, о ней.

Х. Л. Это сборник эссе. Одно из них о том, что в Париже возле церкви Сакре-Кёр есть памятник молодому французу, ставшему последней жертвой религиозных фанатиков перед революцией. И, на мой взгляд, это совершенно правильно: рядом с такими грандиозными соборами, как Сакре-Кёр, должно присутствовать напоминание и о жертвах религиозных преследований. В Амстердаме я вспоминаю Спинозу, изгнанного из Португалии. Однажды он просто шел мимо синагоги и вдруг обнаружил, что его исключили из списка прихожан. Или, например, дворец Монтескьё в Бордо. Там на втором этаже большая библиотека: вот я поднимаюсь на второй этаж и вдруг чувствую — что-то не так. В самом деле, оказывается, дядя этого Монтескьё держал в этом самом помещении богатую коллекцию оружия. И мне пришло в голову: а что, если все бомбоубежища в Европе переделать в библиотеки?

"ИЛ". Скажите, пожалуйста, Москва для вас ассоциируется с каким-нибудь определением, как, например, Лос-Анджелес (Большой Апельсин) или Нью-Йорк (Большое Яблоко)?

Х. Л. Пока я размышляю только над одним небольшим очерком о Москве. Точнее — о двух памятниках Гоголю. Если мне суждено будет удостоиться когда-нибудь памятника, пусть их тоже будет два. Первый такой: я в окружении деревьев и очень грустный; второй — хотя я полон смирения, но все у меня под контролем. Еще здесь будет нужна табличка с надписью: "Этот памятник разрушать нельзя".

"ИЛ". Может быть, вам будет интересно узнать, что на Украине Гоголя считают украинским автором и читают его в переводе с русского на украинский. Трудно сказать, что сохранилось от богатейшей прозы русского классика в переводе.

Х. Л. Переводы — это вообще странная вещь. Будучи студентом, я читал Достоевского и был в восхищении; потом кто-то сказал мне, что это очень плохой перевод. Но мне-то он понравился, и я уже считал Достоевского величайшим писателем!

"ИЛ". Скажите, а за границей вас часто расспрашивают о Швейцарии?

Х. Л. Самый интересный вопрос о Швейцарии мне довелось услышать в Южной Америке. На встрече, проходившей в рамках учительского семинара, девушка спросила: "А кто открыл Швейцарию?" Потом я даже написал книгу

под названием "Открытие Швейцарии" и рассказал там о диких племенах, которые продвигались вверх по Рейну в поисках Эльдорадо.

"ИЛ". А мы вот постепенно открываем русскому читателю швейцарскую литературу... Из немецкоязычных авторов Швейцарии нашим читателям хорошо знакомы имена Адольфа Мушга, Роберта Вальзера, Петера Бикселя, ну и, разумеется, Макса Фриша и Фридриха Дюрренматта. Их произведения не раз появлялись на страницах журнала. А каких писателей современной Швейцарии наиболее яркими считаете вы?

Х. Л. Если речь идет о немецкоязычной литературе, то, помимо уже упомянутых, я назвал бы Йорга Федершпиля, автора моего поколения. Он не причисляет себя ни к каким литературным течениям и группам, стоит несколько особняком, но по-своему очень интересен. Есть несколько любопытных "молодых" авторов: Петер Штамм, Петер Вебер – им сейчас около пятидесяти. Еще я бы выделил одну пожилую даму, которая пишет потрясающую женскую прозу, – это Лора Рис. Она уже не молодой автор, но имя в литературе достаточно новое.

Что же касается лирики, сейчас в Швейцарии, на мой взгляд, немецкоязычная лирика не очень сильна. Зато есть много значительных италоязычных поэтов – Джорджо Орелли, Фабио Пустерла, несколько франкоязычных.

Среди франкоязычных авторов мне интересен, например, Морис Шаппа. Он пишет короткую прозу – портреты жителей кантона Вале. Или Старобинский – его имя странновато для Швейцарии, но он швейцарец. Очень интересна Агота Кристоф, хотя слава ее, на мой взгляд, несколько преувеличена. Она очень популярна во Франции.

"ИЛ". Она и у нас популярна, в России. Может быть, это отчасти объясняется тем, что она из Восточной Европы. Она ведь по происхождению венгерка.

Х. Л. Да, это так. Журналисты потом часто спрашивали ее, неужели это действительно возможно: выехать из Венгрии и начать писать по-французски. Но ведь она жила в Швейцарии с восьми или девяти лет, и у нее адаптация к языку прошла легко, хотя так бывает отнюдь не всегда.

Вообще лично для меня самым интересным в швейцарской литературе является многоголосие. И я всегда стремился передать его в своих произведениях. Я сознательно делал свои книги очень разными. Меня упрекали в отсутствии собственного стиля. На самом деле я специально изобретал для каждой новой книги свой язык, свой стиль.

"ИЛ". Позвольте пожелать вам новых успехов, новых книг и новых стилей.

Х. Л. Спасибо. Но я уже в том возрасте, что просто хотел бы дожить еще до одной своей новой книги.

Хуго Лёчер

Осень в городе Большого Апельсина

Отрывок из повести

Перевод с немецкого Софьи Фридлянд

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, Большой Апельсин, пустота в середине, а вокруг дольки. Среди апельсиновых долек он и провел свою осень. До чего ж она была зеленая, эта осень!

В своем распоряжении она имела целых два вида зелени. Одна зелень была та, которую высевают, а другая — которую в магазине продают на метры. Один газон, тот, что рос сам по себе, имел такое обилие хлорофилла, словно именно его и синтезировали в лаборатории. А вот другой, который наклеивали, был до того неравномерной структуры, будто именно его произвела на свет не машина, а игра природы. Когда тот и другой оказывались рядом, под открытым небом, совершенно невозможно было определить, для какого из них требуется сенокосилка, а для какого — пятновыводитель.

В качестве контрастного задника на горизонте рисовались холмы, голые и лысые. Они начинали подниматься сразу от побережья, и цепи их разбегались во все стороны.

Когда Х. еще только летел сюда и самолет приближался к Большому Апельсину, под ним зависло грязное одеяло из дыма и облаков, развороченное, как после беспокойного сна. Между разрывами облаков проглядывали там и сям костры бродяг, гигантская моль, что проедала холмы насквозь, оставляя за собой дыры, с которыми бы потом не справилась никакая художественная штопка.

Позднее, во время своих бесцельных поездок, он повидал вблизи великое множество таких продырявленных холмов. Сразу за садами и газонами почва становилась желтой и комковатой, лишь насыпные дороги вели наверх к скудно поросшим зеленью маковкам. Там, возле голого камня, среди каменистой осыпи чапараль[1] со своими колючими ветками изображал из себя нечто сугубо вечнозеленое, словно все это не было готово в любую минуту вспыхнуть как порох.

Словом, неподходящее место, чтобы баловаться со спичками. Впрочем, он этого и не собирался делать.

Возможностей привыкнуть к вою сирен и без того имелось более чем достаточно. Однажды поднялся такой вой, что даже стекла задребезжали, и он в смятении поглядел сквозь жалюзи. Мигалка вспыхивала как раз перед его домом, но это не была мигалка "скорой помощи".

Х. не пришлось обзаводиться пенным огнетушителем ради своих газонов. Для первого вполне хватило бы воды из шланга, для второго в распоряжении имелся пылесос. Оба газона все так же ласкали своим прикосновением подошву, как и в день приезда.

© 1982 Diogenes Verlag AG Zürich
© С. Фридлянд. Перевод, 2002

1. Заросли вечнозеленых жестколистных кустарников. (*Прим. перев.*)

Управляющий домом, передавая ему ключи, припомнил засуху, случившуюся два года назад, дождя тогда не было недели и месяцы подряд: на каждые два посещения туалета спускать воду полагалось только один раз.

Управляющий предпринимал неоднократные попытки выговорить имя нового квартиросъемщика и наконец добился окончательной его американизации. Х. кивнул и выписал на картоне свои инициалы. Однако вывешивать на дверях квартиры табличку он не стал, так что лампочка подле звонка озаряла своим светом пустое место.

Поначалу, когда у Х. еще не было машины, он частенько совершал прогулки по окрестностям. Он проходил мимо палисадников, не огражденных забором, минуя дом за домом, улицу за улицей. В палисадниках и на подъездных дорогах он не встречал в эти утренние часы ни одного человека, так что даже недоумевал: к чему тогда этим домам вход? Не доносился ни голос транзистора, ни стук захлопываемой дверцы, единственный звук — пшик-пшик, издаваемый механическими цикадами, которыми поливали газон. Значит, какие-то люди здесь все-таки должны обитать, по крайней мере те, что установили дождевальные машины, но может, эта установка и была их последним действием, после чего все они выехали в неизвестном направлении.

Кладбище, на котором он побывал, тоже оказалось зеленым. Чтобы попасть туда, он много раз пересаживался с автобуса на автобус. Непосредственно за порталом и стенами начинался сплошной газон, ведущий вдоль мест для парковки и ритуальных залов. Как дань кладбищенской эстетике — то ниша, то скамья, то Пиета. Пестро вздымались свежие могилы с букетами, лентами и венками. В остальном же — сплошная зелень, под сенью старых деревьев, мягкая и волнистая, и конца ей не видать. В безмолвной глубине лежали бронзовые пластинки. Пока Х. читал даты, имена и речения, он обнаружил пластинку, снабженную только номером. Х. бесшумно передвигался среди густой травы. Когда же он вернулся с газона на дорожку, его шаги снова начали отдаваться эхом.

Как ни зелена была эта осень, имеющихся в наличии рек никогда не хватило бы, чтобы сделать ее зеленой до такой степени. Включая и ту реку, что носила одинаковое имя с городом — Большой Апельсин. Х. уже несколько раз принимал решение остановиться, когда окажется поблизости. И наконец выполнил задуманное. Он перегнулся через ограду, от реки потянуло пылью.

Правда, во время своих поездок Х. не раз видел на обочине таблички, которые указывали на наличие воды. Но о реках писали не затем, чтобы все знали, как они называются, а затем, чтобы учли, что здесь вообще имеются реки.

Во время загородной прогулки кто-то однажды рассказывал, что высоко в горах есть озера, заполненные настоящей водой, что там водятся рыбы, которых никто не разводил, нетронутая природа — как цель для продленного уик-энда на свежем воздухе.

Но объектом одного из увлечений явилось для Х. маленькое искусственное озеро. Оно лежало, укрывшись у подножия холма, где стальные опоры высотой с башню поддерживали отдельные буквы, возвещавшие близость Голливуда. Х. только потому и угодил в это место, что прозевал нужный поворот. Он был убежден, будто обнаружил тот самый резервуар, откуда черпали воду для сражений с помощью садового шланга в немых фильмах. Ему показалась соблазнительной идея перелезть через за-

бор из проволочной сетки, взгляд его привлекло некое строение — не иначе это был гардероб, где переодеваются золотые рыбки.

Зелена была эта осень, но не из-за рек, которые текли по своему руслу, а благодаря каналам.

Х. мог часами ехать по берегу такой водной магистрали. С одной стороны — словно проведенный по линейке жизненный путь каналов, для которых единственное событие — изменение уровня воды. По другую сторону поля, часто светло-зеленые, если посевы еще молодые, но позднее — это пятнистая зелень, потемневшая с возрастом.

Х., собственно, намеревался совершить поездку к той реке, которую принудили изливаться в море отнюдь не там, где она сама предпочла бы это сделать.

Но Х. отказался от своего намерения. За эту осень он вообще много чего упустил.

Не раз и не два собирался он посмотреть на акведук, хотя бы из-за того, что звучало это слово как-то по-южному. Вдобавок его, эксперта по профессии, привлекла история о том, как люди с помощью лопат, револьверов и параграфов перекрывают воду один другому.

На акведук он наткнулся по чистой случайности; он состоял не из арочных пролетов, натянутых поверх местности, это был канал, но такой, который проложен через пустыню.

Как контраст к его, домашней, зелени взгляду Х. явились не только холмы, покрытые скудной растительностью, но и самые настоящие пустыни.

Следовательно, воду для Большого Апельсина приходилось добывать оттуда, где наверняка идет дождь или снег. За сотни миль к северу, прорыв оттуда Панамериканский канал. Поздней ночью кто-то пожелал заключить с Х. пари, что с Луны можно разглядеть лишь два творения рук человеческих. Х. не подумал ни про Великую Китайскую стену, ни про вышеупомянутый канал, пообещал, однако, заняться на досуге этим вопросом.

Это была осень шлюзов, запруд и насосных станций. А именно: проводилась проверка и подсчет, сколько плотин не вполне надежны или вообще не держат воду. Вот одно из озер, возле которых Х. останавливался этой осенью, возникло как раз потому, что где-то когда-то прорвало плотину.

Но доведись даже всем насосам выйти из строя и всем водяным счетчикам тоже, у Х. в распоряжении все равно сохранился бы участок земли, который можно раскроить именно так, чтобы он годился для закругленных рабаток, чтобы им можно было выстелить ступени, а в случае надобности регулярно дезинфицировать.

На этом газоне превосходно себя чувствовали цветы в горшках. В одном горшке росла агава, стебель ее поднимался до балкона, тощий и кривой, а цветочная кисть засохла. Х. редко проходил мимо, не бросив взгляд на растение, которое много лет готовилось к тому, чтобы зацвести один-единственный раз. Нижние стебли обломились, в некоторых совсем отмерла мякоть и сплошные волокна сплелись в некое подобие ткани, словно из них, не сходя с места, уже изготовили кокосовый прикроватный коврик.

А вот на краю другого газона прямо из земли торчал плющ. Цепко, как мелкий чиновник, он карабкался по декоративной оградке. Рядом с плющом стояла ель, мечтавшая о снежном Рождестве. А по ту сторону японских садовых плит рос каштан, отбрасывая тени как воспоминания из той поры, когда люди еще не знали зонтиков.

Этот второй газон переходил на соседские сады позади дома, на внутренние дворики, а из палисадника его дома — на палисадники других домов. Затем он возрождался полоской между тротуаром и поребриком, подчеркивая симметричное явление по ту сторону улицы. Зеленые бордюры тянулись по обе стороны улиц, прерываемые подъездными дорогами, продолжались после светофора, перекресток за перекрестком, в сторону океана, в сторону пустыни.

Вот разве что одна из разновидностей зелени кое-где на ступеньках поистерлась, а в одном углу и вовсе отстала, потому что клей ее больше не держал. Впрочем, и другая разновидность тоже была не совсем в порядке.

Как-то после обеда к дому подъехал грузовичок поставщика. На кузове у него была выписана реклама фирмы, специализирующейся на спортивных сооружениях и тому подобном. С грузовичка выгружали кирпичи свежего дерна, дабы заменить уже высохшие, два мексиканца выкапывали их, а потом заново рыхлили землю. Когда Х. прошелся по ней после окончания работ, она слегка пружинила под ногами.

Если газон оставляли в небрежении, он засыхал, начинал лысеть и уподоблялся той засохшей почве, которую, собственно, и должен был скрыть; такие желтоватые пятна нередко попадались Х. среди яркой зелени Большого Апельсина. И если пустить этот процесс на самотек, Х. увидел бы осенью именно то, что наличествовало с самого начала, — пустыню рангом повыше.

У подножия одного из холмов землю старательно привели в такое состояние, что теперь она выглядела точь-в-точь как до того времени, когда сюда нахлынули колонизаторы, солдаты и скотоводы. Здесь Х. впервые увидел дикорастущий дуб. На других участках Большого Апельсина этому аборигену становилось все трудней выживать среди орошаемой территории, потому что с самого начала он приспособился к исконным засушливым почвам.

Но дело не ограничилось дикими дубами, плоды которых когда-то собирали индейцы, чтобы варить из них некое подобие каши. И на оливах, выращиваемых испанскими миссионерами, тоже не остановились, и на редких виноградниках, плоды которых францисканцы употребляли для изготовления церковного вина.

В конце концов Большой Апельсин получил свое имя от того плода, который отнюдь не с самого начала произрастал на этих засушливых землях.

Апельсин был составной частью ежедневного утреннего приветствия. Он лежал тонкой долькой возле жареного картофеля. Иногда долька оказывалась потолще, тогда ее в одном месте надрезали, чтобы можно было поставить на ребро, и она делала шпагат рядом с яичницей. А не то половинку апельсина нарезали по краю зубцами, чтобы ее можно было водрузить, словно корону, на блюдо сарделек от компании "Джон Фармер" или на блюдо жареного ростбифа.

Проезжая по цитрусовым угодьям, Х. не обращал внимания на таблички с запретом. Между рядами деревьев стояли печи и ветряки, чтобы подгонять к ветвям разогретый воздух. В темной листве под безупречной кожурой вызревал концентрат, который затем обогащали витаминами.

А возле реки Х. специально посетил мемориал в честь Апельсина с пуповиной. Ему даже было неловко, что он явился с пустыми руками. Следовало бы возложить венок к памятнику Неизвестному Апельсину как знак уважения от того, кто прибыл из Швейцарии, тому, кто вышел из Бразилии.

Апельсиновый Пуп, который плодоносил зимой, и другой апельсин, из Валенсии, который делал то же самое летом, — они оба были пришлые, как и сам Х. или как лимон с Сицилии.

Это была осень для пришлого люда.

Не сказать, что роза так уж стремилась к ананасу, а перечное дерево — к ореху, но места вполне хватало, чтобы всем им расти друг подле друга. Точно так же, как и бугенвиллея превосходно себя чувствовала рядом с любым растением, а не только с сосной. Один из соседей высадил в тени бананового куста пучок эдельвейсов: он точнее других угадал отпускные цены в викторине, которую разыгрывала мебельная фирма, и выиграл поездку в Австрию с оплатой всех расходов.

Словом, зелень этой осени была полна воспоминаний. Пусть даже ореховое дерево возле супермаркета ни о чем не могло поведать, да и липа росла не там, где ей полагалось, — не у колодца перед городскими воротами, а перед автомойкой, а акациям вдоль скоростной магистрали и вообще не давали слова.

Воспоминание приходило даже вместе с папоротником. Его листья спускались вниз, до самых кнопок автомата с напитками, а изяществом своих листьев он был обязан удачной штамповке.

Зелень папоротника была почти такой же равномерно темной, как зелень пальм в баре соседнего отеля, разве что с последних регулярно стирали пыль. Кадки для пальм стояли на ножках, а опахала из пластика слегка подрагивали на ветерке от кондиционера.

Из всех видов пальм здесь с самого начала были лишь те, которые тянулись к небу тонкими стволами. И даже в минуты полного затишья можно было угадать, откуда здесь обычно дует ветер: ближе к вершине деревья изгибались в том направлении, которое он им навязал. Там, где их высадили рядами, они, как истинные товарищи по судьбе, все гнулись одинаково, но каждая из них все-таки сопротивлялась по-своему.

Щедрая на пальмы выдалась эта осень — благодаря пальмам, чьей родиной была Ява либо Средиземноморское побережье, Африка либо Канарские острова.

Стволы у них были мохнатые или гладкие, а иногда толстые и кургузые. У одних из-под венка свежих листьев лезли наподобие окладистой бороды старые, высохшие и бессильные, у других деревенели шрамы от опавших либо сбитых листьев. Многие пальмы подгоняли своим опахалом воздух к вершине, другие вонзали стилет своих листьев в воздух, словно его можно было исцарапать.

Между бетонными стенами Страхового общества и Нефтяной компании стояла одинокая пальма; когда бы Х. ни проходил мимо, по стенам бродили ее изломанные тени. А на пути к аптечному магазину из земли выпрыгивали группки по две-три штуки зараз. Едва ли по соседству сыскалась бы хоть одна улица, не окаймленная пальмами. Когда Х. начал планомерно объезжать улицы Большого Апельсина, он в любой из апельсиновых долек непременно проезжал каштановыми аллеями, которые сужались вдали. Пальмы снова и снова перекрывали горизонт, и не только возле океана.

Внезапно ветер бросил в нос поток от эвкалиптов — непривычный запах, но не столь резкий, как запах калия на свежеудобренных полях. Эвкалипт пробуждал в Х. воспоминания о мальчишеской постели, в которой предстояло исцелиться от простуды. Над головой — одеяло, в чай-

нике кипит вода, а вата, засунутая в ингалятор, пропитана эфирным маслом эвкалипта.

Здесь же не только воздух был отягощен запахом эвкалипта, здесь этот запах поднимался также и от земли. Порой Х. с умыслом давил подметкой серые капсулы либо растирал их между пальцами и глубоко вдыхал запах.

Под одним из таких деревьев его однажды сотряс первый приступ, так что пришлось даже ухватиться за столбик для парковки. Прохожий с собакой на поводке остановился и порекомендовал ему бузинный сироп.

Сколь естественно запах эвкалипта ни входил составной частью в его осень, сами деревья пришли сюда из Австралии, как кедр — из Ливана, как тополь — из Ломбардии или гинкго — из Китая, не дерево, а древнее ископаемое, которое в Срединном государстве ухитрилось пережить все династии, потому что держали его в монастырях, и то, что росло теперь в Большом Апельсине, приобрело устойчивость как против насекомых, так и против выхлопных газов.

Все эти корненосцы не испытывали стыда из-за того, что побросали за собой континенты и страны. Они не изображали из себя вечную природу, не делали вид, будто корни их всегда проживали именно здесь.

Многие деревья гордились тем, что прошли курс питомника, не то что малограмотные дички, даже карликовые кипарисы вели себя точно пудели, как будто садовник прибегал для их воспитания к щипцам для завивки.

Семена в Большом Апельсине распространял не только ветер, но и почта. Деревья, кусты, цветы размножались не из-за какой-то там случайной пчелы или какого-нибудь промежуточного посредника. Некогда семена прибывали в фургонах, позднее они прилетали на самолетах. Большинство из них прошло через иммиграционный пропускник, пусть даже рядом произрастали бесчисленные нелегальные посадки. Обычно у растений было не только латинское название, но и американская виза на проживание и на работу. Даже сорняки — и те были не местные.

Вот и этой зеленой осенью встречались деревья, которые потеряли свои листья. Ликвидамбара только затем и посадили, чтобы в течение нескольких недель наблюдать на его примере игру осенних красок. Поэтому Х. так и не мог забыть, что осень в других местах и выглядит по-другому, к примеру, там, где было его постоянное место жительства.

Вдобавок той же осенью цвели деревья родом из южного полушария. И даже произрастая ныне в Большом Апельсине, они придерживались той смены времен года, которая совершалась у них на родине. Так, например, они покрывались цветами, когда на родине у них была весна, а в Большом Апельсине осень, осень же они справляли, когда Большой Апельсин праздновал весну.

Деревья, ввезенные как импорт, и кусты, подвергшиеся переселению, пересаженные, пришлые и эмигранты, — все они помогли тому, что эта осень стала настолько зеленой, как до сих пор не была ни одна другая. Но эта зеленая осень почти не имела отношения к календарной осени.

Встреча с книгой как эротическое событие

Peter von Matt. *Die tintenblauen Eidgenossen. Über die literarische und politische Schweiz.* München – Wien, Carl Hanser Verlag, 2001

Петер фон Матт. *Чернильно-синяя Швейцария. О литературе и политике Швейцарии.* Мюнхен – Вена, Карл Ханзер ферлаг, 2001

> Конечно, в представлении многих людей эротика – это только любовь между мужчиной и женщиной. Однако самое позднее со времени Зигмунда Фрейда бытует надежное знание о том, что любовь между родителями и детьми тоже является эротическим событием, равно как и любовь к природе, и любовь к произведению искусства...
>
> Петер фон Матт (из книги *"Чернильно-синяя Швейцария"*)

Петер фон Матт (р. 1937) – швейцарский германист и литературный критик, ординарный профессор новейшей немецкой литературы в Цюрихском университете и внештатный преподаватель в университетах Базеля и Берна, член трех немецких академий (Дармштадтской, Гёттингенской и Дрезденской), человек, чьи заслуги в области науки были отмечены многими наградами, в том числе орденом "За заслуги" (1997) и премией им. Фридриха Меркера по эссеистике (2001), и кого немецкий критик Марсель Райх-Раницки назвал "самым значительным *писателем* немецкоговорящей Швейцарии". Он автор книг "Предательство любви. Неверные любовники в литературе" (1989), "Опустившиеся сыновья и непутевые дочери. Семейная катастрофа в литературе" (1995), "Подозрительное великолепие. О поэтах и поэзии" (1998), "Литературоведение и психоанализ". В книгу "Чернильно-синяя Швейцария" вошли его статьи и выступления разных лет, а также большое эссе, написанное специально для этого издания: "Культ эмблематических образов и борьба с ними. Путешествие во времени по литературной и политической Швейцарии". Последняя книга фон Матта вызвала огромный интерес, много откликов, и те слова, которые сказал о ней рецензент Вильфрид Шильткнехт, выражают, видимо, мнение большинства его коллег: "В настоящее время в Швейцарии не существует другого труда, столь плодотворно посвящающего читателя в те удовольствия, которые дарят швейцарские писатели".

Книга фон Матта со многих точек зрения удивительна. Это не история швейцарской литературы и не совокупность отдельных литературоведческих исследований, а что-то вроде личных заметок влюбленного в литературу, чувствующего, если можно так выразиться, неодолимое эротическое влечение к ее плоти – и при этом очень искушенного (в литературоведении, в политике и истории, в знании людей и бытовых реалий разных эпох) – читателя. К тому же читателя, умеющего облекать свои мысли и впечатления в совершенную художественную форму.

Отношение фон Матта к книгам нехарактерно для современной эпохи, обычно воспринимающей их с меньшей серьезностью. Для него книга не есть эстетический феномен (как для многих интеллектуалов), объект беспристрастного научного ис-

следования (как для профессиональных ученых) или элемент досуга (как для большинства читателей). Он прежде всего ищет в ней смысл, причем смысл, актуальный для сегодняшних людей. Смысл, постигаемый не только разумом, но и чувством. Анализируя в статье об эмблематических образах феномен воздействия литературных клише (таких как образ Вильгельма Телля) на общественное сознание швейцарцев в XVIII и XIX веках, он пишет: "Общностью высшего порядка, обладавшей огромной эмоциональной весомостью, служили тогда старые истории о героях. Они выполняли функцию парарелигиозной мифологии... Они образовывали вторичную религиозную систему, причем полную — с политическими святыми, мучениками, грешниками и миротворцами..." Поскольку швейцарцы продолжают жить в той политической системе, основы которой были заложены в период Французской революции, старые клише и поныне воздействуют на умы. Но дело даже не в этом. По мнению фон Матта, значимые литературные произведения меняют общественную атмосферу (в послевоенной Швейцарии такую роль сыграли прежде всего произведения Макса Фриша и Фридриха Дюрренматта), влияя таким образом на мироощущение даже тех людей, которые вообще не читают книжек. Человек способен воспринимать мир только через образы, в конечном счете созданные и создаваемые художниками, образы, которые со временем превращаются в мертвые клише, загораживающие реальность, или забываются (хотя это не обязательно означает, что их полезный — для сегодняшнего человека — потенциал исчерпан). Поэтому, по Матту, задача политики, которая хочет оставаться реалистичной, — "непрерывная критика эмблематических образов", задача "наблюдателей" литературного процесса, к которым он причисляет себя, — "работа против неоправданного забвения, работа, способствующая правильной памяти о прошлом".

Ценность хорошей литературы, утверждает Матт, не в том, что она предлагает какие-то рецепты деятельности, она просто показывает соотношение между видимостью и реальностью, маркирует наличие кризисов и болевых точек (сколь бы фантастичной, экспериментальной, элитарной и прочая, и прочая она ни была). Литература ценна тем, что занимает "позицию между фронтами". Тем, что ее интересует прежде всего индивид. (В статье "Критический патриотизм" фон Матт как бы вскользь бросает фразу, на мой взгляд очень важную для понимания мифотворчества и литературного творчества вообще: "Поэты с их древним способом переживать мир воспринимали всю землю как собственное тело и собственное тело как часть всей земли, поэтому их речь была глубоко интимной, но вместе с тем пугающе непреложной для всех".) И тем, что она представляет собой род познания, может быть более совершенный, нежели тот, что ассоциируется с современной рациональной цивилизацией, ориентированной на прогресс: "Поэзия есть форма речи, которая не только доводит до нашего сведения то, о чем она говорит, но и заставляет нас почувствовать это сердцем, и кожей, и всем нутром. Она потрясает раньше, чем мы ее понимаем, потому что такое потрясение — необходимая предпосылка понимания. Поэзия есть не что иное, как речевая форма проявления человеческой целостности" (эссе "Томас Хюрлиман выводит на сцену танцующие мертвые души"); "литература как коммуникативный институт немыслима без своего праздничного аспекта. Быть праздником, делать возможным публичный праздник — одна из старейших функций литературы" (эссе "Инсценирование полити-

ческого бессознательного в литературе"). Вместе с тем литература заключает в себе нечто опасное, ибо даже вздорная или вредная мысль, заключенная в красивую форму, становится очень притягательной. Эту идею автор иллюстрирует в эссе "Культура, и война, и часы с кукушкой", разбирая происхождение часто цитируемого журналистами афоризма о том, что Швейцария за двести лет демократии и покоя не изобрела ничего, кроме часов с кукушкой.

Нетрудно заметить, что фон Матт, мягко говоря, небеспристрастен к тем авторам, о которых пишет. Ему больно, что ошеломляющий успех действительно заслуживших свой триумф Фриша и Дюрренматта вытеснил из сознания швейцарцев писателей первой половины XX столетия, — и он упоминает в статье, посвященной другой писательнице, ныне почти забытую Регину Ульман[1], приводит большой отрывок из ее новеллы. Цитируя отрывок из рассказа трагически погибшей Адельхейд Дюванель (1936—1996), всю жизнь писавшей об одиночестве и безумии, он не может удержаться от удивительного замечания: "Если бы эта фраза принадлежала Роберту Вальзеру, как бы ее цитировали и комментировали поклонники вальзеровского таланта!" Сожалея о том, что Готхельфа (1797—1854) теперь не читают, поскольку его романы написаны на трудном диалекте, фон Матт даже проявляет что-то вроде ревности к немцам Гюнтеру Грассу и Арно Шмидту, произведения которых находят своих читателей, несмотря на то, что тоже обильно "сбрызнуты" диалектальными формами. Фон Матту нравятся очень разные по своей проблематике, стилистике, "масштабности" авторы; они все ему дороги, все в его представлении вплетают свои голоса в многоголосие нашего времени.

Вошедшие в сборник статьи разнохарактерны, они посвящены не разбору всего творчества или каких-то произведений того или иного автора, а скорее рассмотрению отдельных аспектов, которые произвели особенно сильное впечатление именно на фон Матта. У Фриша его интересует "метафизическое измерение", понимание истины как "молнии, и удара, и взрыва", сочетание "работающего разума с инстинктом хорошего повара". Эссе "Одиночество Дюрренматта" вскрывает визионерский характер творчества этого художника, который пытался описывать в словах преследовавшие его зрительные образы, причины и парадоксы его длительной полемики с Фришем. У Роберта Вальзера Матта завораживает прежде всего "пожизненная игра", которая одновременно была "культовым служением. Очень праздничным и очень ироничным". В большом психоаналитическом эссе "Слабость отца и удовлетворенность сына" он пытается приблизиться к пониманию парадоксальной натуры Вальзера, исходя из его взаимоотношений с родителями.

Фон Матт дает почувствовать уникальность каждого из тех миров, которые конструируют любимые им писатели. "Ветер, смерть и мотыльки" — так (в названии одного из эссе) обозначил он, например, параметры мира, существующего в романах современного швейцарского автора Герхарда Майера[1]. "Ветер в этих

1. Творчество Регины Ульман (1884-1961), писавшей о простых верующих людях, ценили и поддерживали Р. М. Рильке, Г. Гессе, Т. Манн. Фон Матт цитирует ее новеллу "Барочная церковь" (1925).

1. Герхард Майер (р. 1917) начал писать очень поздно, первый сборник его стихов, "Трава зеленеет", вышел в 1964 г. и сразу же был удостоен литературной премии кантона Берн. Майер получил широкую известность как автор трилогии "Остров мертвых" (1979), "Бородино" (1982), "Баллада о снегопаде" (1985), а также романов "Страна ветров" (1990) и "Темный праздник жизни" (1995).

книгах, в пространстве этих книг, с одинаковой нежностью прикасается к крошечному и к громадному. Он устраняет различия между великим и малым, значительным и банальным, историческим и безымянным, и еще между тем, о чем вспоминают, и сегодняшним, и даже между искусством и жизнью, между нарисованным и естественно выросшим, между придуманным и ощутимо присутствующим... Из-за этого ветра все оказывается связанным со всем, и время становится простым придатком". Описанная смысловая структура находит выражение и на уровне грамматики: "Речевую конкретность хрупкие взаимосвязи, создаваемые этим ветром, обретают в придаточных предложениях, которые у Герхарда Майера выстраиваются в длинные цепочки... Почти вальзеровская вежливость сквозит в конъюнктивах, позволяющих читателю истолковать все так, как ему более всего по нраву: как фантазии, переплетение интеллектуальных вымыслов... объективное описание или как серьезную, внятную мудрость". Во всей книге фон Матта ни разу не встречается указания на жанровую принадлежность произведений. Зато в эссе о Герхарде Майере он, то ли всерьез, то ли не совсем, предлагает классифицировать писателей так, как Парацельс классифицировал духов: разделять их на относящихся к стихиям огня, воды, земли и воздуха...

Фон Матт рассуждает о сложности, даже "элитарности", которая может скрываться за кажущейся простотой (показывая, например, как "разбухает" при вдумчивом чтении смысл рассказа-фразы Петера Бикселя: "Пьяный поднимает голову, смотрит на меня, говорит, я расскажу тебе все, и умолкает"). И он же честно старается объяснить, почему любит некоторых экспериментаторов, смысл произведений которых понимает плохо (эссе "В первобытной чаще с Урсом Видмером[1]") или практически не понимает совсем (эссе "Попытка почитать Юрга Ледераха[2]"). Ответ, который он дает на этот странный для литературоведа вопрос, неожиданно оказывается ключом, позволяющим мгновенно понять-почувствовать, чем, собственно, является для Петера фон Матта "эротическое событие" чтения:

"Читатель должен просветлять не текст, но, читая, самого себя. Он должен начать светиться, как если бы сам был замечательным произведением искусства".

Татьяна Баскакова

Легко ли быть херувимом, или игры, в которые играют люди

Peter Bichsel. *Cherubin Hammer und Cherubin Hammer.* Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1999.

Петер Биксель. *Херувим Хаммер и Херувим Хаммер.* Франкфурт-на-Майне, Зуркамп, 1999

В литературе второй половины XX века и особенно его последних десятилетий классический вопрос Гамлета: "Быть или не быть?" настойчиво вытесняется вопросом: "Быть или казаться?". Быть собой, найти себя, реализовать свои истинные возможности (или надеть маску, играть навязанную обстоя-

1. Урс Видмер (р. 1938) – автор текстов, в которых обыгрываются элементы попкультуры. Повесть "Рай забвения" напечатана в "ИЛ", 1998, № 9. Фон Матт разбирает его роман "В Конго" (1996).
2. Юрг Ледерах (р. 1945) – переводчик, саксофонист, драматург и романист, который строит свои произведения по внелитературным моделям и причисляет себя к сюрреалистам. В эссе идет речь о его романе "Эммануэль. Словарь воодушевленного фланера" (1990).

тельствами роль, забыть о собственных нереализованных возможностях? Современные писатели (скажем, австрийцы Т. Бернхард и Э. Елинек) пытаются уяснить причины, побуждающие человека порой предпочитать маску истинной сути. Не отстает от них и швейцарский писатель Петер Биксель, считающийся одним из наиболее видных мастеров швейцарской немецкоязычной прозы. И если Бернхард больше склонен к анализу внутренних психологических причин жизненной фальши ("У каждого человека свой путь, и каждый путь правильный... Несчастье людей, однако, в том, что каждый своим собственным путем идти не хочет, а всегда норовит пойти чьим-то другим"[1]), а Елинек мастерски точно изображает вынуждающие обстоятельства ("Так с течением времени образовался естественный круговорот: рождение, приход в жизнь и замужество, следом (уход из жизни и рождение дочери, которой быть домохозяйкой или продавщицей..."[2]), то Биксель в повести "Херувим Хаммер и Херувим Хаммер" иронично и немногословно рисует картину всеобщей подмены собственной сути всеобщей игрой, вызванной разнообразными как внутренними, так и внешними причинами.

Итак, жили-были два человека со странным именем Херувим и одинаковой фамилией Хаммер. В остальном они были мало похожи. Херувим I был тихим и неуклюжим, Херувим II — агрессивным и задиристым; Херувим I получил классическое образование, Херувима II собственное образование заботило мало; Херувим I склонялся к размеренному образу жизни, Херувим II был импульсивен, любил создать неординарную ситуацию и втянуть в нее других. И все же была у них одна объединяющая черта: оба Херувима не просто жили, они создавали свою Биографию, проигрывали в жизни придуманный ими самими сценарий, всеми силами старались соответствовать взятой на себя роли. Херувим I строил Биографию Поэта. Он запирался в комнате, и малолетний сын, в честь Штифтера названный Адальбертом, почтительно затихал: "Отец пишет!" Херувим воображал, как его портрет будет висеть в музее, а грядущие поколения станут посещать его дом; именно глазами этих поколений смотрел он на себя и думал о себе в третьем лице и прошедшем времени, например: "Он любил сиживать у камина". После него остались дневники, толстые тетради с одной-двумя исписанными страницами, содержавшими "крылатые фразы, которым не было суждено обрести крылья..."

Херувим II играл роль Делового человека, Мужа, Мужчины и делал лишь то, что, по его мнению, вписывалось в этот имидж. Он начинал очередное Дело, вживаясь в образ бизнесмена, и Дело превращалось в пустую авантюру. Он демонстрировал свою силу и гордился тем, что где-то когда-то сидел в тюрьме. Из одной пивной в другую он ехал непременно на такси, даже если расстояние не превышало тридцати метров.

В конце концов Херувим I издал-таки томик стихов, но, оставаясь верным Биографии, уничтожил весь тираж, сохранив лишь один экземпляр, а Херувим II, громогласно заявлявший, что проживет сто лет, к собственной досаде, умер, не дожив до шестидесяти пяти...

Чего ради играли эти люди? Чего ради играли их приятели, например те молодые интеллектуалы, которые по вечерам приходили в кабачок пропустить кружку пива только потому, что так, бывало, поступал Готфрид Келлер? Похоже, они старались таким образом избежать жизненной неудачи,

1. Цит. по: М. Рудницкий. По ту сторону видимости. Предисл. к изд.: Т. Бернхард. Видимость обманчива и др. пьесы. М., 1999.
2. Э. Елинек. Любовницы. СПб, 2001. Перевод А. Белобратова.

противились неблагоприятным жизненным обстоятельствам, хотели сохранить свою суть, уподобляясь при этом другим людям, придумывая свою жизнь вместо того, чтобы прожить ее. Неблагодарное занятие.

Петер Биксель, сменивший в жизни немало занятий, от учителя начальных классов до советника главы федерального департамента, знает людей и умеет о них рассказывать. Писатель в шутку признается, что большинство своих сюжетов нашел в пивных, наблюдая за людьми и общаясь с ними, а задача литературы, согласно его высказыванию в статье "Реальность как воспоминание", — "напоминать о человеке, о человеческом". И потому не зря он начинает повесть с уверения, что "это вовсе не история Херувима Хаммера". Это история любого, кто стремится походить на кого-то кроме себя и хочет казаться херувимом в глазах окружающих. Похоже, автор адресует ее тем, кто, по его собственному выражению, "живет без вопросов с готовыми ответами".

Биксель считается мастером лаконизма. Он немногословен, но каждому из выбранных им слов обеспечено прямое попадание. Предпочитая малые формы, он иногда пишет рассказы, состоящие из одной-единственной фразы, но фраза эта такова, что превращается в сознании читателя в целый рассказ. Критики неоднократно подчеркивали лексическую простоту и синтаксическую ясность его изысканной прозы. Повесть о Херувимах занимает чуть более ста страниц, но состоит из нескольких частей: две из них — вставные биографии жены Херувима I Розы и любовницы Херувима II Берты, в остальных трех частях основной текст посвящен Херувиму I, а история Херувима II рассказывается в сносках. Сносок очень много (иногда по три на странице). Глаза читателя перескакивают с основного текста к сноскам, его сознание вынуждено моментально переключаться с одного героя на другого. В результате при чтении возникает нечто вроде легкого транса, зачарованный читатель медитирует на темы игры в жизнь...

Повесть "Херувим Хаммер и Херувим Хаммер" вызвала оживленные дискуссии критиков и была отмечена премией швейцарского Шиллеровского фонда за 1999 год.

В конце жизни Херувим I начал прозревать. Любовь к жене, которую он раньше даже не замечал, заставила его отказаться от Биографии, но это произошло слишком поздно... Возможно, ироничная в своей правде книга П. Бикселя поможет нам опомниться раньше, перестать быть херувимами и отказаться от подмены жизни игрой?

Элина Драйтова

Записки из пенала

Пауль Низон. *Год любви.* Перевод с немецкого В. Седельника и Н. Федоровой. Предисловие В. Седельника. М., Прогресс-Традиция, 2001

Пауль Низон долгое время профессионально занимался арт-критикой, защитил диссертацию по Ван Гогу, рецензировал выставки. При этом его литературные тексты приобрели устойчивую репутацию музыкальных и, кажется, ни разу не были названы живописными.

Сборник эссе, посвященных родной Швейцарии, Низон озаглавил "Разговоры в тесноте" (1970) — переезд в Париж спустя семь лет следовало трактовать как бегство из замкнутого пространства. Однако парижские сюжеты оказались сконцентрированы вокруг "комнаты-пенала", тесной освоенной зоны.

Низон подчеркивает: "Я не люблю историй... я ничего не знаю о своей собственной жизни, из которой наверняка не смог бы выжать ни одной истории: так как же я смею рассказывать о жизни других людей?" — и из книги в книгу рассказывает едва ли не одну и ту же историю, странным образом совпадающую с его собственной биографией.

"Русскому читателю любопытно будет узнать, что среди своих учителей Низон называл также Константина Паустовского и Исаака Бабеля", — сообщает переводчик В. Седельник в предисловии к рецензируемому сборнику. Удовлетворив любопытство, русский читатель может смело забыть об этом ученичестве — ничего хотя бы отдаленно напоминающего Бабеля или Паустовского вы не встретите.

Парадокс нередко признается способом письма, характерным для швейцарской литературы второй половины прошлого века. Но тексты Низона сопровождает парадоксальность особого рода — мягкое несоответствие между аргументом и тезисом, нечто среднее между логическим трактатом и потоком сознания. В низоновских "комнатах-пеналах", на "улицах-коридорах", в "железных легких времени" все неизменно и при этом нет ничего постоянного. Почти застывшая реальность, ни одно определение которой не может казаться устойчивым.

Если не считать подборки в "Иностранной литературе" (2001, №8), сборник "Год любви" — первая публикация Низона на русском. Повесть "Погружение. Протокол одной поездки" (1972) отрабатывает наиболее дорогой для Низона сюжет — брак "в состоянии зыбкой стабилизации", комната без штор, деловая поездка, встреча с женщиной, бегство из дома, развод, годы бездействия.

За "Погружением" следует роман "Штольц" (1975) — неприкаянная молодость, продажный секс, работа, учеба, женитьба, комната без штор, столешница в форме рояльной крышки, годы бездействия, брак в состоянии зыбкой стабилизации, легкий гротеск, печальный финал; критики неоднократно сравнивали "Штольца" с гётевскими "Страданиями молодого Вертера" и "Ленцем" Георга Бюхнера.

Заглавный роман "Год любви" (1981) открывает парижский цикл — годы бездействия, продажный секс, учащающиеся по ходу повествования флэшбеки, воспоминания о неприкаянной молодости, воспоминания о браке в состоянии зыбкой стабилизации, о комнате без штор, о деловой поездке, о женщине, о разводе, о бегстве из дома, автоматическое письмо, медленное погружение в сны, столешница в форме рояльной крышки, медленное пробуждение, годы бездействия, любовь. "Книга, подумалось мне недавно, когда я поднимался по ступенькам улицы Беккереля к собору Сакре-Кёр, должна отделяться от автора, от его биографии, от его круга идей... Книга должна иметь запах, как воспоминание. Должна пахнуть так, чтобы читатель, вспомнивший вдруг о книге, или о каких-то местах из нее, или просто о вызванном ею настроении, не мог понять, откуда все это взялось в его голове... Мои тайные мотивы стали частью его самого. Так и должно быть... они должны растворяться в желудке памяти".

Завершает сборник еще одна книга парижского цикла — "В брюхе кита" (1989) (обычно говорят о низоновской "парижской трилогии", заключительная часть которой — "Собака. Исповедь в полдень" (1998) — в рецензируемый том не попала). Вопреки оглавлению, выдающему "В брюхе кита" за собрание рассказов, В. Седельник замечает: "Это действительно "тексты", а не рассказы и не главы романа. Сам автор определяет их жанр как "капризы", "прихоти". Они напоминают музыкальные моменты в прозе, какие умел блестяще писать Роберт Вальзер". В

самом деле, эти тексты, написанные в период особого увлечения Гойей, Низон называет "капричос". Легкий гротеск, аллегоричные персонажи — забытый в песках Солдат, целенаправленно роющий себе не то окоп, не то могилу; Путник, бесцельно странствующий по Парижу с рюкзаком. На наших глазах для них измышляется личная история — работа, комната без штор, брак в состоянии зыбкой стабилизации, деловая поездка, женщина, любовь, бегство из дома, годы бездействия, продажный секс, чрево Парижа, брюхо кита, желудок памяти, погружение.

Низон перемещает из книги в книгу не только сюжеты, мотивы, пейзажи и мебель. Все его тексты, как взорвавшуюся изнутри мандалу, раздирают на части два противоположных импульса: стремление действовать никак не уживается со стремлением чувствовать; реализация, долг, движение вперед — с созерцанием, ожиданием, блужданием. Единственный, окруженный многочисленными двойниками низоновский персонаж — одновременно и Солдат, и Путник, и Штольц, и Обломов (сложно сказать, насколько Низон, сын эмигранта из Риги, был знаком с русской литературой, но, судя по цитатам из Горького и Достоевского, в его поле зрения попали не только Паустовский и Бабель). Этот внутренний разлад искажает пространство; время то бежит слишком быстро, то тянется слишком медленно; письмо превращается в невыносимый, неподъемный труд, который требует взаимоисключающих усилий. Швейцария — тюрьма, Париж исхожен вдоль и поперек пытливыми фланерами, ждать бесполезно, работать в поте лица бессмысленно, и то и другое необходимо, вибрирующая в голове струна мешает расслабиться и не дает сосредоточиться.

Низон признается: "Мои книги ходят кругами вокруг моей личности и копаются в моей жизни". Конечно, речь идет не о воспроизведении, а об обретении биографии. В каждом новом тексте повторяющиеся незамысловатые события и детали преломляются, как во сне, меняют масштаб, переносятся в другой город. Сложившаяся жизненная история вызывает у Низона неподдельный ужас: "...Он слышал не какую-то хвастливую байку, а, напротив, историю совершенно простую и безыскусную. Но именно потому, что была так проста и в безыскусности своей так много всего обходила молчанием, она смущала его. Она утратила новизну, и блеск ее был блеском потертости, захватанности. Подлинная жизнь той эпохи исчезла, память потускнела и произвела на свет фальшиво искрящуюся драгоценность, а рассказчик вцепился в нее, будто она хранила чистую правду". Литература кажется Низону материалом, позволяющим каждый раз заново прокладывать путь сквозь шаткое, ненадежное, аморфное прошлое. Низон испытывает то же доверие к "словесной ткани", что и теоретики французского "нового романа": "Тут я однажды вспомнил, как написал в своем непрезентабельном кабинетике... : я повелитель письменного стола. До чего хвастливый постскриптум! ... Чаще всего это были раздумья и напряженное высматривание следов, намеков на следы; или попытка поймать конец нити, потянуть за него, обнаружить еще одну нить и так тянуть до тех пор, пока не обозначится что-то похожее на ткань или ковер. С разноцветными узорами. Или хотя бы на половичок у порога, то, на что можно встать. Или на парашют. Чтобы парить. Да, когда повезет, образовавшуюся словесную ткань надувает струей воздуха или порывом ветра — и можно повиснуть на ней и лететь. Тогда мир сразу начинает казаться другим". Линия жизни, за пределы которой автор, кажется, не выступает ни на шаг, проявляется только на поверхности литературного текс-

та. Растворенное в этой прозе "я" обретает идентичность только в процессе рассказывания. В одном из интервью Низон описывает свой жизненный опыт как "путешествие через язык".

В своем исследовании проблем идентичности Низон не останавливается на полпути и, кажется, оставляет далеко позади и Макса Фриша, и Фридриха Дюрренматта, так интересовавшихся этой темой. Преображая сопротивляющийся словесный материал, следуя за языком, Низон продвигается в глубь распадающегося "я", разглядывает тени, отыскивает аниму, изучает следы, оставленные значимыми другими. Знание о многослойной структуре "я" продолжает беспокоить его до тех пор, пока внутри не останется ничего, кроме других, а вокруг — ничего, кроме распадающейся идентичности. "Когда книга выходит в свет, меня уже в ней нет, это ты понимаешь?" Персонажи Низона только и успевают воскликнуть: "Кто здесь?" Беспокойный писатель, который на протяжении книги доверительно и навязчиво делился творческими проблемами и рецептами собственного письма, — растворяется в воздухе, довольно потирая руки. Это повествование не правдивое и не вымышленное, не ироничное и не серьезное. Именно потому, что проза Низона начинена простыми и безыскусными высказываниями, так похожими на писательский дневник или выдержки из интервью, в этих сложночитаемых текстах самое сложное — граница между комичным и серьезным. Любопытные читатели никогда не узнают, насколько серьезен Низон в своем желании ходить кругами и посвящать сотни страниц невозможности письма. Не исключено, что единственное чувство, ради которого вновь и вновь затевается этот утомительный моцион, — усталость от текста.

Ирина Каспэ

Швейцария

"Фридрих Дюрренматт — писатель и художник"

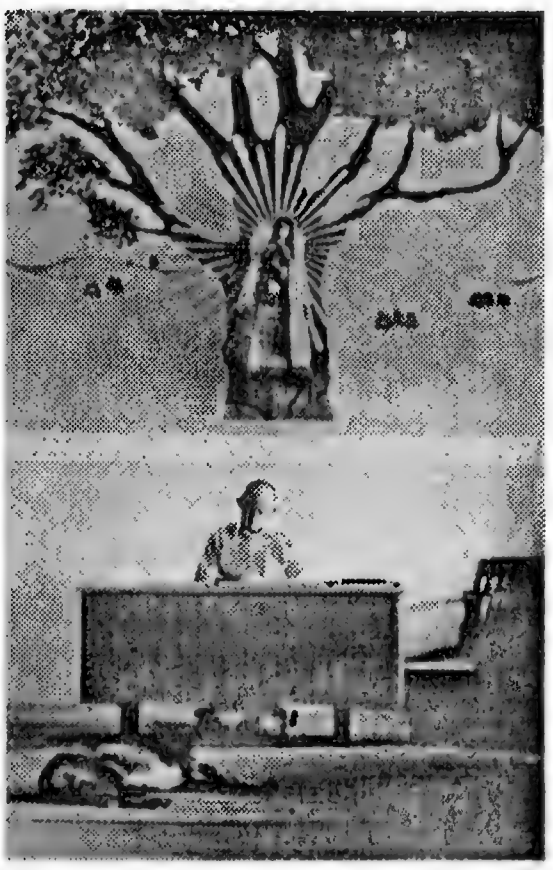
В юности Дюрренматт долго сомневался, чему отдать предпочтение — сочинительству или живописи. Но даже сделав окончательный выбор в пользу литературы, он продолжал рисовать. "Картины никогда не представлялись мне чем-то вторичным, — говорил писатель, — для меня они были полями сражений, на которых я отыгрывался за литературные неудачи".

Выставка "Фридрих Дюрренматт — писатель и художник" расположилась в бывшем доме швейцарского классика, где сейчас находится мемориальный музей. В основу коллекции легли полотна и рисунки, которые передала государству вдова писателя Шарлотта Керр. Организаторы экспозиции стремились подчеркнуть неразрывную связь между литературными произведениями Дюрренматта и его живописью, показать, что в основе их лежит общий источник — художественный образ. Помимо картин маслом и гуашью, здесь представлены карикатуры и литографии, а также импровизации на тему лабиринта — символа, который для Дюрренматта имел особое значение. В соответствии с общим замыслом, рядом с полотнами расположены цитаты из книг, таким образом слово писателя перекликается с мыслью живописца.

Один из залов отдан театральной теме. Например, здесь можно увидеть коллаж, сделанный из театральных билетов и афиш. Рядом, в видеозале, демонстрируются документальные фильмы, в частности ролик, рассказывающий о постановке знаменитой пьесы "Физики" (1962).

Рождение образа: Хуго Лёчер и фотография

Хуго Лёчер считается одним из самых известных современных швейцарских писателей. Однако о том, что, помимо литературной деятельности, он серьезно занимается фотографией, широкой публике стало известно лишь недавно, благодаря выставке, приуроченной к его 70-летию. Замысел организовать выставку принадлежит Швейцарскому фонду фотографии, в котором Лёчер, член совета учредителей, долгое время занимал пост президента. В подготовке экспозиции принимал участие сам писатель, который стремился не столько проиллюстрировать свои литературные произведения, сколько вскрыть их глубинный пласт, представить новые аргументы, защищающие его творчество от чересчур упрощенного толкования.



Снято Хуго Лёчером в Аргентине. 1994 г.

К открытию выставки цюрихское издательство "Шайдегер & Шписс" выпустило иллюстрированное издание статей писателя, посвященных фотографии.

Интерактивное путешествие по Швейцарии

В XVIII—XIX веках Швейцария привлекала множество путешественников, особенно писателей и художников. Это был своего рода перевалочный пункт, связывающий страны Европы и Апеннинский полуостров. Путешественники, которые направлялись в Италию полюбоваться достопримечательностями Рима или Флоренции, часто задерживались здесь на несколько дней, чтобы отдохнуть среди величественной альпийской природы. Именно в этом краю многие из них впервые познали чувство прекрасного. Гельвеция рисовалась им новой Аркадией, где обитают истинные потомки античных народов, ведущие скромный и нравственный образ жизни, бесстрашные воины, превыше всего ценящие свободу и независимость.

Швейцарией восхищались такие знаменитости, как Вольтер, мадам де Сталь, Казанова, Гёте, Байрон, Александр Дюма, Жорж Санд, Гюго, Мишле, Герцен, Толстой, Рамю, Сент-Экзюпери, Монтале, Пазолини и многие другие. Жан-Жак Руссо прославил ее в "Новой Элоизе", поселив своих романтических любовников на берегу Женевского озера, среди великолепных виноградных садов. "Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной натуры, в земле свободы и благополучия!" — писал Карамзин. Очарование этой страны было настолько велико, что путешественники чувствовали потребность выразить свои впечатления — в письме или дневнике, путевом очерке или заметке, карандашном наброске или акварели.

Миф о блаженном уголке, где люди живут в гармонии с природой, решила воссоздать Швейцарская национальная библиотека, составив небольшую антологию, которую предполагается разместить в Интернете. В нее войдут стихотворения, отрывки из романов, туристических справочников, дневников и писем. В иконографической части будут представлены несколько десятков эстампов XVIII—XIX веков, принадлежащих малоизвестным швейцарским художникам: Аберли, Бидерману, Фройденбергу, Лори и др.

Переписка между Игорем Стравинским и Ш.-А. Сингриа

Во время своего пребывания в Швейцарии в 1914—1920 годах Игорь Стравинский, тогда уже известный композитор, автор "Весны священной" и "Петрушки", сближается с группой романдской интеллигенции, объединившейся вокруг литературного журнала "Водуазские записки". Особо близкие отношения у него складываются с романистом, поэтом и эссеистом Ш. Ф. Рамю, который пишет либретто для его балетной пантомимы "История солдата". Привлекает его внимание также молодой писатель и музыковед Шарль-Альбер Сингриа. Шарль-Альбер становится частым гостем в доме Стравинского в Париже, Ницце и Савойе, ходит вместе с ним на концерты и премьеры, навещает его семью в горном санатории. Между друзьями завязывается переписка, которая продолжается до самой смерти Сингриа в 1955 году.

Стравинский захвачен работой — постоянные гастроли заставляют его разъезжать по всем континентам. В отношениях с Сингриа возникают паузы, иногда затяжные. Самый длительный перерыв приходится на военные годы. В сентябре 1939 года Стравинский перебирается в Америку, где читает лекции в Гарварде, работает для Голливуда. Шарль-Альбер тем временем возвращается из Франции в Швейцарию. Переписка возобновляется в 1947 году, но свидиться им довелось лишь однажды — на венецианской премьере "Похождений повесы" в сентябре 1951-го.

Когда "Новое французское обозрение" обращается к великому композитору с предложением написать некролог на смерть Сингриа, тот ограничивается следующими строками: "Это слишком важная для меня тема, и при моей занятости трудно сразу собраться с мыслями, найти верные слова об этом бесконечно дорогом мне человеке, о его даре и замечательном творчестве".

Наследие Ш.-А. Сингриа в Швейцарии хорошо изучено. В издательстве "Аж д'ом" вышло полное собрание его сочинений и пять томов писем. Поэтому удивительно, что переписка с Игорем Стравинским увидела свет только недавно, хотя практически вся она — в переводе на английский язык! — была опубликована в Америке душеприказчиком композитора Робертом Крафтом более пятнадцати лет назад. В Швейцарии о существовании этого издания ничего не было известно. Только сейчас благодаря издательству "Аж д'ом" у франкоязычных читателей появилась возможность познакомиться с этими интереснейшими документами.

Издательству "Диогенес" 50 лет

"Любая литература имеет право на существова-

Даниэль Кеэль, Федерико Феллини и Фридрих Дюрренматт. Цюрих, 1977

ние, кроме скучной", — это изречение Вольтера могло бы быть девизом швейцарского издательства "Диогенес", которое в этом году отмечает свой полувековой юбилей. На сегодняшний день этот издательский дом — один из крупнейших не только в Европе, но и в мире. Среди главных его достижений: собрания сочинений Фолкнера, Бальзака и Сименона, самое полное переводное издание Чехова в 25-ти томах, одиннадцатитомник Оруэлла и многое другое. Помимо беллетристики "Диогенес" выпускает книги о кино и музыке, детскую литературу, труды философов от Монтеня до Шопенгауэра, альбомы по искусству и комиксы. Всего за пятьдесят лет существования им было издано более 3 тысяч наименований книг общим тиражом 150 миллионов экземпляров.

Своим названием издательство обязано основателю и директору Даниэлю Кеэлю, который, решив назвать свое детище в честь какого-нибудь великого деятеля, в конце концов останавливается на фигуре Диогена. По собственным словам Кеэля, этот загадочный греческий философ понравился ему тем, что "дух его жив до сих пор, хотя после него не осталось ни одной строчки".

Идея заняться издательской деятельностью 22-летнему помощнику продавца книг пришла в голову, когда в руки к нему попали комиксы Рональда Сеарла. Эти комиксы — с предисловием Дюрренматта — стали дебютом "Диогенеса".

Первое время молодое издательство — по причинам скорее финансового порядка — ограничивается выпуском комиксов и классических авторов, в основном переводных. Затем появляются новые программы, в том числе и для немецкоязычных писателей. Поворотный пункт в истории "Диогенеса" — публикация романа Патрика Зюскинда "Парфюмер", единственного произведения европейского автора, вызвавшего на американском книжном рынке настоящий ажиотаж. Роман становится мировым бестселлером и только в Германии расходится трехмиллионным тиражом. Тем не менее, несмотря на пришедшую к "Диогенесу" известность, его философия и издательская политика остаются неизменными: "публиковать книги, ориентируясь не на рынок, а на собственный вкус".

В гостях у Шерлока Холмса

...Гостиная Шерлока Холмса: мебель, книги, газеты, плетеный стул доктора Ватсона, туман за окном. Только расположились знаменитые апартаменты не в доме под номером 221B по Бейкер-стрит, а между Женевским и Невшательским озерами, в швейцарском городке Люсан, где находится старинный замок, владельцем которого до самой своей кончины в 1970 году был сын Конан Дойла — Адриан. Именно ему принадлежит замысел создать в замке музей знаменитого литературного героя. Воплотить его мечту в жизнь взялся горячий поклонник Конан Дойла — юрист Венсан Делей.

В музее действуют две постоянные экспозиции. Первая — посвящена жизни и творчеству знаменитого писателя. Здесь можно полюбоваться портретом, написанным Сидни Паже, увидеть первое издание "Собаки Баскервилей" — в прошлом году исполнилось сто лет со дня его выхода. Вторая экспозиция рассказывает о легендарном сыщике с Бейкер-стрит. Воссоздавая интерьер его квартиры, устроители использовали основные идеи выставки, посвященной Шерлоку Холмсу, которая проходила в Лондоне в 1951 году.

По материалам газеты "Паис" [Испания], интернет-газеты "Конструир" [Швейцария], сайта"Кюльтюр актиф", созданного при участии Министерства культуры Швейцарии и др.

Швейцарская литература на страницах "ИЛ"

Романы, повести, рассказы, пьесы, стихи, эссе

1958 Фридрих Дюрренматт. *Визит старой дамы.* Трагическая комедия [№ 3]

1961 Фридрих Дюрренматт. *Авария.* Одна из еще возможных историй. Повесть [№ 7]

1965 Макс Фриш. *Бидерман и поджигатели.* Поучительная пьеса без поучения с эпилогом [№ 5]
Макс Фриш. *Homo Faber.* Роман [№ 4]

1966 Фридрих Дюрренматт. *Обещание.* Отходная детективному жанру. Повесть [№ 5]

1967 Фридрих Дюрренматт. *Метеор.* Комедия в двух актах [№ 2]

1973 Фридрих Дюрренматт. *Играем Стриндберга.* Play Strindberg. Пьеса [№ 4]

1975 Макс Фриш. *Назову себя Гантенбайн.* Роман [№ 4—6]

1977 Вальтер Маттиас Диггельман. Интервью [№ 11]

1981 Макс Фриш. *Человек появляется в эпоху голоцена.* Повесть [№ 11]

1982 Макс Фриш. *Синяя Борода.* Повесть [№ 11]

1987 Макс Фриш. *Стенограмма одного несчастья.* Рассказ [№ 2]

1987 Ваэ Годель. *Стихи* [№ 3]

1988 Фрйдрих Дюрренматт. *Правосудие.* Роман [№ 6]

1990 Фридрих Дюрренматт. *Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями.* Новелла в 24 предложениях [№ 1]
Макс Фриш. *Швейцария без армии?* Пустопорожний разговор [№ 4]

1995 Филипп Жакоте. *Стихи* [№ 12]

1996 Фридрих Дюрренматт. *Пенсионер.* Фрагмент детективного романа [№ 4]
Жан Старобинский. *Целан читает свои стихи.* Эссе [№ 12]

1997 Фридрих Дюрренматт. *Подельники.* Пьеса [№ 2]
Агота Кристоф. *Толстая тетрадь.* Роман [№ 10]

1998 Коринна Бий. *Рассказы в духе барокко* [№ 9]
Никола Бувье. *Стихи из книги "Внутри и вокруг"* [№ 9]
Эрика Буркарт. *Однажды я была птицей.* Стихи [№ 9]
Роберт Вальзер. *Чтение на несколько минут.* Эссе [№ 9]
Урс Видмер. *Рай забвения.* Повесть [№ 9]
Фридрих Глаузер. *Зуд сочинительства.* Рассказ. *Исповедь моралиста.* Очерк. Из романа *"Гуррами"*. [№ 9]
Фридрих Дюрренматт. *Мост.* Литературный сюжет [№ 9]
Изо Камартин. *Совращение предусмотрено* [№ 9]
Агота Кристоф. *Вчера.* Роман [№ 9]
Альберто Несси. *Стихи* [№ 9]
Джорджо Орелли. *Стихи* [№ 9]
Фабио Пустерла. *Стихи* [№ 9]
Мартин Сутер. *Small World.* Роман [№ 9]
Швейцария: время разобраться с собой. Беседа с А. Мушгом [№ 9]

1999 Ильма Ракуза. *Стихи из книги "Перечеркнутый мир"* [№ 9]

2001 Урс Видмер. *Рассказы* [№ 3]
Пауль Низон. *Рассказы* [№ 8]
Мартин Сутер. *Семь рассказов из книги "Бизнес-класс"* [№ 10]

Авторы номера

Сильвиана Шатлен
Sylviane Chatelain
Швейцарская писательница, пишущая по-французски. Лауреат многих литературных премий.

Автор сборников новелл *Белые дороги* [*Les routes blanches*, 1986], *По другую сторону* [*De l'autre côté*, 1990], романа *Рукопись* [*Le manuscript*, 1993] и др.
Публикуемый перевод выполнен по изданию *L' Étrangère* [Orbe, Bernard Campiche Éditeur, 1999].

Анн Перрье
Anne Perrier
Швейцарская поэтесса, пишущая по-французски.

Автор поэтических сборников *Витраж* [*Pour un vitrail*, 1955], *Путешествие* [*Le voyage*, 1958], *Имена дерева* [*Les noms de l'arbre*, 1989].
Публикуемые стихи входят в книгу *Poésie 1960–1986* [Lausanne, L'Age d'Homme, 1988].

Ильма Ракуза
Ilma Rakusa
Швейцарская немецкоязычная писательница, поэтесса, драматург, критик, переводчик. Лауреат нескольких литературных премий, в т. ч. премии Петрарки за переводы [1991] и премии Шиллера [1998].

Автор книг стихов *Как зима* [*Wie Winter*, 1977], *Жизнь. Пятнадцать акронимов* [*Leben. Fünfzehn Akronyme*, 1990], *Слова/смерти* [*Les mots/morts*, 1992], *Перечеркнутый мир* [*Ein Strich durch alles*, 1997], сборников рассказов *Мирамар* [*Miramar*, 1986], *Степь* [*Steppe*, 1990], сборника пьес *Джим* [*Jim*, 1933], исследования *Достоевский в Швейцарии* [*Dostojewskij in der Schweiz*, 1981]. На русском языке вышла книга ее стихов и прозы *Перечеркнутый мир* [М., 2000].
Публикуемые стихи взяты из книги *Love after Love* [Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 2001].

Адольф Мушг
Adolf Muschg
[р. 1934]. Швейцарский немецкоязычный писатель, драматург и публицист. Лауреат многих литературных премий, в т. ч. премии Г. Гессе [1974].

Автор романов *Летом в год Зайца* [*Im Sommer des Hasen*, 1965], *Противочары* [*Gegenzauber*, 1967], *Чужая игра* [*Mitgespielt*, 1969], *Довод Альбиссера* [*Albissers Grund*, 1974], *Свет и ключ* [*Das Licht und der Schlüssel*, 1984], рассказов, пьес. На русский язык переведены его рассказы, повесть *А больше нечего желать* и роман *Байонь, или общество дружбы*.
Публикуемый перевод выполнен по изданию: *Sutters Glück* [Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 2001].

Альберто Несси
Alberto Nessi
[р. 1940]. Швейцарский поэт и прозаик. Пишет по-итальянски.

Автор поэтических сборников *На обочине* [*Ai margini*, 1975], *Обыденное* [*Rasoterra*, 1983]. Из произведений прозы наиболее известен сборник рассказов *Безумная земля* [*Terra matta*, 1984] и книга публицистики *Гнев ветра* [*Rabbia di vento*, 1986]. На русском языке его стихи печатались в *ИЛ* [1998, № 9].
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *Blu cobalto con cenere* [Bellinzona, Edizioni Casagrande, 2000].

Фабио Пустерла
Fabio Pusterla
[р. 1957]. Швейцарский поэт. Пишет по-итальянски. Лауреат литературных премий Монтале и Шиллера.

Автор поэтических сборников *Уступка зиме* [*Concessione all'inverno*, 1985], *Под садом* [*Sotto il giardino*, 1990], *Пляска смерти* [*Danza Macabra*, 1995] и др. Известны переводы Ф. Пустерлы с французского [стихи Ива Бонфуа и Филиппа Жакоте] и с португальского [Нуно Жудисе]. На русском языке его стихи печатались в *ИЛ* [1998, № 9].
Публикуемые стихи взяты из книги *Pietra sangue* [Milano, Marcos y Marcos, 1999].

Петер Биксель
Peter Bichsel
[р. 1935]. Швейцарский писатель, пишущий по-немецки.

Автор произведений *Истории неправедного времени* [*Geschichten zur falschen Zeit*, 1979], *Чтец. Рассказ* [*Der Leser. Das Erzählen*, 1982], *Херувим Хаммер и Херувим Хаммер* [*Cherubin Hammer und Cherubin Hammer*, 2001] и др.
Публикуемые эссе взяты из книги *Des Schweizers Schweiz* [Frankfurt un Main, Suhrkamp Verlag, 1997].

Филипп Жакоте
Philippe Jaccottet
[р. 1925]. Швейцарский франкоязычный поэт, прозаик и переводчик. Лауреат литературной премии Монтеня [1972], Большой поэтической премии Парижа [1986], Большой национальной премии Франции за перевод [1987] и др.

Автор поэтических сборников *Сова и другие стихотворения* [*Effraie et autres poésies*, 1953], *Напевы* [*Elèments d'un songe*, 1959], сборников эссе *Прогулка под деревьями* [*La promenade sous les arbres*, 1957], *Пейзаж с отсутствующими фигурами* [*Paysages avec figures absentes*, 1970], биографии Рильке. Переводчик Гомера, Гельдерлина, Леопарди, Мандельштама, японских хокку. На русском языке выходили его книги *В свете зимы* [М., 1996], *Стихи, проза, записные книжки* [М., 1998]. В последней публиковались избранные страницы из первой книги *Самосев*. В *ИЛ* печатались его стихи [1995, № 12].
Публикуемый перевод выполнен по изданию: *La seconde semaison. Carnets 1980–1994* [Paris, Gallimard, 1996].

Асар Исаевич Эппель
[р. 1935]. Литератор и переводчик с польского, лауреат премии *Инолитт* [1998].

Автор книг рассказов *Травяная улица* [1994], *Шампиньон моей жизни* [1996]. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Алексей Матвеевич Зверев
[р. 1939]. Доктор филологических наук, литературный критик.

Автор книг *Джек Лондон* [1975], *Модернизм в литературе США* [1979], *Американский роман 20–30-х годов* [1982], *Грустный, солнечный мир Сарояна* [1982], *Мир Марка Твена* [1985], *Дворец на острие иглы* [1989], *Набоков* [2001] и многочисленных статей, публиковавшихся в периодических изданиях, в т. ч. в *ИЛ*.

Макс Фриш
Max Frisch
[1939–1991]. Швейцарский писатель, драматург.

В *ИЛ* были напечатаны пьеса *Бидерман и поджигатели* [1965, № 5], романы *Homo Faber* [1966, № 4], *Назову себя Гантенбайн* [1975, № 4-6], повести *Человек появляется в эпоху галоцена* [1981, № 1], *Синяя Борода* [1982, № 11], рассказ *Стенограмма одного несчастья* [1987, № 2]. На русский язык переведены также роман *Штиллер*, повесть *Монток*, многие пьесы.
Публикуемый перевод выполнен по изданию: *Max Frisch / Friedrich Dürrenmatt. Briefwechsel* [Zürich, Diogenes Verlag, 1998].

Фридрих Дюрренматт
Friedrich Dürrenmatt
[1921–1990]. Швейцарский писатель, драматург, лауреат международных и национальных литературных премий, в т. ч. премии Мольера [1957], Шиллера [1959] и др.

ИЛ публиковала произведения Ф. Дюрренматта разных жанров: пьесы *Визит старой дамы* [1958, № 3], *Метеор* [1967, № 2], *Играем Стриндберга* [1973, № 4], *Подельники* [1997, № 2], повести *Авария* [1961, № 7], *Обещание* [1966, № 5], *Зимняя война в Тибете* [*Библиотека ИЛ*, 1990]; роман *Правосудие* [1988, № 6], фрагмент романа *Пенсионер* [1996, № 4]. На русском языке также изданы сборник *Комедии*, пьеса *Грек ищет гречанку*, роман *Судья и его палач*, приключенческие повести *Операция "Вега"*, *Подозрение* и др.
Публикуемый перевод выполнен по изданию: *Max Frisch / Friedrich Dürrenmatt. Briefwechsel* [Zürich, Diogenes Verlag, 1998].

Жан Старобинский
Jean Starobinski
[р. 1920]. Швейцарский психолог, литературовед и историк культуры, лауреат международных и национальных литературных премий.

Автор книг *Монтескье* [*Montesquieu*, 1953], *Критическая связь* [*La Relation critique*, 1970], *Монтень в движении* [*Montaigne en mouvement*, 1982] и др. В 2002 году в издательстве Языки славянской культуры выходит его двухтомник *Поэзия и знание: История литературы и культуры*.

Сергей Николаевич Зенкин
[р. 1954]. Литературовед, критик, переводчик. Лауреат премии им. А. Леруа-Больё [1996].

Автор книги *Работы по французской литературе* [1999]. В его переводах издавались книги Р. Барта, Ж. Бодрийара, А. Компаньона Ф. Броделя и др. Его статьи и переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Хуго Лёчер
Hugo Loetscher
[р. 1929]. Швейцарский прозаик и публицист, пишущий на немецком языке.

Автор романов *Ной* [*Noah*, 1967; рус. перев. 2000], *Невосприимчивый* [*Der Immune*, 1975], *Записки невосприимчивого* [*Die Papiere des Immunen*, 1986] и др.
Перевод публикуемого отрывка повести выполнен по изданию: *Herbst in der Gro en Orange* [Zürich, Diogenes Verlag, 1984].

Переводчики

Ирина Яковлевна Волевич
Переводчица с французского, лауреат премии *Инолит* [1997].

В ее переводе изданы новеллы писателей эпохи Возрождения, произведения Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж. Верна, А. Камю, М. Турнье, Р. Кено, Веркора, А. Кристоф, Ф. Бегбедера и др. Переводы И. Волевич неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Юлия Борисовна Покровская
Поэтесса, переводчица с французского и польского языков.

Автор поэтической книги *Выбор* [1996]. В ее переводе опубликованы стихи В. Гюго, П. Валери, П. Элюара, П. Луиса, А. Эбер, Ж. Троллье, проза А. Жида.

Елизавета Всеволодовна Соколова
Переводчица с немецкого, кандидат филологических наук.

В ее переводе в *ИЛ* напечатаны стихи австрийского поэта К. Любомирского [1995, № 8], немецких поэтесс У. Хан [1994, № 2 и 1997, № 7] и И. Тильш [1996, № 8], швейцарской поэтессы Э. Буркарт [1998, № 9], эссе Д. Грюнбайна *Галилей измеряет Дантов ад* [1998, № 1], рассказы Ю. Герман [2000, № 11], повесть В.Вандербеке *К Альберте приедет любовник* [2001, № 12].

Владимир Денисович Седельник
[р. 1935]. Литературовед, доктор филологических наук, переводчик с немецкого. Лауреат литературной премии им. А. Карельского [1997].

Автор книг *Герман Гессе и швейцарская литература* [1970], *Швейцарские варианты* [1990, в соавторстве с Н. Павловой], многих статей по немецкоязычной, преимущественно швейцарской литературе. В его переводе изданы романы *Ной* Х. Лёчера, *Год любви* П. Низона, воспоминания Лу Андреас-Саломе *Прожитое и пережитое*, а также произведения Г. Гессе, У. Тимма, Ф. Глаузера, Ф. Дюрренматта, К. Шпиттелера и др. Автор ряда статей в *ИЛ*.

Евгений Михайлович Солонович
[р. 1933]. Переводчик с итальянского. Лауреат Государственной премии Италии [1996] и премии *ИЛлюминатор* [2000].

В его переводе выходили книги избранных стихотворений Данте, Петрарки, Монтале. Переводил итальянских поэтов эпохи Возрождения, а также поэтов XVII—XX веков. В 2000 г. вышла книга его избранных переводов *Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича*. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Анатолий Сергеевич Егоршев
[р. 1935]. Журналист, германист, переводчик с немецкого.

В его переводе выходили произведения Р. Леттау, П. Хэртлинга, К. Хайна, Г. Руге. Неоднократно публиковался в *ИЛ*. В Германии в его переводе на немецкий опубликована повесть В. Панова *Филипп фон Цезен*.

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], им. А. Леруа-Больё [1996], им. Мориса Ваксмахера [1998].

Автор статей по социологии культуры и книги *Слово — письмо — литература* [М., 2001]. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1].

Евгения Александровна Кацева
Переводчица с немецкого. Лауреат премии им. А. Карельского

В ее переводе публиковались произведения Б. Брехта, Г. Бёлля, Ф. Дюрренматта, романы Г. де Бройна *Буриданов осел* [*ИЛ*, 1969, №11—12, совместно с Т. Иллеш], *Присуждение премии* [*ИЛ*, 1973, № 5], *Новое благоденствие* [*ИЛ*, 1988, № 1], повести Макса Фриша *Человек появляется в эпоху голоцена* [*ИЛ*, 1981, № 1], *Синяя Борода* [*ИЛ*, 1982, № 11] и др.

Софья Львовна Фридлянд
Переводчица с немецкого и скандинавских языков. Лауреат премии им. Жуковского [1998].

В ее переводе издавались романы, рассказы и пьесы К. Гамсуна, С. Цвейга, В. Кёппена, К. Вольф, М. Вальзера, А. Стриндберга, И. Бахман. В *ИЛ* в ее переводе были напечатаны произведения Г. Бёлля, М. В. Шульца, Э. Штриттматтера, Ф. Дюрренматта, Г. Грасса, Г. де Бройна и др.

ЧТО ЧИТАЮТ В ШВЕЙЦАРИИ?

По материалам сайта Le culture actif, созданного при поддержке Министерства культуры Швейцарии

Книги месяца за июль 2002 года

Поэзия

1. Francine Clavien
Ete visionnaire

2. Judith Chavanne
La douce aumone

3. Patrick Amstutz
s'attendre

4. Pierre Chappuis
A portee de la voix

5. Jacques Tornay
La premiere personne du pluriel

Проза

1. Claire Krahenbuhl, Denise Mutzenberg
Le piege du miroir

2. Hanna Johansen
Lena

3. Pierre Voelin
La nuit accoutumee

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❐ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❐ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❐ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❐ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки
использован фрагмент картины
Фридриха Дюрренматта
Портрет Вальтера Моринга [1960].

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Расимя Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции,
а также в книжном магазине:
"Библио-Глобус" —
ул. Мясницкая, 6.

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.8.2002
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 202.
Тираж 9 500 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов полиграфической
фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика

ЛИНИЯ-АРТ

галерея современного искусства, москва, пятницкая, 41

Некоммерческая организация культуры Галерея "Линия-Арт"
существует с 1997 года

В художественной программе Галереи различные направления выставочной деятельности:

наследие ряда московских художников,
искусство династий,
современная живопись, скульптура, графика, эмали.

Галерея экспонирует работы известных московских художников поколений 60-х, 70-х и 80-х годов.

Михаил **Р**удаков, **О**льга **Р**удакова,
Валерий и **А**лександр **В**олковы,
Анатолий **З**верев, **И**горь **К**ислицын,
Сергей **А**лферов, **А**лександр **Б**абин,
Ирина **Р**усакова, **И**горь **Е**рмолаев,
Гиви **А**наньев, **О**лег **С**лепов,
Евгений **В**ерещагин –

далеко не полный перечень ведущих авторов Галереи

С октября 2002 г. в Галерее читается курс лекций по истории мирового искусства

Наш телефон/факс: (095) 953 36 24
E mail: liniya-art@yandex.ru
Адрес: Пятницкая ул., 41, стр. 1

Посетить Галерею можно с 14 до 19 часов по предварительной договоренности с Администрацией Галереи

---

[10] 2002

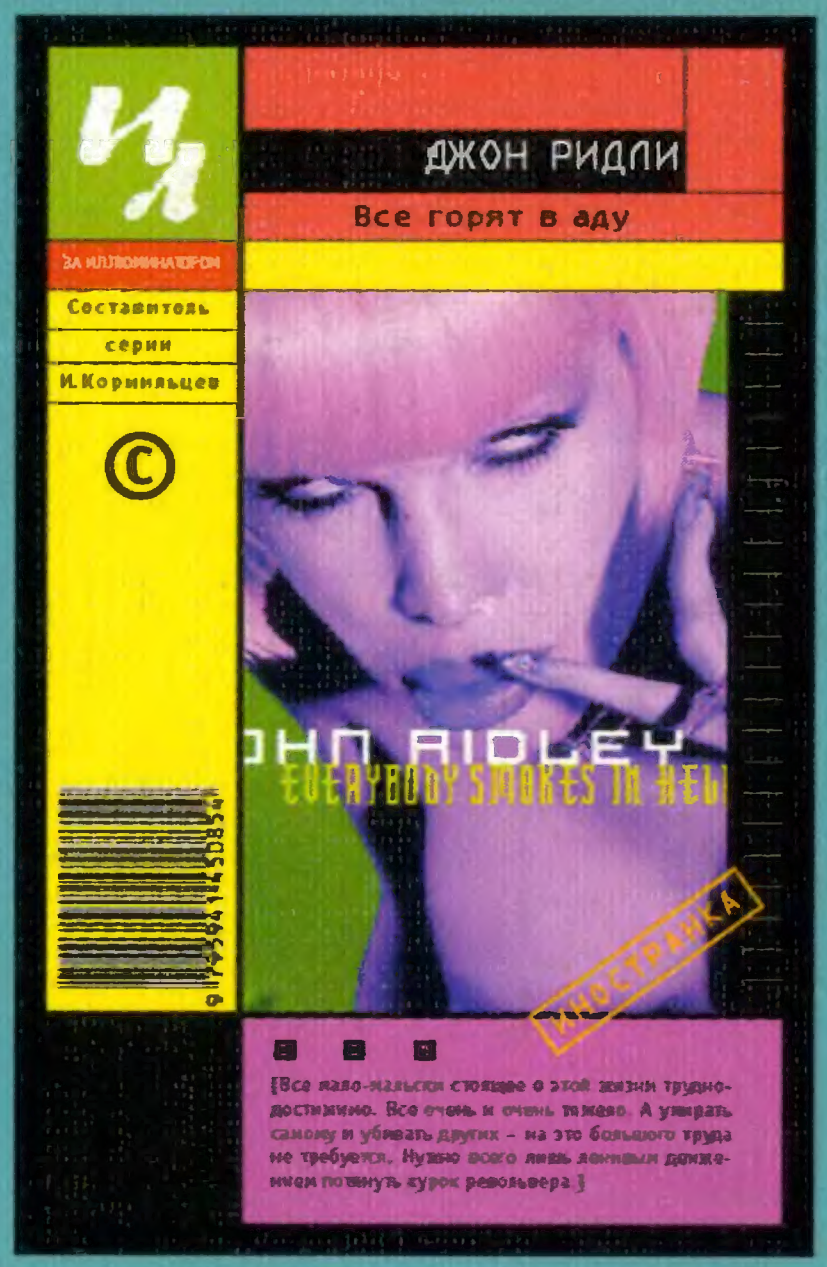
НОВЫЙ РОМАН ГЮНТЕРА ГРАССА “ТРАЕКТОРИЯ КРАБА” / ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ПИТЕРА АКРОЙДА “БИОГРАФИЯ ЛОНДОНА” / “ИБЕРИЙСКАЯ МОЗАИКА”: ПЕСЕННАЯ ПОЭЗИЯ ИСПАНИИ / ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА ПЕТЕРА ЭСТЕРХАЗИ “HARMONIA CAELESTIS”

Новая серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

составитель Илья Кормильцев

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века



По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2002, №9, 1-288